

Н. А. НЕКРАСОВ

СОЧИНЕНИЯ

9

КНИГА I



Ник. Некрасов



Н. А. НЕКРАСОВ

Фотография 1860-х гг.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



Н. А. НЕКРАСОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

⁂

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМА 1—10



ЛЕНИНГРАД «НАУКА» — ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1984

Н. А. НЕКРАСОВ

ТОМ ДЕВЯТЫЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

ТРИ СТРАНЫ СВЕТА



ЛЕНИНГРАД «НАУКА» — ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1984

Н $\frac{4702010100-691}{042(02)-84}$ Подписное

ТРИ СТРАНЫ СВЕТА

ПРОЛОГ

В глухом и далеком углу обширной русской земли, в небольшом уездном городе, за несколько десятков лет до начала нашей истории, на углу улицы, кончавшейся полем, стоял небольшой скривившийся деревянный дом. Он принадлежал городской повивальной бабке Авдотье Петровне Р***. Авдотья Петровна была женщина редкая; по должности своей она знала семейные тайны многих лиц города: кажется, довольно, чтобы и весь город знал их? Но Авдотья Петровна упорно молчала. Многие дамы оставили ее именно за это достоинство, которое считали важным недостатком.

— Какая дура эта Авдотья Петровна! лежишь, а она хоть бы слово интересное сказала... даже знаешь какую-нибудь историю, а так только нарочно спросишь: правда ли, что жена Днищева свела шашни с Долбишиным? — запирается! я, говорит, не знаю!

Так жаловалась слабая супруга своему мужу после благополучного разрешения.

— Что же делать? — спрашивал супруг.

— Что делать? вот я ей откажу; она у меня последнего принимает!.. Возьму Веру Антоновну.

— Далеко посылать, да и обидишь Авдотью Петровну.

— Вот хорошо! — вскричала больная.— Да она может уморить с тоски!

— Ну хорошо, возьми Веру Антоновну,— говорил испуганный супруг.

Вера Антоновна была бабушкой другого, ближайшего уездного города. Она пользовалась обширной известностью, которой много способствовал лекарь того города, первый друг и приятель Веры Антоновны.

Вера Антоновна могла даже мертвого поднять своей болтовней, не только занять больную. Она знала всё и всех. Обширное знакомство доставляло ей неисчерпаемый источник для толков и пересудов. Никто при ней не смел заикнуться о годах кого-нибудь.

— Как это можно, помилуйте! Анне Сидоровне теперь под сорок; она только на лицо моложава. Я у ней принимала первого; а Ванечка ровесник Соне Подгорной... Вот, я вам скажу, будет богатая невеста и старше только двумя месяцами Оли исправниковой... Как теперь помню, такая была жара; я ехала от Анны Сидоровны к исправнику... Какая она у него стала: так и тает, так и тает, точно свеча, чуть жива. Вот уж осьмого недавно бог дал: трудно, очень трудно родит. Сам-то исправник, знаете, не любит дома сидеть: разные шашни у него...

— Неужели, Вера Антоновна, с казначейшей? — спрашивали таинственно любознательные дамы.

— Какое с казначейшей? старо с казначейшей!

— С кем же? с кем же?

Глаза вопросительниц сверкали нетерпеливым блеском.

— С Марьей Ивановной! — произносила Вера Антоновна протяжно и торжественно глядела на всех.

— Ах!.. неужели?.. Боже ты мой!..

И восклицаниям и расспросам не было конца. Вера Антоновна как река лилась, после длинного монолога требовала пить и выпивала залпом графин квасу.

Фигура ее была так обширна, что нужно было дарить ей на два платья, чтоб вышло одно. Прихотям Веры Антоновны не было конца. В доме, где случалось ей принимать, она вмешивалась решительно во всё: «Зачем люди долго спят? зачем повар дурной квас сделал? зачем мало работают в девичьей? У исправника-то люди с петухами встают, а у вас, Агафья Артемьевна, вместе с барами: право, таких людей даже и у городничихи нет, а что она уж за барыня!..»

Вера Антоновна заботилась очень о своем здоровье; несмотря на страшную полноту, она считала себя худенькою, и если ей говорили: «А вы, кажется, поправились, Вера Антоновна»,— она крестилась и плевала, боясь глазу.— Что это вы, как можно! — возражала она. — Да мне платья стали широки!

Аппетит у ней превышал всякое вероятие. Ела она почти каждую минуту и всё находила, что отощала,— по-

сле ужина, на сон грядущий, съедала ежедневно десяток яиц, сваренных вкрутую. Она их очень любила, но спала от них неспокойно и со страху поднимала на ноги среди ночи весь дом. Ей всё чудились воры, готовые ограбить ее; а надобно знать, что она все свои деньги, золотые вещи и ломбардные билеты возила с собою в тайном подвязном кармане, которого не снимала даже и на ночь. К довершению всего Вера Антоновна не разлучалась ни на минуту с двумя собачонками, гадкими и паршивыми, которых звала очень прозаически: Сашка и Дунька. Имя последней, как поговаривали в городе, было дано в пику Авдотье Петровне.

Мало-помалу вся аристократия уездного города оставила Авдотью Петровну; она призывалась только в неожиданных и роковых случаях. И тогда разносился слух по городу: «Слышали вы, какое несчастье случилось? за Авдотьей Петровной должны были послать! Но, слава богу, Вера Антоновна на другой же день приехала!»

Если Авдотье Петровне и случалось до конца пробыть у какой-нибудь важной дамы, то крестин не справляли и давали нелюбимой бабушке самую ничтожную плату.

Вот почему дом Авдотьи Петровны видимо разрушался: не было средств поправить его. Внутренность дома соответствовала наружности: низенькие, небольшие комнаты, с покосившимися потолками и полами, бедно меблированные, производили болезненное и грустное впечатление.

Ставни старого домика были закрыты. В комнате, мрачно освещенной, лежала женщина, довольно красивая, но страшно худая и бледная. Авдотья Петровна, в углу, мыла новорожденного, поминутно оглядываясь на больную. Проворно вымыв ребенка и запеленав его, она подошла к кровати и тихо сказала:

— Поздравляю вас с сыном.

Мать открыла глаза и с испугом оглядела комнату. Увидав Авдотью Петровну с ребенком, она болезненно вскрикнула, дрожащими руками схватила дитя и пристально взглянула ему в личико, потом распеленала его и радостно прошептала:

— Боже, ты услышал мою молитву!

И она начала осыпать своего сына поцелуями.

— Тише, осторожнее! вам вредно волнение,— говорила Авдотья Петровна, любуясь радостью матери.

— О, дайте мне на него насмотреться!.. Он не похож на своего отца!..

И мать снова целовала сына.

— Успокойтесь! вы еще очень слабы; будет время налюбоваться! — говорила растроганная Авдотья Петровна.

Но мать сильно вздрогнула и дико закричала, прижимая сына к своей груди:

— Нет! он его не увидит! Пусть он лучше никогда не знает своего отца и своей матери!

— Что вы? как можно!

И Авдотья Петровна невольно схватила ребенка из слабых рук матери.

— Куда вы хотите его нести! — воскликнула мать.— О, ради бога, спрячьте его!

Она вскочила с постели, упала на колени перед Авдотьей Петровной и раздирающим голосом повторила:

— Спрячьте его! спасите его!.. *он* злодей, он убьет ребенка. Я готова умереть, только бы он не знал и не видал его. Спасите, спасите!..

Несчастная женщина с страшными криками упала на пол, и стоны наполнили комнату. Потом она вдруг смолкла и, лежа на полу с закрытыми глазами, тяжело дышала и вздрагивала. Авдотья Петровна плакала. Поцеловав ребенка, она бережно положила его на кровать, стала на колени возле матери и начала успокаивать ее:

— Хорошо, я всё сделаю. Я знаю его: он способен на всё. Но не убивайте себя, опомнитесь!

Тихо приподнялась мать, схватила руку Авдотьи Петровны и с жаром поцеловала ее.

— Ах, что вы? как можно!

И Авдотья Петровна покраснела; слезы потекли у ней по лицу. Мать сказала:

— Вы добры! вы знаете мое положение... Сжальтесь над бедным ребенком, сжальтесь надо мной... Видит бог, я чиста; но его подозрения...

— Что же мне делать? чего хотите вы? — спросила Авдотья Петровна.

— Чего я хочу? — дико спросила мать.— Чтобы он не знал своего сына, которого он будет так же мучить, как мучил его мать. Чудовище злое и подозрительное, он... О, вы его не знаете!

— Говорят, он просто злодей,— невольно сказала Авдотья Петровна.

— А, вы теперь сами говорите, что он злодей? — воскликнула радостно мать.— Как же можно ему показать

сына, когда еще до рождения несчастному ребенку готовились угрозы и страдания? Нет, нет! Вы поможете мне скрыть моего сына! вы сжалитесь над умирающей женщиной, которая вас будет благословлять как спасительницу ее ребенка!

— Если бы можно было, я рада бы помочь вам.

— О, время и возможность есть, только захотите. Я скрывала время своей беременности, и вы можете сказать, что я выкинула.

— Что же делать с ребенком? куда его девать?

— Да, вы правы: *он* всюду отыщет его, он украдет его у меня и скажет, что я виновата!

— У нас здесь в городе почти никого нет, кому бы подкинуть: житье ему будет плохое.

С минуту длилось молчание.

— Боже! благодарю тебя!..— воскликнула вдруг больная и, скрестив руки, стала на колени и усердно молилась.

Окончив молитву, она твердым голосом сказала:

— Дайте скорее бумагу и перо.

Всё было подано. Дрожа всем телом, Авдотья Петровна подвела больную к столу. Окончив письмо, больная подала его Авдотье Петровне.

— Прочтите: так ли я написала? голова моя горит; я не могу ничего обдумать, я худо вижу...

— Хорошо,— сказала Авдотья Петровна,— да к кому же?

— Вот и адрес к будущему отцу моего сына,— перебила больная.

Авдотья Петровна, прочитав адрес, радостно вскрикнула:

— О, ваш ребенок будет счастлив! Вы поручаете его судьбу самому доброму, благородному — и богатому человеку, какого только я знаю...

— Не правда ли? я могу умереть спокойно... Да, я умру,— тихо прибавила больная, приложив руку к своей голове,— посмотрите, как она горит; я вся горю... мне душно!

Больная начала метаться.

— Лягте, ради бога, лягте!

— Зачем мне беречь себя? чтоб снова терпеть горе и унижение? Зачем я буду жить, когда я бросаю своего ребенка? Нет, я не брошу его, не отдам... я не могу его отдать... Пусть он страдает вместе с своей матерью и пусть

в страданиях узнает своего отца... Господи! за что я так несчастна?

И больная зарыдала.

— Полноте, не огорчайтесь! Вы можете расхвораться и наделаете мне хлопот,— сказала Авдотья Петровна, стараясь скрыть свои слезы.

— Простите, я виновата; но войдите в мое положение: я мать; понимаете ли вы, что значит быть матерью?

— Даже очень хорошо понимаю,— с живостью отвечала Авдотья Петровна,— и знаю, что ничего не может быть ужаснее разлуки с своим ребенком.

— А! вы тоже испытали такое несчастие? — спросила больная, и в голосе ее звучало удовольствие, будто радовалась она, что есть и еще женщины, разлученные с детьми.

— Кто же может сказать, что он не страдал? — отвечала Авдотья Петровна, покачав головой.

— А *он*? он никогда не страдал! иначе мог ли бы он так хладнокровно мучить других? Голос страдания достиг бы его ушей. Но он не знает, он не понимает его!

У Авдотьи Петровны недостало философии, чтоб продолжать такой разговор, и она спросила:

— А вы думаете теперь вашего сына отвезти?

Больная вскочила и кинулась к ребенку. Взяв его на руки, она дико закричала:

— Так рано? нет, я не отдам его, не отдам!

И она с жаром начала целовать ребенка.

— Хуже будет, если услышат плач; он может приехать за вами, ему донесут. Дайте мне его!

— Боже, боже! — простонала мать и, прильнув к сыну горячим лицом, обливала его слезами.

Авдотья Петровна взяла небольшую корзину; положив туда подушку и толстый шерстяной платок, она сделала люльку и робко сказала:

— Пора: благословите своего сына!

Мать крепко прижала ребенка к груди и отвечала жалобным голосом:

— Подождите! дайте мне на него посмотреть, дайте нацеловаться! Кто тебе заменит мать? — продолжала она, обращаясь к ребенку.— О, ты простишь ее? она несчастна, она умрет!

И мать положила своего сына на кровать и тихо опустилась перед ним на колени, будто прося у него прощения.

— Может быть, ты будешь счастливее в чужих руках,— говорила она,— я чувствую, что скоро умру, так не знай лучше никогда ни отца, ни матери! Пусть вечно охраняет тебя мое благословение (она перекрестила ребенка). Пускай достанутся тебе все радости, которых не знала твоя мать!

Голос ее всё более слабел; утомленная ее голова упала на кровать. Авдотья Петровна тихо рыдала в углу. Услышав ее рыдание, больная приподняла свою отяжелевшую голову, бледными губами прильнула к теплому личику своего сына и потрясающим голосом сказала:

— Возьмите! возьмите его скорее, или я его не отдам!

И снова голова ее упала на кровать.

Авдотья Петровна положила ребенка в корзину и, перекрестясь, пошла к двери.

Больная приподнялась, она дико следила за движениями Авдотьи Петровны, пока та укладывала ребенка, и когда она пошла к двери, бедная мать стремительно кинулась к ней.

— А, ты украла моего ребенка?.. Помогите, помогите!

И несчастная с безумными криками вырывала корзину.

— Что вы? Бог с вами! не кричите: на улице услышат! — дрожащим голосом говорила Авдотья Петровна.

Но больная ничего не хотела слышать: глаза ее блестели страшным огнем. Она дико смотрела на Авдотью Петровну и повторяла отчаянно:

— Отдайте моего ребенка, отдайте!

— Возьмите! вы, кажется, забыли, каков его отец? — с упреком сказала Авдотья Петровна.

Мать вскрикнула. Отскочив от корзины, которую ей предлагала Авдотья Петровна, она прошептала испуганным голосом:

— Спрячьте, спрячьте его. Слышите, он идет, он его возьмет! Я погибла!.. О, спасите же, спрячьте меня!

И несчастная бегала по комнате и пряталась.

Авдотья Петровна скользнула в дверь и заперла ее на замок.

Мать с диким криком кинулась к двери; она ломала ее и кричала:

— Отворите! моего ребенка украли! спасите!

Стук удалявшихся дрожек остановил вопли почти обезумевшей женщины; она вся затряслась и, когда стук

дрожек замер, отчаянно вскрикнула: «Уехал!» — и упала без чувств у дверей...

. . . .

В одном большом селе, широко раскинувшись на невысоком холме, стоял огромный барский дом с дремучим садом. Длинные службы в несколько рядов, как крепостные стены, тянулись за домом. В августе месяце, вечером, часов в девять, луна бросала печальный свет на темный сад и черную массу дома, на стене которого фантастически рисовались громадные деревья. Обильная роса покрывала влажную траву; блеск луны, отражаясь всюду, играл на листьях деревьев, которые таинственно перешептывались в пустынном саду, и менял рисунки на стене, как кабалистические знаки в каком-нибудь зáмке. Медленно, лениво катилась луна, окруженная легким паром, по прозрачному далекому небу.

Прямо светила она в мрачные запотевшие окна, осеребряя их и еще резче выказывая массивную и старинную архитектуру дома. Отдаленный лай собак изредка нарушал тишину; эхо звонко раздавалось и медленно замирало в чистом воздухе.

За кустами сирени и жимолости едва виднелся слабый свет, выходивший из окна небольшой комнаты, убранной очень просто; по меблировке нельзя было определить ее назначения.

На широком диване лежал мужчина лет тридцати пяти, крепко сложенный, с благородным и привлекательным лицом; но в его взгляде, во всех его движениях выражалась бесконечная апатия. В руках держал он книгу, которая, казалось, тяготила его. Выкуренная трубка с огромным янтарем была у него в зубах. На столе, возле дивана, лежало несколько книг и стоял низенький подсвечник с зеленым колпаком, бросавший яркий свет на нежные руки и чистое белье полусонного мужчины, но оставлявший в тени его лицо. На полу возле дивана спала большая легавая собака. Вероятно, тревожили ее неприятные сны: она по временам визжала и вздрагивала; тогда мужчина, лежавший на диване, кричал: «Фингал!» Собака приподнимала голову и сонно-красными глазами смотрела на своего господина, готовая приветствовать его ласковым виляньем хвоста. Но, не получая ни ласки, ни приказания, не удостоенная даже его взгляда, она опускала голову

и хвост, тяжело вздыхала и снова своим храпом нарушала тишину.

Несколько ружей торчало в разных углах комнаты, посреди которой стоял токарный станок, окруженный опилками, свидетельствовавшими о недавней работе. Микроскоп, разобранный, лежал на столе у окна. Всё доказывало, что обладатель этой комнаты старался развлекать себя. Но, как бы утомясь или соблазненный сладким сном своего Фингала, он уже не перевертывал листов, рука крепко еще держала книгу, но скатилась, трубка оставалась около губ. Ровное и мерное дыхание вылетало из его широкой груди; тихо колебалась на груди тонкая, слегка накрахмаленная рубашка.

Так прошло несколько минут. Дверь тихонько раскрылась, и мальчик лет четырнадцати проворно, но тихо вошел в комнату с серебряным подносом, на котором стоял стакан с чаем.

Подойдя к дивану, он в недоумении остановился, глядя на спящего барина. Собака при первом шорохе открыла глаза, но тотчас снова спокойно закрыла их. Убедясь, что барин не может заметить его присутствия, мальчик сказал: «Чай готов-с!» Мерное и ровное дыхание не прерывалось. С отчаянием глядел мальчик то на спящего барина, то на стакан. Мимо его носа вдруг порхнула бабочка и стала кружиться около огня. Мальчик лукаво следил за ее полетом и радостно улыбнулся, когда она, коснувшись свечи, вдруг села на стол, тоскливо забила крылышками, прильнула к столу головкой и в изнеможении упала,— потом, будто очнувшись, отчаянно забилась, осыпая стол белой пылью.

Мальчик с наслаждением упивался мучениями бабочки и каждый раз, как она переставала биться, трогал ее пальцем, и бабочка снова кружилась и вертелась страшно. Тихо скатившаяся из ослабевшей руки барина книга прекратила мучения бабочки и потеху мальчика; он повторил: «Чай готов-с»; ответа не было. Мальчик вышел и через несколько минут возвратился с новым стаканом чаю, из которого валил пар. Та же история повторилась; мальчик уже начинал приходить в отчаяние, когда вдруг скрипнула дверь, высунулось женское лицо в чепчике с длинной фалбалой и жалобно прошептало: «Петрушка!..» Мальчик повернулся к двери и отрицательно мотал головой. Выставилась рука и манила его к себе.

— Что вам? — спросил он.

— Поди сюда! скорее! — задыхаясь, шептала женщина.

Мальчик показал головой на барина и на поднос и прибавил:

— Видите, не могу!

— Петрушка! что ж ты? я тебе говорю, скорее! — сердито воскликнула женщина, забыв всякую осторожность, и вошла в комнату.

Ей было лет под шестьдесят, но она была еще бодра; приятное лицо ее выражало сильную тревогу. Огромная связка ключей, висевшая на чистом, белом переднике, обозначала ее должность.

Мальчик, недовольный появлением ключницы, сказал:

— Что это вы? не видите, барин спит!

— Вижу, дурак! ты что не идешь, когда зовут? — шепотом возразила ключница.

— Как же я брошу чай?

— Когда велят, мужик ты, так иди!

Она с досадой выхватила у него поднос. Ложечка со звоном упала на пол. Собака заворчала и открыла глаза — в одно время с барином.

Барин потянулся, осмотрел комнату и остановил глаза на ключнице, которая, остолбенев от испугу, стояла неподвижно, с искаженным лицом.

Мальчик улыбался так же радостно, как несколько минут назад, когда бабочка обожгла крылья.

— Что вам нужно? — спросил барин с изумлением, которое ясно доказывало редкое появление ключницы в его комнате.

В ответ, задыхаясь от волнения, ключница произнесла: «Ах, сударь!» — и лицо ее приняло такое отчаянное выражение, что встревоженный барин встал и быстро спросил:

— Что такое? не пожар ли? не ушибся ли кто?

— Ах, какое несчастье!

— Да что такое случилось? — с сердцем спросил барин.

— Извольте встать и выйти в сени. Ах, боже ты мой, боже ты мой!

— Как вы надоели с вашими восклицаниями!

И барин скорыми шагами пошел к двери; собака последовала за ним, потягиваясь и зевая; мальчик и ключница заключили шествие.

— Посвети! сюда пожалуйте! — говорила болезненным голосом ключница.

Мальчик взял свечу и пошел вперед.

В темных сенях, в углу, стояла хорошо закутанная корзина, и тихий плач раздавался из нее.

— Что это? — спросил барин.

— Ах, кажись, ребенок! Боже, какой грех! какой грех!

— Как попал он сюда?

— Вот изволите видеть: я разливаю чай и слышу какой-то странный писк; думаю: верно, кошка забралась и мяукает. Отпустив чаю вашей милости, я думаю, дай пойду выгоню кошку; вышла в сени да и говорю: брысь, проклятая! не идет; я отворила дверь — глядь: корзина; думаю: на что тут корзину поставили?

— Сейчас, что ли, вы услышали плач?

— Только вот чай вашей милости отпустила да и думаю: выгоню проклятую кошку, ан глядь — корзина! я и думаю: верно, с угольями кто занес!

— А не видали ли вы в окно кого-нибудь?.. Ведь вы сидели у окна? — спросил барин.

— Когда я шла сюда, в сенях никого не было. А, бог их знает, может, и видела, как прошел кто, да думала свои...

Между тем любопытная собака обнюхивала корзину.

— Тубо, Фингал! — закричал барин на собаку и, обратясь к ключнице, приказал внести корзину в комнату.

Незаметно и тихо в двери сеней и в окна глядела сотня глаз; беготня была страшная на дворе. Лакеи один за другим появлялись в комнату. Корзину развязали: в ней лежал только что родившийся ребенок, весь красный и сморщенный... Он вертел головкой и искал губами грудь, жалобно пища.

— Ах, владыко! какой здоровый ребенок! — в восторге вскрикнула ключница, вынув его из корзины.

При этом движении письмо упало на пол.

— Что это? письмо?

И барин указал головою на бумагу.

Множество рук протянулось; одна из них, огромного размера, подняла письмо и подала его барину; барин прочитал вслух:

«Всем, что для вас есть святого, заклинаю вас, призрите сироту. Он законнорожденный; но страшные обстоятельства заставляют мать просить вас заменить этому несчастному ребенку родителей. Я уверена, что он будет счастлив, если вы не отвергнете его. Об этом умоляет вас умирающая мать...

179*, августа 17».

Ключница внимательно слушала чтение, укачивая ребенка; она положила ему в ротик свой палец, и ребенок с жадностью сосал его. Окончив чтение, барин печально посмотрел на ребенка и сказал:

— Бедный, что я буду с тобой делать?

— Призрите сироту! вам бог пошлет на его долю! — прослезясь, сказала ключница.

— Хорошо, хорошо... разумеется, не кину его.

— Посмотрите, какой славный мальчик! Есть хочет! — радостно сказала ключница, любуясь, как ребенок тормошил ее палец.

— Взять кормилицу,— сказал барин.

— А на рожке?.. право, я его славно выкормлю на рожке.

— Нет, что за вздор! Нет ли кого с грудным ребенком во дворе? пусть кормит двух.

— Матрену... у ней муж на днях умер, одна как перст, с ребенком, плачет, сердечная! Вот ее и возьмем.

— Ну, пусть кормит... А если нет своих, так из чужой деревни нанять.

— Господи! как можно! — с испугом возразила ключница.— Да у нас, право, так много родят в дворне, что...

— Хорошо,— перебил ее барин,— распорядитесь поскорее; отдаю ребенка на ваши руки: смотрите за ним хорошенько, как за моим сыном.

Дворовые люди переглянулись; ключница обиделась.

— Как можно! — возразила она.— Как за вашим сыном?..— Она остановилась и потом робко договорила: — Может статься, и неблагородный.

— Всё равно, я вам приказываю! — строго сказал барин и пошел.— Пришлите мне чаю, только горячего,— прибавил он, приостановясь в дверях...

Вопросы, восклицания, оханья, аханья наполнили комнату. Ключница каждому порознь рассказывала с мельчайшими подробностями, как и что она думала.

Барин тоже с своей стороны на минуту задумался; он несколько раз читал письмо, и в лице его мелькали и сменялись мысли... Он напился чаю, выкурил трубку, походил, подумал, снова лег и стал читать. Собака уже спала по-прежнему, и скоро полная тишина воцарилась в комнате. Барин тоже задремал. Только огромная муха, неистово жужжа и стуча в стекло, нарушала тишину барского дома.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

ШУТКА

183* года, в августе, утром, часу в десятом, Каютин проснулся и почувствовал страшный холод. Члены его тряслись как в лихорадке, а зубы стучали. Он попробовал плотнее закутаться в халат, заменявший ему одеяло, закрыл даже голову: напрасно! Раскрыв голову, он стал думать о причине такого неестественного холода, продолжая дрожать всем телом. Вместе с ним дрожит, казалось ему, и вся комната; маленький столик перед кроватью танцует, а графин и стакан, поставленные на столике рядом, издают жалобные непрерывные звуки; ширмы, оклеенные бумагой, выгибаются и рокочут, беспрестанно угрожая обрушиться на продрогшего Каютина. И вместе с тем вокруг него такой шум и грохот, как будто экипажи едут не по улице, а в самой его комнате, тотчас за ширмами. Каютин сначала подумал, что ему так кажется со сна; но синие, окоченелые пальцы, которые он на минуту поднес к своим глазам и потом тотчас спрятал, будто обожженные, громко говорили противное.

«Ну так у меня просто нервное расстройство»,— подумал Каютин.

Но звонкий и явственный говор, раздавшийся в ту минуту за ширмами, прекратил его размышления; он весь обратился в слух.

— А ты купи веревочные да смажь ворванью — ей-ей сойдут за ременные! — говорил один голос.

— Оно так, голова, да, вишь, ременные-то нарядней будут, — кричал другой.

«Что за путаница?» — подумал Каютин.

— Рыба жива! — гаркнул вдруг резкий, отрывистый бас над самым его ухом так громко и неожиданно, что Каютин вскочил на своей кровати и с минуту сидел как ошеломленный.

— Ремни... веревки... живая рыба в моей комнате! — закричал он неистовым голосом.

— Стой, стой, стой! Где у те глаза-то? В кабаке пропил? Вишь, толстый пес,— сидишь, не видишь, на человека наехал...

— А ты не иди среди улицы... знай свой тротуар, французская сосулька!..

Такие речи продолжали оскорблять благородный слух Каютина, пока он наскоро одевался.

Жалкое зрелище представилось его глазам, когда он, дрожа и кутаясь как можно плотнее в халат, вышел из-за ширмы в свою комнату.

Надо признаться, что и вообще комната его не представляла великолепного зрелища... Стены ее, впрочем, когда-то были окрашены зеленой краской, а потолок расписан (такое уж убеждение господствует у наших домохозяев, что как бы ни была плоха и дешева квартира, но потолок непременно должен быть расписан); пол тоже когда-то был выкрашен. Письменный стол, несколько плетеных стульев, голландский диван, с которого, неизвестно почему, тотчас вскакивали с неприятным восклицанием все пробовавшие на него присесть, наконец, известные ширмы, за которыми помещалась кровать хозяина,— вот вся мебель комнаты.

— Разбойник! — воскликнул молодой человек, окинув глазами свою комнату.

Он остановился среди пола, с поникшей головой, в глубоком раздумье.

Каютин был очень хорош собой; но, взглянув на него в ту минуту, трудно было не расхохотаться: так плачевна была его фигура!

— А я думал,— продолжал Каютин после долгого молчания,— что он шутит! Вот тебе и шутки!

И он подошел к единственному окну своей квартиры. Осенний утренний ветер, покачнув старую запыленную ерань и зашелестев листьями золотого дерева, пахнул ему в грудь таким резким, свежим холодом, что не было уже никакого сомнения в горькой действительности: рама выставлена!..

Первым делом Каютина, когда он несколько успокоился, было собрать и спрятать свои бумаги, сброшенные ветром на пол с письменного стола; потом он хотел одеться и идти к хозяину браниться. Но, к удивлению и ужасу своему, он не нашел своего платья, которое, возвратясь вчера очень поздно домой, наскоро сбросил и оставил на своем голландском диване, спеша добраться поскорей до кровати. Выбранив опять хозяина, он отворил дверь в сени и стал кричать, подняв голову вверх, по направлению небольшой деревянной лестницы: «Хозяин! хозяин!» Но никто не являлся на его крики. Он стал кричать громче — напрасно! Тогда, потеряв терпение, он воротился в свою комнату, взял длинный чубук, стал на стул и начал стучать изо всей силы в потолок, сопровождая каждый удар ужасными криками: «Хозяин! хозяин!»

Но хозяин не являлся...

«Спит старый хрыч!» — подумал Каютин и усилил свои удары и крики — и то напрасно!

«Нечего делать, надо идти к нему... а тут, пожалуй, еще что-нибудь украдут... да, впрочем, что украсть-то?»

Он невольно улыбнулся и весело стал подниматься по деревянной лестнице... Великим, завидным благом в жизни обладал Каютин: живым, беспечным, великодушным характером, который не давал ему останавливаться долго ни на какой неприятности. Озадаченный в первую минуту, теперь он уже находил свое приключение не более как забавным и сам первый готов был над ним смеяться.

Когда широкий путь открыт перед нами, когда много у человека впереди, легко переносятся мелкие несчастия и неудачи — в надежде будущих благ. Так точно охотно сознается человек в мелочных недостатках и ошибках своих, пока еще надеется в будущем проявить громадную силу. Но нелегко переносит и мелочные неудачи тот, кто уже понял, что вся жизнь его заключена в мелочах; но несносно мелочно и раздражительно самолюбие тех, в ком бесплодные попытки поселили уже недоверие к собственным силам.

Хозяин Каютина, Афанасий Петрович Доможиров, владелец одноэтажного деревянного дома с мезонином, вел жизнь примерную. Он обладал любящим сердцем. Овдовев в средние лета, он сосредоточил значительную часть любви своей на единственном сыне, которому был теперь уже десятый год; но так как любви еще оставалось довольно в его сердце, то он завел себе трех скворцов, которых

клетки стояли рядом на огромном венецианском окне его квартиры, выходившем на улицу; небольшой оставшийся затем запас любви он отдал дымчатой кошке с четырьмя разношерстными котятами и ежу, который бо́льшую часть дня спал за печкой, свернувшись в клубок, а ночью отбивал практику у кошек, свободно расхаживая по всей квартире с свойственным его ежовой походке громким и мерным постукиваньем.

Понятно, что и самая жизнь Афанасия Петровича, естественно, устраивалась приятнейшим образом: бо́льшая часть ее проходила в наставнических занятиях. Накушавшись чаю, который имел обыкновение разливать сам, он звал сына. Сын брал любимую книгу Доможирова «Генеральный смотр совести Наполеона, или Беседа Наполеона с совестию, с присовокуплением стихов под названием „Посрамленный Завоеватель света, или Неистовый Корсиканец в своем уничижении“» (1813). Начиналось ученье. Сын читал по складам, с помощью указки, а отец принимал глубокомысленную физиономию, которую сохранял во всё продолжение класса, хотя и чувствовал оттого ломоту в бровях. Иногда на стол вскакивал резвый котенок, садился на задние лапы и с изумлением следил за движением указки, дотрагиваясь до нее лапкой. Тогда и отец и сын забывали свое дело и с умилением любовались проказами грациозного котенка. Как ни важно казалось Доможирову воспитание сына, нежное сердце его брало свое; он заигрывал с котенком, кидал ему скомканную бумажку; котенок прыгал, Доможиров тоже начинал прыгать, присев на корточки; сын следовал его примеру; скоро к общей беготне присоединялись и другие котята: всё прыгало, не исключая и встревоженных скворцов, которые поднимали страшную возню в своих клетках. Только еж хранил обычное спокойствие и безучастно смотрел из своей лазейки, строго поводя своей остренькой мордой.

«Посрамленного Завоевателя» забывали.

Погладив любимых котят, пощипав неловких и непослушных, Доможиров настраивал свою физиономию на веселый лад и начинал посвистывать и попевать. Скворцы любовно вторили ему. Сына Афанасий Петрович учил только тому, чему сам учился: истории, катехизису и русской грамматике; но, видно, он почитал свои знания в иностранных языках достаточными для скворцов, потому что, окончив насвистыванье и напеванье, обыкновенно начинал, нагнувшись к клеткам, громко и явственно произносить все

знакомые ему французские и немецкие слова... И так продолжал он до той поры, пока какой-нибудь скворушка не издавал звуков, похожих на «ко-ман-ву-пор-те-ву» или «бон-жур»... Тогда, в гордом сознании, что день не потерян, Афанасий Петрович клал на окно красную сафьянную подушку и из учителя обращался в ученика, обогащая свой любознательный ум наблюдениями. Случалось (и очень часто), хозяйка противоположного дома, толстая, краснощекая женщина, тоже сидела у окна, и тогда у них завязывался через улицу разговор.

— Как говядина вздорожала, Афанасий Петрович, просто подступу нет!

— Вот,— говорит Афанасий Петрович, не упускавший случая выказать прочность своего благосостояния,— копейку на фунт прибыло, так вы уж и охаете... Побойтесь бога, матушка... Что мы, нищие, что ли?

— Ну и не миллионщики, Афанасий Петрович...

— Кто говорит, Василиса Ивановна! только, по мне, знаете, я даже рад: пусть бедный торговец пооперится.

Афанасий Петрович любил озадачивать неожиданно, почему пускал иногда в ход мнения, которых не разделял в глубине души.

— Что вы, Афанасий Петрович, побойтесь бога! ведь они разбойники!

— Ну, есть разбойники, есть и не разбойники,— глубокомысленно замечал Доможиров.

Но тут раздавался грохот экипажа, и разговор быстро переменялся.

— Вишь, расфрантилась! — говорила хозяйка, провожая глазами проехавшую даму.

— Ну уж и расфрантилась! — возражал одержимый духом противоречия Доможиров.— Просто одета, как быть должно. Посмотрели бы вы, как рядятся... Вот я намедни был в Павловске, у тещи...

И Доможиров принимался описывать павловское гулянье.

После обеда Доможиров непременно спал, а по вечерам читал своему ежу правила терпимости и общительности; но суровый еж упорно презирал котят и открыто предпочитал их обществу гордое одиночество...

Но возвратимся к рассказу.

Ни проклятий, ни стуку, ни криков Каютина Доможиров не слыхал: он сам кричал в то время не тише его, погруженный в преподавание иностранных языков сквор-

цам своим. Он даже не слыхал шагов Каютина, раздавшихся в его комнате, выкрикивая: «ко-ман-ву-пор-те-ву!»

И Каютин повторил за ним тем же тоном: «ко-ман-ву-пор-те-ву!» — и тронул его за плечо.

— Что вы! — закричал Доможиров, вздрогнув и обернувшись к нему.— Собьете! Птица нежная, чужого голоса не поймет, да и робка...

— Что вы?.. Я ничего... а вы что?..— начал Каютин полушутливым, полусердитым тоном, в котором в то же время слышалась детская наивность, придававшая особенную прелесть его разговору.— Вы бога не боитесь! что вы со мной сделали?

— Раму выставил.

— А зачем?

— Я вам говорил: отдайте деньги или съезжайте, а не то раму выставлю.

— Съезжайте! вам легко сказать: съезжайте,— сказал Каютин и посмотрел как-то особенно на верхние окна противоположного дома.

— Ну так деньги отдали бы...

— Деньги! Ну что вам мои деньги? Пропадете, что ли, без моих сорока рублей? а?

Доможиров молчал.

— Ведь у вас дом свой, незаложенный, и прошлый год только каменный фундамент подвели... Ну, говорите, так или нет?

— Ну, так.

— И в доме всё слава богу, всего вдоволь! и сын в науках успехи оказывает, и скворушки говорить начинают, и еж здоров... здоров?

— Здоров.

— И капиталец в ломбарде лежит порядочный, и долгов нет?.. и кланяться ни за чем к чужим людям не пойдете?..

— Да,— самодовольно отвечал Афанасий Петрович, задетый за чувствительную струну.

— Ну так что же для вас мои сорок рублей!.. сущая дрянь! Ну, говорите, дрянь?

— Дрянь,— тихо и неохотно отвечал Доможиров.

— Так зачем же вы раму-то выставили?

— Я пошутил,— сказал Афанасий Петрович, которому становилось совестно.

— Пошутил! хороша шутка! А у меня вот, по вашей милости, платье украли... только и осталось...

Не успел он указать ему на свой халат, как господин Доможиров залился громким хохотом. И он хохотал минут пять сряду так добродушно и сладко, что, глядя на него, и Каютину, который в первую минуту почувствовал было досаду, сделалось весело.

— Перестаньте! вы скворцов испугали! Вон они как закричали и запрыгали, точно шальные!

— Так ничего, кроме халата, и не осталось? — спросил Доможиров, сдерживая смех.

— Ничего.

И Доможиров опять покатился. В самом деле, случай был редкий. Давно уже ему не удавалось сыграть такой шутки. Доможиров действительно был добрый человек, но он любил «пошутить», и шутки его не отличались особенной разборчивостью и деликатностью. Раз, когда он еще служил, его пригласили на свадьбу в деревню. Женился его дальний родственник на бедной девушке, гувернантке своего соседа. Когда невесту одевали к венцу, вдруг явился Доможиров с маленькой девочкой, одетой по-крестьянски. Он подвел ее к невесте и сказал: «Вот, рекомендую вам, сударыня, дочь вашего будущего мужа». Невеста упала в обморок, а Доможиров залился добродушнейшим хохотом, подперши бока. В другой раз племянник подбежал к нему и в восторге бросился ему на шею, крича: «Ах, дядюшка! если б вы знали мое счастье! Поздравьте меня! я женюсь, жду только отпуска, чтоб ехать в Москву. А покуда вот ее портрет — она мне прислала... не правда ли, красавица?..» — И он с восторгом поцеловал миниатюрный портрет своей невесты и показал его дяде. «Дай мне его на минуту»,— сказал Доможиров. Он вышел с портретом в другую комнату и через минуту возвратил молодому человеку портрет с выколотыми глазами. Случилось также, что к Доможирову зашел его закадычный друг, когда он переливал стоградусный спирт. «Что, ты водку переливаешь?» — «Водку; не хочешь ли?» Закадычный друг ободрал себе глотку, краснел и таращил глаза, страшно кашляя, а Доможиров хохотал как сумасшедший...

Вот какого рода шутник был Доможиров. Но в настоящем случае он вовсе не ожидал такого эффекта. Возвратясь домой часу в десятом вечера и заметив, что молодого человека нет еще дома, он подумал, как бы удивился Каютин, если б, пришедши домой, застал у себя раму выставленною. И вот уморительная картина нарисовалась

в воображении Доможирова: Каютин просидит всю ночь, не смыкая глаз и сторожа свое добро, порядочно продрогнет,— а поутру придет к нему, покричит, посердится; он предложит ему чайку, молодой человек согреется и сам станет вместе с ним смеяться его остроумной выдумке. А потом раму можно опять вставить. К чести некорыстолюбивого сердца Доможирова нужно прибавить, что сорок рублей вовсе не входили в его соображения. Но план шутки так ему понравился, что он тут же привел в исполнение свою мысль, к чему не представилось ему никакого затруднения, потому что Каютин перестал с некоторого времени брать ключ с собой, а клал его в щель под дверью, о чем знал и Доможиров. А почему Каютин перестал с собой брать ключ, не худо принять к сведению всем бедным молодым людям, живущим без семьи и прислуги.

Раз Каютин провел вечер чрезвычайно приятно в одном большом доме на Невском проспекте, у знакомого ему важного и богатого человека,— вечер с музыкою, танцами, ужином и шампанским. В отличном расположении духа, но очень усталый, часу в четвертом ночи, возвращался он пешком (денег на извозчика не было) на свою Петербургскую сторону, едва пересиливая дремоту. И вот наконец добрался он до своей двери и опустил руку в карман за ключом, думая о близкой минуте успокоения. Но, обшарив все карманы, он не нашел ключа! По всей вероятности, ключ выпал из кармана его пальто и очень спокойно лежит теперь в прихожей богатого дома на Невском проспекте... Делать нечего! Каютин воротился, перебудил всех людей в доме: ключ действительно нашелся в прихожей, под вешалкой,— и только к восьми часам утра, совершенно измученный, воротился Каютин домой... Почти с такого же вечера, в таких же обстоятельствах и в таком же отличном, но полусонном состоянии пришел Каютин к своей двери и в ту роковую ночь, наутро которой началась наша история. Но как ключ был под дверью, то он беспрепятственно вошел в свою квартиру, с полусомкнутыми глазами разделся на своем голландском диване и поскорей отправился за ширмы, где и проспал благополучно до самой той минуты, когда почувствовал неестественный холод и послышал стукотню собственных зубов.

— Ну, извините... извините,— говорил Афанасий Петрович.— Я никак не думал, что вы не заметите.

— Извиняю,— сказал Каютин торжественно.— Только научите, что мне делать? мне не в чем выйти!

— Наденьте мой фрак,— добродушно сказал Доможиров и опять покатился, пораженный несообразностью своего предложения: Каютин был высок и худ, а Доможиров низок и широкоплеч.

— Нечего с вами делать! — сказал Каютин, немного рассерженный.— Пойду рыться в своем чемодане: не найду ли чего в старом платье...

И он ушел.

Глава II

ПУСТАЯ ПРИЧИНА ПОРОДИЛА ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ

Едва вытащил Каютин на середину своей комнаты старый, запыленный чемодан и принялся его расшнуровывать, как послышался стук в дверь.

— Войдите! — закричал он, а сам убежал за ширмы.

В комнату вошла девушка лет семнадцати. Черты лица ее были благородны и привлекательны, необыкновенной белизны лоб, резко оттененный свежестью щек, нежный носик, будто выточенный искусным художником из слоновой кости, большие черные глаза с длинными, густыми ресницами, рот удивительной формы, особенно выигрывавший при улыбке, когда сверкающая белизна зубов разительно выказывала яркость ее губ и чудную их форму: такова была вошедшая девушка. Небогатый костюм ее отличался безукоризненной чистотой и грацией: ловко сидел на ней темный шерстяной бурнус, отлично сшитый, и простенькая соломенная шляпка с синими лентами, положенными крест-накрест, удивительно шла к ее хорошенькой головке.

В маленькой красивой ручке держала она узелок, завязанный в фуляр. Ее узенькие ножки обуты были очень тщательно, что невольно вас поражало.

— Кто там? — спросил Каютин из-за ширмы.

— Я,— отвечала она гармоническим голосом.

— Ах, Полинька! голубушка! как я рад!

— Скажите, что у вас делается?

— Ах, ужасные вещи!

— Да вы живы?

— Жив!

— И здоровы?

— Здоров... Представьте, мой хозяин...

— Знаю: раму выставил... Я иду от Надежды Сергеевны, посмотрела на ваше окно: рамы нет; я испугалась.

— Чего ж бояться!

— Да покажитесь!

— Нет, нельзя.

— Ну так я уйду. А вы приходите ко мне: я кофею приготовлю.

— Ах, ужасная жажда!.. Мы вчера ужинали, нас было много; пили... я за ваше здоровье выпил...

И Каютин остановился.

Лицо Полиньки нахмурилось; она тяжело вздохнула.

— Полинька! Палагея Ивановна,— с испугом закричал Каютин.

Она молчала.

Он проткнул немного ширму и посмотрел на ее задумчивое лицо. Полинька развеселилась, увидав его глаз.

— Зачем вы ширму разорвали?

— Чтобы вас видеть... Ах, как мне хотелось вас видеть! Разошлись мы часу в третьем ночи; я и пошел бродить мимо окон Надежды Сергеевны: часа три ходил,— всё думал вас увидеть; мне так много, так много хотелось сказать вам.

Глаз Каютина исчез. Ширмы затрещали; сделав в них окошечко, он высунул голову и сказал: «Здравствуйте!»

Она подошла поближе.

— Полинька, голубушка, поцелуйте меня!

— Вот прекрасно! с какой радости я буду вас целовать!

— Бедный я, несчастный! — начал жалобным голосом Каютин.— Никому-то меня не жаль... Ничего-то у меня нет... всё украли... И Полинька на меня сердится!

— Украли? — с испугом спросила Полинька.— Да говорите же!

— Вот прекрасно! с какой радости я буду вам говорить!

Полинька подставила ему свою розовую щечку, но так далеко, что, как ни вытягивал он свои губы, всё безуспешно.

Полинька смеялась громко и весело. Каютин сердился:

— Нехорошо, Поля, смеяться так; а еще меня упрекала в веселости!

— Я вас упрекала в ветрености, а не в веселости. Да кто же вам мешает? Извольте, я позволяю!

И Полинька лукаво нахмурилась и опять подставила щеку; но при новой попытке Каютина ширмы затрещали и покачнулись на Полиньку. Она в испуге отскочила, с криком: «Ай, уроните!»

— Проклятая ширма! — сердито сказал Каютин.

— Да скажите мне лучше, отчего вы не можете одеться? — спросила Полинька и совсем неожиданно поцеловала его.

— У меня платье украли,— весело отвечал Каютин.

— Новое? — с испугом перебила Полинька.

— Новое.

И он рассказал ей свое приключение.

— Ах, бедненький! да ты, я думаю, страшно перезяб...

— Ах, озяб, да... ужасно озяб,— отвечал он, вспомнив свое пробуждение.

— Надень мой бурнус.

— Нет, зачем? теперь я согрелся; ты озябнешь.

— Я не провела целой ночи на холоду.

И Полинька стала снимать бурнус.

— Не надо, Полинька; ей-богу, мне тепло... Ты вот только... подойди опять поближе...

И он протянул губы; но Полинька не слушалась его.

— Ах, какое платьице! ах, какая ты хорошенькая! — закричал он в восторге, когда Полинька сняла бурнус.— Ну, полно же... ну, подойди же... поцелуй... Ведь ты сама сказала, что я бедный: так утешь же меня!

— Выходите сюда,— сказала Полинька и перекинула ему через ширмы бурнус.

Каютин весело выбежал из-за ширм в ее бурнусе. Он остановился перед ней, положил руки на ее плечи и долго смотрел на нее молча. Много любви и счастья выражал его взгляд. Полинька тоже смотрела на него не бесчувственными глазами.

И вдруг обоим им стало грустно. Светлое выражение их глаз помутилось. Они еще продолжали смотреть друг на друга, как у Полиньки навернулись на глазах слезы. Может быть, одна и та же мысль пришла им в голову в одно время,— мысль, что прекрасное их счастье, которое теперь в их руках, они губят сами, что как неделю, месяц, полгода тому назад, так и теперь положение их столько же неопределенно, что бог весть когда оно определится... и что время, золотое, невозвратное время, идет!.. По край-

ней мере Каютин не сомневался, что такие мысли отуманили светлые глазки Полиньки. Он хорошо подметил за минуту, сквозь отверстие ширм, задумчивое, грустное выражение ее лица... Теперь лицо ее было еще печальнее. И, глядя на нее, Каютин внутренно содрогнулся: совесть громко заговорила в нем...

Бывают минуты, когда сознание недостатков своих, упреки самому себе, забытые, снова данные и снова забытые обеты — всё, что в обыкновенную пору урывками и понемногу тревожит и тяготит нашу совесть,— всё просыпается вдруг и начинает говорить в душе разом. Такая минута настала для него.

— Полинька,— сказал он, став перед ней на колени и пожимая ее руку,— Полинька! ты молчишь; но я знаю, что ты теперь думаешь... Знаю, что думаешь ты всякий раз, когда вдруг лицо у тебя нахмурится и слезы засверкают в глазах.. знаю, сколько упреков, горьких, справедливых, убийственных, кипит тогда у тебя на душе. Но ты добра, ты великодушна: ты молчишь... И не говори... я сам знаю... я ужасный человек, я злодей. Помнишь, когда я вымолил у тебя твою руку, я клялся, что буду всеми силами трудиться, чтоб устроить нашу жизнь, что непременно устрою ее... и через несколько дней я забыл свою клятву... я двадцать раз обещал тебе приняться за дело, искать себе работы, ехать куда-нибудь, ехать хоть на край света, только бы зарабатывать деньги,— и на другой день, много на третий, я всё забывал!.. Вот еще вчера пошел я с такими прекрасными мыслями: получу деньги, расплачусь с долгами, примусь за дело... воротился...

— Зато прогулялся мимо окон Надежды Сергеевны! — перебила Полинька, улыбаясь сквозь слезы.

— О, я ужасный человек, Полинька! — продолжал Каютин в совершенном отчаянии.— Я недостоин тебя... я не стою твоего прощения... ты никогда не простишь меня!..

— Ты ни в чем не виноват,— тихо сказала она и провела рукой по его волосам...

— Не старайся утешить меня... не обманывай меня... я ведь знаю: ты всё видела, ты страдала, но не хотела говорить; только личико твое становилось иногда так печально, слезы навертывались на глаза. Но не думай, чтоб я не замечал ничего: мне прямо на душу падали твои слезы, у меня на душе отзывались они. Они меня теперь душат, разрывают меня, Полинька... только теперь я по-

чувствовал, что я делал, как губил и твое и мое счастье... Слушай же, Полинька!

И он поднял голову и посмотрел на нее. Взгляд его выражал чистосердечное раскаяние и твердую, непоколебимую решимость. Она стояла не шевелясь, с заметным усилием сдерживая рыдание...

— Я был ветреник, дурак, эгоист! я был недостоин тебя... Но я теперь другой человек! Клянусь тебе, Полинька, клянусь моей жизнью, моею честью, любовью к тебе, я буду другой... Я исполню твою молчаливую просьбу, которую читал я в глазах твоих всякий раз, как возвращался с пирушки, как просиживал целые дни, недели и месяцы сложа руки. Я исполню клятву, которую ношу в своем сердце с той минуты, как увидел тебя: я сделаю тебя счастливою!.. Я соберу все мои силы,— буду работать без сна и без отдыха, добьюсь, что жизнь наша будет обеспечена, счастье наше будет упрочено!.. Полинька! — заключил он, подняв к ней умоляющий взгляд.— Угадал ли я твои мысли? успокоил ли я тебя сколько-нибудь? веришь ли ты мне?

Она упала ему на грудь и зарыдала. Но рыдания ее были сладки и успокоительны: она ему верила, верила столько же, сколько сам он в ту минуту верил своим обетам и надеждам...

Сидя на полу бедной комнаты, где старый чемодан заменял им кресла, они плакали, пожимали друг другу руку, сквозь слезы улыбались друг другу. Наконец утихло их волнение, так внезапно вспыхнувшее и столь бурное. Тогда они стали спокойнее говорить о своем положении.

— В Петербурге мне нет счастья,— говорил Каютин.— Да в Петербурге я и не могу серьезно работать: много соблазна,— трудно оставить старые привычки, не видаться с знакомыми.

— Не забегать ко мне раз по пяти в день,— прибавила Полинька.

— Нет, Полинька, как можно! Ты мне не мешаешь работать,— быстро сказал Каютин и покраснел, вспомнив, как часто манкировал уроками, чтоб поскорей увидать свою Полиньку.

— В Петербурге тебе нельзя работать, а в провинции делать нечего,— сказала Полинька.

— Нечего! — воскликнул Каютин.— Как нечего? Напротив, там-то и работа нашему брату! Недаром говорят,— продолжал он с шутливой торжественностью,— что

отечество наше велико и обильно! В разнообразной производительности наших лесов и гор, земель и необъятных рек скрываются неисчерпаемые источники богатств, неразработанные, нетронутые! Нужно только уменье да твердая, железная воля... Бывают же примеры и у нас, что человек, не имевший гроша, через десять-двадцать лет ворочает сотнями тысяч; а отчего? он отказывает себе во всём, отказывается от всего... обрекает себя на бессрочную разлуку с родным углом, с детьми, со всем дорогим его сердцу... С опасностью жизни переплывает он огромные пространства на плоту, на дрянной барке, мерзнет, мокнет, питается бог знает чем, и надежда выгодно сбыть дрова, получить гривну на рубль за доставку чужого хлеба подкрепляет и одушевляет его в долгом, скучном и опасном плавании. Только успел он вздохнуть спокойно, почувствовав под ногами твердую землю, как новый выгодный оборот увлекает его часто на совершенно противоположный конец нашего необъятного царства. И вот через несколько месяцев он уже мчится на оленях по унылой и однообразной тундре, покупает, выменивает у дикарей звериные шкуры, братается с ними... А через год ему, может быть, придется быть в Сибири... Там опять борьба, лишения, вечный страх и вечная, неумирающая надежда... Вот как куются денежки, Полинька! «Счастье!» — говорим мы, когда такой человек наконец воротится к нам с миллионом. А многие без дальних справок просто пожалуют его в плуты... Не все наживаются плутнями и решительно никто не наживался без долгого, упорного, самоотверженного труда... Но мы белоручки; мы ждем, чтоб деньги сами пришли к нам, упали с неба... о, тогда мы радехоньки!.. да притом все мы большие господа: если мы не служим, так нам давай по крайней мере занятие профессора, литератора, артиста... Звание артиста конек наш,— а купец, подрядчик, промышленник... нам обидно и подумать! Как будто быть деятельным купцом не почетнее и не полезнее, чем ничего не делающим гулякой, каков я, например... а, не правда ли, Полинька?

— Ну, ты еще будешь делать,— отвечала она.— Ведь ты год только как вышел из университета: когда же тебе...

— И еще надо взять в расчет,— начал Каютин, увлеченный своею мыслью,— что люди, пускающиеся у нас в такие отважные промыслы, все они без образования, даже часто без сведений, необходимых в том деле, которому они посвятили себя. Врожденный ум, инстинкт — скорее:

железная настойчивость, постепенно приобретаемый опыт, русская сметливость да русское авось — вот единственные их руководители... Что же может сделать человек, у которого при доброй воле, трудолюбии, настойчивости и уже, разумеется, есть еще сведения?.. Я имею,— продолжал Каютин, одушевляясь более и более и начиная скорыми шагами ходить по комнате,— некоторые сведения в механике, в горном искусстве... водяные пути сообщения были всегда предметом особенных моих занятий...

— Поезжай в провинцию! — тихо и нерешительно сказала Полинька.

Каютин смешался. Будто ушат холодной воды вылили на него.

— Да, да... только как же, Полинька? ведь тогда нам нужно будет расстаться...

— И расстанемся.

— На несколько лет,— договорил он.

— Что ж делать!

— Нет, Полинька, нет... не говори! я не могу жить без тебя.

Полинька с упреком посмотрела на него.

— А твоя клятва? — сказала она.

Каютин с минуту молчал.

— Я еду, еду! — наконец воскликнул он решительно.— Прости меня, Полинька, за минутное малодушие!.. Трудно мне будет расстаться с тобою... но так и быть... я еду, завтра же еду!.. Пусть не считают меня малодушным! пусть на меня не падает упрек, что я погубил наше счастье! Полинька! — заключил Каютин, вздрогнув и побледнев внезапно.— И у тебя слезы...

— Нет,— быстро сказала она, сделав над собою усилие и стараясь улыбнуться весело.— Мы будем писать...

— Да, каждую почту,— сказал он.— Руку, Полинька! жить и умереть друг для друга, что бы ни случилось. Не на день расстаемся мы, не к родным, не к друзьям, не на готовый хлеб еду... Бог знает, что ожидает меня... Бог знает, что может случиться и с тобою... Ах, голубушка! сердце у меня обливается кровью при мысли, что будет с тобою?.. Ведь без меня ты уж решительно одна здесь останешься...

— Да ведь и ты тоже один будешь.

— Один... один... Я дело другое: я мужчина...

— Ну а я женщина,— шутя сказала Полинька.

— Клянусь же тебе, Полинька, что, куда бы ни занесла меня судьба, что бы ни случилось со мной, какие бы несчастия ни суждено мне вытерпеть, ни на минуту не расстанусь я с мыслью о тебе; она будет поддерживать меня в неудачах и несчастиях... и вся моя цель, мое постоянное желание будет поскорей воротиться к тебе... Верь мне, Полинька...

— Обещай только беречь себя для меня, и больше ничего не надо,— сказала Полинька.

— Да, да... я буду беречь себя... А ты, Полинька? как будешь жить ты... одна... работой... Тяжела такая жизнь.

— Жила же до сих пор,— сказала она.

— Жила... да ведь и я жил... и еще как жил! Ах, Полинька, скоро ли будем мы опять так жить?..

Он взглянул на Полиньку. Слезы текли по ее щекам... Он тоже зарыдал.

Но то была минутная и последняя вспышка горького чувства, разрывавшего их сердца. Когда через минуту Полинька подняла свою голову, скрытую на груди Каютина, лицо ее казалось уже светло и спокойно. Каютин ободрился.

— Прежде всего я поеду к дяде,— говорил он, гладя ее черные роскошные волосы.— Поживу у старика, буду ухаживать за ним... Может быть, мне удастся выпросить у него несколько тысяч на разживу... Я буду присутствовать на всех ярмарках, на всех значительных рынках, сведу знакомство с купцами, с помещиками, стану присматриваться, прислушиваться... и тогда увижу, чем мне выгоднее будет заняться... Ах, какая досада, что мне нельзя завтра же ехать!

— Отчего!

— У меня нет ни гроша. Буду работать день и ночь, заработаю рублей триста — и марш.

— Тебе незачем терять здесь напрасно время,— сказала Полинька,— у меня есть триста рублей.

— Полинька! и ты хочешь, чтоб я взял у тебя деньги, которые заработала ты своими трудами?.. Я — у тебя! Полинька! пощади меня!

— Глупости! — отвечала Полинька.— Мне деньги не нужны, а тебе без них нельзя обойтись... что ж тут странного?

— Ты можешь захворать... Тебе захочется недельку погулять, отдохнуть, а я лишу тебя...

Полинька надулась.

— Так ты не хочешь,— сказала она сердито,— начать моими деньгами?.. Когда ты воротишься богачом, мне весело будет вспоминать, что наше счастье началось с моих денег...

— Полинька! голубушка! — воскликнул Каютин, целуя ее руки и едва удерживая слезы.— Ты ангел! я беру твои деньги... Но, клянусь, я ворочу тебе их с хорошими процентами: через три года (я уверен, что раньше; но я нарочно беру самый дальний срок), через три года я вернусь к тебе с пятьюдесятью тысячами... непременно... непременно!.. Ведь пятьдесят тысяч для нас довольно, Полинька! пятьдесят тысяч дают казенных процентов две тысячи; да заработать я могу легко две-три тысячи; вот до пяти тысяч в год... на что нам больше!

— Да я еще заработаю...— начала Полинька.

— Э, Полинька! — перебил Каютин.— На твою работу нам нельзя рассчитывать.

— Отчего же?

— Хозяйство...

— Прекрасно! что ж такое! управилась с хозяйством, да и за работу...

— А дети!

— Какие дети? — спросила Полинька и слегка покраснела.

— Наши дети... ведь у нас будут дети, Полинька.

— Чем рассчитывать проценты с пятидесяти тысяч, которых еще нет, да будущие доходы,— сказала Полинька сердито,— вы лучше подумайте, в чем вы сегодня со двора выйдете...

Каютин отыскал старое пальто, которое давно уже перестал носить, но которое, впрочем, оказалось хоть куда, только петли прорваны. Полинька принялась их заштопывать. В полчаса всё было готово. Каютин нарядился в пальто, а Полинька получила во владение свой бурнус.

Уходя, она встретила в сенях дворника с рамой; за ним шел и сам Афанасий Петрович, желавший лично присутствовать при возвращении рамы на старое место.

— А какову штучку сыграл я с вашим женишком! — сказал он ей, кланяясь с стариковской любезностью и самодовольно указывая на раму.— А?..

И он расхохотался на весь свой маленький деревянный дом.

Глава III

ЗНАКОМСТВО

Жара была страшная. В Струнниковом переулке, и всегда не слишком оживленном, царствовала глубокая тишина. Кругом всё, утомленное, расслабленное, бездействовало... Не слышалось ни чириканья воробьев, ни воркованья голубей. Курицы, вырыв себе ямы и спрятав нос под крыло, дремали. Грязная лохматая собака в изнеможении лежала в тени, высунув язык, и тяжело дышала. Только неутомимые мухи, жужжа, крутились в воздухе и безжалостно щекотали собаку; выведенная из терпения, она яростно их ловила с неистовым стуком зубов и проворно глотала...

Переулок приходился почти на краю города, и стук экипажей не мешал слушать всему населению тоненький голос башмачника, который, прилежно работая и пристукивая, пел немецкую песню у растворенного окна; ему тихо вторила молоденькая черноглазая девушка, сидевшая у окна второго этажа. Вокруг нее лежали лоскутки только что раскроенного платья. Но она не слишком прилежно работала, поминутно поглядывая искоса на окно противоположного дома, выкрашенного зеленой краской; при каждом взгляде яркий румянец покрывал ее щеки, хотя окно, возбуждавшее ее любопытство, по-видимому, не представляло ничего особенного. Золотое дерево и огромная старая ерань, густо разросшаяся, закрывали его плотною зеленою стеною. Изредка листья колыхались, и тогда только можно было заметить два черные глаза, неподвижно устремленные на девушку.

Было так тихо, будто всё замерло в воздухе; солнце только что перешло за полдень и равно на все предметы разливало жгучие лучи. Вдруг пахнул теплый ветерок; солнце ушло за тучу; пыль закружилась на тротуаре и на улице, как бы вальсируя. В одну минуту стало темнее; пыль, вертясь, поднялась столбом кверху; рамы застучали и заскрипели, покачиваясь.

Девушка так была занята, что нечаянный стук рамы заставил ее вздрогнуть; ветер с силою рванулся к ней в комнату, лоскутки разлетелись по полу, а рукав, лежавший на окне, легко взлетел на воздух и вертелся по прихоти ветра...

Она вскрикнула и печально следила за рукавом. Из

зеленого дома выбежал высокий молодой человек, одетый очень небрежно, и как исступленный пустился ловить кисейный рукав, который, то опускаясь до мостовой, то взвиваясь высоко, будто дразнил своего преследователя, не даваясь ему в руки; длинные волосы молодого человека развевались по ветру, и пыль засыпала ему глаза.

Девушка следила за каждым его движением с таким же участием и замиранием сердца, с каким красавица средних веков не сводила глаз с турнира, где сражался ее избранный.

Наконец молодой человек устал, и движения его стали медленнее; но вдруг он высоко подпрыгнул, ловко схватил рукав и с торжеством побежал назад.

Девушка радостно вскрикнула и, покраснев, проворно скрылась от окна.

Волнение на улице между тем увеличилось; курицы, кудахтая и махая крыльями, побежали под ворота; некоторые забились под лавку у ворот одного дома и, нахохлившись, стояли рядом в боязливом ожидании; собака лениво встала, чихая от пыли, и, вытянувшись, тоже нырнула за курами под ворота. Из многих окон выставились руки, и рамы со стуком начали запираться.

Глухие удары грома изредка потрясали окна; грозная туча медленно надвигалась,— становилось почти темно.

Но не все слышали удары грома и видели тучу — предвестницу сильной грозы.

Молодой человек робко вошел в комнату черноглазой девушки. Светлая горница, очень чистенькая, комод с туалетом, шкаф, диван, соломенные стулья — вот что увидел молодой человек; но он почувствовал такую неловкость, как будто очутился во дворце.

— Кто там? — спросила девушка, не поворачивая головы и продолжая шить, по-видимому, очень прилежно.

Человек спокойный мог заметить в ее голосе волнение; но гостю было не до наблюдений,— сам сильно взволнованный, он отвечал, тяжело дыша:

— Я-с.

— Ах! — вскрикнула девушка и повернула к нему свое розовое личико.

Так они довольно долго смотрели друг на друга в молчании.

— Вот рукав,— первый начал молодой человек.

Он подал ей рукав. Она сказала:

2*

— Как я вам благодарна!.. я боялась, чтоб он не запачкался!

— Нет, он только немного в пыли... И какой миленький рисунок; верно...

— Это чужое! — перебила его девушка и, не зная, что еще сказать, вдруг спросила: — А вы далеко жи... ве...те?

Она страшно покраснела и едва могла договорить свой вопрос.

— О, очень близко! вот-с, вот мое окно, с зеленью.

И он лукаво посмотрел на девушку.

— Вы любите цветы? — спросила она.

— Очень; только это хозяйские; я так уж с ними и нанял. А вы любите?

— Люблю; это всё моего саженья; вот я посадила лимонное зерно: посмотрите, как выросло в год!

И она подала молодому человеку отросток лимонного дерева.

— Да-с, очень большое...

Запас для разговора вдруг истощился. Наступило долгое молчание.

— Садитесь,— сказала девушка, подвигая стул своему гостю.

— Благодарю, мне пора домой...

В то самое время ярко сверкнула молния; они оба вздрогнули; девушка перекрестилась. Страшный удар грома потряс ставни.

— Ах, какая гроза! — воскликнула девушка бледнея.

— Вы боитесь грому? — спросил гость.

— Нет, это так... вдруг, неожиданно... я оттого испугалась.

Удары грома повторялись чаще и чаще, и вдруг дождь хлынул рекой, барабаня в крышу, стекла и железные подоконники.

— Какой дождь!

— Теперь уж гроза не опасна.

— Садитесь, переждите! — весело сказала девушка.

Дождь дал ей право на беседу с молодым человеком, и она почувствовала себя свободнее.

— Не беспокойтесь!.. Не вынесть ли на дождь ваш отросточек?

— Ах нет! — с живостью возразила девушка и прибавила.— Его могут разбить.

— Кто же смеет его разбить? — угрожающим тоном спросил молодой человек.

— Да моя хозяйка: она такая сердитая.

— А, так она вам надоедает? — спросил молодой человек.

— Нет; но она всё ворчит, а я не люблю с нею говорить.

— А дорого вы платите за квартиру?

— Двадцать рублей с водою, да только она не дает воды: я плачу особо мальчикам башмачника. А, да вот и ее голос; верно, свои цветы выставляет.

Девушка отворила окно и нагнулась посмотреть. Башмачник, белокурый немец, низенького роста, с добрым выражением лица, стоял на тротуаре и поправлял свои цветы: два горшка месячных роз. Он промок до костей, и лицо его приняло такое жалкое выражение, что молодой человек, улыбаясь, сказал:

— Посмотрите, немец-то как измок.

— Да!

И девушка тоже улыбнулась.

Башмачник, очевидно, был в сильном волнении: вымоченные почти белые волосы прилипли к его бледному лицу, которому внутренняя тревога сообщала выражение тупости. Он давно уже стоял здесь — с той самой минуты, когда молодой человек пробежал к его соседке,— и, казалось, не замечал ни ударов грома, ни проливного дождя.

Увидав, что на него смотрит девушка, башма́чник начал в смущении ощипывать с своих роз сухие листья.

— Эй, Карло Иваныч! Карло Иваныч! — басом кричала ему толстая женщина, высунувшись в окно нижнего этажа.

То была владелица дома — мещанка Кривоногова, перезрелая девица, особенно замечательная цветом лица: широко и безобразно, оно было совершенно огненное; рыжие чрезвычайно редкие волосы ее росли тоже на красной почве; маленькая коса, завязанная белым снурком, торчала, как одинокий тощий кустик среди огромной лощины. Плечи хозяйки были так широки, что плотно врезывались в окно, на котором она лежала грудью.

Встревоженный башмачник не слыхал нетерпеливых криков девицы Кривоноговой.

— Вишь, немчура проклятая! еще и глух! Эй, Карло

Иваныч! — повторила она голосом, который напомнил соседям недавний удар грома.

— А? что?

И маленький немец завертелся на все стороны.

— Сюда! ха-ха-ха! чего испугался?

— Что вам, мадам?

— А вот что, гер! коли уж вам пришла охота мокнуть вместе с цветами, так возьмите ушат да и подставьте его к трубе. Вишь, какая чистая вода! а мне не хочется платья мочить.

Башмачник теперь только заметил, что вымок так же, как его цветы. Он с ужасом взглянул на свое чистенькое платье и бросился со всех ног в комнату, позабыв даже цветы.

— Экой шальной, прости господи!

Красная хозяйка плюнула, не без труда вытащила из окна свои пышные плечи и скрылась.

Через две минуты девочка и мальчик лет шести весело выкатили кадку на улицу и поставили ее под трубу. В трубу с журчаньем стекали ручьи. Крупный дождь сменился мелким; петухи запели, важно выступая; воробьи радостно припрыгивали и чирикали; голуби, воркуя, утоляли жажду. Воздух очистился, и на мраморном небе явилось солнце, играя в больших лужах, которые неподвижно стояли среди улицы.

Девочка долго любовалась отражением неба в луже и сказала своему брату:

— Феда, а Феда! хочешь, я пройду по небу?

— Ну-ка, пройди, Ката.

Дети картавили.

Девочка высоко подняла платье и пустилась прохаживаться по луже с громким смехом; брат не вытерпел: принялся за то же,— и веселый смех детей звонко раздавался в чистом воздухе.

В слуховом окне зеленого дома показался толстый мальчишка лет девяти, с большими красными ушами, басом закричал на детей: «Что вы шалите?» — и спрятался. Дети вздрогнули и кинулись вон из лужи; они в недоумении осматривались кругом,— вдруг красноухий мальчишка снова выглянул; дети показали ему язык; он бросил в них черепком.

— А, красноухий!

И дети силились длинней выставить свои крошечные красные язычки.

Между тем лохматая собака похлебала из лужи; но, видно, грязная вода не удовлетворила ее: пользуясь суматохой, она принялась жадно лакать из ушата.

Ссора прекратилась; дети кинулись к собаке с угрожающими жестами, крича: «Розка! Розка!!», но вдруг они стали ласкаться к ней, заметив хозяйку, показавшуюся в окне.

— Ката! увидит! — говорил мальчик.

— Нет, не гони Розку, Феда.

И девочка своим маленьким туловищем защищала Розку, которой огромная, неуклюжая фигура совершенно не соответствовала нежному названию.

— Эй, что шалите! — крикнула хозяйка, плотно улегшись в окно.

И собака и дети вздрогнули. Розка даже не решилась облизать свою мокрую морду и смиренно села на задние лапы.

— Что ж вы не тащите воды в кухню? а? шалить? вот я вас!

И хозяйка скрылась.

— Понесем, Ката! — робко сказал мальчик.

И они старались сдвинуть ушат, но он только покачивался, вода плескалась.

С большим усилием, и то боком, прошла в калитку красно-рыжая хозяйка, держа в руках две шайки, некогда украденные ею в бане.

Широкое пестрое ситцевое платье обрисовывало очень ясно ее гигантские формы; ее красная шея, вся в складках, была полуоткрыта; один бок платья, заткнутый за пояс, давал возможность видеть два огромные красные столба, которые по своей крепости могли сдержать какое угодно здание. Босые ее ноги были обуты в истоптанные полуботинки.

— Ах вы, лентяи! видите, вода через край льется, а не тащите в кухню! — на всю улицу кричала хозяйка.

— Мы не можем, тетенька! — в один голос сказали испуганные дети.

— Не можете! а шайки отчего не взяли, а?

И хозяйка гневно вручила каждому по шайке. Дети, почерпнув воды, поплелись к калитке.

— Тише, не плещите! — повелительно командовала хозяйка, а сама поглядывала на верхнее венецианское окно зеленого дома. Заметив красноухого мальчишку, она радостно закричала:

— Митя! а Митя!
— Ась! — выглянув, сказал мальчишка.
— Что ты делаешь на чердаке?
— С котятами играю.
И мальчишка показал из слухового окна маленького котенка, которого держал за шею.
— Кинь-ка сюда его! ха-ха! — говорила хозяйка.
— Не смею: тятенька услышит.
— А он спит?
— Спит.
— Ну так не услышит; брякни-ка его, брякни!
И хозяйка делала выразительные жесты.
Мальчишка, ободренный хозяйкой, вышвырнул на крышу всех котят, и они с мяуканьем начали карабкаться по ней.
Вдруг венецианское окно стукнуло: высунулась небритая фигура, в белом вязаном колпаке, в старом халате, и старалась заглянуть на крышу.
— Эй, кто там? Митька, что ли? а? кто котят трогает? — кричал с озабоченным видом Доможиров, обладатель дома и мальчишки, который, притаясь, спрятался за трубу.
— Что это вы как спите? — сказала хозяйка, кокетливо обдергивая свое платье.
— А что? да я хочу посмотреть, кто котят трогает.
И Доможиров чуть не выскочил из окна, стараясь открыть преступника.
— Слышали, какой ужасный...
— Что? что такое? пожар близко? а? — в испуге перебил Доможиров.
— Эх! ха-ха-ха! — подбоченясь, смеялась хозяйка.— Дождь...
— Когда?
— С четверть часа; видите, какой лил!
— Ах, жаль! я бы свои цветы вынес.
— Проспали! а я так для чаю воды приготовила; такая чистая, лучше, чем из канала. Милости просим, милости просим!
И хозяйка, потрясая мостовую, легкой рысью пошла домой.
Между тем ни девушка, ни ее гость не замечали, что буря прошла. Песня башмачника снова послышалась под окном, смешиваясь с постукиваньем молотка.

— Вам весело; у вас сосед такой певун,— сказал молодой человек.

— Да, он такой добрый! — отвечала девушка и, взглянув в окно, прибавила печально: — Дождь перестал.

— Перестал?

И молодой человек вглядывался в воздух.

Девушка высунула свою беленькую руку из окна и радостно сказала:

— Нет еще, идет... маленький...

— Прощайте, извините, что я вас бес...

Молодой человек замялся.

— Ничего... я очень вам благодарна... я рада... прощайте!

— Мое почтение!

Гость вышел. Оба они были в волнении. Она кинулась к окну, присела и украдкой следила за ним, а он, ловко перескакивая с камня на камень, поминутно оглядывался. Вдруг нежно начатая нота оборвалась; девушка увидела башмачника, который тоже переходил улицу. Взяв с тротуара свои розы, он медленно воротился домой.

Девушка стала работать, но то иголка колола ей палец, то нитка рвалась, то она забывала сделать узел и усердно стегала, не замечая, что шитья не прибывало. Грудь ее сильно волновалась, и улыбка поминутно показывалась на ее довольном личике, которое горело ярким румянцем. Дверь скрипнула: Катя и Федя вошли в комнату.

— Что вам? — ласково спросила девушка.

— Дядя цветочек прислал тебе,— отвечала Катя, смело подавая ей тощий розан, который недавно красовался на тротуаре.

— Скажи дяде спасибо.

И она поцеловала детей.

— Ах, какие вы мокрые!

— Мы воду носили,— самодовольно и в один голос отвечали дети, которых теперь нельзя было узнать: они ясно и весело смотрели в светлые глаза девушки, не обнаруживая ни робости, ни грубости.

Катя и Федя с двух лет начали вести кочевую жизнь. Слова «мать» и «отец» были им чужды и заменялись общим выражением «тетенька» и «дяденька». Они не знали ласк и нежного попечения, зато инстинктом понимали, что не смеют и не должны иметь своих желаний. И у них не было капризов с теми людьми, которые обходились с ними

грубо. Послушание их было невероятное,— иногда хозяйка грозно крикнет: «Молчать!» — и дети молчат целый день, меняясь только между собой выразительными взглядами. Ни новое жилище, ни новые лица — никакие перемены не смущали и не удивляли их; с трех слов они уже свыкались с характером тех, чьим попечениям вверяла их мать — за четыре рубля серебром в месяц. Разумеется, только страшная нужда заставила мать бросить своих детей. Жертва *вероломного обольстителя,* она лишилась места гувернантки и должна была идти хоть в нянюшки, чтоб кормить детей. Ее редкое появление, вечно печальное лицо, угрозы хозяйки: «Погодите, мать придет: высечет» — всё вместе действовало на детей так, что они дичились своей матери. Огорченная их равнодушием, часто бедная женщина плакала; но дети не понимали ее слез, еще больше чуждались ее и прощались с ней с радостью. Взамен любви к родителям дружба между братом и сестрой развилась до такой степени, что одни желания, одни привычки были у них. Хотели заставить сделать что-нибудь брата, стоило погрозить сестре, и наоборот, всё тотчас исполнялось. Самый маленький кусочек делили они пополам. В целый день с ними никто слова не скажет, а дети говорят между собой без умолку, и, вслушавшись в их болтовню, подивишься их наблюдательности. Зато с теми, в ком замечали ласку и любовь, они становились смелы, любопытны и резвы.

Вскарабкавшись на окно, Катя обняла девушку и крепко целовала ее; Федя тоже тянулся к ней.

— Катя, Федя, тише! платье запачкаете!

— Тетя, посмотри, вон дядя смотрит! — наивно сказала Катя, указывая пальцем на молодого человека, который появился в окне зеленого дома.

Девушка невольно повернулась. Молодой человек слегка поклонился и поманил детей. Дети закопошились и с криком «Дядя зовет!» побежали к двери, но вдруг остановились как вкопанные: в дверях стояла тетенька (как звали дети толстую хозяйку).

— Куда, стрекозы, а?.. Здравствуйте, моя красавица!

— Здравствуйте,— сухо отвечала девушка.

— Что поделываете? Вишь, какого дождя бог послал... Себе, что ли? — спросила девица Кривоногова, протянув красную руку к кисее.

— Нет, чужая работа.

— Вот то-то и есть! что хорошего — чужое! Небось, погулять хочется иногда, а тут шей да шей; будь еще старуха, как я,— куда ни шло! а то молодая. Плохое житье!

— Что ж делать? Вот вы советуете мне гулять, а как я вам раз целкового недодала в срок, так хотели взять мой салоп...

— Ну, старый человек любит поворчать! Вот до вас жила у меня тут жилица — такая красивая, право; также всё работала, бог и устроил ее; теперь барыня барыней; в пятницу прихожу к ней, а она в шелковом платье сидит. Такая добрая! ситцу мне подарила...

— Замуж вышла?

— Уж и замуж! кто возьмет бедную? может, он потом и женится, коли умна будет. Зато какой салоп сатантюрковый сшил ей — чудо! А ты, чай, и шерстяной едва заработаешь, а?

— Проживу и в шерстяном.

— Ох, молодость, молодость! вот и та сначала то же говорила, а как захворала, запела другое. Прежде казался стар, а теперь ничего: свыклась...

— Нет, уж лучше умру с голоду! — воскликнула девушка.

— Так, по-вашему, с голым лучше связаться, вот как тот вертопрах? — возразила хозяйка, указав на окно зеленого дома.— Целый день торчит у окна, выпучит глаза и смотрит.

Девушка покраснела и боялась поднять голову.

— Ха-ха-ха! вот хорош муж! день-деньской ничего не делает, не служит, за квартиру не платит. Уж если б я...

В ту минуту Федя чихнул; не кончив одной мысли, девица Кривоногова перешла к другой.

— Вот их мать тоже связалась с бедным,— теперь дети по углам и шляются. Сама место потеряла хорошее. Бог знает у кого живет. И что за деньги? четыре целковых! да они больше съедят; утром и вечером чай,— подумайте сами.

Но слушательница сильно скучала и не хотела подумать. Девица Кривоногова продолжала:

— Так только, из жалости держу; сердце у меня такое доброе... Что вы торчите тут? в кухню пошли!

Приказание относилось к детям, которые немедленно скрылись. Хозяйка подвинулась ближе к своей жилице и,

нагнувшись к ней своим красным лицом, с лукавой и злобной улыбкой сказала:

— Карты есть? дай погадаю!

— Вы знаете, я никогда не гадаю... у меня нет карт,— отвечала жилица, отворачиваясь.

— Ну, ну, не надо карт, я и так скажу: есть головушка, о молодице крепко думает; в парчу, в золото оденет красну девицу, пальцы перстнями уберет,— полюби только молодца... а?

И хозяйка так близко нагнулась к девушке, что та почувствовала ее дыхание и быстро отодвинулась.

— Что вы говорите? — сказала она с испугом.

— Что говорю? добра желаю тебе! человек пожилой — видел тебя, приглянулась; отчего же не сказать? сердце у меня доброе. Право, богата будешь и работать не станешь; а скажи одно словцо — и дело с концом...

— Оставьте меня в покое; я знать ничего не хочу! — отвечала жилица голосом, в котором дрожали слезы.

Хозяйка сдвинула свои рыжие брови, гневно открыла рот; но в ту минуту дети вбежали в комнату и разом крикнули: «Тетенька, вас барин чужой спрашивает!»

— Сейчас!.. Ну, посмотрю я, долго ли, голубушка, ты поломаешься? Сама попросишь потом, так уж не прогневайся — поздно будет!

И девица Кривоногова с достоинством удалилась.

Уже не раз она делала жилице своей такие предложения, но жилица упорно не хотела своего счастья, по выражению хозяйки. Знакомство жилицы с молодым человеком приняло серьезный оборот. Сначала поклоны, потом коротенькие визиты, наконец, визиты продолжительные. Часто проходящие видели молодого человека, с жаром читавшего вслух книгу, и девушку, которая жадно его слушала, забыв работу. По воскресеньям у жилицы сбиралось довольно большое общество: Ольга Александровна — мать Кати и Феди, башмачник, иногда рыжая хозяйка и непременно всегда молодой жилец зеленого дома.

Недолго молодые люди наслаждались спокойствием; благодаря искусным сплетням девицы Кривоноговой злословие скоро разлилось по всему переулку. Частые слезы жилицы разрывали душу башмачника. Наконец он не выдержал: явился к молодому человеку, рассказал, как огорчают бедную девушку наглые сплетни соседей,— го-

рячо говорил, что так или иначе нужно положить делу конец и поберечь доброе имя девушки.

— Я хозяйку прибью, да и всех, кто посмеет дурно говорить о Палагее Ивановне! — воскликнул молодой человек.

Читатель, разумеется, уже догадался, что девушка — наша Полинька, а молодой человек — Каютин.

— Вы не имеете права! — возразил башмачник.— Вас полиция возьмет.

— Ну, я жених ее — вот и всё! я хочу жениться на ней! кто посмеет сказать дурно о моей невесте, а?

И взгляд Каютина сделался грозен.

Башмачник побледнел, покраснел, с минуту стоял в нерешительности, потом быстро схватил руку Каютина.

— Да, хорошо! теперь вы можете защищать ее: вы жених!

Он с великим трудом договорил: «Же-ни-х», повесил голову и задумался.

— Я сегодня же сделаю сговор! не правда ли, чем скорее, тем лучше? Карл Иваныч, голубчик! вот вам деньги: купите вина две бутылки... конфектов... и еще чего бы?

И Каютин ходил по комнате в волнении.

— Ну да сами придумайте, а я побегу к ней!

Каютин как стрела пустился через улицу. Карл Иваныч следил его тупым взглядом, и когда Каютин показался в окне Полиньки, он быстро отвернулся. Слезы градом текли по его бледному лицу.

Вечером комната Полиньки ярко осветилась. В гостях недостатка не было: тот день был воскресный. Карл Иваныч, во фраке и в белом галстухе, играл на скрипке старинный вальс и печально следил за Полинькой и Каютиным, которые без устали вальсировали в маленькой комнате, безумно веселы и счастливы...

Лицо башмачника было страшно бледно; то он переставал играть и в изнеможении садился: тогда и вальсирующие останавливались; то вдруг издавал странные аккорды и начинал собственную фантазию, которая оказывалась не удобною ни для какого танца.

За полночь гости разошлись. В переулке разнесся слух, что тут свадьба, и многие долго ожидали прибытия из церкви невесты и жениха.

Вот почему Полинька так свободно обходилась с Каютиным.

Глава IV

ПИРУШКА

В тот день, с которого начинается наша повесть, Полинька, оставшись одна, задумчивая и озабоченная, подошла к своему комоду, отперла верхний ящик и достала из-под груды разноцветных лоскутков, ниток и шерсти небольшой красивый портфель. Размотав розовую тесемочку, она открыла его: там были деньги. Зная очень хорошо, сколько у нее денег, она, однако ж, внимательно пересчитала их: оказалось ровно сто рублей. Полинька вздохнула; облокотясь на комод, она долго думала. Вдруг лицо ее просияло радостной улыбкой. Проворно пошарив в углу ящика, она достала сверток, развернула его, и шесть блестящих столовых ложек застучали по комоду. Это было ее трудовое добро. Зная ветреный характер своего жениха, она трудилась вдвое, чтоб сколько-нибудь обзавестись к свадьбе. Она страшно боялась выйти замуж без верных средств к жизни; печальный пример ежедневно был перед ее глазами; может быть, и ее дети должны будут жить в чужих людях и терпеть горе, как дети Ольги Александровны. Принужденная жить трудами, Полинька поневоле смотрела практически на жизнь.

Блеск ложек, кажется, ослепил ее: она закрыла лицо руками; потом, взяв со стола маленькие часы довольно грубой обделки, долго любовалась ими, прислушивалась к их бою, наконец почистила их и положила в футляр. Обревизовав так свое богатство, Полинька снова спрятала его и села к окну, где стоял ее рабочий столик.

Долго смотрела она на окно Каютина, в котором рама была уже вставлена, и слезы ручьями полились из ее глаз...

Полинька оделась довольно тщательно и протянула было руку к часам, но горько усмехнулась и не взяла их.

Было около семи часов вечера, когда она вышла из дому; на улице становилось темно; фонарей еще не зажигали. Полинька шла очень скоро в глубокой задумчивости; брови ее были сдвинуты; она кусала свои розовые губы. Незаметно очутилась она в одной из главных петербургских улиц. Говор и шум усилились, народу стало попадаться всё больше и больше; два франта очень близко прошли мимо Полиньки и, заглянув ей под шляпку, сказали: «Душка!» Полинька откачнулась назад и при-

бавила шагу. Она не замечала, что какой-то белокурый увесистый господин в синем плаще с бархатными отворотами давно уже бежал за ней, вытягивая голову и тяжело дыша. Когда после комплимента двух франтов Полинька прибавила шагу, господин в плаще сделал усилие, догнал ее и сказал задыхающимся голосом:

— Куда вы так бежите?

Полинька обернулась и увидела раскрасневшееся лицо толстого господина, который, сняв шляпу, старательно вытирал свой лоб пестрым фуляром, наполнившим в минуту всю улицу с окрестными переулками тончайшим благоуханием.

Не отвечая на вопрос усталого господина, Полинька продолжала свой путь.

— Боже, какие вы сердитые! не хотите даже мне ответить, куда идете.

И он пошел рядом с нею.

— Я иду очень далеко,— вежливо отвечала она.

— Позвольте я вас провожу.

— Вы, кажется, устали? — невольно вырвалось у нее.

— Оттого что вы очень скоро бежите: вот я за вами бегу с полчаса — насилу догнал!

— Напрасно потеряли время.

— Отчего? напротив, я говорю теперь с вами, вижу ваши хорошенькие глазки, ваши беленькие зубки.

Толстый господин так низко нагнулся посмотреть глазки и зубки Полиньки, что ткнулся прямо в живот мужику, шедшему навстречу с огромным лотком на голове и складной подставкой в руках. Мужик отчаянно заорал:

— Куда? слеп, что ли?

Полинька улыбнулась. Смущенный господин вынул опять огромный фуляр и обдал мужика спиртуозными духами.

— Вот видите, как ходить одной,— сказал он, высморкавшись с усилием.

— Чем же опасно?

— Всякий мужик сиволапый прямо на вас лезет.

— Неправда: вы сами на него наткнулись.

И Полинька невольно улыбнулась.

— Вам смешно! какая вы злая!

И толстый господин старался придать своим сонным глазам лукавое выражение.

— Вы далеко живете?

— Нет, близко.

— А как?
— Очень.
— Нет, а как?
— А вот.

И Полинька проворно взлетела на лестницу огромного дома, на котором среди множества вывесок всех цветов и размеров ярче всех бросалась в глаза исполинская надпись золотыми буквами:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
И БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Надпись оканчивалась фамилией владельца с огромным восклицательным знаком, будто сам художник не мог достаточно надивиться своему произведению и добродушно рекомендовал его удивлению других. При входе, у подъезда, и по всей лестнице беспрестанно попадались второстепенные вывески такого же содержания, но без восклицательных знаков; в самом деле, удивляться было уже нечему: на небольшой доске надпись белилами по красному полю и голубая рука с вытянутым указательным пальцем — таковы были второстепенные вывески.

— Подождите! позвольте мне к вам прийти! — исступленно кричал увесистый господин, взбегая с страшным топаньем тоже на лестницу.

Но Полинька, добежав до третьего этажа, дернула за колокольчик. Толстый господин остановился во втором и, прислонившись к перилам, дышал, как перегнанный конь, и махал своим огромным фуляром, причем кругом разливалось тончайшее благоухание и синий плащ раздувался, как паруса. Обмахиваясь, толстый господин бросал вверх умоляющие взоры.

Полинька нагнулась и шутливо сказала:

— Войдите сюда!

Но он не понял насмешки и в радостном волнении отвечал:

— Нет, я лучше подожду здесь!

— Жаль, что не хотите войти! я бы познакомила вас с моим мужем!

Полинька не ожидала эффекта, какой произвели ее слова: увесистый господин не сбежал, а скатился с лестницы. Проводив его хохотом, Полинька вошла в дверь, которая в ту минуту отворилась... При входе в прихожую ее поразил страшный говор.

— Что, у вас гости? — спросила она у курчавого парня в синей сибирке, с бородкой.

— Гости,— гордо отвечал артельщик.

— Здесь Надежда Сергеевна?

— Здесь-с.

Сделав несколько шагов коридором, Полинька вошла в небольшую комнату, в которой стояли две детские кроватки, диван и стол с чашками, стаканами и огромным самоваром, величественно пыхтевшим. На диване сидела женщина лет двадцати пяти, которой бледное, болезненное лицо выражало следы долгих и тяжких страданий. На руках ее спал ребенок; крупные слезы, как роса на розовом листке, замерли на его щеках.

Они поздоровались, и Полинька спросила, прислушиваясь к шуму соседней комнаты:

— А что, у вас опять гости?

— Да,— со вздохом отвечала хозяйка.— Ты лучше спроси,— прибавила она с странной улыбкой,— когда у нас их не бывает?.. Разве его дома нет!

— Дети еще не спят,— заметила Полинька, увидев толстого мальчика, вскочившего на своей кроватке.— Здравствуй, Петя!

Ребенок вдруг упал в кроватку, спрятался и громко засмеялся.

— Петя, Петя! не шали... спи! — сказала мать.— Видишь, сестра заснула.

И она осторожно положила сонного ребенка в кроватку, потом подошла к сыну, строго повторила: «Петя, спи! не шали!» — и начала поправлять ему подушку. Сын ловко уцепился за шею матери и целовал ее; мать нежно защищалась, но ребенок не уступал; она принуждена была взять его на руки.

— Дай бобо, мама!

— Ах, какой ты шалун! — сказала Полинька, потрепав его по щеке и поцеловав.

— Бобо! я хочу бобо! — тихо говорил ребенок.

Мать дала ему ягод, и он принялся есть их с большим аппетитом.

— Ты одна пришла? — спросила она Полиньку.

— Одна; какой-то толстый господин провожал меня. Я его порядком умучила!.. А как он испугался, когда я сказала, что у меня есть муж.

Полинька от души смеялась.

— Ты что-то весела сегодня.

Лицо Полиньки вдруг потемнело.

— Ах нет,— сказала она таинственно,— я принесла тебе нерадостные вести.

И глаза ее наполнились слезами.

— Что такое?.. что случилось? — с участием спросила хозяйка.

Полинька вздыхала... Громкий, дружный хохот нескольких голосов, неожиданно раздавшийся в ту минуту из соседней комнаты, заставил всех вздрогнуть. Сонный ребенок заплакал раздирающим голосом; хозяйка побледнела и кинулась успокоивать его.

— Да они детям уснуть не дадут,— заметила Полинька.

Хозяйка не отвечала, но в каждом взгляде ее на дверь выражался печальный упрек.

— Какое горе у тебя, Полинька? — спросила она, желая переменить разговор.

Пересказывая приятельнице свое горе, Полинька долго крепилась; наконец сил у нее не стало: она расплакалась.

— Полно! о чем плакать? вы еще молоды. Ну, что было бы хорошего, если б вы теперь обвенчались? ни у него, ни у тебя ни гроша...

— Да я знаю, что нельзя!..— отвечала Полинька, отирая слезы.— А всё-таки мне грустно... мало ли что может случиться...

— Одно может случиться, что он разлюбит тебя. Так пусть лучше разлюбит, пока не обвенчались... а то дети...

Надежда Сергеевна тяжело вздохнула.

— О, он меня не разлюбит! — самодовольно отвечала Полинька.— Я пришла к тебе посоветоваться,— продолжала она, приняв важный вид,— не знаешь ли ты, у кого денег взять под залог?

— А тебе разве нужно?

— Да, мне нужно заложить часы и ложки...

— На что? — встревоженно спросила Надежда Сергеевна.

— Да у него нет денег на дорогу. Он хотел остаться здесь на месяц, чтоб заработать, да я подумала: он такой ветреный, пожалуй, опять решимость пройдет... так я лучше хочу дать ему денег...

— Смотри, не скоро опять выкупишь.

— Отчего? я еще больше буду работать, когда он уедет.

— Хорошо, если так, а то бог знает, что может случиться.

— Да что же случится!

— Захвораешь.

— И выздоровлю.

— Я бы тебе сама денег дала,— со вздохом сказала Надежда Сергеевна,— да как просить у него...

— Нет, полно,— перебила Полинька,— как можно! тебе самой нужно... у тебя дети! Я за себя не боюсь: я одна...

— У моего мужа есть знакомый,— он еще с ним в компании,— который, говорят, дает деньги.

— Кто он?

— Да он, кажется, теперь здесь...

Хозяйка подошла к двери и, отняв сбоку занавеску, заглянула в соседнюю комнату.

— Точно здесь,— сказала она,— у него пренеприятное лицо; но муж говорит, что он отличный человек.

Полинька тоже полюбопытствовала заглянуть за занавеску.

В комнате, убранной с безвкусным великолепием, вокруг стола, установленного бутылками, сидело, ходило и лежало человек десять с красными лицами и сверкающими глазами; они кричали, хохотали, чокались, целовались и пили. Полинька была скромна, но чувство скромности не переходило у ней в щепетильность и чопорность, и она с любопытством рассматривала холостую пирушку, которой не приводилось еще видеть ей ни разу в жизни, и не смущалась тем, что не на всех пирующих были галстухи, а на некоторых не было даже и сюртуков. Прежде других бросался в глаза господин, которому высокий рост, широкие плечи, огромный лоснящийся лоб и круглые красные щеки, удачно скрадывавшие своей одутловатостью непомерную величину носа, давали неотъемлемое право на название «видного мужчины». На глаза некоторых он мог назваться даже красавцем. Наряд его поражал пестротой и изысканной роскошью: в его шарфе горел брильянт, оскорблявший своей огромностью всякое чувство приличия, а толстые пальцы его жестких и красных рук усеяны были кольцами и перстнями, столько же безвкусными, сколько и богатыми. Во всю длину груди шла золотая толстая цепь; на животе тоже красовалось золото в форме разных зверей, птиц и рыб. Его черные довольно жидкие волосы, с вис-

ками, зачесанными к бровям, щедро натерты были фиксатуаром. Походку имел он величавую, а в маленьких, заплывших жиром глазах его выражались самодовольствие и презрительное высокомерие. Говорил он сиплым басом, резко и отрывисто, и хохотал — исключительно собственным шуткам — так, что стекла дрожали. Он беспрестанно обходил с бутылкой гостей, наполнял стаканы, непомерно проливая, и приставал с просьбами пить.

— Что ж, господа! — говорил он с упреком.— Никто не пьет! Разорить, что ли, хотите Ивана Тимофеича?.. Ведь я для того купил, чтоб пить... ей-богу! или боитесь, не хватит на ночь?.. А Иван-то Тимофеич на что?.. Стоит турнуть гонца к благодетелю... А? не правда ли?

Благодетель, к которому относились последние слова видного мужчины, господин с стеклянным лицом и стеклянными глазами, по всей вероятности винный продавец и главный потребитель своего товара, энергически отвечал:

— Для милого дружка и сережка из ушка; хоть бочку прикатим, слова не скажем!

— Уж еще мы не пьем! — возразил видному мужчине один рыжий гость обиженным голосом.— Да я еще за обедом водки три рюмки да хересу стакана четыре выпил... а ведь каждый стакан хересу бутылки шампанского стоит!

— Ну вот,— перебил его видный мужчина,— расхвастался! десять человек... а что выпили? стыдно сказать! всего... всего,— заключил он тоном тончайшей иронии,— третью дюжину допиваем!

Раздался дружный хохот гостей, покрытый собственным хохотом видного мужчины.

— Борис Антоныч, сделайте одолжение!

Господин, к которому теперь обратился видный мужчина, сидел на диване; видна была только его голова, которая висела почти над самым столом, резко отличаясь своей бледностью. Лицо маленькое, с миниатюрными, очень тонкими и нежными чертами, необыкновенно черные курчавые волосы, изредка пересыпанные седыми, проницательные большие глаза, радостно вращавшиеся кругом, и густые, нависшие брови, которые, казалось, неохотно расправлялись вопреки своей привычке хмуриться: таков был Борис Антоныч.

— Вы знаете, что я не могу много пить,— отвечал он тонким и приятным голосом.

— Для меня! — неумолимо возразил видный мужчина, двинув к нему стакан, который пришелся почти на одной линии с носом курчавого старичка.

— Для вас — извольте! Я не знаю, чего бы я не сделал для почтеннейшего нашего Василия Матвеича! да и каждый из нас... не правда ли, господа?

— О, разумеется!

— Василий Матвеич,— продолжал курчавый старичок,— между нами голова. Ему на роду написано ворочать миллионами.

— Вашими устами мед пить! — отозвался видный мужчина, лицо которого засияло, и протянул к старику стакан.

Они чокнулись и выпили.

— Сто лет жить, сто миллионов нажить! — воскликнул курчавый старичок, поставив свой стакан.— Уж как Василий Матвеич вздумает покутить, так у него стыдно становится отказываться... Такое радушие — всё нараспашку... десяток гостей назовет, а на сто вина закупит! хе-хе-хе!..

И курчавый старичок залился сухим, дребезжащим смехом.

— Уж кутить так кутить! — величаво заметил видный мужчина.

— И надо правду сказать,— продолжал курчавый старичок,— кутить он кутит, да и дела не забывает. И бог знает, когда у него хватает на всё времени! Человек светский, общество любит; утром — на завтраке; там, глядишь, обед дома, и за обедом гостей тьма; там в театре... как же?.. нельзя и не повеселиться... мы ведь не хуже других. Денег, слава богу, довольно... надо свое сословие поддержать! хе-хе-хе!.. а оттуда частенько к цыганам, к Матрене Кондратьевне... а? есть тот грех?

— Дело житейское,— с гордостью отвечал видный мужчина.

— Думаешь, дело ждет... интерес упущен!.. Не тут-то было! и дело идет своим чередом, товар принят, почта отправлена, счета поверены... а всё он же, Василий Матвеич!.. всё он! без него в магазине ничего не делается!

И тут курчавый старичок лукаво посмотрел в правый угол, где молчаливо сидел человек с угреватым лицом, худо одетый, худо выбритый и худо причесанный. При взгляде старика по толстым потрескавшимся губам его

пробежала злая, радостная улыбка, и он незаметно кивнул головой.

— Не понимаю, просто не понимаю такой деятельности,— продолжал курчавый старичок.— Да научите меня, Василий Матвеич, вашему секрету! я вот едва умею справиться с моим маленьким хозяйством.

— Очень просто,— глубокомысленно отвечал видный мужчина,— строжайший порядок... ежеминутная отчетность, исполнительность... аккуратность... всё по часам... строгость... ночи не спишь за делами...

— Я так и думал! — воскликнул курчавый старичок и опять лукаво взглянул в правый угол и получил в ответ ту же ядовитую, радостную улыбку.— Вот после того и судите о людях по наружности! А ведь другой, посмотревши на жизнь Василия Матвеича, как он то в театре, то у цыган, то на попойке, то у себя банкет задает, подумает сдуру, что он — извините, почтеннейший Василий Матвеич,— пустейший и ленивейший человек, за которого всё делает какой-нибудь приказчик.

Курчавый старичок переглянулся с дурно причесанным господином.

— ...и которому,— заключил он любезнейшим и добродушнейшим голосом,— не миновать банкротства! ха-ха-ха! не правда ли, господа?

Курчавый старичок залился своим звонким смехом и светлым, добродушным взглядом обвел всё собрание.

Никто, казалось, не заметил, что смех его отзывался зловещей иронией, и все добродушно смеялись вместе с ним, и всех громче и добродушнее смеялся сам видный мужчина!

Худо выбритый господин тоже смеялся в своем углу.

— Выпьем же, господа,— воскликнул Борис Антоныч,— за здоровье почтеннейшего и деятельнейшего Василия Матвеича.

— Выпьем! выпьем!

— Вина! — закричал восторженно видный мужчина.

Принесли вино, хоть и в прежних бутылках было еще довольно; пробка хлопнула, и видный мужчина начал наливать.

— А Харитону-то Сидорычу,— заметил Борис Антоныч, указывая на дурно выбритого господина,— помощнику-то вашему... хоть, правду сказать, вы не очень нуждаетесь в помощниках... хе-хе-хе!

Старик опять засмеялся и лукаво щурился то на видного мужчину, то на его помощника.

— Нальем и Харитону Сидорычу,— отвечал видный мужчина, терпеливо выжидая с нагнутой бутылкой, пока осядет пена в стакане старичка.— Харитон Сидорыч! — продолжал он, дополнив стакан, совсем другим тоном.— Что вы там, заснули, что ли? рыбу удите?

— Чего изволите? — подобострастно сказал худо причесанный господин, почтительно вставая.

— Приросли, что ли, к месту-то, батюшка? мне гостей помнить или вас? Могли бы и сами подойти... я вина не жалею... давайте стакан.

Харитон Сидорыч подошел со стаканом, и, когда видный мужчина наполнил его, он молча возвратился на прежнее место.

— Уф, руку отморозил! — сказал видный мужчина, ставя на стол порожнюю бутылку.

— Здоровье Василия Матвеича!

Все взяли стаканы и встали. Встал и курчавый старичок, но он почти не сделался выше.

— Скажи, пожалуйста,— обратилась удивленная Полинька к своей приятельнице,— тут есть какой-то маленький старичок. Что он, без ног, что ли?

— Нет, он уродец, горбун.

— А кто он такой?

— Да в компании с моим мужем. Вот он-то и дает деньги...

— А какой странный! Сколько ему лет?

— Говорят, уж пятьдесят с лишком.

— А лицо точно как у ребенка; волосы почти все черные! А глаза-то, глаза...

— У него отличные глаза,— заметила Надежда Сергеевна.

— Да, большие, черные, только как противно их прищуривает! А брови как нахмурит вдруг, так даже страшно делается... Он, должно быть, презлой...

— Муж уверяет, что он прекрасный человек...

— Он так хвалит твоего мужа...

— Муж говорит, что он даже бедным помогает.

Вдруг занавеска с шумом распахнулась: вошел видный мужчина. Его глаза так блестели, щеки были так красны, а телодвижения так размашисты, что Надежда Сергеевна испугалась и побледнела.

— Что нужно? — быстро спросила она.

— Пуншу! — отвечал видный мужчина.— Мы пили, пили шампанское... да что толку?.. Только слава, что вино!.. Так уж вы, Надежда Сергеевна, поусердствуйте, а мы всегда с нашей благодарностью.

И он хотел обнять ее. Но она с отвращением уклонилась.

— Полно, пожалуйста; не нежничай! лучше перейдите в другую комнату, а то детей перебудите!

— Дети... а! Петька, вставай!

И видный мужчина шел к кроватке ребенка.

— Тише; ну зачем вы его поднимаете? — сказала Полинька, скрывавшаяся в углу комнаты.

— А, Палагея Ивановна! как поживаете? не угодно ли к нам? — закричал видный мужчина.

Надежда Сергеевна дернула Полиньку за платье и покачала головой.

— Нет, я сейчас пойду домой,— отвечала Полинька.

— Ну, как желаете... Так налей же пуншу, да позабористей!.. Ну, что хмуришься?.. ведь ты у меня умница!

И он обнял ее за талию.

— Оставь меня! — сердито сказала она.

— Не годится, нехорошо! Добрая жена не должна сердиться на мужа... муж глава... Ее дело смотреть за детьми... Ах, дети! дай я их покажу!

— Они спят, не трогай! — твердо сказала мать, подходя к кроватке сына.

— Не умничай! — сердито возразил видный мужчина.

— Я не позволю, не позволю!

И она смело посмотрела ему в глаза. Но он подошел к кроватке и закричал:

— Эй! Петька! вставай!

Сын проснулся и приподнялся.

— Вылезай: пойдем кутить!

— Боже! — воскликнула мать и в изнеможении села на диван.

Видный мужчина взял ребенка и в одной рубашке понес его к гостям.

Ребенок начал плакать; отец грозил ему:

— Ну, молчать, а не то смотри!

Полинька подошла опять к занавеске и видела, как он поднял ребенка над головой и закричал:

— Господа! вот вам будущий книгопродавец Кирпичов; прошу любить да жаловать!..

— Я боюсь, чтоб они не дали ему вина! — с отчаяньем сказала мать и тоже подошла к занавеске.

Отец учил сына танцевать; сын хмурился и готовился разреветься.

— Господа, выпьем за здоровье будущего миллионера!..— сказал маленький горбун.— Хе-хе-хе!

— Браво, браво! — гаркнули все так дружно и громко, что ребенок страшно испугался, кинулся к отцу и пронзительным плачем присоединился к общему хору.

— Вина, скорей вина! — закричал видный мужчина, довольный предложением горбуна.

— Да будет он достоин своего отца! — сказал горбун, и остальные заревели:

— Да будет он достоин своего отца!

Чокнулись и выпили.

— Мама! — простонал ребенок.

— Господа,—заметил видный мужчина,— извините будущего миллионера: ему хочется спать... Скорей еще вина!

Пробка щелкнула, вино зашипело. Артельщик, красный столько же, как и гости, непомерно лил через край.

Видный господин подошел к столу взять стакан; Петя почувствовал себя свободным и бегом пустился к дверям, бойко топая маленькими ножками; мать приняла его в объятия, крепко прижала к сердцу, и ее крупные слезы падали на детскую головку...

— Прощай, я пойду домой,— сказала Полинька, грустно смотря на Надежду Сергеевну.

— Прощай; как же ты одна пойдешь?

— Возьму извозчика. А ты дай мне адрес того горбуна: я завтра понесу к нему свои вещи.

Позвали артельщика и спросили адрес.

— Ты проси больше,— заметила Надежда Сергеевна, когда красный артельщик, наговорив кучу лишних слов, удалился нетвердым шагом.— Он даст тебе втрое меньше, чем ты попросишь...

— Отчего?

— Уж у них так водится, говорит мой муж: иначе нельзя... Впрочем, муж говорил, что он честный человек.

— Я завтра непременно пойду к нему. Прощай!

— До свидания, Полинька! Смотри, не раздумай, не отговори своего жениха! Поверь мне: если он тебя истинно

любит, так не разлюбит в два, в три года... А не то вы еще можете оба раза по три влюбиться.

Проводив такими словами свою приятельницу, Надежда Сергеевна стала укачивать ребенка.

В соседней комнате по-прежнему раздавались веселые крики и хохот, а лицо бедной матери становилось всё задумчивей.

О чем она думала? какие мысли, какие воспоминания омрачили ее лицо, и всегда невеселое?..

Глава V

ДУШЕПРИКАЗЧИК

В одном селе умер помещик. По истечении сорока дней барыня приказала созвать всю дворню, явилась перед ней вся в черном и прочла волю покойного: вся дворня за усердную службу отпускалась на волю, а дворецкому, камердинеру, кучеру и повару назначалась еще особая награда, каждому по пятисот рублей. Барыня уже кончила чтение, но глубокое, торжественное молчание не нарушалось... И долго никто не мог сказать слова; только радостные слезы сверкали в глазах слушателей. Наконец общее чувство выразилось в единодушном, в одно время у всех вырвавшемся восклицании: «Царство небесное доброму барину!..»,— и, видно, оно было непритворное и неподготовленное, потому что бумага выпала из рук барыни и слезы градом полились по ее бледному лицу, когда оно раздалось в воздухе... оно было повторено три раза, и три раза как-то радостно и торжественно дрогнуло сердце помещицы... Долго в тот день не умолкали дружные, горячие толки о добром барине в радостной дворне... Наконец каждый стал думать о себе, и тут опять бесконечные толки: видно, много новых мыслей и планов прихлынуло в их голову с новым положением.

— Ты что станешь делать, брат? — спросил Дорофей, кучер, своего брата, камердинера.

— Я в Питер,— отвечал камердинер, у которого была там зазнобушка,— дело знакомое: каждый год катались туда с барином... да и город знатный!

— Ну в Питер так в Питер, с богом!.. А вот я так подержусь около здешних мест... Попробую поторговать: не даст ли бог счастья.

— В добрый час начать!

Наутро Дорофей еще спал, когда двери сенного сарая с визгом растворились и внизу раздался голос:

— Вставай, Дорофей!

— Что так рано?

— Да я совсем собрался... Прощай!

Дорофей, весь в сене, скатился и с изумлением сказал:

— Как так? Да неужто ты так вот сегодня и в путь?

— Сегодня. Я еще вчера уж и у барыни был: прощался; письмо дала...

— Вишь, сердечному не терпится! Смотри, брат, коли так, так знатно! а коли чуть что не заладится, поезжай сюда. Здесь найдем дело.

— Ладно, увидим...

Братья выпили, закусили, покалякали, поцеловались, причем несколько стебельков сена из бороды Дорофея осталось на лице камердинера, и отправились в ближайший город. Там они опять выпили и покалякали, поцеловались, поплакали и разошлись в разные стороны...

С тех пор они не видались. Бывший камердинер женился в Петербурге, жил бедно, сначала писал к брату, потом вдруг писать перестал, и наконец Дорофей получил известие, что он умер.

Дорофея ждала другая карьера: малый сметливый, грамотей, деятельный, обуреваемый беспокойным духом стяжания, он скоро почувствовал надобность преобразовать свою бороду из кучерской в купеческую, для чего укоротил ее в длину и увеличил в ширину, округлив и расчесав на две стороны. Сначала разъезжал он из села в село с пряниками, рожками, тесемками, бисером, мылом, иголками и даже книгами, занимаясь в то же время не без выгоды лечением лошадей — искусство, в котором изощрился еще в кучерской должности. В ту эпоху к имени его Дорофей стали прибавлять: Степаныч. Потом открыл он в городе Шумилове постоянную лавочку, в которой висело десятка три хомутов, гужи, веревки, шлеи, уздечки, чересседельники, подпруги, попоны, причем на вывеске к имени и отчеству прибавилось прозванье: Назаров. Определившись таким образом совершенно, он мало-помалу расширил круг торговой своей деятельности и кончил тем, что через тридцать лет из пятисот рублей, завещанных ему барином, сделал он до двухсот тысяч.

Но за постоянными, судорожными хлопотами, вечно занятый своими оборотами, он не успел жениться, обзавестись семейством, и теперь на старости лет приходилось ему доживать век свой в совершенном одиночестве.

А здоровье его с каждым днем расстраивалось, и наконец старик слег и почувствовал, что уж ему не встать с постели.

Самым близким к нему человеком был в то время один молодой купец, который сначала служил у него приказчиком, а потом, сделав несколько счастливых спекуляций, записался в вильманстрандские купцы, завел собственную лавчонку и торговал в компании с прежним своим хозяином. Вильманстрандский купец не отличался качествами слишком привлекательными; но привычка и одиночество сильно привязали к нему Назарова, и ему-то довелось выслушать последнюю волю и принять последний вздох старика.

В комнате с закрытыми ставнями, правый угол которой весь заставлен был образами, освещенными лампадой, медленно угасал старый купец, мучимый жестокой одышкой, захватывавшей его дыхание и грозившей с минуты на минуту прекратить его дни.

Уже пятый день молодой купец не отходил от его постели, подносил ему лекарство, поправлял подушки и читал Св. писание, о чем просил старик всякий раз, как чувствовал малейшее облегчение.

Старик был огромного роста, и его крепкие мускулы, резко обозначавшиеся на худом, измученном лице, показывали, что смерть одерживала здесь нелегкую победу.

Он громко охал, крестясь дрожащей рукой, призывая имя божие и повторяя невнятным голосом все знакомые ему тексты Св. писания. Вильманстрандский купец сидел против него, пересиливая дремоту, которая после многих бессонных ночей упорно смыкала его глаза.

— Слушай, молодец! — начал старик слабым, удушливым голосом, приподнявшись на своей постели и показав широкую и худую обнаженную грудь, на которую в беспорядке падала его белая как снег длинная борода.— Недолго мне остается жить. Я всё поджидал, думал, вот отойдет; но, видно, господа я прогневил свыше его милосердия... час мой настал! Выслушай же мою последнюю волю и сверши за меня, чего не успел я, многогрешный...

Сонливость молодого человека в минуту прошла. Он весь встрепенулся при последних словах старика и жадно наклонился к нему, будто бы страшась проронить слово.

Но старик заохал, закашлялся, и нетерпеливое волнение пробежало по лицу молодого человека. Собравшись с силами, старик продолжал:

— У меня был брат...

— Но ведь он умер? — быстро перебил молодой человек.

— Умер, в Питере (царство ему небесное!)... После брата осталась жена.

— Да ведь и она тоже умерла? — перебил опять вильманстрандский купец.

— Умерла,— отвечал старик,— тоже умерла (и ей царство небесное, хоть она и не православная была, прости ее господи!). Но после них осталась...

По лицу слушателя пробежало живейшее беспокойство. Он удвоил внимание; но старик закашлялся.

— Кто же остался после них? — нетерпеливо спросил молодой купец.

— После них осталась дочь,— твердо произнес старик.

Вильманстрандский купец побледнел как смерть.

— Как? — вырвалось у него.— Вы мне никогда не говорили, что у вас есть наследники!

— Незачем было говорить! — строго отвечал старик.

Молодой человек спохватился.

— Что ж она, в каком положении? — спросил он с участием.— Жива она? замужем? дети есть?

— Ничего не знаю! — отвечал старик.— Может, жива, а может, нет...

Вильманстрандский купец вздохнул свободнее.

— Грешный человек, вишь ты, не ладил я с покойником; да и он-то неправ: женился на чухонке, прости ему господи! иноверицу взял — ни совета, ни просьбы моей не послушал... Господь, видно, за то и не благословил его; уж перед смертью письмо пришло от него: прости, говорит, умирающему, призри вдову,— в бедности покидаю... После уж и вдова писала ко мне. Я было и хотел помочь от избытков моих, да, грешный человек, сегодня да завтра, так вот и до смертного часа не собрался... А тут недавно получил стороной весть, что и вдова-

то умерла... Осталась ли нет в живых одна сирота, племянница... Грех па мою душу падет, коли она погибнет в нужде... не хочу брать лишнего греха на душу...

Продолжительный монолог утомил старика. Он опустился на подушку, закрыл глаза, и только громкое и редкое дыхание, мерно раздававшееся в могильной тишине комнаты, свидетельствовало, что в нем еще не угасла жизнь.

Лицо вильманстрандского купца также было по-своему страшно: досада, гнев, бешенство, отчаяние выражались на нем резкими чертами. Он кусал свои губы, устремив неподвижный проницательный взор на полумертвого старика и будто вызывая его на бой...

Но старик вдруг открыл глаза,— молодой человек поспешил придать своему лицу почтительное и грустное выражение и тихо, вкрадчивым голосом спросил:

— Что ж думаете вы делать, Дорофей Степаныч?

— Осчастливить сироту, коли бог по милости своей попустит мне, окаянному, загладить мои великие прегрешения... Других родных у меня никого нет... мне свое добро не в могилу с собой унести...

— Так вы хотите сделать ее своей наследницей?

— Что ты, парень, как кричишь? — слабо перебил старик.— Просто испугал меня... о-ох!..

И старик закашлялся. Вильманстрандский купец прошелся по комнате.

— А ты слушай,— начал старик,— легко сказать: сделай наследницей! Да где теперь ее сыщут? как наследство-то до нее дойдет?.. Родилась, живет в бедности... поди и грамоте-то не знает. В газетах припечатают; да где ей газеты смотреть? Сроки пропустит...

Старик замолчал. Лампада бросала слабый, дрожащий свет на его бледное, худое лицо, которое теперь приняло неподвижность смерти. С испугом и мучительным нетерпением ждал молодой человек, когда старик снова соберется с силами.

Наконец умирающий открыл глаза, приподнялся и продолжал:

— Так вот, видишь, что я придумал слабым моим разумом, прости меня господи! Сослужи мне службу, друг! Господь тебя не забудет.

— Я всё готов сделать для моего благодетеля, для моего второго отца...

— Да и я тебя не обижу, друг,— не оставлю без награды твои сыновние попечения: лавка твоя, дом твой; я уж и дарственную запись приготовил.

— Благодетель! — воскликнул радостно вильманстрандский купец, стал на колени и поцеловал руку умирающего.

— Только ты верно сослужи мне службу,— продолжал старик,— тотчас, как господь бог сподобит мне преставиться, поезжай в Питер, отыщи племянницу и в собственные руки отдай ей духовную (она у меня уж заготовлена) и билеты здешнего Приказа...

— Именные?

— Именные,— отвечал старый купец,— да в духовной, понимаешь, прописано, что она моя наследница единственная,— так, дело видимое, ей после меня и выдача следует...

— Так, — сказал молодой человек,— а сколько тысяч по всем билетам приходится?

— Сто шестьдесят пять,— глухо проговорил старик.

— Сто шестьдесят пять тысяч! — воскликнул вильманстрандский купец с отчаянием.— Ну, будет добром поминать благодетеля! — поправился он, обратив к умирающему светлый и добродушный взор; но, увидав, что глаза старика сомкнуты, вильманстрандский купец дал волю своим чувствам, и глаза его засверкали отчаянием и злобой.

Пока старик охал и кашлял, творя крестное знамение и шепча молитву, много тревожных ощущений пронеслось по лицу молодого человека. Наконец оно несколько успокоилось, даже радостное чувство мелькнуло в нем на минуту, и молодой человек нетерпеливо, но осторожно прошептал:

— Дорофей Степаныч! а сколько лет примерно теперь вашей племяннице?

— Да, надо быть, не то осемнадцать, не то девятнадцать,— отвечал старик.— О-ох! как-то она, сердечная, там теперь мается, без отца, без матери,— продолжал старик, останавливаясь на каждом слове,— поди, голодна и холодна, на тяжелой работе убивается... Кто пригреет сироту, кто за нее заступится?.. Кому заступиться, коли дядя родной отступился?.. Отступился, окаянный, от сироты, родной племянницы,— заключил старик, нечаянно возвысив голос, принявший вдруг грозное и торжественное выражение,— и господь бог отступится от него, окаянного!

С последним словом старик громко зарыдал.

«Уж не кончается ли он?» — подумал с испугом молодой купец.

— Дорофей Степаныч! — шепнул он, нагнувшись к рыдающему старику.— А Дорофей Степаныч!

Старик продолжал рыдать, но рыдания его становились всё тише и тише; казалось, звуки замирали в его груди, напрасно силясь вырваться на свободу, и только отголоски их раздавались в комнате. Наконец старик совсем смолк, и только судорожное подергивание лица показывало, что пароксизм еще не кончился.

— Дорофей Степаныч! — повторил тихо молодой человек.

Старик зашевелил губами, но они не издали звука. Он делал страшные усилия, но голос не повиновался ему.

Вильманстрандский купец с ужасом увидел, что старик лишился языка.

Прошло часа два. В продолжение их старик несколько раз делал усилие заговорить, и всякий раз с надеждой и мучительным страхом наклонялся к нему молодой человек; но усилия старика были напрасны.

Ему становилось всё хуже и хуже. Наконец он поманил к себе молодого человека, благословил его и показал ему на свою подушку. Догадавшись, в чем дело, молодой купец засунул руку под подушку и достал оттуда пакет. Старик развернул его дрожащими руками; там было два листа с гербовыми печатями, четко исписанные, и несколько билетов. Умирающий поодиночке показал молодому купцу билеты и документы, делая при каждом толкование без слов, потом снова вложил всё в пакет и с благословением передал своему душеприказчику.

К утру старик умер...

Весна; четвертый час пополудни. Солнце ярко блестит на Невском проспекте; по тротуарам с журчаньем бегут ручьи, стекающие из труб; монотонно и мерно, с глухим шумом падают крупные капли с страшной высоты. Снегу нет; грязный песок, взбороненный беспрестанной ездой, лежит мрачными массами в тени; солнечная сторона улицы прихотливо испещрена озерами, по которым местами образовались острова. Вся широкая улица загромождена экипажами, представляющими по странной смеси своей разнообразное и оригинальное зрелище. Чуть виднеются

низкие санки, с глухим стуком обрушиваясь в рытвины, и то плывут по воде, то визжат пронзительно, прорезывая камни полозьями; высоко поднимаются и гремят колесами кареты и коляски, сильно раскачиваясь. Тротуары еще оживленнее; народу множество; даже собаки все до одной высыпали из своих домов и снуют под ногами гуляющих; и каких тут нет собак! и маленькие, и большие, и мохнатые, и голые — синие с лоском, как бритва, которою их выбрили, и пестрые, и коричневые, и черные, и совсем белые; словом, нигде нельзя увидать такого множества разнороднейших собак, как в ясный весенний день на Невском проспекте. Гуляющие раскланиваются, сталкиваются, извиняются и обмениваются выразительными взглядами, сердятся...

— Ах! — обиженным тоном вскрикивает пожилая дама, идущая под руку с румяным кавалером.

Румяный кавалер не хочет понять, что толкнуть в тесноте нечаянно — дело очень естественное; в его голове тотчас составляется страшная драма. Смерив грозным взглядом неловкого господина, впрочем совершенно невинного,— платье дамы так длинно, что само подвертывается под ноги,— он восклицает:

— Милостивый государь! вы наступили моей даме на платье!

— Извините, я нечаянно!

— Как нечаянно?..

И румяный кавалер, стукнув палкой, вместо тротуара, по ноге своей дамы и позабыв извиниться, сердито продолжает путь. Он чувствует себя глубоко обиженным и долго ворчит: «Как можно такому множеству народа ходить по одной стороне?.. а всё оттого, что везде черный народ!» И если в ту минуту не встретится ему ни один мужик, он всё-таки останется при своем мнении...

Сколько в такие дни погибает дорогих и прекрасных платьев!

С гордой беспечностью подметает разряженная дама своим длинным платьем грязную улицу, будто величаясь пренебрежением к нему и всенародно показывая, что ей ничего не стоит испортить такое дорогое платье. Положим, она в состоянии купить дюжину таких платьев; а ножки? Мокрые ботинки безобразно раздулись, и бедные ножки, иногда в сущности очень хорошенькие, изредка появляясь, производят впечатление убийственное. С ужасом смотрят порядочные люди на гордо выступающую даму; но она

приписывает их взгляды своей красоте, своей богатой шляпке с пером и бросает с своей стороны язвительные взоры на тех дам, которые, грациозно приподняв платье, осторожно переходят грязь и доставляют случай увидеть свои маленькие ножки, со вкусом обутые...

Но пускай себе ходят и одеваются, как хотят, богатые дамы.

В толпе, переходящей улицу от Гостиного двора, видим мы бедную девушку, в синей шляпке и синем салопе, с небольшим свертком. Сани, дрожки, кареты, коляски, курьерские тележки тащатся и летят своим порядком, брызгая грязью; но храбрейшие пешеходы отважно мелькают между лошадьми, не смущаясь потрясающими криками кучеров. Соскучась выжидать, девушка тоже пустилась вперед; за ней последовал высокий господин, с лицом зверски мрачным, но полным и краснощеким, которому — дело ясное — судьба предназначала выражать ощущения, не столь свирепые.

Вдруг раздался женский визг, слившийся с криком «пади, пади!» Проворно перебежав улицу, девушка с любопытством оглянулась: высокий господин как ошеломленный стоял среди глубокой лужи и трагическим взором следил,— очевидно, за ней; парные сани чуть не задели его, но кучер ловко свернул в сторону и только обдал его с ног до головы грязью... Девушка пошла своей дорогой. Мрачный господин перебежал улицу, вытерся, отряхнул грязные сапоги и пустился преследовать синюю шляпку, сбивая с ног встречных. Девушка, по-видимому, ничего не подозревала: она шла то скоро, то останавливалась перед окнами богатых магазинов, или, пораженная гордо выступавшей дамой, завистливо осматривала ее платье. Наконец, перейдя Аничкин мост, она проворно скрылась в воротах одного дома, в нижних окнах которого виднелись шляпки, чепчики и наколки. Мрачный господин долго любовался ими, прохаживаясь мимо, наконец занес ногу на крыльцо магазина, но вдруг раздумал — и пошел в трактир напротив. И скоро в форточке явилась его мрачная тщательно причесанная голова с глазами, устремленными на окна магазина...

Мрачный господин часто провожал девушку; но она не замечала его: он всегда держался в почтительном отдалении.

Раз вечером, когда легкий мороз высушил тротуары и затянул, точно слюдой, лужи, та же девушка в той же са-

мой шляпке вышла из ворот с маленькой корзинкой. Высокий господин как из земли вырос и пошел за ней. Девушка очень спешила, опасаясь скорых сумерек. Мрачный господин долго держался, по своему обыкновению, в почтительном отдалении, наконец вдруг поравнялся с ней и пошел рядом. Он два раза раскрывал рот, но, видно, слова не шли с языка, и он ограничивался выразительным покашливанием. Привыкшая к таким любезностям уличных гуляк, девушка насмешливо улыбалась и прибавляла шагу...

— Вы куда-то спешите?— проговорил наконец мрачный господин нетвердым голосом.

Она молчала и шла дальше.

— Позвольте мне вас проводить, сударыня.

Не взглянув ему в лицо, девушка отвечала обиженным тоном:

— Вы, кажется, уж и без позволения провожаете...

— Я-с? помилуйте!..

Мрачный господин смешался. С минуту он шел молча, потом произнес с расстановкой, будто рассуждая с самим собой:

— Какая приятная погода! — подмораживает! Утром было очень грязно... Я вас имел счастье видеть сегодня, сударыня.

— Ах, боже мой! — воскликнула девушка и, дернув плечом, отвернулась.

— Я вас давно знаю! — воскликнул мрачный господин отчаянным голосом.— Вчера вы изволили ходить в Гостиный двор, третьего дня — на Адмиралтейскую площадь, четвертого — в Гороховую. Видите, я всё знаю, всё!..

Вспыхнув краской удовольствия — за ней еще никто так усердно не ухаживал,— девушка уже не так резко спросила:

— Да почему вы меня знаете?

— Я почему вас знаю, сударыня... я?!..

— Да, вы, почему?

— Я изумлен, очарован, околдован, прикован, сударыня, вашей красотой, я...

— Вот глупости какие! — возразила девушка и сердито перешла улицу.

Точно, особенной красоты в ней не было; но она была молода и свежа; добрые голубые глаза, приятная улыбка, веселое и беспечное выражение лица — всё вместе прида-

вало ей много привлекательности. Одета она была довольно бедно, но опрятно.

— Я вас не оставлю! — кричал, перебегая за ней дорогу, высокий господин.— Я должен с вами объясниться!

— Что вы так пристали ко мне?— сказала девушка с притворным гневом, которому противоречило ее лицо.

— Сударыня, выслушайте меня!

— Я и так вас много слушала.

— Где я могу вас видеть, чтобы с вами переговорить?

— Нигде!

— Вы далеко идете теперь?

— А вам на что?

— Ах, скажите!

— Не скажу! — поддразнивая, отвечала девушка.

— О жестокосердая! — воскликнул мрачный господин трагическим тоном.

Девушка рассмеялась.

— Чему вы смеетесь?

— Оттого, что мне смешно.

— Верно, надо мной?

— Может быть.

— Вам меня не жаль?

— Нисколько. Я вас совсем не знаю. Прощайте!

И девушка побежала в ворота многоэтажного дома.

— Вы скоро выйдете?— закричал ей вслед высокий господин.

Девушка приостановилась.

— Я здесь живу,— отвечала она.

— Неправда! вы живете за Аничкиным мостом, в доме купчихи Недоверзевой.

— А вы почем знаете?— с удивлением спросила девушка.

— Я?.. я знаю всё, что до вас касается...

— Воображаю!

— Я знаю, что ваша мадам очень сердита... Как вас зовут?..

— Как? ну, скажите?

Мрачный господин немного подумал и отвечал сладким голосом:

— Прелестное созданье!

— А вот и не знаете! Прощайте!

Девушка с хохотом убежала. Проводив ее глазами, мрачный господин остался у ворот. Он вынул из кармана щеточку с зеркальцем и, полюбовавшись собой, пригладил

свою голову, завитую мелкими колечками и сильно напомаженную; потом обдернул свое новое вычурное пальто цвета леопардовой шкуры, провел рукавом по шляпе, и без того лоснившейся, и надел ее набекрень... Но вдруг лицо его, сиявшее самодовольствием, омрачилось заботой. Он бегом пустился по улице, толкая прохожих.

Девушка скоро явилась, уже без картонки, и, не застав высокого господина на прежнем месте, нахмурилась, осмотрелась кругом и тихо пошла домой. Через минуту она услышала за собой скорые шаги и тяжелое дыхание. Лицо ее прояснилось; она ускорила походку, потом вдруг обернулась и вскрикнула, будто с досадой и удивлением: «ах!»

Мрачный господин, задыхаясь, показал ей пеструю бонбоньерку.

— Позвольте мне вам...

— С чего вы это взяли?— обиженным тоном возразила девушка.

— Я с благородным намерением, сударыня! — отвечал он скороговоркой.

— Помилуйте, я вас совсем не знаю! — сказала девушка несколько мягче.

— Что же такое, сударыня? когда человек с благородным намерением дарит такую безделицу, то...

— Я боюсь: мадам увидит. Вы сами сказали, что она сердитая.

— Вам нечего бояться, сударыня! я не то, что другие. Я, можно сказать, готов для вас на всё!

Девушка покраснела.

— Воображаю!

— Да, сударыня; я прошу вас, доставьте мне случай говорить с вами...

— Как вам не стыдно! что вы ко мне пристали! — воскликнула девушка, серьезно обиженная, и, перебежав улицу, скрылась в воротах дома купчихи Недоверзевой.

Скрестив руки и нахмурив брови, мрачно смотрел высокий господин на бежавшую.

Девушка вошла на темное крыльцо, отворила дверь и скоро достигла большой и мрачной комнаты, выходившей окнами на маленький двор, с огромной ямой и множеством навесов, обнесенный бесконечно высокой стеной с бесчисленными окнами. Несмотря на холод, многие окна были открыты, как летом; перед ними работали мастеровые всех родов с песнями, страшным стуком и кри-

ками. Стены дома были испещрены вывесками, а на лестницах красовались голубые руки с протянутым указательным пальцем, не приносившим, впрочем, никакой пользы: приходивший со свету на темную лестницу ничего не видал и должен был стучаться в первую дверь, чтоб навести справку.

Поперек комнаты, куда вошла девушка, тянулся бесконечный некрашеный стол, загроможденный лоскутками и картонными болванами, беспощадно истыканными; ножницы поминутно стучали по столу. Пол комнаты был усеян обрезками, стены увешаны неоконченными платьями и салопами.

За большим столом сидело восемь девочек, предводительствуемых пожилой швеей с рябым, некрасивым лицом. Перед другим, небольшим столиком, у окна, сидел мужчина лет пятидесяти с пухлым и бледным лицом. Его огромные мутно-черные глаза, с выражением бесконечной глупости, были полузакрыты, как сонные, и только изредка раскрывались совершенно. Но и полуоткрытые и вытаращенные, они неподвижно были устремлены на одну девочку лет четырнадцати, которая помрачала всех остальных своим хорошеньким личиком и называлась (конечно, в насмешку) «красавицей». Одежда пухлого господина была оригинальна: желтые брюки, желтая курточка и розовый платочек, повязанный с таким совершенством, что уже не казалось странным видеть между его коленами картонного болвана с глазами, оживленными не меньше его собственных. На болване торчал кружевной чепчик, и господин в желтых брюках с большою грациею украшал его лентами. Рядом с ним сидела женщина, толстая, с волосами почти белыми, с лицом сморщенным и серыми глазами, необыкновенно живыми. То была мадам Беш, содержательница магазина и супруга господина Беша, накалывающего банты. Она считала вслух, с чухонским произношением, петли, крючки и пуговицы, когда вошла девушка в синей шляпке. Мадам встретила ее крикливым вопросом:

— Что долго хадиль?

— Не близко посылали! — отвечала девушка.— Вот деньги за чепчик.

Мадам приняла деньги и, считая их, протяжно спросила:

— Гу-ля-ла, а?

— Каролинхен! — нежно пропищал супруг, любуясь оконченным чепчиком.

— Ах, сбиваешь! — сердито крикнула мадам и продолжала считать.— Раз рубль, два рубль...

— Каролинхен! хорош ли так? понравится ли их превосходительству?

Господин Беш тоже нечисто говорил по-русски.

Каролинхен с нахмуренными бровями осмотрела чепчик, сосчитала банты, которых оказалось с десяток, и повелительно сказала:

— Мало бант!

— Легче будет.

— Мало бант! — резко повторила супруга.

Вдруг раздался пронзительный звон колокольчика. Хозяйка, оправившись, кинулась в стеклянные двери с зеленой тафтой, а супруг вытаращил сонные глаза на «красавицу», которая проворно шила. К ней подсела девушка, уже известная нам, казавшаяся без шляпки гораздо красивее: густые белокурые волосы делали личико ее еще свежее.

— А что?— тихо шепнула она своей соседке.— Рябая не бегала под ворота?

— Нет, она кроила, а мадам сердилась.

— Пусть сердится! А меня сегодня какой-то господин провожал; так пристал ко мне!

— Вчерашний?

— Нет; должно быть, богатый: конфект мне купил.

— Ах, не увидели бы!.. где они?

— Нет, я их не взяла.

Лицо мадам Беш показалось в дверях; она кликнула белокурую девушку.

Как только белокурая девушка, приглаживая волосы, скрылась, господин Беш поставил своего болвана, подошел к «красавице» и с словом «держите» грациозно надел ей на руки моточек шелку. Затем с невыразимо сладкой улыбкой он всё подвигался к ней и наконец подвинулся так, что девушка невольно отшатнулась; шелк спутался.

— Ах, какой неосторожна! — сердито воскликнул господин Беш.

— Хорошенько ее, Эдуард Карлыч! — злобно проворчала рябая швея.

Господин Беш медленно возвратился на прежнее место к столику и поманил девушку; но, видя, что она не движется, он крикнул: «Подить суда!»

«Красавица» повиновалась, но страшно покраснела: подруги ее перешептывались и двусмысленно улыбались;

а рябая швея прошипела вслед ей: «Мотайте! мотайте! вот я мадаме скажу!..»

«Красавица» стояла перед господином Бешем; господин Беш мотал шелк и поминутно распутывал узлы, причем так близко наклонялся губами к рукам девушки, что она чуть не плакала и пятилась прочь; но господин Беш поминутно притягивал ее к себе...

Насмешки подруг становились всё громче. Бедная девушка, красная, с заплаканными глазами, стояла ни жива ни мертва...

Дверь с тафтяной занавеской скрипнула: вошла мадам Беш. Господин Беш стремительно схватил и поставил на колени картонного болвана, будто эмблему своей невинности; а может быть, он надеялся найти в нем защиту против гнева супруги. С мотком в руках «красавица» осталась на прежнем месте.

Окинув испытующим взором сначала господина Беша — с ног до головы,— потом «красавицу», мадам Беш резко скомандовала: «На место!» Девушка с радостью повиновалась. Рябая швея строго погрозила ей пальцем.

Каролинхен горячо заговорила по-немецки, и тоже нечисто. Супруг, потупив голову, слушал молча и собирал рюш. Ссору покончила вошедшая белокурая девушка, которая сказала: «Вот, задаток оставили» — и подала гневной супруге красненькую. Потом она села на прежнее место и осторожно шепнула своей взволнованной соседке:

— Что, видно, опять к тебе приставали?

— Тише: рябая слушает! — отвечала «красавица», нагнувшись и будто поднимая лоскуток.

Они замолчали; но лицо белокурой девушки выражало сильное волнение: видно было, что мучит ее желание сообщить подруге важную тайну. Наконец, улучив минуту, она шепнула соседке: «Знаешь ли, кто был?.. он!»

— Ах! а мадам?

— Ничего; она скоро ушла, а мне приказала хорошенько понять, какого ему чепчика хочется.

— Ножницы! — неожиданно крикнула рябая швея и тем положила конец разговору.

Мрачный господин целые дни проводил на тротуаре; каждый раз, когда белокурая девушка выходила со двора, они встречались, как знакомые. Если с ней был узел, он нес за нее, и всю дорогу они горячо толковали.

Случалось, она выходила к воротам,— мрачный госпо-

дин непременно торчал тут; они менялись короткими словами, и девушка поспешно убегала.

Раз, в воскресенье, она шла с ним под руку у Большого театра. Он уговорил ее войти в кондитерскую и самым отчаянным голосом приказал подать шоколаду, кофе, мороженого, конфект, пирожков — всего...

— Осчастливьте: скушайте! — говорил он девушке.

— Уж довольно; благодарю; мне ничего не хочется.

— Пить вам не угодно ли? Эй, оршаду! лимонаду! — кричал он в дверь.— Живее, живее!

— Не надо, не надо! право, я ничего не хочу.

— Отчего же вы ничего не желаете? Осчастливьте: скушайте! А вашу приятельницу не пустили сегодня?

— Да, Эдуард Карлыч ушел со двора, а уж мадам тогда ее не пускает... А всё рябая ей наговаривает. Он прежде за ней ухаживал, а теперь всё к нам пристает; так вот ей и досадно...

Девушка остановилась, услыхав в соседней комнате звон колокольчика и мужской голос, требующий рижского бальзама.

— Ах, кто-то пришел! — прошептала она с испугом, доказывавшим, что она в первый раз в кондитерской.

— Не беспокойтесь: никто сюда не войдет.

— Я боюсь, чтоб рябая не пришла! у ней тут близко родные живут. Ах, как она нам надоела: каждый день у меня ссора, то с мадамой, то с Эдуардом Карлычем; а всё она...

— Вот видите,— с упреком заметил мрачный господин,— а вы не согласны!

— Как можно? я бедная! у меня ничего нет, никого родных нет... как можно!

Девушка заплакала.

Мрачный господин прошелся по комнате, принял перед зеркалом трагическую мину и произнес глухим голосом:

— Я говорил вам, что я с благородным намерением: я прошу вашей руки!!!

— Я бедная! — рыдая, возразила девушка.

— Зато я богат... Что золото, когда тут любовь... любовь! — повторил громогласно высокий господин.— А я вас люблю, обожаю, боготворю-с. Мне ничего не надо, кроме вашей руки, царица души моей!

— Не могу же я оставить одну свою сестру...

— Какую сестру?

— Так я подругу свою называю. Ее, бедную, там заедят!

— Она может переехать к вам...

— Ах, в самом деле! — живо воскликнула девушка; лицо ее прояснилось, и она с такой благодарностью посмотрела на мрачного господина, что он смутился и стал поправлять свои завитые волосы.

— Право, не знаю, как вас благодарить,— сказала тронутая девушка.— Вы так добры, что, верно, не обманете бедную...

Мрачный господин прервал ее страшными клятвами.

— Я вас люблю, сударыня, люблю с благородным намерением,— повторял он,— и если вы согласны, так хоть завтра же переезжайте на мою квартиру с вашей подругой... Я всё приготовлю.

— Как можно! я к вам не поеду!

— Ведь вы будете там одни, а я поживу в другой квартире... Не верите мне, так, пожалуй, в тот же день обручимся, свидетели будут и нас окликнут... Согласитесь, осчастливьте!..

Мрачный господин пал на колени и продекламировал с приличными жестами:

Когда с тобой — нет меры счастья,
Вдали — несчастен и убит;
И, словно волк голодной пастью,
Тоска пожрать меня грозит!
Куда ни обращаю взоры,

(мрачный господин приостановился, окинул глазами кондитерскую и продолжал)

Долины, облака и горы —
Всё говорит: «Люби! люби!»
Во цвете лет — не погуби!
Не наноси смертельной раны,
Не откажи моей мольбе...
Пусть лучше растерзают враны
И сердце принесут к тебе!..

Он посмотрел на нее долгим, пристальным взглядом: по щекам ее медленно катились слезы; только страх быть обманутой удерживал ее дать немедленно согласие.

— Хорошо,— сказала она.— Завтра я вышлю вам письмо с дворником.

— Ответ будет решительный?— торжественно спросил мрачный господин, вставая.

— Да.

— Извольте, я на всё готов! Если не любите, напишите (он сделал трагический жест), я сумею прекратить свои дни!..

— Что вы говорите! — воскликнула девушка бледнея. С ужасом взглянула она в его лицо, которое было зверски мрачно, как в тот день, когда он в первый раз провожал девушку, и тихо прибавила:— Я вам лучше теперь скажу всё, всё... я... я вас люблю...

В самом деле, романические выходки, постоянные угождения, стихи, брак — всё так вскружило ей голову, что она почувствовала себя тоже до безумия влюбленною.

— О, я счастливейший смертный! — восторженно воскликнул мрачный господин.

Она упросила его подождать еще неделю и собралась домой.

— Эй, два фунта конфект, самых лучших! — крикнул мрачный господин.

— Нет, не нужно!

— Для вашей приятельницы... примите...

Воротившись домой, белокурая девушка пересказала всё своей приятельнице и дала ей конфекты. Любуясь ими, «красавица» наивно спросила:

— Отчего ты не хочешь скорей согласиться? он тебя так любит! посмотри, какая чудесная корзинка.

— Какая ты глупая! ну, как он меня обманет? Помнишь Соню? опять пришла к мадаме, а та как ее бранила, прогнала... Говорят, она умерла в больнице...

— Неужли?

И обе девушки побледнели.

— Да, страшно; но ведь он не такой; ты сама говорила, что он готов хоть сейчас обручиться...

— Говорил-то много; я знаю, что он меня любит... Ну, а как он бедный: что я тогда буду делать?

— Работать, как теперь.

— В магазин замужнюю не возьмут, а на дому немного наработаешь с хозяйством.

— А как бы мы хорошо жили вместе! мадам как бы разозлилась! а рябая! ха-ха-ха!

И лицо девушки зарделось краской удовольствия; долго она мечтала о счастии жить свободно...

Воскресенье. Рабочая комната выметена, длинный стол пуст; только две девицы гадают на нем. Другие девицы, принарядившись, вертятся у ворот и любезничают с мастеровыми и лакеями; а предпочитающие покой спят на своих сундуках, которые служат им постелью.

Белокурая девушка сидит с своей приятельницей на окне магазина, нетерпеливо поджидая, когда пройдет

мрачный господин. А между тем над головами их готова разразиться страшная буря.

Рябая швея, давно наблюдавшая за ними, раз увидела у «красавицы» конфектную бумажку и донесла мадам Беш, что господин Беш дарит «красавице» конфекты. В порыве безграничной ревности мадам Беш кинулась к сундуку «красавицы», взломала могучими своими руками замок — и в ужасе отступила: в сундуке оказалось множество конфект.

Всплеснув руками, мадам Беш выбежала вон и скоро воротилась, таща к сундуку сонного господина Беша, который только что улегся было в большую, мягкую кровать.

— Кто купил? а? — грозно спросила она.

Супруг наивно посмотрел на красивые конфекты, на жену, опять на конфекты и бессмысленно покачал головой.

— Ага! мой всё знает! — вскрикнула мадам Беш, и град немецких ругательств с примесью чухонских посыпался на глупую голову господина Беша. Взгляд оскорбленной супруги был злобен, движения грозны, голос всё повышался...

А рябая швея побежала в магазин, где сидели наши приятельницы, и с озабоченым видом сказала:

— Подите-ка! у вас мадам в сундуках шарит!

Встревоженные девушки кинулись в швейную и увидали страшную картину: разъяренная мадам Беш, покрытая красными пятнами, держала у самого носа господина Беша горсть конфект и, притоптывая ногой, повторяла: «Woher, woher?..» *

Супруг же, в одном жилете и парике, немного сбитом на сторону, стоял перед ней с довольно спокойным и неизменно глупым лицом.

Увидав «красавицу», мадам Беш страшно вскрикнула: «А-а! вот она...» — и, подняв кулаки, кинулась к ней. «Красавица» спряталась за свою подругу, которая повелительно спросила:

— Что вы хотите делать? разве она украла у вас что-нибудь?

— Я ее высеку, я ее высеку на съезжей! — кричала мадам Беш.

— За что?

— За что... за что... зачем гуляет с мой муж... да, не смей гулять! я и его выс... жаловаться буду!

---

* «Откуда, откуда?..» *(нем.)*

«Красавица» дрожала и плакала.

— Не плачь: я не дам тебя сечь! — твердо сказала ей подруга.

— Как ты смеешь говорить, что не дашь? она виновата!

— Неправда! конфекты дала ей я... и у меня такие же есть!

Заступница вынула из кармана своего передника несколько конфект и показала их ревнивой супруге.

Но разгоряченная мадам Беш не только не успокоилась, напротив — пришла в сильнейшую ярость, как тигр при виде крови: ей представилось, что господин Беш имел основательные причины дарить конфектами всех швей. Крики и слезы продолжались долго. Только к концу сцены господин Беш понял, в чем дело; душевно обрадовавшись, он попробовал защищаться, но голос его замер в криках супруги...

Вечером рябая швея с торжеством глядела на сборы двух девушек и радостно повторяла: «Ага! выжила-таки вас. Вот подите поголодайте-ка!..» Ломовой извозчик вывез из ворот небольшую поклажу; за ним, на дрожках, выехали подруги с огромными узлами.

Через неделю мрачный господин обвенчался с белокурой девушкой. Свадьба была великолепная.

— Поздравляю вас, Надежда Сергеевна, и вас, Василий Матвеевич! — говорили один за другим многочисленные гости, встречая молодых.

— Вот бы теперь,— шепнул новобрачному, чокаясь с ним, один толстый гость, по всем признакам актер,— хватить те стихи, что... помните... ха-ха-ха!..

— Ну, теперь справимся и без стихов! — самодовольно отвечал Кирпичов.

— Полинька! мы теперь никогда не расстанемся,— говорила Надежда Сергеевна, целуя свою молоденькую подругу.— О, я счастлива!

Кирпичов обходился с своей женой нежно и внимательно. Неделя прошла в полном счастии. Раз, когда Надежда Сергеевна сидела с Полинькой за чайным столом, вбежал Кирпичов и восторженным голосом закричал:

— Радость! радость!

— Что такое?

— Ты наследница... у тебя был дядя в Шумилове, Дорофей Степаныч... он умер и оставил тебе капитал... вот

завещание и билеты... приехал оттуда один мой знакомый купец и привез...

Радость Надежды Сергеевны была неописанная.

— Я теперь могу отплатить тебе за всё,— сказала она своему мужу.— Я богата, и все мои деньги принадлежат тебе.

Она дала мужу доверенность на получение своего капитала из шумиловского Приказа общественного призрения, и Кирпичов уехал...

Получив деньги, Кирпичов продал также шорную лавку и дом, оставленные ему, как известно было всем жителям того города, покойным купцом Назаровым, который, умирая, сделал его своим душеприказчиком.

Воротился к жене Кирпичов совсем другим человеком. Начались беспрестанные домашние сцены, которые убедили Полиньку, что ей неловко оставаться в его доме; приятельницы поплакали и расстались. Захватив в руки состояние жены, Кирпичов открыл книжный магазин... Но мы еще к нему воротимся.

Глава VI

ГОРБУН

Часов в девять утра Полинька оделась, завязала в узелок часы и ложки и вышла из дому. Миновав много населенных улиц и переулков, она пришла в переулок совершенно пустой, немощеный и незастроенный. По сторонам его тянулись ветхие бесконечные заборы, то вогнутые, то выдавшиеся вперед; посредине стояли грязные пруды. Полинька прошла уже половину переулка, но не видала еще ни одного дома; ни людей, ни животных также не попадалось; только вороны и галки, тяжело взмахивая крыльями, перемещались с грязных луж на забор, причем Полинька каждый раз вздрагивала. Наконец однообразие забора нарушилось: показался деревянный дом с закрытыми ставнями, которые походили на заплаты. Черепичная крыша давила гнилое здание, бесконечно длинное. Ворот не было; заметив в заборе небольшую калитку, Полинька дернула за веревку, торчавшую у скобки; на дворе послышались звуки цепей, лай собак, отозвавшийся по всему пустынному переулку; но никто не являлся. Полинька снова дернула за веревку; опять лай и звон — и только. Полинька покраснела и нетерпеливо ударила маленькой своей ручкой в калитку.

— Кого те надо?— раздался хриплый голос.

Откуда? Полинька не могла решить. Казалось, он выходил из-под земли.

В сильном испуге Полинька вскрикнула и, бледная как смерть, прислонилась к забору.

Подземный вопрос повторился. Она посмотрела с беспокойством по направлению хриплого голоса и увидала в отдушине, которая приходилась в уровень с землей, рыжую голову и улыбающееся лицо, всё в коричневых веснушках, с огромным ртом и оскаленными зубами. Оно страшно щурило свои красные, слезливые глаза, пораженные светом.

— Здесь живет Борис Антоныч?— ласково спросила Полинька.

Но рыжая голова вдруг исчезла.

— Здесь,— отвечал другой голос, пискливый и протяжный.

Удивленная Полинька осмотрелась и нерешительно повторила:

— Здесь?

— Здесь.

— Можно его видеть?

— Не знаю! — пробасил третий голос, не похожий ни на первый, ни на второй.

Полинька совершенно потерялась.

— Кто-нибудь,— сказала она строго,— отворите калитку, не то я уйду: мне некогда.

— Сейчас, сейчас! — раздался старушечий голос с удушливым кашлем.

— Мне всё равно,— возразила смущенная Полинька.— Кто-нибудь,— только скажите, можно ли видеть Бориса Антоныча?

Ответа нет. Полинька нагнулась взглянуть в отдушину, но отдушина уж заложена. Потеряв надежду добиться толку, Полинька решилась вернуться домой, как вдруг к собачьему лаю присоединились дикие крики: «Атрешка!.. пес... эй, буйвол! в норы!..»

Человеческий голос обрадовал Полиньку. Цепи загремели, глухой лай сменился пронзительным визгом, потом всё смолкло, и калитка, будто сама собой, растворилась. Полинька вошла на большой двор, обнесенный со всех сторон крепким забором с острыми железными зубцами. Всё еще не видя никого, кроме собак, высунувших оскаленные морды из своих будок, Полинька долго осматри-

валась и наконец заглянула за калитку: она увидела притаившегося мальчишку лет тринадцати, низенького, но весьма плотного, в ситцевой женской кацавейке. Нечесаные рыжие волосы совершенно закрывали его лоб, отчего широкое лицо мальчишки казалось еще шире и безобразнее. Он самодовольно улыбался.

— Дома? можно видеть?

Мальчишка грязным пальцем указал на крыльцо.

— Туда надо идти?— спросила Полинька.

Он кивнул головой и стал запирать калитку.

Полиньке сделалось страшно. Она вошла на крыльцо и опять спросила:

— Так я могу видеть Бориса Антоныча?

Мальчишка подошел к крыльцу, сильно хромая.

— Ты хромаешь?

Он жалобно посмотрел на нее и показал, что не может говорить.

— Кто же со мной говорил?— спросила удивленная Полинька.

Мальчишка замотал головой, отворил дверь и пошел вперед, маня за собой Полиньку. Они вошли в небольшую прихожую; мальчишка тщательно вытер об половик свои босые ноги и указал ей на дверь; но Полинька сначала с участием посмотрела на него и дала ему пятак. Обрадованный неожиданным подарком, мальчишка весь вспыхнул, начал ласково кивать головой и всё указывал на дверь. Отворив ее и переступив порог, Полинька очутилась в комнате, длинной и низенькой, которая, несмотря на множество мебели, поражала пустотой. Огромные вазы, окутанные полотном, не гармонировали с маленькими соломенными стульями, плотно стоявшими по стенам непрерывными рядами; большое зеркало с вычурной рамой, не уставившееся в длину, висело поперек.

Низенькая, мрачная комната, пустой двор, глухой переулок, немой оборванный мальчик — всё вместе навело на Полиньку страх. «Что, если у меня отнимут вещи?— подумала она.— Кто услышит мои крики в этом пустом доме?» И она прижала к сердцу свое сокровище и в страхе ждала нападения.

Вдруг кто-то кашлянул так близко, что можно было подозревать в комнате присутствие другого лица. Полинька еще сильней испугалась; ноги у ней задрожали, она в изнеможении села. Послышались тихие шаги, и скоро отворилась маленькая дверь, не замеченная Полинькой.

Борис Антоныч будто вырос перед Полинькой из-под полу. Он был одет очень чисто, даже несколько изысканно. При дневном свете в лице его резко обозначалось множество мелких морщин; глаза, опушенные густыми ресницами, так же ярко блестели, как вчера вечером, когда Полинька увидела его в первый раз.

Полинька так обрадовалась появлению знакомого человека, что даже не заметила удивленного взгляда, брошенного на нее горбуном.

Они раскланялись очень вежливо.

— Извините меня...— начала она.

— Что вам угодно?— перебил он сухо.

Полинька смутилась.

Заметив ее смущение, он повторил мягче:

— Что вам угодно?

— Я принесла вещи под залог,— отвечала ободренная Полинька.

Он слегка улыбнулся и посмотрел искоса на узелок, который держала Полинька.

— Какие вещи?

— Ложки и часы! — твердо отвечала Полинька.

Она начала развязывать узелок, но так торопливо и неосторожно, что всё ее сокровище с звоном полетело на пол.

— Ах, что вы наделали! — воскликнул Борис Антоныч.

Он поднял часы, приложил к уху и радостно сказал: «Идут!», потом обратился к Полиньке.

— Ах, как вы испугались! — сказал он, любуясь бледным и прекрасным лицом девушки.— Хе-хе-хе!

Посмеявшись тихо и звонко, он круто спросил:

— Ну-с, так вы желаете денег взаймы?

— Да!— отвечала Полинька и нагнулась подбирать ложки.

— Не могу! — решительно отвечал Борис Антоныч, тоже нагибаясь, причем Полинька заметила горб между его плечами.

Отказ так поразил бедную девушку, что она лишилась голоса и удивленными глазами смотрела на согнувшегося горбуна, который, подбирая ложки, слегка кряхтел. Она быстро поднялась с колен, не заботясь больше о своих ложках, на которых за минуту основывала так много надежд. Горбун тоже поднялся и долго не спускал глаз с изумленного и печального личика девушки, которой всё еще казалось невероятным, чтоб вещи, столь дорогие для

нее, не имели цены в глазах других. Наконец, чтоб смягчить свой отказ, он сказал:

— Я даю только по знакомству или по дружбе.

— Я слышала...— робко начала Полинька.

— От кого вы слышали?— перебил горбун, раскрыв шире свои большие глаза.

— ...что вы даете деньги,— продолжала Полинька.

— Мало ли что вы слышали! Точно, даю деньги, но только тем, кого знаю. И кто вам сказал, что я беру в залог вещи?

— Надежда Сергеевна Кирпичова.

Лицо горбуна немного передернулось. Взглянув исподлобья на Полиньку, он проговорил протяжно:

— Гм! так вы ее знаете?.. А супруга изволите также знать?

— Да, как же-с! — с улыбкой отвечала Полинька.

— Позвольте узнать, с кем имею честь говорить?— вежливо спросил горбун, немного нагнувшись.

Полинька снова увидела горб.

— С... с Климовой! — весело отвечала Полинька.

— Имя и отечество?

— Палагея Ивановна.

— Вы замужем?

И горбун насторожил уши.

— Нет,— беззаботно отвечала Полинька.

Горбун пристально посмотрел на нее, будто желая удостовериться, правду ли она говорит.

— С папенькой или с маменькой изволите жить?

— Нет-с...

— Так, может быть,— перебил горбун,— с тетенькой?

— У меня никого нет родных,— грустно отвечала девушка.

— С кем же изволите жить?.. молодой девушке надо...

— Я живу одна, на своей квартире, и трудами достаю себе хлеб,— быстро возразила Полинька, опасаясь, чтоб он не сделал о ней невыгодного заключения.

— Так вы сирота круглая, можно сказать?

— Да,— со вздохом отвечала Полинька.

— Далеко изволите жить?

— Нет, близко, то есть... довольно далеко...

Во время разговора горбун так проницательно смотрел на Полиньку, что она начинала уже чувствовать невольную неловкость и очень обрадовалась, когда горбун наконец спросил:

— А сколько вы желаете? я, знаете, обеднел немного в последнее время.

— Мне нужно двести пятьдесят рублей,— отвечала Полинька краснея.

— Не могу такой суммы! — возразил горбун, но, увидев слезы, блеснувшие в глазах девушки, прибавил, не сводя с нее глаз:— Вещиц-то маловато!

— У меня ничего больше нет! я всё принесла!— отчаянным голосом отвечала Полинька.

— Нет ли еще чего? колечка?— с тихой усмешкой спросил горбун и, лукаво прищурив глаза, посмотрел на тоненький пальчик девушки, украшенный колечком с небольшим опалом. Она быстро схватилась за свое колечко, будто испугавшись, чтоб у ней его не отняли, и долго и печально смотрела на него: слезы блеснули в ее черных продолговатых глазах... Горбун жадно наблюдал лицо девушки, беспрестанно менявшееся. Вдруг оно приняло выражение твердой решимости. Поспешно сняв шляпку, Полинька с удивительным проворством выдернула из ушей небольшие серьги, кинула их к ложкам и стала снимать кольцо, но так медленно, что, казалось, у пей недоставало сил. Наконец кольцо было снято; Полинька поднесла его к губам, но, увидав язвительную улыбку горбуна, следившего за каждым ее движением, быстро переменила намерение: не поцеловав дорогого колечка, опа присоединила его к прочим вещам.

— Теперь я всё отдала! — проговорила взволнованная девушка нетвердым голосом и закрыла лицо руками.

Горбун не обращал внимания на приращение вещей: он жадно смотрел на Полиньку, на ее черную роскошную косу, тяготившую, казалось, маленькую головку, на чудную шейку, которой белизну разительней оттеняли крошечные уши, сильно раскрасневшиеся и сквозившие.

Лицо горбуна вдруг просияло веселостью и добротой.

— Я вам дам денег,— сказал он ласково.

Как быстро приняла руки Полинька и какая чудная, радостная улыбка осветила ее раскрасневшееся личико и глаза, еще полные слез!

— ...только скажите мне,— продолжал горбун,— на что вам деньги? Вы молоды: может быть, на прихоти, на тряпки?.. а?

— О нет, мне нужны деньги не на пустяки!

— Эх, хе-хе! Все так говорят, когда деньги нужны. Извините, но я вам сейчас расскажу, какую со мной шту-

ку сыграли. Вот так же приходит раз одна дама или девица, бог ее знает... ну-с... и просит денег под залог вещей. Вещи такие дрянные, да жаль стало,— плачет, говорит: нужда! Хорошо, я и дал. Срок проходит; жду, жду... нет, не идет моя должница... хе-хе-хе! Раз встречаюсь с ней на улице и говорю: «Возьмите же ваши вещи: пора деньги отдать». А она смеется... «Вольно же вам,— говорит,— брать вещи, которые вдвое дешевле стоят!» Вот-с как впросак попался! хе-хе-хе!

Заливаясь своим тоненьким и звонким смехом, горбун щурился и пристально смотрел на Полиньку. Щеки девушки вспыхнули, и всё лицо приняло напряженное выражение; в глазах сверкнуло негодование.

— Я знаю,— поспешил прибавить горбун,— что вы так не поступите; но вы молоды, сирота... без родителей.

— Пожалуйста, не думайте обо мне... я трудами достаю хлеб...

— А зачем же вам столько денег?— перебил горбун.— Я вас спрашиваю, как отец, как брат...

В голосе его звучало столько нежности и участия, что Полинька доверчиво сказала:

— Я занимаю для своего жениха.

— Ай-ай-ай! — И лицо Бориса Антоныча всё скорчилось.— Вот так я и думал! Как можно доверять деньги молодым людям? Верно, проигрался?

— Нет, ему нужно ехать отсюда.

— Надолго?— спросил горбун и внимательно посмотрел на печальную Полиньку.

— Не знаю, может быть, и надолго,— отвечала она с грустью.

— Вот ведь молодость-то! Право, мне жаль вас: долго ли до беды! ну а кто вступится за вас?.. И братца нет? а?

— Нет никого,— с досадой отвечала Полинька.

— Вот я тоже знал одну девицу-сироту. Жених присватался — хорошо; вот и собрался он к своим родным просить позволенья жениться. А она — молода была — сдуру денег ему и вещей надавала. Ну-с... уехал он; она ждет: ни слуху ни духу,— жених сгиб да пропал! Бедная девушка похудела; партии хорошие были, всем отказывала: знаете, всё верила его клятвам. Хе-хе-хе! Через год или больше, бог их знает, они встретились на улице; она к нему на шею, с радости плачет...

— Что вам угодно? кто вы такие?

— Как! ты меня не узнал?— спрашивает она своего жениха.

— Я вас не знаю...

— Я твоя невеста...

— Я давно женат на другой...— Хе-хе-хе! — тихим смехом окончил горбун свой рассказ, который, впрочем, не произвел на Полиньку особенного впечатления. Твердо уверенная в Каютине, она весело сказала:

— Ну, он не станет меня обманывать: напишет, если полюбит другую.

— Да, вот вы так рассуждаете! Ну хорошо, он вас так любит, что сам не женится; ну так его силою женят... хе-хе-хе! Человек молодой, как раз встретит товарищей, погуляют, оберут да так подведут, что на другое утро просыпается, а жена сбоку... хе-хе-хе! какая-нибудь сестрица приятеля... хе-хе-хе!

В лице Полиньки выразился испуг: она вспомнила ветреный характер своего жениха, его слабость кутить и дружиться со всеми, и предсказания горбуна смутили ее. А горбун смеялся громче обыкновенного, будто радуясь, что испугал девушку.

— Ну-с,— сказал он, потирая руки,— из уважения к Надежде Сергеевне я готов вам дать ту сумму, какую вы желаете. Вот изволите видеть: ваши вещи я беру во ста пятидесяти рублях, а в остальных... прошу покорно, так, знаете, на память, напишите, что, дескать, взяли у такого-то взаймы сто рублей ассигнациями... хе-хе-хе!

Горбун подошел к столу и приготовил всё нужное для письма.

Когда Полинька проворно написала, что он продиктовал ей, горбун сказал:

— Теперь извольте имя и фамилию подписать.

Когда и фамилия была подписана, горбун медленно сложил и спрятал расписку в карман, тихо посмеиваясь. Полинька спокойно стояла перед ним, а он, заложив руки назад, насмешливо смотрел ей в лицо. Наконец его насмешливый и проницательный взгляд смутил ее.

— Ну-с,— сказал он тогда,— вы изволили дать мне расписку?

— Да,— отвечала Полинька, не понимая, что он хочет сказать своим вопросом.

— А деньги получили? хе-хе-хе!

— Нет.

— Вот молодость! — воскликнул горбун, недовольный добродушием девушки.— Денег не получили,— прибавил он резко,— а расписку мне отдали; ну, как я вам не отдам теперь денег, а?

И лицо его приняло такое решительное выражение, что Полинька побледнела.

— Как можно?— возразила она с испугом.

— Как можно?.. вот я вам покажу, как можно!..

Он гордо поднял голову и грубо проговорил:

— Я не могу, сударыня, дать вам взаймы; извольте прежде заплатить по старой расписке... хе-хе́-хе!

Заключив свою грозную речь тихим и гармоническим смехом, горбун придал своему лицу такое добродушное выражение, что Полинька тоже весело улыбнулась.

— Вот видите, какая вы ветреная, Палагея Ивановна! — заметил горбун с особенным ударением на ее имени.— Извольте подождать: я сейчас принесу деньги... Погодите, сейчас!

Он ушел с озабоченным видом. Полинька, утомленная разнородными ощущениями, села и, нетерпеливо ожидая его возвращения, печально смотрела на красную полоску, будто на память оставленную колечком на ее пальце.

— Вот-с и я! — произнес горбун, остановясь перед ней и подавая деньги.

Полинька протянула к ним руку, но горбун сказал:

— Позвольте! где расписка?

— У вас в кармане,— шутливо отвечала Полинька.

— Хе-хе-хе! ну так извольте взять ее.— Он подал ей расписку и продолжал:— Теперь протяните вашу ручку... вот так, хорошо... Вот деньги, а вот расписка.

Они обменялись.

— Вот так нужно обходиться с деньгами,— заключил горбун.

Полинька поблагодарила его и хотела спрятать деньги. Горбун остановил ее.

— По-по-позвольте! Так вы получили деньги?

— Получила.

— Сполна?

— Сполна...

И она остановилась в недоумении.

— Как же вы не считая взяли? хе-хе-хе!

Пересчитав деньги, Полинька смутилась: двадцати пяти рублей недоставало.

— Хе-хе-хе! недостает?

— Да, двадцати пяти рублей.

— То-то, вы, молодой народ! ну хорошо, что на меня напали, а то...

И горбун, не окончив своей мысли, подал девушке двадцатипятирублевую бумажку.

— Благодарю вас,— сказала Полинька и надела шляпку.

— Прошу и в другой раз не забыть меня; рад, душевно рад служить всем, кто придет от имени такой почтенной дамы, как супруга Василья Матвеича.

Полинька раскланялась и вышла. Горбун провожал ее глазами.

Только что Полинька спустилась с крыльца, как четыре огромные собаки яростно кинулись к ней, гремя цепями, которые были так длинны, что собаки бегали по всему двору. Полинька с пугливым криком воротилась. Горбун стоял в прихожей, заложив руки за спину; он встретил ее своим тихим смехом.

— А ваши собаки?— задыхаясь, сказала она.

— Хе-хе-хе! они не кусаются.

— Нет, я их боюсь.

И Полинька умоляющими глазами смотрела на горбуна. Лицо его съежилось, и он сказал сладким голосом:

— Сейчас, не беспокойтесь. Извольте теперь идти,— продолжал он, дернув за снурок колокольчика.— Желаю вам веселой дороги и прошу вас засвидетельствовать мое почтение Надежде Сергеевне и ее супругу.

— Хорошо-с, прощайте.

— Прощайте! — кричал ей вслед горбун.

На крыльце Полинька встретила рыжего мальчишку; она дружески кивнула ему головой. Он протянул руку и, к великому ее удивлению, жалобно сказал:

— Дай еще: я сиротка,— богу буду за тебя молиться!

— Так ты говоришь?— спросила изумленная Полинька.

Мальчишка улыбнулся и снова жалобно затянул:

— Дай хоть грошик!

— У меня нет больше...

Мальчишка проворно побежал отворить калитку, и Полинька подивилась, как искусно час тому назад он притворялся хромым.

— Прощай! — сказала она, остановясь в калитке и погрозив ему пальцем.

Мальчишка глупо усмехнулся и дерзко сказал:

— Смотри же, принеси в другой раз, а не то...

— Что же ты сделаешь? — перебила его угрозу Полинька.

— Не впущу!

— Как же ты смеешь?

— А так!

— Я скажу Борису Антонычу.

— Да я тебя не впущу: как же ты скажешь?

— Я его знаю; увижусь в другом доме и скажу.

Они разговаривали таким тоном, как будто дразнили друг друга. При последних словах Полиньки мальчишка задумался, потом выразительно произнес: «Ну так...», но, не кончив фразы, неожиданно толкнул Полиньку в спину и с диким хохотом захлопнул за ней калитку.

Полинька хотела закричать... но осмотрелась: пустота страшная была кругом... и в невольном испуге Полинька почти бегом пустилась домой...

Глава VII

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА С ОТОПЛЕНИЕМ

В комнате Полиньки страшный беспорядок: посреди пола чемодан, раскрытый и полууложенный; белье и платье разбросаны по стульям.

Полинька одна в комнате; она то укладывает, то зашивает что-нибудь. Глаза ее немного припухли и очень красны; слезы даже нередко мешают ей шить.

Солнце село. Каждый раз, как на улице стучали дрожки, Полинька подбегала к окну, но отходила с грустью и снова принималась укладывать.

Наконец стук дрожек, послышавшийся издали, замолк под самыми окнами. Полинька отряхнула платье, поправила волосы и кинулась встречать Каютина, который с трудом вошел в дверь, обремененный многоразличными узлами.

— А, насилу! я думала, что ты уж пропал,— сказала Полинька.

Каютин с озабоченным видом подал Полиньке бутылку шампанского.

— Вот я бутылочку вина привез. Разопьем на прощанье. Ах, как я устал! бегал как угорелый! всё торопил-

ся к тебе,— уж недолго на... нам... Ну, Полинька, ты, кажется, плачешь?

Каютин подошел к ней и поцеловал ее влажные глаза.

— Если ты будешь плакать,— продолжал он,— я не уеду. Мне тяжело, мне грустно. Нам надо расстаться весело...

Будем пить и веселиться,
Станем жизнию играть! —

басом запел Каютин, схватил Полиньку за талию и начал вальсировать. Она защищалась. Слезы еще не высохли у ней на щеках, как она уже увлеклась веселостью своего жениха и тоже начала вальсировать. Они вертелись как сумасшедшие по маленькой комнатке, с разными напевами, которые заменяли им музыку, как вдруг Каютин споткнулся на чемодан и чуть не полетел, но удержался благодаря своей ловкости.

Запыхавшаяся, раскрасневшаяся Полинька сказала с веселым смехом:

— Хорош кавалер: чуть даму не уронил!

— Еще бы, дурацкий чемодан... прямо под ноги...

И он со злобой двинул ногой чемодан.

— Давай укладывать, а то всё перезабудем.

— Давай.

Полинька и Каютин сели на пол и начали укладывать вещи. Незначительная укладка немного заняла времени.

— Нельзя закрыть: не сходится! — сказала Полинька, захлопывая крышку.

— А вот я стану на чемодан. Ну, так хорошо?

И Каютин начал припрыгивать на чемодане.

— Тише: ты всё там раздавишь! — с сердцем сказала Полинька.

— Что там такое лежит? — спросил Каютин.

— Белье,— отвечала Полинька.

— Ха-ха-ха! разве белье можно раздавить?

Полинька улыбнулась своей оплошности и сказала:

— Смейся! я тебе положила баночку духов: хотела тебе сделать сюрприз. Думаю: приедет, станет разбирать чемодан и увидит духи — вот будет рад!.. Там, я думаю, трудно достать духов... вспомнишь обо мне, как будешь душиться?

— Полинька, я о тебе каждую минуту буду думать; я тебя очень, очень люблю! но я...

И Каютин замолчал; слеза скатилась с его щеки.

— А, вот хорошо: ты велишь мне быть веселой, а сам-то! — с упреком заметила Полинька.

— Что?.. что такое? — спросил Каютин, стараясь придать веселый вид своему лицу.

— Ты плакал.

— Что я за дурак? я не ребенок,— обиженным тоном возразил Каютин.

— Я видела.

— Вздор! Лучше поцелуй меня, Полинька! Долго, долго мне не придется тебя видеть, тебя целовать! а я так привык к тебе, что сам не знаю, как я решился ехать.

Каютин сел на чемодан.

— Дай я запру чемодан,— сказала Полинька, стараясь скрыть свою грусть.

— Ты всё возишься с чемоданом; не хочешь меня утешить, сказать, что не разлюбишь меня.

— Ты знаешь это хорошо! — твердо перебила Полинька.

Каютин поцеловал ее и, нежно взглянув ей в глаза, сказал торжественно:

— Я буду самый низкий человек, если разлюблю тебя!.. Ты любишь меня, но скажи, за что... я глуп,— прибавил он так наивно, что Полинька засмеялась.

— А может быть,— отвечала она,— я люблю больше глупых, чем умных.

— Ну, я ветрен.

— Остепенишься.

— Я лентяй!

— Будешь работать.

— Нет, нет, я скверный человек! — горячо сказал Каютин, чистосердечно сознавая в ту минуту свои недостатки и глубоко негодуя на свою давнюю беспечность, которая заставляла его теперь ехать искать счастья бог знает куда, тогда как ему давно следовало подумать о своем положении.

— Пожалуй, ты скверный человек, но я всё-таки тебя люблю,— вот и всё!

Полинька сделала ему премилую гримасу.

— Хорошо же, ты будешь виновата: я буду желать, чтоб ты меня любила всё сильнее и сильнее, и из скверного человека превращусь просто в злодея!

— Ты слишком ветрен для злодея.

— Ну так сделаюсь пьяницей! — со смехом сказал Каютин.

— Вот это так! — тоже смеясь, подхватила Полинька.

Стук в дверь прекратил их разговор.

— Войдите; кто там? — сказала Полинька, запирая чемодан.

В комнату вошла Кирпичова, держа в руках узел с хлебом.

— А, мое почтение, Надежда Сергеевна,— сказал Каютин, вставая с чемодана и вычурно кланяясь.

Полинька поцеловалась с Надеждой Сергеевной, которая подала ей узел, и сказала, обращаясь к Каютину:

— Вот хлеб и соль на дорогу.

— И прекрасно! вино у нас есть; мы славно кутнем! Ах, боже мой!

Каютин с отчаянием схватил себя за голову.

— Что такое? — с испугом спросили в одно время Полинька и Кирпичова.

— Ах, боже мой! да как же быть? — говорил Каютин озабоченным голосом.

— Да что такое? не потеряли ли вы паспорта? — спросила с участием Полинька.

— Какой паспорт? — с презрением возразил Каютин.— Льду, льду нет! — прибавил он жалобно.— Вино будет теплое!

И он чуть не плакал. Полинька смеялась.

— Браво! браво! — воскликнул Каютин. Он схватил бутылку, потом фуражку, подкинул фуражку к потолку, ловко поймал ее, спросил, надев на голову: «Хороша фуражка, Полинька?» — и выбежал из комнаты.

Прибежав в свою комнату, Каютин закричал раздирающим голосом:

— Хозяин! а хозяин!

К удивлению его, Доможиров в ту же минуту явился с вопросом:

— Что вам?

— А вот что: если хотите удружить мне в последний раз, так вот опустите эту бутылку в ваш колодезь.

Доможиров идиотически засмеялся.

— Ну, как разобьется,— сказал он,— кто отвечает?

— Разумеется, вы.

— Ишь какие! ну а зачем уезжаете, а? Ведь я пошутил, а вы и в самом деле подумали! Нет, я не такой: я благородный!

И Доможиров затянул покрепче кушаком свой халат.

— С чего же вы взяли, что я от вашей шутки уезжаю? — спросил удивленный Каютин.

— Знаю, всё знаю,— отвечал Доможиров, прищурив глаза,— вы в тот же день задумали ехать, как я вынул раму. Ей-богу, для шутки! Ну, останьтесь; право, буду ждать деньги, а вперед, пожалуй, никогда не давайте.

— Спасибо вам, спасибо! — отвечал Каютин, тронутый жертвами Доможирова.

Доможиров страшно привык к нему: его веселый характер, толки о книгах, о разных важных предметах, о политике — всё привязало его к Каютину, и старик чувствовал, что жизнь его одушевилась с тех пор, как он к нему переехал. Доможиров в душе благоговел перед знаниями Каютина, и, не будь он жилец, Доможиров был бы самым покорнейшим и послушнейшим его слугой; но мысль, что он хозяин, а Каютин его жилец, заставляла Доможирова облекаться в вечную холодность, сварливость и противоречие.

— Ну, как знаете, а право бы остались,— подбирая с полу бумажки, бормотал хозяин.

— Я уж и тройку нанял: скоро приедет.

— Эка важность! дайте на водку... Сами же говорили, что с водкой всё можно уладить с мужиком.

— Нет, уж теперь поздно, а как вернусь, так готовьте мне квартиру... только большую.

— Экой шутник, право!

— Однако простимтесь: я скоро поеду.

— Неужто? да останьтесь хоть до завтра: что за охота ехать к ночи?

— Веселее,— слез не видать. Прощайте!

И Каютин протянул руку Доможирову. Доможиров простер к нему свои объятия, прижал его крепко к своему засаленному халату и небритой бородой прикоснулся два раза к его щекам.

— Счастливого пути! — сказал он.— Лихом не вспоминайте!

— Не буду, не буду, вы только не браните меня.

— Не за что,—растроганным голосом отвечал Доможиров и вдруг, будто припомнив что-то очень важное, сказал: — Подождите, я сейчас приду.

— Мне некогда.

— Одну минуту! — с упреком произнес Доможиров и выбежал вон.

Каютин печально смотрел на свою комнату. Она была

совершенно пуста; с вечера еще вся мебель была продана на Щукин двор за пять целковых. Только кучки сору и черные полоски напоминали диван и комод, накануне украшавшие комнату.

Каютин подошел к окну и раздвинул зелень; он хотел было закричать Полиньке, чтоб она в последний раз посмотрела на его окно, но голосу недостало, и слезы рекой полились из его глаз; он отскочил от окна и плакал, как дитя.

Дверь с шумом раскрылась. Как дикий черкес, влекущий на аркане пленника, Доможиров сердито тянул своего сына в комнату, а тот упирался и кусал рукав своего халата. Сын, по примеру родителя, ходил вечно в халате.

— Ну, простись же, поблагодари! — говорил Доможиров, делая сыну страшные гримасы.

— А, Митя! прощай! — сказал Каютин.

— Скажите, чтоб хорошенько учился,— шепнул ему Доможиров.

— Учись хорошенько, Митя.

Мальчик молчал и продолжал кусать свой рукав.

— Ну, поцелуй же!

Доможиров, недовольный неловкостью сына, толкнул его в спину к Каютину. Мальчик от неожиданного удара ткнул прямо в живот молодому человеку и сильно сконфузился. Наконец он привстал на цыпочки и чмокнул в пуговицу пальто Каютина.

— Прощай!

И Каютин, смеясь, поцеловал Митю в лоб.

— Прощайте! — сказал Каютин, обращаясь к Доможирову.

— Прощайте, с богом! желаю вам счастья... приятного путешествия,— говорил Доможиров вслед уходящему Каютину.

— Бутылочки-то не разбейте! слышите?

— Слышу, слышу!

Каютин, перебежав улицу, в одну секунду очутился в комнате Полиньки. Гостей прибавилось немного. Катя и Федя играли около чемодана, а мать их сидела в углу и печально смотрела на своих детей. Надежда Сергеевна тихо разговаривала с Полинькой, которая при входе Каютина поспешно вытерла слезы.

— А, здравствуйте, Ольга Александровна! как поживаете? — сказал Каютин, раскланиваясь с печальной ма-

терью Кати и Феди.— Ну а вы что кричите, а? — продолжал он весело, обращаясь к детям.— А где же Карл Иваныч? что его не видать?

— Я ему дала комиссию; он сейчас придет,— отвечала Полинька.

— Хорошо! А я покуда, с позволения дам, выкурю трубку.

Но вдруг лицо Каютина омрачилось.

— Ах я дурак! что я наделал? табаку-то и не купил,— воскликнул он печально и с ужасом посмотрел на всех.

Полинька невольно улыбнулась и, перемигнувшись с Надеждой Сергеевной и Ольгой Александровной, отвечала:

— Зато вино есть!

— Я сейчас сбегаю... нет, мне не хочется...

И Каютин хныкал, как капризное дитя: ему не хотелось оставить Полиньку. В ту минуту в дверях показался Карл Иваныч, весь запыхавшись, с двумя картузами табаку в руках. Он видимо смутился и не знал, что ему делать при виде Каютина, который радостно закричал: «а-а-а!»

Полинька подскочила к оторопевшему Карлу Иванычу, вырвала у него из рук картуз с табаком, поблагодарила его за хлопоты и весело начала дразнить табаком Каютина.

— А я об вас спрашивал,— сказал Каютин и пожал руку Карлу Иванычу.— Спасибо вам: вы всё хлопочете.

— Ничего-с! — И Карл Иваныч странно улыбался и вытирал себе лоб; потом он взял Каютина за руку, отвел его в сторону и, таинственно подавая ему коробочку сигар, сказал: — Вот-с, на дорогу.

— Что это? сигары?.. Ах, Карл Иваныч, спасибо, спасибо вам!

Каютин поцеловал смущенного Карла Иваныча в лоб.

Полинька, пользуясь временем, самодовольно набивала табаком чудесный новенький кисет собственной работы.

— Где табак? — спросил Каютин, суетясь с трубкой, которую хотел набить.

— Вот он! — торжественно сказала Полинька и подала ему туго набитый кисет.

Каютин был тронут внимательностью Полиньки; он молчал и так нежно смотрел на свою невесту, что она, краснея, сказала:

— Что же вы?

— Полинька!.. Палагея Ивановна! — поправился Каютин, но слов у него недостало... он с жаром поцеловал ее руку.

Полинька вырвалась и сказала:

— Ну, набейте же вашу трубку.

— Какой хорошенький! — в восторге говорил Каютин, разглядывая кисет.

Он осыпал его поцелуями и бегал по комнате с криком «Какой хорошенький!» Подбежав к Полиньке, Каютин неожиданно поцеловал ее в щеку. Полинька вскрикнула и готова была надуться; но Каютин так смешно вертелся по комнате, всех целуя, с кем сталкивался, что сердиться у Полиньки недостало духу. Все смеялись. Каютин, всё больше одушевляясь, делал страшные прыжки, прижимал к сердцу кисет, целовал его страстно; но вдруг общий смех и говор замолк. Каютин, приготовлявшийся к новому прыжку, остановился неподвижно. Все прислушивались к тяжелому стуку, раздавшемуся у окон... Вдруг стук замолк.

— Телега, телега! — радостно кричали дети, подбегая к окну.

Полинька побледнела и закрыла лицо руками. В комнате было страшное молчание. Привязанный колокольчик уныло позванивал, когда коренная встряхивала головою. Безобразная Розка злилась и лаяла на телегу и особенно на ямщика, который дразнил ее кнутом. Карл Иваныч, дрожа всем телом, смотрел то на Полиньку, то на Каютина, стоявшего неподвижно среди комнаты с испуганным лицом.

— Шампанского! давайте пить и веселиться! — вдруг вскрикнул он и снова запел и завертелся по комнате.

— Где же вино? — спросила Полинька.

— В колодце у Доможирова... ла-ла-ла! — отвечал Каютин, напевая вальс Вебера и грациозно вальсируя с кисетом, который он держал за снурки, будто даму.

Все засмеялись.

— Зачем вы его туда кинули? — спросил Карл Иваныч.

— Ха-ха-ха! вот мило! как кинул? деньги заплатил, да кинуть! нет-с, я не такой! я его опустил, чтоб оно холоднее было.

— Я сбегаю принесу его.

Карл Иваныч побежал за бутылкой.

— Пока уложили бы чемодан и вещи в телегу,— заметила Надежда Сергеевна.

— Успеем,— беспечно отвечал Каютин, будто оставалось еще очень много времени, и, обратясь к Полиньке, тихо прибавил: — Ну, Полинька, я уез...

И, не окончив своей фразы, он громко запел:

Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой!

Но и песни своей он не кончил, а снова обратился к Полиньке.

— Палагея Ивановна, спойте мне что-нибудь.

— Вот что вздумали! я стану петь!

— Отчего же и нет? ну, пожалуй, если не хотите петь, так давайте пить; вот и Карл Иваныч... а, спасибо! холодно ли?

— Вот вам! — ставя на стол бутылку, сказал Карл Иваныч.

— А бокалы? — спросил Каютин.

— Какие бокалы! вот стаканы! — отвечала Полинька.

— Ах, бокалы бы лучше! ну да нечего делать, давайте хоть стаканы.

И Каютин с наслаждением начал обивать смолу. Все смотрели с любопытством, и все жались ближе.

— Тише, не разбейте,— заметила Ольга Александровна.

— Не бойтесь! — гордо ответил Каютин, обрезывая проволоку.— Ну, господа, стаканы!

— Вот, вот!

И ему подали на маленьком подносе несколько стаканов. Медленно начал Каютин вытаскивать пробку.

— Не нужно ли штопора? — наивно спросил Карл Иваныч.

Каютин залился смехом... Пробка сама выскочила с треском и ударила в потолок. Все отскочили с визгом и криком: каждый боялся пробки, как ракеты. Каютин так растерялся, что отчаянным голосом закричал:

— Стаканов, стаканов!

Несколько рук протянулось к нему; шипя и искрясь, полилась влага в стаканы.

— Ах, уйдет! уйдет квас! — закричали дети, увидав, как высоко поднялась пена.

Разлив вино по числу присутствующих, Каютин взял стакан и сказал:

— Господа, за здоровье Палагеи Ивановны!

— Нет, нет, за ваше скорое возвращение! — сказала Полинька краснея.

— Да, правда! — сказали все остальные.

— Желаю вам счастливого пути! — сказала Надежда Сергеевна.

— Желаю вам денег,— подходя к Каютину, сказала Ольга Александровна.

— Желаю вам...— и Карл Иваныч остановился, пристально посмотрел на Полиньку и договорил: — Желаю вам воротиться к зиме.

Полинька взглядом поблагодарила доброго Карла Иваныча за такое великодушное желание.

— Ха-ха-ха! скоро, очень скоро! — заметил Каютин.

Полинька подошла к Каютину.

— Желаю вам,— сказала она нетвердым голосом,— веселой дороги и успеха во всех ваших предприятиях... чтоб вы были здоровы и веселы и не заб...

Полинька запила остальное. Каютин жадно слушал очаровательный и грустный голос своей невесты, которого предстояло ему не слышать, может быть, многие годы. Он обвел стаканом присутствующих, прощаясь со всеми и благодаря; глаза его остановились на Полиньке.

— Я сам себе желаю,— сказал он.— Ну да не скажу, чего я желаю...

И, выразительно посмотрев на Полиньку, он залпом выпил стакан до капли. Чтоб скрыть свое смущение, Карл Иваныч поднял пробку с полу и старался ее вставить снова в бутылку, удивляясь, что пробка так дурна.

— Уж смеркается,— заметила Надежда Сергеевна.

Все затихли и глядели друг на друга; казалось, ни у кого недоставало духу сказать: пора ехать. Каютин подошел к окну, заглянул в него и, обратясь к детям, сидевшим на окне, сказал дрожащим голосом:

— Ну, что? хотите ехать со мною, а? так собирайтесь: пора!

— Хотим, хотим! — радостно отвечали дети и, соскочив с окна, подбежали к матери, крича:

— Мы с дядей поедем!

— Полноте, он пошутил,— отвечала мать и обратилась к Каютину:

— В самом деле, не пора ли ехать?

— Надо сперва всем сесть! — заметила Надежда Сергеевна.

— Да, надо сесть! — повторил Каютин, стараясь придать веселость своему голосу.

Полинька ничего не говорила; бледная как смерть, она смотрела кругом в молчаливой тоске и машинально подражала движениям других.

Все уселись. Каютину было так тяжело, что он через секунду же вскочил; все, крестясь, сделали то же.

— Ну...

И Каютин собрался с силами, подошел к руке Надежды Сергеевны и сказал умоляющим голосом:

— Прощайте, не оставьте Палагею Ивановну!

Кирпичова успокаивала его и обещала как можно чаще навещать Полиньку.

Каютин подошел также к руке Ольги Александровны и, прощаясь, тоже просил о Полиньке.

— Прощай, дядя, прощай! — цепляясь за пальто Каютина, кричали дети и протягивали ему губы.

— Прощайте.

И Каютин, приподняв каждого из них, крепко поцеловал детей: ему было невыносимо грустно расставаться со всем, что любила Полинька.

— Карл Иваныч, прощайте! — сказал Каютин, голос которого всё больше и больше слабел.

Карл Иваныч стоял с узлами, которые готовился уложить в телегу.

— Прощайте! — отвечал он и не знал, как подать руку: обе его руки были заняты.

Каютин обнял его, крепко поцеловал и шепнул ему на ухо:

— Ради бога, не уезжайте с этой квартиры, не оставляйте ее одну.

— Как можно! как это можно!

И Карл Иваныч побледнел при одной мысли переехать на другую квартиру.

Время настало проститься с Полинькой, которая с каким-то странным равнодушием глядела на прощанье; она, казалось, не верила своим глазам и ушам.

— Палагея Ивановна, проща...

Но у Каютина опять недостало голосу. Он нагнулся поцеловать ее руку; слезы брызнули из его глаз, и он долго, долго не отрывал своих губ от руки Полиньки. Сначала Полинька вспыхнула, потом снова побледнела,

глаза ее наполнились слезами, она нагнулась ему на плечо и тихо зарыдала. Каютин начал ее целовать, она его: они всё забыли; слезы их смешались; ни клятв, ни слов не было; одни взгляды, но они так страшны были, что все прослезились, и Карл Иваныч, весь бледный, тяжело дыша, бросив узлы и не помня себя, ходил около прощающихся.

Вдруг Полинька опомнилась, отскочила от Каютина, покраснела и, вытирая слезы, с принужденной улыбкой сказала:

— Пишите... не забудьте ваш адрес прислать.

Каютин был страшно расстроен; он расстегнул пальто, снова его застегнул.

— Слышали? адреса не забудьте! — повторила Полинька.

— Не забуду; вы, пожалуй, будете просить, чтоб я вашего адреса не забыл,— смеясь сквозь слезы, сказал Каютин и пошел к дверям; все за ним последовали...

В телеге всё уже было уложено Карлом Иванычем. Хозяйка, подбоченясь, стояла у ворот и радостно смотрела на печальное лицо Полиньки.

— Прощайте, Василиса Ивановна! — сказал Каютин.— Не обижайте Палагею Ивановну: я вам подарочек привезу.

— Благодарю,— отвечала хозяйка,— я не такая, чтоб кого обидеть!

— Ну, хорошо ли вам? — спросил Карл Иваныч, когда Каютин, еще раз перецеловав всех без церемонии в губы, влез в телегу.

— Славно! точно в кабриолете.

— Кисет взяли? — спросила Полинька.

— Взял: вот он!

И Каютин подкинул кисет, висевший на пуговице его пальто.

— Всё ли взяли! не забыли ли чего? — спросила Надежда Сергеевна.

— Кажется, всё! — отвечал Каютин, оглядывая свои вещи.

— Прощайте! — вдруг закричал Доможиров, высунув свою голову в белом колпаке из форточки.— Поздно едете; засиделись, пора, пора!

— Да, пора, прощайте!

Каютин протянул руку Полиньке и, пожав ее, тихо сказал:

— Полинька, дай мне еще раз поцеловать тебя...

— Ах, как можно — на улице!

И она отскочила от телеги, опасаясь, чтоб Каютин не исполнил своего желания.

— Ну, пошел! — гаркнул Доможиров из окна.

Ямщик ударил кнутом, и телега покатилась. Всё это сделалось так неожиданно, что все закричали: «Стой!», а Каютин упал и барахтался в сене.

Доможиров хохотал как сумасшедший. Из окон соседних домов повысунулись головы и с любопытством смотрели. Полинька и Карл Иваныч побежали за телегой, крича: «Стой, стой!»

Телега остановилась, и Каютин, весь в сене, снова сидел на чемодане. Его опять все окружили и начали по-прежнему прощаться.

— Ну, Полинька, не плачь; давай смеяться, а то я всё буду думать, что я тебя в слезах оставил,— говорил Каютин, перевесившись из телеги и отрывая ее руки от лица.

— Ну хорошо, я не буду! — И Полинька вытерла слезы и, обмахиваясь платком, улыбалась.

— Прощайте, Карл Иваныч, не забудьте, о чем я вас просил.

— Всё помню, всё...

— Прощайте, Надежда Сергеевна! прощайте, Ольга Александровна! дети, прощайте! Ну, пошел! — скомандовал Каютин ямщику и отчаянным голосом закричал: — Полинька, прощай!

Стук телеги заглушил его крик. Полинька побежала было за телегой, но силы ее оставили; она тоскливо глядела на Каютина, который, повернувшись к ним, махал платком и что-то кричал. Пыль, сливаясь, застилала его, стук становился всё тише и тише и наконец смолк. Полинька всё еще глядела и махала платком; но когда телега превратилась в едва заметную точку, Полинька кинулась на плечо Надежды Сергеевны и горько заплакала. Никакие утешения не могли остановить ее тоскливых рыданий. Наплакавшись, она пошла домой в сопровождении своих гостей. Печальна была их беседа; какой бы разговор ни начинали они, всё не клеилось; наконец Надежда Сергеевна собралась домой и уговаривала Полиньку идти к ней ночевать, но Полинька отказалась: ей хотелось плакать на свободе.

Оставшись одна, она кинулась на диван и дала волю

своим слезам, ночь провела она без сна и всё плакала. Карл Иваныч также не спал: он сидел под своим окном, с глазами, неподвижно устремленными на одну точку, и лицо его то покрывалось смертной бледностью, то вспыхивало. Он отчаянно жал свою голову в руках, иногда тихо начинал свою обычную песню; но слезы мешали ему, и, склонив голову на окно, он громко рыдал.

Стало рассветать; утренний воздух освежил его бледное лицо; он запер окно и скрылся.

Солнце ярко светило в комнату Полиньки, а она еще спала; проснувшись, она осмотрела свою комнату, будто припоминая что-то, потом подошла к окну, подняла стору, но вдруг быстро опустила ее, увидав на окне квартиры Каютина билет: «Отдается комната с отоплением».

Полинька небрежно оделась — не так, как прежде! — взяла свою работу с окна и села к нему спиной. Она стала шить, но слезы мешали ей... и, облокотясь на стол, Полинька тихо плакала.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

НЕОЖИДАННЫЙ ГОСТЬ

Пять часов вечера. Девица Кривоногова, неизменно рыжая и краснощекая, сидит в своей кухне перед кипящим ярко вычищенным самоваром и усердно потчует чаем своего желанного гостя Афанасия Петровича Доможирова и его любезного сына. Катя и Федя притаились в углу и жадно наблюдают, как красноухий Митя, тоже в халате, как его родитель, раздвинув ноги и нагнувшись к столу, с шумом втягивает в себя горячий чай с блюдечка. Лицо хозяйки сияет удовольствием. Она посматривает то на Доможирова, то на Митю с такой лукавой улыбкой, что, не будь она так полна, ее можно бы сравнить с русалкой. Но простодушный Доможиров ничего не подозревает: он спешит утолить жажду, возбужденную послеобеденным сном, и оканчивает уже шестую чашку вприкуску.

— Уж что ни говорите, Афанасий Петрович,— говорит девица Кривоногова,— а ваша квартира околдована. Ну, на что похоже? с неделю как билет прибит, сколько перебывало народу, а ни с кем не сошлись.

— Никто такой цены не дает, матушка Василиса Ивановна, а, знаете, как-то не хочется спустить.

— Вот то-то дело холостое! Право, Афанасий Петрович, вам бы пора хоть для сынка в доме порядок завести. Да и вы,— хозяйка бросает на своего гостя кокетливый взгляд,— какой же вы старик? посмотрите на себя.

Доможиров улыбнулся и случайно взглянул на самовар: на выпуклой лоснившейся поверхности его отража-

лась такая безобразная фигура, что Доможиров скорчил гримасу, чтоб увериться, точно ли то было его отражение; к ужасу его, и безобразная фигура сделала такую же гримасу. Доможиров отвернулся и плюнул.

— Ну, какой я жених? — сказал он с досадой.— Куда мне думать о хозяйке?

— Эк, заладил одно: стар да стар! Кому же, как не старику, и нужна хозяйка?

— Моя Мавра всё сможет сделать,— заметил Доможиров и с умышленным стуком опрокинул чашку; но разгоряченная хозяйка не заметила, что гостю следует налить еще.

— А, небось, квартиру не сумеет отдать? — возразила она с презрительной гримасой.

— Да разве кто может отдать квартиру, когда жильцы не дают настоящей цены?

— Да я, например,— гордо отвечала хозяйка.

Доможиров с удивлением посмотрел на нее.

— Почем ходила квартира сначала? — спросила она.

— Девятнадцать рублей в месяц,— проворно отвечал Доможиров.

— А потом?

— Двадцать пять.

— Ну-с, а когда вы набавили?

— Повздорил сначала, а дал.

— А знаете ли, почему вам дали так дорого?

— Потому что квартира хорошая.

— Скверная! — с жаром возразила хозяйка.— Да, сердитесь не сердитесь, мне всё равно. Я люблю правду, Афанасий Петрович! Не будь моей красотки, так ваша квартира никогда бы больше девятнадцати рублей не ходила... Так и быть, я вас научу...

— Научите, матушка Василиса Ивановна.

— Вы сбавьте цены сначала да отдайте холостому... слышите: холостому, а не женатому! Станет торчать у окна, как прежний, так и набавьте! Сердечко заноет, так всё даст.

Доможиров с благоговением слушал хозяйку.

— А что вы думаете,— сказал он радостно,— и вправду так!.. Она такая красивая; жаль только: похудела, как женишок уехал.

— Похудеешь! — злобно возразила хозяйка, лицо которой в одну минуту покрылось синими пятнами.— Поху-

деешь, как бросил, да еще в таком положении, что стыдно будет в люди показаться!

— Эх, нехорошо про честную девушку так говорить! — заметил недовольным голосом Доможиров.

— Честная! честная! — запальчиво подхватила Кривоногова.— Небось, одного успела спровадить, того и гляди другой явится. Что, я слепа, что ли? не вижу, как башмачник то и дело к ней бегает, шьет ей такие фокусные башмачки... сбоку надевать, что ли, их нужно? Я увидала, да и спроси: «Кому это?», покраснел и говорит: «На заказ». Я себе думаю: постой, немчура, погляжу... В воскресенье она пошла к обедне, глядь: ноги точно щепки и фокусные башмаки надеты; а... это что?

И хозяйка, подбоченясь, вопросительно глядела на Доможирова.

— Ну, что же?.. она ему заказала.

— За-ка-за-ла? — протяжно повторила хозяйка.— Нет-с, Афанасий Петрович, я не мужчина; смазливая девчонка меня не проведет. Она готова обобрать всякого. Суньтесь-ка!

— Что вы? я стар, она на меня и не посмотрит! — сказал Доможиров и улыбнулся при мысли: что, если б он в самом деле понравился Полиньке?

Девица Кривоногова, видно, догадалась, какие преступные ощущения шевельнулись в его душе и озарили довольной улыбкой его некрасивое, серое лицо; она затряслась и, едва удерживая бешенство, спросила:

— Пожалуй, и вы уж не хотите ли жениться на ней? ха-ха-ха! вот была бы хорошая хозяйка! вишь, на губах еще молоко не обсохло, а уж как умеет всех приманивать!

И хозяйка, отодвинув с сердцем свою чашку, положила локоть на стол.

— Небось,— говорила она, будто рассуждая сама с собою,— когда я была молода, женихов не было же столько! честные девушки не сами себе женихов ловят, а кто посватается, только и есть... У ней так счету их нет... На заказ!.. Нет, я всё вижу,— продолжала хозяйка, обращаясь к Доможирову,— да молчу, а уж как выйду из терпенья!

И она стучала кулаком по столу и яростно глядела на Доможирова, который в смущении покачивал ногой. А сын его, пользуясь случаем, воровал сахар и делал разгоряченной хозяйке уродливые гримасы.

Стук в дверь прекратил ревнивые крики девицы Кривоноговой, к величайшей радости Доможирова.

— Кто там? — грозно окликнула хозяйка.

Низенькая фигура горбуна показалась в дверях. Он быстро окинул своими блестящими глазами комнату и, приложив руку к шляпе, вежливо спросил:

— Палагея Ивановна Климова здесь проживает?

— Здесь,— отвечала хозяйка, вылезая из-за стола.— А вам ее нужно? — нагло спросила она, подойдя к горбуну.

— Да-с.

— Извольте,— небрежно сказала хозяйка, видимо рассерженная таким кротким ответом,— из сеней направо, вверх; одна дверь всего.

— Благодарю-с!

И горбун вышел. Хозяйка крикнула:

— Эй, Федя! проводи чужого дядю наверх!

Брат и сестра побежали за горбуном.

— Вот недавно уехал, а уж и начали таскаться,— проворчала хозяйка, садясь на свое место.

Доможиров захохотал.

— Неопасно,— сказал он,— ха-ха-ха! Горбун! не видали, что ли?

— Велика важность, что горбун!

— Ну, всё-таки с горбом... ха-ха-ха!

Доможиров принужденно смеялся: ему хотелось развеселить хозяйку, чтоб она снова занялась чаем и предложила ему чашечку.

— Лишь бы женился, она не посмотрит, что горбун, сама всякому готова на шею вешаться.

— Эх, Василиса Ивановна! — с упреком заметил Доможиров.— Нехорошо чернить сироту: ведь я вижу, как она живет. Нас с вами сковороду лизать заставят.

— Так я лгу, что ли, по-вашему? а?

И хозяйка вытянулась во весь рост и, дрожа от злости, кричала:

— Так я лгунья? И всё из-за скверной девчонки! Спасибо вам, спасибо, Афанасий Петрович! Вот, делай добро людям!

— Полноте, Василиса Ивановна, разве я вам что-нибудь обидное сказал?

— А, так вам кажется, еще мало вы меня обругали? так я буду сковороду лизать? а? Небось, вы ее хвалите, горой за нее, а я ведь тоже сирота!

И хозяйка заревела.

Доможиров подмигнул сыну и в минуту самых жестоких упреков девицы Кривоноговой незаметно удалился. Но и в своей комнате он долго еще слышал, не без сердечного трепета, язвительные крики о том, что грех сироту обижать.

Полинька сидела за работой, не подозревая, что за нее происходит внизу жаркая ссора. Она немного похудела и побледнела; лицо ее, прежде веселое и беззаботное, теперь стало задумчиво. Услышав шаги на лестнице, она приподнялась, думая встретить Карла Иваныча, и очень удивилась, когда перед ней очутился горбун.

С приветливой улыбкой развязно подошел он к руке Полиньки.

— Извините, не обеспокоил ли я вас?

— Ничего-с, сделайте одолжение... Не угодно ли садиться?

Она подвинула стул. Борис Антоныч тотчас же воспользовался им. Сидя, он казался еще меньше; горб его стал заметнее, ноги не доставали до полу. Но он ловко уселся и начал так:

— Я к вам, Палагея Ивановна, с маленькой просьбой...

— Очень приятно,— перебила Полинька, успокоенная развязным видом горбуна.— Что вам угодно?

— Если вы только не заняты, я вас попрошу сшить мне халат... из тармаламы; я, знаете, люблю хорошие вещи.

Полинька покраснела и замялась.

— Извините меня... я никогда не шила халатов: слишком велика работа... у меня места мало.

— Мой халат немного места займет,— заметил горбун с тихим добродушным смехом.

Он смеялся на собственный счет.

— Всё равно... да я никогда не шила!

— Что делать, что делать! Не шили, так и толковать нечего... Вот еще я хотел было просить вас обрубить мне платочки и меточку кстати положить,— говорил горбун, вынимая из кармана сверток.— Я, знаете, человек холостой, одинокий, судьба невзлюбила меня и обрекла...

Он не договорил и тяжело вздохнул. Лицо его омрачилось. Полинька была расположена к участию и теперь, больше чем когда-нибудь, сочувствовала всякому горю, особенно одиночеству. Ей живо представилось положение

человека, лишенного возможности нравиться женщине, обреченного вечному одиночеству.

— Извольте,— ласково сказала она, принимая платки.— Платки я могу обрубить. Завтра же будут готовы.

— Вы сами изволите занести работу? — равнодушно спросил горбун.

— Я? нет-с! я никогда своей работы не отношу.

— Как же? неужели все к вам ходят за нею? — с язвительной усмешкой спросил горбун.

— Нет, я мужчинам не отношу сама,— быстро отвечала смущенная Полинька.

— А-а-а! так вы боитесь ко мне... хе-хе-хе!

И горбун с наслаждением любовался вспыхнувшим лицом Полиньки.

— Как можно! — возразила она обиженным тоном.

— Как же вы всем сами относите работу, а мне не хотите...

— Я никогда не шила мужчинам... впрочем, я вам пришлю.

— Нет, не надо! — с испугом сказал горбун.— Не беспокойтесь,— продолжал он спокойнее.— Я лучше сам зайду, если только вы позволите.

Он встал со стула, поклонился и снова сел.

— Очень хорошо-с; они завтра будут готовы.

— Не спешите; я подожду, вот мне халат нужнее был: дело немолодое, согреться иногда хочется... хе-хе-хе!..

Полинька готовилась оправдаться, но горбун легким наклонением головы дал ей знать, что совершенно покоряется невозможности, и круто спросил:

— Вы одни изволите жить?

— Одна-с,— отвечала Полинька, обрадовавшись перемене разговора.

— Что изволите платить?

— Двадцать рублей.

— С дровами?

— С дровами.

— Дорого-с,— положительно сказал горбун, осматривая комнату.— А хозяйка хорошая? знаете, иногда потому платишь дороже.

— Да...— отвечала Полинька, не спеша похвалить свою хозяйку.

— Впрочем, знаете, оно, с одной стороны, и недорого,— заметил горбун, продолжая рассматривать комнату.— Жильцов, кроме вас, нет?

— Нет, я одна. Ах да! еще внизу башмачник живет.

— Непьющий?

— О, как можно! — с живостью возразила Полинька и покраснела, спохватившись, что горбун совсем не знал Карла Иваныча.

Горбун нахмурил брови и пристально посмотрел на нее.

— Вы, может быть, знакомы с ним? — спросил он.

— Да, я его очень давно знаю! — свободно отвечала Полинька.

— Хорошо, что так, а то, знаете, мастеровой народ такой грубый... ругается, дерется.

— Нет...

— Я понимаю,— перебил горбун,— что если он человек хороший, так не станет буйствовать. А то, к слову, я знавал, уж правда давненько, одну старушку, которая жила на квартире, вот как и вы. Раз ночью слышит она, копошится что-то близехонько; повернула голову, глядь — у кровати стоит мужик с огромным ножом и смотрит на нее. Старушка вскрикнула; он зажал ей рот и поднес нож к самому горлу, да и говорит: «Ну, старуха, скорей говори, где у тебя спрятаны деньги?» Она молчит; он опять: «Говори, а не то молись...» — и занес нож.

— Ах! — вскрикнула Полинька.

— Он занес нож, а старуха хоть бы пикнула, и даже не шевельнулась...

— Верно, умерла? — торопливо спросила Полинька.

— Позвольте... Как хотите, но когда нож у горла, какой человек не закричит! Даже и мужику показалось чудно, что старуха молчит; нагнулся к ней: она не дышит.

— А как он забрался к ней? верно, она жила внизу?

— Нет, во втором, как и вы.

— Впрочем, я тоже невысоко живу,— сказала Полинька и невольно измерила расстояние.

Горбун продолжал:

— Утром хозяйка постучала к старушке: не подает голосу. Ей стало страшно, думает: человек старый, долго ли до беды? сегодня на ногах, а завтра на столе! Вот она кинулась за доктором, за полицией... Сломали дверь: старуха лежит без языка, глаза налились кровью,— и всё на дверь смотрит. Так она пролежала двои сутки. Всё стонет, на дверь указывает; слезы так и катятся по желтому лицу. Жаль ее стало доктору! «Надо,— говорит,— посмотреть, чего ей хочется»,— и пошел к двери. Старуш-

ка чуть не соскочила с кровати, замычала как зверь и начала биться. Доктор спросил: «Кто живет за дверью?» — «Сапожник, батюшка!» — отвечала хозяйка. «Смирный ли человек?» — «Очень, батюшка; около масленицы год будет, как живет,— никаких кляузов нет за ним». Доктор подумал, подумал, да и велел привести сапожника. Долго ждали его, наконец пришел. Доктор сел у кровати больной и позвал сапожника; тот не подходит; доктор прикрикнул: нечего делать, подошел, только всё стыдится, точно ребенок. Доктор перевернул старушку, чтоб она могла видеть сапожника. Увидела — да как затрясется, замычит, забьется,— просто со страху все вздрогнули! Сапожник побледнел, покачнулся. Доктор ударил его по плечу да и сказал: «Душегубец!..» Сапожник так и присел и завыл: «Виноват! окаянный попутал меня, грешного. Всего беленькую ассигнацию нашел!» — «Да что тебе за охота пришла красть?» — спросил доктор. «А,— говорит,— и сам не знаю; услышал как-то от хозяйки, что старуха деньги копит, меня и начало мучить: украдь да украдь! Так вот, покою ни днем ни ночью нет, работа не спорится. Я,— говорит,— ночи напролет простаивал у дверей: всё слушал, спит она или нет. А в одну ночь так,— говорит,— пришло тяжело, словно кто душит; я,— говорит,— и решился, нож взял только постращать...» Всё рассказал сапожник у кровати старушки, а старушка тут же богу душу отдала.

— Как страшно! — сказала Полинька.

Лицо ее было угрюмо, брови нахмурены.

— Да-с, не всегда хорошо иметь жильца,— заметил горбун, довольный впечатлением, которое произвел на нее,— и долго он смотрел на задумчивое личико Полиньки; наконец его огненные, проницательные взгляды начали конфузить ее.

— Извините: засиделся! — сказал он и встал.

Полинька с радостью встала тоже.

— Я завтра пришлю вам платки.

— Зачем же, зачем? я сам приду, если позволите. А вы извините, что засиделся; я, знаете, человек одинокий: рад, с кем случится поболтать. Прощайте, извините!

И горбун учтиво подошел к руке Полиньки.

Полинька не очень охотно подала ее и поспешно выдернула, почувствовав прикосновение его губ. Запирая за собою дверь, он бросил на нее такой проницательный, долгий и странный взгляд, что она испугалась,— но скоро

сама улыбнулась своему пустому страху и занялась платками горбуна.

Тихо, как кошка, вошел горбун в кухню к хозяйке. Не замечая его прихода, девица Кривоногова продолжала мыть чашки и ворчать: «Чего доброго, и он посватается; да нет, не бывать этому!..» И она стукнула чашкой по столу, отчего Катя и Федя, торопливо допивавшие холодный чай свой, оба разом вздрогнули.

— Позвольте узнать, нет ли у вас комнаты внаймы?— громко и резко спросил горбун.

Незнакомый, неожиданный голос так испугал хозяйку, что она пошатнулась, а потом начала креститься. Она, кажется, совсем забыла о горбуне и смотрела на него с изумлением.

— Нет ли комнаты внаймы? — повторил он.

— Все заняты! вы разве видели билет на воротах? — с сердцем отвечала хозяйка.

— Так-с... я мимоходом спросил... славные комнаты, и дешево.

— А вы почем знаете? — спросила хозяйка несколько мягче.

— Я сейчас был у вашей жилицы: так она сказывала...

— А вы изволите ее знать? она вам знакома?

— Не ваши ли деточки? какие хорошенькие! — заметил горбун, не отвечая на вопрос.

— Нет-с, на хлебах держу, за такую малость, что, право, не стоит и возиться; да, знаете, сердце у меня такое доброе.

И хозяйка просияла; она готовила своему сердцу страшные похвалы в виде упреков; но горбун помешал ей вопросом:

— Не вашего ли супруга я имел удовольствие видеть за чаем?

Лишенное возможности бледнеть, лицо девицы Кривоноговой покрылось фиолетовыми пятнами.

— Нет-с,— отвечала она с презрением,— это поручик, мой сосед... я девица.

Горбун пристально посмотрел на девицу и, не сводя с нее глаз, спросил:

— От маменьки домик достался?

Девица Кривоногова немного смешалась, но скоро оправилась и смело отвечала:

— Нет-с; я, знаете, трудилась в молодости и, можно сказать, трудовой копейкой приобрела дом.

— Гм! — произнес протяжно горбун и, придав своему лицу равнодушное выражение, как будто мимоходом спросил: — А жильцы у вас давно живут?

— Какие-с?

— Башмачник?

— Как бы сказать, не солгать, дай бог память... да, точно: другой год пошел.

— Хороший жилец?

— Ничего, платит аккуратно..., да ведь немец,— прибавила хозяйка, давая заметить, что аккуратность платежа не есть в нем достоинство.

— А-а! так он немец?

— Да.

— А жилица хорошо платит?

Хозяйка слегка вздрогнула. Ревнивая злость снова проснулась в ней,— она не знала, что отвечать.

— Разумеется! я ведь потачки не дам, гулять не позволю, дом свой не осрамлю,— сейчас вон, чуть что увижу!

И хозяйка грозно качала головой.

— А давно живет?

— Тоже год с небольшим,— я это помню хорошо. Она прежде переехала, башмачник потом. Он, знаете, прибавил мне на квартиру; а прежде в ней жил какой-то дворянин, не служащий, бедный такой, больной и азартный; я давно зла на него была и говорю ему, что мне нужна самой квартира. Он ну кричать, браниться: я, говорит, больной, в полицию пожалуюсь, доктор мне велит дома сидеть. А мне-то что за дело? сами посудите.

— Разумеется,— отвечал горбун.

— Ну, я ни дров, ни воды; стала прижимать его. Известно, как хозяин жильца сживает.

И хозяйка одушевилась; ее лицо при этом приятном воспоминании всё просияло.

— Вот я его таки сжила. Он, знаете, сердился, искал себе квартиру и всё... а только переехал, на другой день и умер.

Горбун тихо засмеялся.

— Да, умер! ей-богу, на другой же день умер! Уж как я рада была, что его выжила: ну, как бы у меня на квартире протянулся,— поди возись, человек одинокий... да и жильцы обегают квартиру после покойника.

— Известно, невесело... Ну-с, засим прощайте!

И горбун повернулся.

— Позвольте узнать, далеко ли живете? — крикнула хозяйка, испугавшись, что забыла расспросить его.

— Далеко-с.

— Вы...— и хозяйка замялась,— вы,— продолжала она, придав своему лицу приятное выражение,— по какому делу изволили быть у девицы Климовой?

— По делу, по делу! — отрывисто отвечал горбун.

— Она шьет прекрасно,— заметила хозяйка, пробуя со всех сторон неразговорчивого горбуна.

— Не знаю, хорошо ли шьет,— отвечал горбун.

— Кажись, всё на важных особ работает. Да теперь заленилась немного; жених уехал, так горюет.

— Давно? — с живостью спросил горбун, но тотчас с совершенным равнодушием прибавил: — Немудрено, девица молодая, долго ли влюбиться!

— И, какая любовь! я думаю, скоро забудет.

— Разумеется... молода... хе-хе-хе! Прощайте!

И горбун поклонился. Но хозяйка не заметила его поклона, она вслух думала:

— Да-с, еще молода, забудет своего жениха; упряма, а то...

Девица Кривоногова значительно улыбнулась. Лицо горбуна, внимательно наблюдавшего за ней, тоже вдруг исказилось, и он отвечал ей такой же улыбкой. Будто узнав в нем своего поля ягоду, хозяйка радостно засмеялась, он тоже,— и, не говоря ни слова, они с минуту заливались зловещим, страшным смехом.

— Так она упряма?

— Да, уж я пробовала; нет, хитра: не поддается!

— А теперь?

— Пуще, чем прежде.

— Не может быть! хе-хе-хе!

И горбун пошел к двери.

— Не зайдете ли еще? может, и приготовлю...

— Что? — быстро спросил горбун.

— Комнату... ха-ха-ха!

— Хорошо, хорошо... хе-хе-хе!

Они опять посмеялись и разошлись.

Глава II

РОЖДЕНЬЕ ПОЛИНЬКИ

Прошло много дней, а горбун не являлся за своими платками. Пришедши раз к Надежде Сергеевне, Полинька застала ее в слезах. Она не спешила расспрашивать, но Кирпичова сама начала:

— Я с мужем поссорилась.

— Не в первый раз, я думаю?

— Разумеется; но знаешь ли, за что он рассердился сегодня? за горбуна: зачем я неласково его принимаю! А я, признаться, его не люблю, хоть муж и превозносит его, даже называет своим благодетелем.

— Мне кажется тоже, что он добрый старик,— заметила Полинька.— Какие страшные истории рассказывает!

— Разве он у тебя был? — с удивлением спросила Кирпичова.

— Да, он принес мне работу, да что-то за ней не идет.

— Странно! — сказала Надежда Сергеевна.— А сам просил мужа познакомить его с тобою и всё о тебе расспрашивал меня.

— А, понимаю! — смеясь, сказала Полинька.— Верно, он боится, что я ему долгу не заплачу. Ну, пускай придет. Да он, право, предобрый, и как только узнал, что я с тобой знакома, сейчас дал денег. Я ему очень благодарна... Вот *он* бы на меня рассердился, зачем я заняла у него.

— А писем еще не получала? — спросила вдруг Надежда Сергеевна.

— Нет,— с тяжелым вздохом отвечала Полинька.

— Завтра твое рожденье.

Полинька смутилась и поспешила оправдать Каютина.

— Верно, в дороге,— сказала она.

— Он писал, что приехал в деревню к своим старым знакомым?

— Да.

— И после уж не писал? Да он тоже ветреник и беспечен, как мой муж.

— Что же делать? Молод еще: остепенится.

— Дай бог!

И Надежда Сергеевна сомнительно покачала головой.

Так они долго толковали, и наконец Кирпичова ясно высказала, что боится знакомства Полиньки с горбуном.

Полинька звонко смеялась и шутила, что сама начинает чувствовать к нему влечение.

У окна своей мастерской башмачник прилежно вдергивал снурки в новенькие ботинки. Наконец он поставил их на стол, присел и долго осматривал со всех сторон. Довольная улыбка озарила его лицо; он начал их гладить, потом опять поставил, отошел далеко и любовался. Огромные стенные часы с неуклюжим розаном на циферблате вдруг зашипели, точно их стали поджаривать, и скоро потом прозвучали три печальные и напряженные удара, кончившиеся долгим гуденьем. Башмачник встрепенулся, по пальцам счел часы и, осторожно поцеловав ботинки, как будто они уж были на чьих-нибудь ножках, спрятал их в комод. Потом он оделся, завязал в платок несколько пар башмаков разных фасонов и величин и вышел со двора. Проходя Струнниковым переулком, он всё что-то рассчитывал и улыбался... Наконец он вошел в один дом. В небольшой кухне, очень грязной, люди, тоже не очень чистые, толкались и ссорились: кому идти в лавочку за уксусом; а уксус понадобился барыне, которая поссорилась за столом с барином, отчего у нее заболела голова. Кто лизал блюда, снятые с господского стола, кто пил кофе; говорили все разом, и каждый старался перекричать другого. При появлении башмачника крик на секунду умолк; но никто не отвечал на его учтивый поклон. Он поклонился еще и еще — то же безответное презрение. Ссора возобновилась с такими резкими выражениями, что башмачник краснел и морщился; наконец, потеряв надежду, чтоб его заметили, он решился возвысить голос:

— Доложите господам, что башмачник пришел.

— Есть у нас время! подождешь! — крикнула горничная, допивая чашку кофе.

— Мне нужно домой идти,— возразил башмачник.

— Да ступай куда хочешь! кто тебя держит! — подхватил раздраженный засаленный лакей, которому выпал жребий идти в лавочку. (Ничто в кухне не делалось иначе как по жребию; каждый отговаривался: «Не мое дело!»)

Башмачник покорился своей участи. Переминаясь с ноги на ногу, он слушал, как люди бранили своих господ.

— Матрена, а Матрена! — крикнула кухарка, очищая блюдо пальцем, который потом облизывала.

— Что тебе?

— Поди доложи барыне...

И кухарка указала тем же пальцем на башмачника.

— Вот тебе на! поди-ка сама доложи! — провизжала горничная.

— Виданое ли дело: кухарке лезть в комнаты! да и барыня обругает.

— Да тебя давно не бранили, так поди попробуй; я сегодня уж свое получила!

— А зачем не разгладила? сама виновата! — заметила судомойка, выжимавшая что-то у корыта.

— Эй, ворона! ты что раскаркалась? — с презрением возразила обиженная горничная.

Вошла кормилица с грудным ребенком.

— Что же уксусу? — сказала она.— Барыня спрашивает.

— Нету еще,— отвечала горничная.

— Сердится... слышите, сердится! — заметила кормилица и, взяв со сковороды жареную картофелину, сунула ее ребенку в рот.

— Поди скажи, что сейчас принесут,— сказала кухарка.

— Не родить же нам! — прибавила горничная.

Башмачник попросил кормилицу доложить о нем барыне.

— Сейчас. А вы скоро принесете башмачки моему Алеше?

— На будущей неделе,— отвечал башмачник.

Кормилица ушла.

— Матрена, а Матрена,— заметила кухарка,— поди-ка, я думаю, мамка-то насплетничает на тебя барыне?

— Велика важность! — отвечала горничная и с гневом опрокинула допитую чашку.

Кормилица вернулась и повелительно сказала башмачнику:

— Велено после прийти!

Бледное лицо башмачника на минуту всё вспыхнуло и потом стало еще бледнее.

— Я уж долго ждал,— заметил он взволнованным голосом.

— Барыня велела прийти после! — возразила кормилица грубо.

— Когда же? — робко спросил башмачник.

— После!!! — закричали в один голос все бывшие в кухне.

Башмачник опрометью кинулся вон. В глазах его было темно; в ушах звенело роковое «после», и сердце громко билось. Он шел скоро и через полчаса остановился у красивого одноэтажного домика. Увидав, что ставни его заперты, башмачник испугался и оторопел. Будто не веря своим глазам, он ходил мимо домика, всматривался, читал надпись и наконец постучался в калитку. Спустя не меньше десяти минут выглянул дворник и грубо крикнул:

— Кого надо?

— Господа здесь еще?

— Слеп, что ли? с неделю, как уехали!

— Как можно! — с испугом возразил башмачник.— Они велели зайти через месяц, а я вот раньше пришел.

— Мало ли что велели! много вас перетаскалось!.. Говорят тебе, с неделю, как уехали.

Так прикрикнул дворник на бедного башмачника. Карл Иваныч повесил голову и стоял в нерешимости.

— Ну жди, коли охота есть! месяцев через шесть воротятся! — сказал дворник и, бросив на него презрительный взгляд, захлопнул калитку.

Стук калитки образумил башмачника; он осмотрелся и скорым шагом пошел прочь.

Через час Карл Иваныч взбежал по темной и узкой лестнице в самый верх огромного пятиэтажного дома и, тихо отворив единственную дверь чердака, вошел в прихожую с стеклянной перегородкой, за которой находилась кухня. Навстречу ему вышла седая старушка и с ласковым поклоном указала на дверь во внутренние комнаты. Башмачник вошел в небольшую чистую комнату, убранную очень бедно; в ней было человек пять детей: кто пел, кто бегал, а самый маленький ползал по полу, на котором сидела девочка лет девяти и штопала детские чулки, поминутно поглядывая на своего брата, тянувшегося за игрушкой.

Увидав Карла Иваныча, дети кинулись к нему с радостным криком: «Башмаки новые принесли!..» В одну минуту Карл Иваныч наделил их — кого сапожками, кого башмаками, и дети любовались обновками. Вошла пожилая женщина, бледная и печальная; дети тотчас обступили ее, крича: «Мама! посмотри, новые башмаки!»

— Хорошо; не кричите!.. Здравствуйте, Карл Иваныч! вы детям принесли башмаки?

— Да-с; извольте хорошенько примерить, впору ли?

Дети расхаживали по комнате, любуясь своими ножками.

— Всем впору,— сказала их мать и замялась.

Башмачник тоже медлил завязывать свой узел.

— Я... я вас хочу просить... подождать деньги,— нерешительно сказала печальная женщина.

Башмачник побледнел.

— Нельзя ли хоть сколько-нибудь? — спросил он умоляющим голосом.

Печальная женщина сильно смутилась и молча пошла в другую комнату. Скоро она вернулась в сопровождении худого, почти зеленого, сгорбленного мужчины.

— Извините... подождите немножко,— сказал он с страшным кашлем, который заглушал его слова.— Я, видите, заболел: так, знаете, поиздержался на леченье. А вот,— продолжал он с улыбкой, которую странно и больно было видеть на его изнуренном, поблекшем лице,— вот я скоро оправлюсь, так...

Сухой кашель, хватавший за душу своим звонким дребезжаньем и стоном, помешал ему договорить.

Башмачник так сконфузился, что начал просить извинения и кланяться; слезы дрожали на его ресницах. Он торопливо ушел и, спускаясь с лестницы, уже не удерживал больше слез, которые обильно потекли по его щекам.

— Карл Иваныч! Карл Иваныч! — послышалось сверху.

Башмачник воротился. Бледная женщина встретила его.

— Извините,— сказала она, подавая ему десять рублей,— ей-богу, больше ни гроша нет!

— Нет-с, не надо... я после приду!

И башмачник замотал головой; но глаза его не могли оторваться от денег.

— Возьмите, пожалуйста! только подождите остальные.

— Виноват... очень нужно! я, впрочем, могу...

Башмачник боролся с самим собой. Наконец он протянул руку, которая дрожала, и взял деньги.

— Благодарю, очень благодарю!.. извините... я очень благодарен!

И он без конца извинялся и благодарил бедную женщину, которая отдала ему последние деньги.

Через минуту башмачник радостно бежал к Гостиному двору. Вдруг что-то попалось ему под ногу и далеко

отлетело вперед. То был портфель с бумагами и деньгами. Башмачник прищурился, увидав столько денег в своих руках; голова его закружилась. Подумав, он вынул двухсотенную бумажку... но вдруг весь содрогнулся, поспешно сунул ее назад и стал оглядывать улицу. Завидев черневшую вдали фигуру, он пустился за ней и скоро догнал человека пожилых лет, с величавой и строгой наружностью, хорошо одетого и вооруженного палкой с золотым набалдашником.

— Ваше благородие! — крикнул башмачник задыхающимся голосом.

Но величавый господин не слыхал его и шел своей дорогой.

Башмачник слегка придержал его за плечо. Быстро повернулся величавый господин; в глазах его молнией сверкнуло негодование; он с презрением оглядел с ног до головы оторопевшего башмачника, и палка его немного приподнялась.

— Что тебе надо? — спросил он строго.

Башмачник смотрел на него с удивлением и молчал. Величавый господин вспыхнул и, подступив к самому его носу, тихо и мерно повторил:

— Что тебе надо?

Башмачник, потерявший способность говорить, робко протянул портфель. Величавый господин торопливо ощупал свои карманы, и смесь ужаса и радости быстро сменила в его лице выражение благородного негодования. Выхватив портфель, он проворно пересмотрел деньги, потом бумаги и наконец благосклонно сказал:

— Мой, мой! я выронил!

Неловко поклонившись, башмачник пошел прочь.

— Постой! — крикнул величавый господин и опустил руку в карман.— На, возьми!

И он показал ему целковый.

Башмачник с недоумением смотрел то на целковый, то на величавого господина. Величавый господин достал еще целковый и, присоединив к прежнему, повторил:

— Возьми! вот тебе на водку.

Башмачник сконфузился, начал кланяться, извиняться — и вдруг побежал прочь. Величавый господин пожал плечами и с прежней торжественностью продолжал свой путь.

А башмачник прямо отправился в Гостиный двор; он обошел все лавки: сначала смотрел и торговал шелко-

вые материи, потом ситцевые, приценивался к разным платкам и серьгам и наконец решился купить браслет; но цена была высокая, и купец, заметив, что ему сильно хотелось браслета, ничего не уступал. Денег не хватало; башмачник чуть не со слезами просил уступить, а купец всё твердил свое: «Одна позолота дороже стоит!» В совершенном отчаянии Карл Иваныч сел на ступеньку лестницы, ведущей в верхние лавки, и обеими руками ухватился за свою горячую голову. Узел с остальными башмаками покатился с его колен; башмачник вдруг встрепенулся, радостная улыбка вдруг осветила его лицо, и он побежал с узлом своим в Перинный ряд; сбыв там за бесценок свою работу, башмачник, прыгая как ребенок, явился к продавцу браслета. Купец встретил его насмешливой улыбкой, и долго они спорили о коробочке: купцу хотелось взять за нее особо. Наконец браслет куплен, башмачник осторожно спрятал его и пошел домой. Дорогой он поминутно улыбался и щупал карман, справляясь, не обронил ли свое сокровище.

В одной улице рябой мальчишка подставил к самому его носу горшок роз.

— Купи, барин, цветочков! — прокричал он протяжно, сжимая в объятиях два такие же горшка.

— Нет, лучше купи снегирика! — провизжал, откуда ни взявшись, другой мальчишка, косой и довольно буйного вида.

Перед носом башмачника очутилась клетка.

Он остановился и задумался, посматривая то на цветы, то на птицу.

— Что хотите за всё?

— Барин, птица не моя! ты купи цветочки; всего два рублика серебром.

— Что ты, что ты? — возразил башмачник, нахмурив брови.

— Купи птичку! я дешево отдам!

— Возьми цветочки... я уступлю, только не бери его птицу: завтра же околеет!

— Ах, ты, рыжий Алешка! вот я тебя...

И косой мальчишка погрозил рябому кулаком, а потом опять обратился к башмачнику:

— Купи, барин! как важно поет!

Он начал свистать.

— Сам свистишь... ха-ха-ха! — заметил рябой.— Возьми, барин, цветы, ей-богу, даром отдам!

— Хочешь два четвертака?

— Дешево! дай три рублика! право, хорошие.

— На, возьми птицу! давай деньги!

И косой мальчишка старался ввернуть башмачнику клетку.

— Нет, возьми мои цветы!

— Нет, мою птицу!

И они совали ему в руки кто клетку, кто цветы.

Он взял клетку и отдал деньги. Косой, припрыгивая, дразнил ими цветочника.

— Барин! — жалобно заговорил цветочник.— Ты у меня прежде торговал; возьми! ей-богу, даром отдам; а птицу ему вороти. Полтинник беру; на!

И он подступил к нему с цветами.

Башмачник купил и цветы. Он заключил их в объятия, а в середине поддерживал клетку, обвязав ее платком, чтоб птица не билась, и так, тихим шагом, поплелся домой. Дикие крики заставили его оглянуться: вцепившись друг другу в волосы, мальчишки свирепо дрались, визжа и ругаясь.

Первым его движением было воротиться и разнять, но дорогая ноша мешала, и, качнув головой, он скорее пошел вперед.

Придя домой и встретив в сенях Катю и Федю, Карл Иваныч дал им по грошу, чтоб они не говорили тете Поле, что у него есть цветы и птица. Долго любовался он своими покупками и с улыбкой заснул в ту ночь. Рано утром пробудило его чириканье снегиря, который страшно суетился и прыгал по клетке, ища выхода. В то утро много времени посвятил башмачник своему туалету: гладко причесал свои светло-русые волосы, надел белый жилет, белый галстук, снял малейшую пылинку с своего синего фрака, наконец, осмотрелся перед зеркалом и остался доволен. Нетерпеливо выжидая, когда Полинька пойдет в церковь, чтоб поставить ей цветы и клетку, он не знал, как убить время: нюхал розы, кормил снегиря, чистил браслет, принимался снова смотреться в зеркало и раза три перевязывал галстух.

Наконец Полинька, чудесно одетая, спустилась с лестницы и прошла мимо окон; любуясь ею, он забыл всё и долго стоял, задумавшись, потом тяжело вздохнул, бережно взял клетку и поднялся наверх. Отыскав ключ, который Полинька иногда отдавала хозяйке, а иногда прятала в щель у порога, башмачник отпер комнату, сбегал за цве-

тами и, поставив клетку на середину окна, а розы по сторонам ее, долго любовался эффектом своих подарков, потом невольно осмотрел всю комнату, заглянул в зеркало, оправил волосы и наконец медленно и неохотно вышел. Он запер дверь, спрятал ключ на старое место и, придя в свою мастерскую, сел у окна поджидать Полиньку.

Она воротилась грустная: мысль, что Каютин забыл, что нынче ее рожденье, страшно огорчала ее. Переступив порог своей комнаты, Полинька остановилась, не веря своим глазам. Понемногу лицо ее прояснилось; не снимая шляпки, она подбежала к окну, нюхала цветы, рассматривала снегиря и радостно повторяла: «Какая птичка! какие цветы!» Горе хоть на минуту было забыто: Полинька ловила снегиря и смеялась; поймав, нежно целовала его, прикладывала к щеке и слушала, как билось сердце у птички, которая, схватив ее палец, зло теребила его. Полинька продолжала смеяться всё веселей и беспечней. Дверь скрипнула. Полинька, пустив снегиря в клетку, спросила: «Кто там?» За дверью слышалось легкое движение, но никто не являлся. Занятая подарками, она подумала, что ошиблась, и в упоении начала нюхать цветы.

За дверью стоял башмачник. Он любовался радостью Полиньки. Сердце его было переполнено счастьем и сильно билось, как у птички, которую ласкала Полинька; радостные слезы текли ручьями на его белый жилет, и он торопливо сбежал с лестницы, опасаясь зарыдать.

Через несколько минут к Полиньке вошли Катя и Федя, неся на тарелках крендели и сахарные булочки, красиво уложенные; детьми управлял башмачник, замыкавший шествие.

— Карл Иваныч!.. а, дети!

И тронутая Полинька приняла подарки и перецеловала детей.

— Это они сами вам принесли! — сказал Карл Иваныч дрожащим голосом.— Поздравляю вас,— продолжал он чуть слышно,— поздравляю вас с днем вашего рождения.

Он подал ей сверток с теми ботинками, которые вчера целовал, и коробочку с браслетом.

Полинька немного покраснела. Она горячо благодарила Карла Иваныча и поспешила надеть браслет, который особенно ее обрадовал.

— Очень, очень благодарю вас, Карл Иваныч! как хорош! потрудитесь застегнуть.

И она протянула ему руку. Он схватил ее, стал застегивать... но Полинька стояла к нему так близко!.. коснувшись ее руки, он весь задрожал, в глазах его помутилось: он схватился за свою голову и остолбенел.

— Что с вами? — спросила Полинька.

— Ничего-с! — отвечал башмачник глухим голосом.— Так...

И показал пальцем на голову.

— Не хотите ли воды?

— Нет-с.

И в самом деле, лицо его покрылось яркой краской.

— Не знаете ли,— спросила Полинька,— кто мне подарил цветы и снегиря? я была в церкви; прихожу: на окне цветы и клетка,— я так обрадовалась! Неужели Надежда Сергеевна так рано приходила ко мне? вы ее не видали?

Полинька пристально посмотрела на него; он страшно сконфузился, потупил глаза и не знал, что сказать.

— А, понимаю! — весело сказала Полинька.— Я вам очень благодарна, Карл Иваныч; вы меня балуете.

И она кокетливо посмотрела ему в лицо. Он бодро приподнял голову,— глаза его горели бесконечным блаженством.

— Садитесь, Карл Иваныч.

— Я всё сидел! — печально сказал башмачник и сел.

— Вы много тратите на пустяки,— с упреком сказала Полинька.

— Боже! да я готов был бы всё, всё отдать... чтоб...

Башмачник не договорил, увидав краску на лице Полиньки, которая быстро повернулась к клетке и начала дразнить пальцем снегиря. Снегирь сначала испугался, а потом стал щипать и клевать палец. Башмачник молчал повеся голову. Дети болтали, раскладывая крендели и булочки по столу.

В таком положении застала общество Надежда Сергеевна.

— Здравствуйте! поздравляю тебя, Поля!

Она поцеловала ее и подала ей сверток. В нем было кисейное платье. Полинька еще раз поцеловала свою подругу и долго любовалась подарком.

—Ах, а кофей... я и забыла... сейчас приду.

Полинька убежала и, воротившись скоро, накрыла стол и собрала чашки.

Не успели они усесться кругом стола в ожидании кофе, как послышалась тяжелая поступь со скрипом и скоро высунулось из дверей выбритое улыбающееся лицо, а затем показалась и целая человеческая фигура.

— Мое почтение! мое почтение! — говорил Доможиров, раскланиваясь каждому особо.

Он не только выбрился, но и приоделся — в светло-коричневый сюртук, широкий и длиннополый, с пуфами на плечах, с мелкими сборками по бокам, предназначенными резче обозначать талию, и с преогромным воротником, который торчал, как хомут, около его шеи и закрывал голову до половины ушей. Странно и жалко было видеть его не в халате; ему, очевидно, было неловко, и он поминутно искал руками кушака, чтоб затянуться покрепче.

Поздравив Полиньку, Доможиров спросил:

— Небось много подарков получили... а?

— Да, много.

Полинька посмотрела с благодарностью на Кирпичову и Карла Иваныча.

— Прекрасно! только, знаете, уж, верно, такого подарочка никто вам не принес, как я... Извините-с.

И он поклонился Полинькиным гостям.

— Ну, как вы думаете, какой? — продолжал Доможиров, подбоченясь.

— Я, право, не знаю... благодарю вас.

— Нет, однако ж?

— Не знаю.

— Ну-с, извольте сказать, какой подарочек был бы теперь вам всего милей?

И он лукаво улыбался.

— Уж не письмо ли? — с живостью спросила Надежда Сергеевна.

— Ах, неужели? — радостно вскрикнула Полинька.

Глаза ее заблистали, и, протянув к Доможирову дрожащую руку, она сказала умоляющим голосом:

— Ради бога, дайте скорее!

— Я, знаете, иду сюда,— начал медленно Доможиров, достав со дна своей высокой шапки с длинным козырьком, подобным бекасиному носу, письмо и повертывая его в руках,— глядь: почтальон! «Ты, брат, не к девице ли Климовой?» — «Точно так-с, ваше благородие!..» — «Ну так дай — я передам...» Дал ему на водку и взял письмо. Ну, думаю, вот удружу, вот подарю!

И он совершенно некстати расхохотался. Слушая рассказ, все окружили его, и Надежда Сергеевна, сжалившись над нетерпением Полиньки, сказала:

— Ну, дайте же ей скорее письмо!

— Погодите.

Доможиров приподнял кверху письмо и спросил Полиньку:

— Его, что ли, рука?.. а?

Вместо ответа Полинька подпрыгнула и выхватила письмо.

— Его, его рука! — вскрикнула она радостно.

Грудь ее высоко поднималась, в глазах блеснули слезы; она нерешительно осматривалась кругом, будто выбирая место, где бы удобнее прочесть письмо,— наконец распечатала и стала читать. Башмачник не спускал с нее глаз и с беспокойством заметил, что лицо ее сначала вспыхнуло, потом побледнело, руки дрожали. И вдруг она выронила письмо, закрыла лицо руками и отвернулась к стене.

Доможиров захохотал. Гости с удивлением смотрели на него и на Полиньку.

— Не случилось ли чего с Каютиным? — спросила Надежда Сергеевна.

Доможиров то садился, то вскакивал, нагибался, подбирал живот; но хохот пронимал его всё пуще и пуще, и никакая страшная весть — коснись она даже уменьшения ломбардных процентов — не могла теперь унять его.

— Плачет... плачет! — отчаянным голосом проговорил башмачник, указывая на Полиньку, которая стояла в прежнем положении и всхлипывала.

— Что такое? что случилось? — с испугом спросила Надежда Сергеевна.

Но Полинька, не отвечая, положила голову на плечо своей приятельницы и продолжала плакать.

Башмачник гневно махал руками Доможирову, чтоб он унялся; но хохот Доможирова перешел в ту минуту в отрывочные стоны, а лицо побагровело. Не в его власти было остановиться.

Вдруг башмачник прыгнул к письму, поднял его и с удивлением прочел следующее:

«Пытка в Бухарии происходит следующим образом. Чтоб человек повинился или стал неволею к чему преклонен, кладут в большое деревянное корыто

с пуд соли, наливают в оное воды горячей; когда же соль разойдется и вода простынет, тогда, связав в утку человека, коего мучить хотят, влагают ему в рот деревянную палку и, повалив его на спину в корыто, льют соленую воду в рот, от которого мучения через день умирает; если же кого хотят спасти, то после каждого мучения дают пить топленого овечьего сала по три чашки, которое всю соль вбирает и очищает живот; потом кладут пшеничной муки в котел, и, поджарив оную, мешают с водой и овечьим топленым салом, и варят жидко, и сею саламатою кормят мученика, коего хотят оставить в живых. Я таким образом был мучим три дня.

Взял Афанасий Доможиров из книги «Странствование Надворного Советника Ефремова в Бухарии, Хиве, Персии и Индии и возвращение оттуда через Англию в Россию. Год 1794...»

Башмачник молча передал письмо Кирпичовой. Прочитав несколько строк, она вопросительно посмотрела на Карла Иваныча, Карл Иваныч также посмотрел на нее, как вдруг Доможиров, который удерживался, пока читали письмо, снова расхохотался. Надежда Сергеевна вспыхнула.

— Как вам не стыдно, Афанасий Петрович,— сказаза она с негодованием,— такие шутки выдумывать! Поля, перестань,— продолжала Кирпичова, поцеловав Полиньку в голову.— Всё пустяки: Афанасий Петрович пошутил!.. Вам одним смешны ваши шутки! — прибавила она, обратясь к Доможирову, продолжавшему смеяться.

Полинька приподняла голову, поправила волосы, сквозь слезы улыбнулась, увидав его гримасы. Заметив улыбку Полиньки, и все обратили внимание на Доможирова и, увлеченные его веселостью, стали смеяться. Комната наполнилась весельем; всех громче смеялись и визжали дети. Доможиров охал, отчаянно поводил глазами и, встречая чей-нибудь взгляд, делал умоляющие жесты, чтоб его пощадили, а потом снова принимался хохотать. Наконец его стали расспрашивать.

— Как же вы могли на конверте под его руку подписаться? — спросила Полинька.

— Я подписаться? ха-ха-ха! Нет, под чужую руку я никогда не подписывался; рука его собственная. Помните, недельки три тому назад вы при мне получили

письмо. У, как заторопились! поскорей читать, а конверт бросили. Я его и цап. Тогда же подумал... ха-ха-ха! скоро рожденье Палагеи Ивановны: нужно будет подарочек сделать... ха-ха-ха! Взял «Странствование Надворного Советника Ефремова»,— его, бывало, как ни придет ко мне, всё читал Тимофей Николаич,— выписал страничку, припечатал... вот и подарочек... ха-ха-ха!

Дверь отворилась: вошла хозяйка с огромным кофейником, одного цвета с ее лицом. Раскланявшись со всеми и случайно взглянув на окно, она презрительно засмеялась.

— Ну, уж верно, вы, Карл Иваныч! это по-немецки... ха-ха-ха! у нас, по-русски, так вот как дарят!

И взяв со стула кисею, она с укором показала ее башмачнику. Он растерялся, и мучительная мысль, не в самом ли деле его подарки ничтожны, сжала его сердце. Но вспомнив, как обрадовали Полиньку и цветы и снегирь, он успокоился.

— Ну а вы что подарили? небось котеночка? — обратилась хозяйка к Доможирову.

— Нет-с, мы получше подарочек сделали,— отвечал он, самодовольно улыбаясь при воспоминании о своей остроумной шутке.

— Я думаю, дорогонько стоит? — спросила девица Кривоногова, вытянув во всю длину свою огромную красную руку с кисеей, и вопросительно озиралась; но никто не отвечал ей; поискав глазами, нет ли еще каких подарков, она вскрикнула: «Ахти! я заболталась... чего доброго, пирог испорчу!» — и кинулась к двери, но, отворив ее, остановилась.

— Пожалуйте-с,— говорила она,— дома-с, дома! у нас сегодня праздник.

Все с любопытством обратились к двери: скоро показалась маленькая фигура горбуна. Он весь необыкновенно блестел: всё платье на нем было новое, волосы с легкой серебристой проседью, сильно напомаженные, лоснились. Горбун подошел к руке Полиньки, которая очень удивилась его появлению и вопросительно смотрела на Кирпичову. Кирпичова утвердительно мигнула ей, и Полинька подала ему руку и слегка коснулась губами его лба. Он побагровел, и лицо его дергалось. Вынув из кармана сафьянную маленькую коробочку и почтительно подавая ее Полиньке, горбун скоро проговорил:

— Я вчера имел счастье узнать от Надежды Серге-

евны, что сегодня день вашего рождения; не имея этой вещицы, я никогда не посмел бы прийти поздравить вас...

— Ах, боже мой! мое колечко!

И Полинька вспыхнула... Она не верила своему счастью. Ровно год, как подарил ей Каютин это кольцо. Сильно грустила по нем Полинька и думала, что если б оно было на ее пальце, то ей легче было бы переносить разлуку с Каютиным. Теперь она не находила слов благодарить горбуна и смотрела на него с такою благодарностью, что он, как бы поняв ее, протянул ей руку. Она крепко пожала его уже старую руку своей беленькой, нежной ручкой, которую он поспешил поцеловать, и на этот раз Полинька напечатлела крепкий поцелуй на его щеке. Лицо его опять передернулось, и было что-то страшное в его больших горящих глазах, устремленных на Полиньку.

Ничего не помня от радости, она любовалась своим колечком, которое уже красовалось на ее пальце.

Башмачник с жадностью следил за движениями Полиньки. Ее улыбка отражалась, как в зеркале, на его лице. Но вдруг он задумался: ему пришла мысль, зачем он тоже не подошел к руке Полиньки, и бедный башмачник мысленно проклинал свою застенчивость и завидовал горбуну. Горбун, раскланявшись с присутствующими, сел у стола.

— Не угодно ли чашку кофе? — спросила Надежда Сергеевна, видя, что Полинька слишком занята кольцом.

— Ах, извините, я забыла! сейчас!

И Полинька налила чашку и хотела подать горбуну; но вдруг рука ее задрожала, чашка упала и пролилась. С криком кинулась она к двери, в которой появился почтальон с письмом.

— Здесь госпожа Климова? — спросил он басом.

— Я... мне...

И Полинька выхватила у него письмо, дрожащими руками распечатала и стала читать; довольная улыбка, полная спокойствия и счастья, в одну минуту разлилась по ее красивому личику. Все внимательно глядели на нее; Надежда Сергеевна спросила:

— От него?

— Да! да! — весело отвечала Полинька, не отрывая глаз от письма.

Горбун насмешливо глядел на Полиньку.

— Вы прежде десять-то копеек почтальону отдайте,—

сказал Доможиров, мешая ей читать,— а уж потом читайте. Ведь вот дождались-таки и еще письма,— мало одного было!

И он расхохотался.

— Сейчас, сейчас! — с досадою отвечала Полинька, продолжая быстро читать письмо.

Башмачник вынул из своего белого жилета десять копеек серебром и подал почтальону.

— Благодарствую! — басом крикнул почтальон и оставил комнату.

Глава III

КАРТЫ СКАЗАЛИ ПРАВДУ

Поступок горбуна расположил в его пользу даже недоверчивую Надежду Сергеевну. Впрочем, горбун сначала не часто ходил к Полиньке и даже не всегда являлся на приглашения.

Полинька не скучала с ним: его рассказы, то страшные, то веселые, сокращали время, которое без Каютина казалось ей слишком длинным. Наступили бесконечные зимние вечера, и Полинька часто сама упрашивала горбуна посидеть подольше. Горбун много видел, много испытал, и разговор его не мог скоро наскучить. Всё чаще и чаще посещал он Полиньку, и нередко ему случалось просиживать с ней целые вечера с глазу на глаз. В такие дни он делался особенно весел, шутил, показывал разные фокусы на картах, гадал Полиньке, и всегда так удачно, что она иногда сама просила его погадать. Иногда он показывал ей золотые и брильянтовые вещи, говоря, что несет их заложить или продать, и просил ее примерить серьги или браслет. Полинька, любившая наряды, засматривалась на себя в брильянтах и с грустью расставалась с ними. Горбун позволял ей иногда оставаться в них целый вечер, и странно было видеть девушку, очень просто одетую, с работой в руках — и в таких дорогих украшениях. Глаза Полиньки еще ярче горели от удовольствия, и горбун, будто любуясь игрою и блеском своих брильянтов, не сводил с нее глаз.

Горбун умел так хорошо поставить себя в ее маленьком обществе, что примирил с собой всех. Он при случае льстил с такою искренностью, что нельзя было не верить ему,— с Полинькой же обходился очень просто, при посторонних не пропускал случая сделать ей наставление

и вообще принял с ней тон отца. Случалось, и то очень редко, он делал ей подарки, но всегда незначительные; когда же она отказывалась, он с грустью говорил:

— Палагея Ивановна, у меня нет дочери, которую я мог бы любить и баловать.

С хозяйкой дома он также сдружился. Они беседовали иногда по целым часам; но их трудно было понять: неоконченные фразы дополнялись улыбками, выразительными жестами и прищуриваньем глаз. Горбун заметно худел; что-то тревожное проявлялось в его движениях и взглядах. Иногда он приходил одетый очень тщательно; его прекрасные вьющиеся волосы блестели, и в комнате при его появлении распространялся запах нежных духов. Зато бывали дни, когда он являлся нечесаный, небритый, с глазами впалыми и блуждающими. Его движения были порывисты и судорожны; он больше молчал, а если говорил, то слова его отзывались такою желчью и горечью, рассказы были так мрачны, что Полинька в такие дни боялась его.

Так прошло много времени. Наступила весна.

Уже несколько дней сряду горбун ходил как потерянный: то нападали на него припадки исступленной веселости, то вдруг брови его хмурились, он смотрел угрюмо и молчал. С некоторого времени он уже постоянно посещал Полиньку каждый вечер, а если не заставал ее, то дожидался, расхаживая по Струнникову переулку.

Было около осьми часов вечера; девица Кривоногова сидела перед столом и гадала: сложив свои масляные руки на животе, она глядела на разложенные карты и кого-то энергически бранила. Это занятие до того поглощало ее внимание, что она не заметила прихода горбуна. Мрачный, нечесаный, он стоял перед ней и вслушивался; лицо его было бледно, и злая улыбка дрожала на его синих губах.

— На кого вы это сердитесь? — спросил он с усмешкой.

Хозяйка вздрогнула, вскочила и с удивлением смотрела на горбуна.

— Ну, о чем гадаете? а?

— Как вы тихо вошли: я и не слыхала!

— Еще бы вы громче бранились!

— Да что, прости господи, чего только ей не лезет! посмотрите!

И хозяйка указала на карты.

— Эва! свадьба, нежданное богатство, деньги, пиковый король крепко думает о ней, перемена... тьфу!

Хозяйка в негодовании плюнула; но вдруг лицо ее просияло.

— Ах, боже ты мой! — воскликнула она.— Я туза-то и проглядела! да! ну теперь не то: ей будет большая неприятность! слезы, слезы!

И хозяйка била кулаком по карте, которая предсказывала слезы.

— Где вы научились гадать? — насмешливо спросил горбун.

— Самоучкой! — с гордостью отвечала девица Кривоногова.— Да-с! и моя покойница матушка мастерица была гадать; я около нее и понаторела.

— Хорошо. Ну-с... дома?

— Дома.

— Одна?

И горбун глазами указал на потолок.

— Одна! — быстро отвечала хозяйка, смешивая карты.

Горбун нахмурил брови, стиснул зубы и судорожно сжал свою палку, потом стукнул ею об пол, поднял голову и прошептал дрожащим голосом:

— Если спросят...

— Дома нет! — отвечала хозяйка.

Горбун одобрительно кивнул головой.

— Мне нужно...— заговорил он.

— Переговорить? — подхватила хозяйка, улыбаясь своей проницательности.

— Хорошо! — благосклонно заметил горбун.

Он походил в ту минуту на учителя, который экзаменует своего ученика и, довольный его ответами, улыбается и потирает руками. Оглядев комнату, горбун привстал на цыпочки; хозяйка проворно подставила ему ухо: горбун что-то шепнул ей и сунул в руку что-то звонкое.

Лицо хозяйки покрылось фиолетовыми пятнами, глаза подернулись маслом; она крепко сжала свою руку. Горбун медленно вышел из кухни и побрел на лестницу; почти на каждой ступеньке он останавливался, будто не решаясь идти далее, но вдруг разом перескочил несколько ступенек и с шумом отворил дверь. Полинька встала принять гостя; горбун, по своему обыкновению, подошел к ее руке и, поцеловав ее, медлил оставить. Полинька покраснела и поспешила высвободить свою руку.

— Как вы поживаете? — рассеянно спросил горбун и сел.

— Я здорова,— отвечала Полинька и с любопытством смотрела на горбуна, который потупил голову и задумался.

Так прошло с минуту. Вдруг он неожиданно поднял голову, глаза их встретились. Полинька быстро наклонилась к своему шитью; щеки ее вспыхнули ярким румянцем. Горбун приподнялся на своем стуле; глаза его страшно блестели; он весь превратился в зрение.

Полинька в ту минуту была необыкновенно привлекательна; краска, мгновенно вспыхнувшая, оставила в ее лице легкие следы и придавала особенную живость ее нежной коже. Опущенные глаза в полной красе выказывали ее длинные и густые ресницы; черные волосы с влажным отливом до того блестели, что горбун мог бы увидеть в них свое уродливое изображение. Она низко нагнулась к шитью, чтоб укрыться от глаз горбуна. Платье резко обрисовывало ее грациозные формы, и ускоренное дыхание придавало жизнь каждому ее волоску.

Горбун быстро встал и начал ходить по комнате. Полинька боялась поднять голову, чтоб опять не встретиться с его глазами.

В нем заметно было страшное волнение; горб его, казалось, колыхался от судорожных движений. Мерно и тоскливо прохаживался он по комнате, как медведь в клетке.

Вдруг он остановился среди комнаты как окаменелый и не сводил глаз с Полиньки,— наконец молча подошел к ней и стал гладить ее по голове. Полинька с удивлением подняла голову; но, не обратив внимания на ее движение, он спокойно продолжал ласкать ее, как маленького ребенка. Полиньке были неприятны и страшны его ласки; но она боялась обнаружить ему свое неудовольствие и снова наклонилась к шитью. Горбун переродился: его лицо приняло нежное и кроткое выражение; вглядываясь в густые и роскошные волосы Полиньки, он то бледнел, то краснел; руки его дрожали, дыхание было тяжело и прерывисто. Полинька чувствовала сильное смущение и уклонилась головой от его ласк. Горбун как бы испугался; он судорожно прижал ее голову к своей груди и горячими губами коснулся ее волос. Слабо вскрикнув, Полинька вскочила с своего места, остановилась в недоумении и с отвращением смотрела на горбуна. Он пошатнулся и, прислонясь к стене, закрыл лицо руками и дрожал всем телом, как в лихорадке. Вдруг едва слышный стон вырвался из его

груди. Сделав шаг вперед, он дико и проницательно осмотрелся, но тотчас же с ужасом потупил глаза. Так он стоял, сохраняя совершенную неподвижность.

Полинька не могла понять, что с ним делалось; ей стало жаль горбуна, и, помолчав, она робко окликнула его:

— Борис Антоныч!

Горбун с испугом поднял голову.

— Не случилось ли с вами какого несчастия?

— Несчастия? — повторил он, странно улыбаясь, и снова стал смотреть в пол.

— Вы очень скучны; что с вами?

Горбун посмотрел на нее, и в его глазах Полинька прочла бесконечную благодарность за свое ласковое слово. Она ободрилась и свободно продолжала:

— Право, вы сегодня на себя не похожи: отчего вы такой печальный?

Горбун грустно улыбнулся и проговорил слабым голосом:

— Для чего я вам буду рассказывать мои страдания? разве их весело слушать?

— Вы прежде были такой веселый.

— Я был весел для вас... но мне очень тяжело жить. В мои лета невозможно выносить...

— Что же такое случилось? — перебила его Полинька и, отбросив шитье в сторону, с любопытством ожидала ответа.

Горбун молчал. Наконец он с испугом схватил себя за голову и протяжно произнес:

— Меня давит, мне душно!

— У вас болит голова?

— Я весь болен,— слабым голосом отвечал горбун.

Он казался самым дряхлым стариком в ту минуту.

— Вам скучно, Борис Антоныч?

— Да! — поспешно и тихо пробормотал горбун.

Лицо его вспыхнуло, и он закрыл его руками.

Полинька печально вздохнула и взялась за шитье; в комнате было так тихо, что она могла слышать прерывистое дыхание горбуна. Они молча просидели несколько минут. Полинька задела рукой ножницы, лежавшие на столе, и они с звоном упали на пол. Оба вскрикнули, потом улыбнулись. Горбун нагнулся поднять ножницы, но их не было видно: он стал на колени и пристально всматривался. Полинька немного приподняла платье и прижала к дивану свои ножки. Ножницы показались, и горбун про-

тянул к ним руку; но, увидав ножки Полиньки, он оцепенел... Она хотела встать — и коснулась его руки своей ножкой, которую он с силою сжал. Испугавшись, Полинька быстро опустилась на свое место и поджала ноги, как будто на полу лежала гадина.

Горбун был страшен: он весь уродливо изогнулся, горб его сделался огромен, волосы торчали как щетина, шеи не было видно, и голова и горб — всё слилось в одну отвратительную фигуру, и он в ту минуту скорее походил на чудовище, пораженное красотой женщины, чем на человека.

— Нашли? — спросила Полинька дрожащим голосом.

Горбун подал ножницы и прямо смотрел ей в глаза. Полинька отвернулась и протянула руку; горбун схватил ее и с жаром поцеловал. Полинька сделала движение, чтоб встать, но горбун удержал ее и страстно смотрел ей в глаза.

— Борис Антоныч, что с вами? — бледнея, вскрикнула Полинька.

Горбун ничего не отвечал; он вздрогнул и, как будто испугавшись чего, спрятал свою безобразную голову на колени девушки.

Полинька с отвращением отталкивала его... он целовал ее колени и плакал.

— Борис Антоныч, встаньте! — сердито закричала Полинька, и слезы выступили на ее глазах, и кровь бросилась ей в голову.

Рыдания были ей ответом. Полинька совершенно потерялась. Стараясь оттолкнуть голову горбуна, касаясь с ужасом и отвращением его жестких волос, она дрожала и горела. Стыд, негодование, страх вызвали слезы на ее глаза, и она горько плакала.

Задыхающимся, полным мольбы и рыдания голосом горбун повторял:

— Сжальтесь! сжальтесь над несчастным стариком! пощадите человека, которого никто никогда не щадил!

— Оставьте меня, оставьте! — кричала Полинька всхлипывая.

— О-о-одно слово! скажите хоть одно слово... утешьте старика!

И горбун, весь дрожа, приподнял голову и страстно смотрел на Полиньку. Она с отвращением отвернулась и гневно толкала его прочь, стараясь встать. Но он обхватил ее талию, и голова его упала к ней на грудь.

Переполненная негодованием, захватывавшим дыхание, Полинька вскрикнула, рванулась и привстала.

— Пустите меня! — грозно закричала она.

Горбун ничего не слушал. Он сжимал Полиньку в объятиях, целовал ее платье, обливал слезами ее руки; страшные, отчаянные стоны надрывали его грудь. Он был жалок в эту минуту, он был ужасен. Но Полинька ничего не чувствовала к нему, кроме отвращения. И когда, ослабев, он опустил свои руки, она ловко толкнула его и, вскочив на диван, обежала стол и стала за стулом. Грудь ее высоко подымалась, и она грозно смотрела на горбуна... Он пытался ее удержать; но силы его оставили, и, как раненый зверь, упал он на диван и судорожно метался, подавляя свои стоны.

Полинька испугалась. Она подумала, что видит предсмертные муки горбуна. Но горбун вдруг вскочил и кинулся к ней с бешеным криком:

— Вы меня выслушаете!

Сложив руки на груди, Полинька смотрела на него умоляющим взором.

Он упал перед ней на колени и тихим, рыдающим голосом проговорил:

— Пощадите меня! дайте мне высказать вам...

Лицо Полиньки быстро изменилось: умоляющая женщина превратилась в торжествующую и кинулась к двери, думая убежать. В ту же минуту бешенство исказило черты горбуна, но он не двинулся с места.

— Я вас не хочу слушать! — презрительно крикнула Полинька у двери и толкнула ее.

Но дверь не отворялась... Полинька толкала ее сильней и сильней — напрасно!

Дверь была заперта снаружи.

Продолжая толкать ее, Полинька с ужасом оглянулась: горбун встретил ее торжествующим, насмешливым взглядом.

Всё поняла Полинька.

— Боже мой! — воскликнула она отчаянным голосом.

Горбун засмеялся.

— Ага! вы теперь выслушаете меня! — сказал он.

Полинька вскрикнула и, пошатнувшись, прислонилась к двери, бледная, как приговоренная к смерти...

Глава IV

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН И БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ КИРПИЧОВА И КОМП.

В тот день, когда происходили события предыдущей главы, часу в десятом утра, Кирпичов, спустившись по теплой лестнице из третьего этажа, где была его квартира, вошел в свой магазин, помещавшийся во втором.

Мы сейчас скажем, каким образом Кирпичов сделался книгопродавцем и обладателем великолепного магазина.

Захватив в свои руки состоянье жены, он сначала, казалось, не имел никакого определенного плана касательно дальнейшей своей деятельности. Верно одно: продолжать прежнее ремесло, ремесло торговца хомутами, шлеями, шорами и разными сыромятными товарами в незначительном провинциальном городке, ему не приходило и в голову. Он бледнел и терялся, когда ему намекали на прежний род его торговли,— сам же о своем прошедшем никогда не говорил. Накупив множество фраков, пестрых жилетов, перстней и булавок, он поставил себе целью удивлять и озадачивать. И действительно, всегда с поднятой головой, с самодовольным и презрительным взглядом, обладая притом громким и резким голосом, в котором повелительная нота звучала так явственно, что, казалось, развитие ее с самых ранних лет никогда не было задерживаемо, Кирпичов достигал своей цели,— уважение же возбуждал непременное и всеобщее, с удивительным искусством в одну минуту давая почувствовать каждому, что у него не меньше миллиона в кармане. Знался он только с лицами избранными, а кутил с теми, которые умели ему льстить и между которыми мог играть первую роль. Словом, по всему было видно, что Кирпичов почитал себя призванным к деятельности более широкой и благородной, чем торговля гужами и хомутами. Но к какой же именно?

Этого, может быть, долго не решил бы и сам Кирпичов, если б ему не помог случай... Раз он был на балу у богатого купца, где в числе разнородных гостей находился и один сочинитель, по фамилии Крутолобов. Сочинитель, по обыкновению своей братии, говорил о литературе... о ее великом и благотворном влиянии... о ее высоком значении... о ее лучших деятелях (в том числе, разумеется, преимущественно о самом себе)... наконец, о благородном

и высоком призвании тех, которые способствуют ее развитию своими капиталами и которые хотя сами не пишут, не переводят, но в некотором смысле могут назваться литературными двигателями, наравне с первостепенными талантами, и даже более... Словом, Крутолобов тонко высказал такую мысль, что без талантов литература может еще существовать, но без аккуратных, деятельных, расторопных и, разумеется, обладающих огромными капиталами книгопродавцев — решительно не может. Этот разговор произвел сильное впечатление на Кирпичова. Он пожелал познакомиться с сочинителем и пустился в подробные расспросы о книжном деле. Крутолобов знал эту статью превосходно, даже лучше собственного ремесла, и в час успел сообщить Кирпичову множество важных и любопытных сведений. Надобно здесь сказать для большей ясности, что Крутолобов в ту эпоху видел литературу, по его собственному выражению, на краю гибели; другими словами, книгопродавец, издававший в течение многих лет его сочинения, наконец был окончательно обобран и пущен по миру: настояла необходимость создать нового, который за честь знаться с сочинителями и пользоваться их печатными похвалами платил бы чистыми деньгами. Вот источник необыкновенного красноречия Крутолобова в тот вечер. Заметив в Кирпичове жадное внимание, он особенно распространился насчет великой чести и славы, сопряженной с званием книгопродавца.

— Имя его,— говорил он,— дойдет до отдаленного потомства, наряду с именами знаменитейших его современников; каждая книга, обязанная ему своим существованием и украшенная, разумеется, его именем как издателя, будет громко свидетельствовать о готовности его жертвовать на пользу науки и просвещения... И в самом деле, как не удивляться ему! как не благоговеть перед ним! сколько произведений великого ума не явилось бы в свет без содействия его капитала! сколько талантов погибло бы, если б не его великодушное покровительство!.. Да! автор создает, творит в тиши кабинета; но книгопродавец... что такое автор со всеми его талантами без книгопродавца? корабль без мачты... ларчик, в котором, может быть, скрыты сокровища, но ключ от которого потерян... Кто отопрет его и покажет миру скрытые в нем сокровища? Автор творит, но не он, а книгопродавец делает известными свету его творения... Таким образом, книгопро-

давец — настоящий двигатель литературы, душа, желудок...

Сравнив книгопродавца с желудком литературы, Крутолобов перевел дух. Кирпичов слушал его с жадным вниманием.

— Общество,— продолжал Крутолобов, смекнувший, каким образом нужно действовать на Кирпичова,— общество понимает высокую важность такого лица в среде своей, и надо видеть всеобщее уважение, которым пользуется такой человек... Не говоря уже о том, что все литераторы считают его братом, другом, даже больше — отцом и благодетелем своим... что ему между ними и почет и первое место...

Кирпичов гордо поправил свой шарф, черный с розовыми букетами.

— ...он скоро приобретает себе друзей,— продолжал Крутолобов, старательно наблюдавший за впечатлением, которое производят его слова на Кирпичова,— друзей позначительнее литераторов. Князь, граф, генерал, каждый сановник, умеющий ценить общественные заслуги, с любовью подаст ему руку.

Здесь Кирпичов вытянул шею, выпрямился, и вся фигура его приняла величественное выражение.

— А какое наслаждение, какая честь, оказав истинную услугу литературе, удостоиться, например, публичной благодарности! вдруг печатно — да, печатно — во всех журналах и газетах на всю Русь-матушку объявят, что вот такой-то... положим, хоть... смею спросить ваше имя и отчество?

— Василий Матвеич,— подсказал Кирпичов.

— ...что вот такой-то Василий Матвеич Кирпичов,— продолжал Крутолобов, с торжественной медленностью, явственно выговаривая каждое слово,— оказал бессмертную услугу русской литературе, что он ее благодетель и двигатель и что она должна за честь считать, что имеет такого представителя...

— Неужели так и напечатают? — спросил Кирпичов.

— Так и напечатают.

— И имя выставят? — спросил Кирпичов, никогда не видавший своего имени в печати и думавший не без сладкого сердечного трепета, что оно должно выйти удивительно красиво в печати.

— Разумеется,— отвечал Крутолобов.— Да еще не просто, а со всеми титулами; знаете, таких людей ценят,

многие за честь почтут сделать такого человека корреспондентом, комиссионером... Да то ли еще? можно удостоиться даже награды: истинные ценители изящного поднесут вам, например, часы, табакерку, перстень, осыпанный брильянтами...

— Что вы говорите? — воскликнул Кирпичов.— Неужели? Вот в театре... ну, там другое дело: я сам видел, как публика поднесла драгоценный перстень... лестно, точно, очень лестно получить... да неужели можно удостоиться?

— Можно, очень можно... издайте-ка, например, общеполезную, великолепную книгу.

— Издам! непременно издам! — воскликнул Кирпичов, но тотчас же спохватился и прибавил: — То есть я хотел сказать, что если б я сделался книгопродавцем, так, разумеется, издавал бы всё книги большие, красивые, великолепные... по-моему, уж если издавать, так издавать... чтоб все ахнули.

— Вот люблю! — воскликнул Крутолобов с восторгом.— Люблю таких людей! Дельно, дельно смотрите на литературу и разом смекнули, в чем дело. Позвольте вас обнять!

Он обнял Кирпичова, расцеловал и просил о продолжении приятного знакомства.

Кирпичов не спал всю ночь, мечтая сделаться книгопродавцем... Пришла ему на минуту мысль, что он ничего не знает в книжном деле, что он даже и книг сроду никаких не читал, да мало их и видывал на своем веку; но самолюбие его было не из таких, чтоб не дать потачки увлекательной, хоть и нелепой мысли. Поутру он сходил к Крутолобову с визитом. Крутолобов усадил его, попотчевал превосходной сигарой, подарил ему на память первого знакомства свое сочинение «Воспоминание об Адаме и Эве» с собственноручной надписью — словом, приласкал и очаровал. Опасения Кирпичова окончательно разлетелись, когда Крутолобов положительно сказал и даже поклялся, поставив примером самого себя, что ученье вздор, а нужно только иметь ум, которого ему, Василию Матвеичу, не занимать стать, и так довольно: и литературу поймешь, и отличным книгопродавцем будешь.

Кирпичов решился и скоро за умеренную цену приобрел превосходную библиотеку на нескольких языках.

Библиотека была действительно превосходная и досталась Кирпичову по счастливому случаю.

Жил в Петербурге богатый барин, проводивший дни свои в систематических усилиях разориться. Не задумываясь, он тотчас удовлетворял каждую свою прихоть, чего бы она ни стоила. Таким образом, пришла к нему, позже многих других страстей, страсть к книгам, и дубовые полки огромных шкафов, занимавших три большие комнаты, затрещали под лучшими произведениями всех европейских литератур, облеченными в роскошные переплеты. Даже русская литература не была забыта — впрочем, больше для полноты библиотеки... барин плохо знал по-русски.

Около года он аккуратно по нескольку часов в день посвящал своей библиотеке. Наконец у него явилась новая страсть — страсть к лошадям, и библиотека была забыта...

По старой привычке, однако ж, она наполнялась аккуратно всеми новыми лучшими книгами на русском, французском, английском, немецком и других языках.

У богатого барина был камердинер, немец, человек, по-видимому, любознательный. Каждый день, уложив своего барина и уходя к себе, он уносил с собой по одному тому какого-нибудь творения... Это продолжалось несколько лет.

Наконец, когда усилия барина увенчались успехом и дела пришли в расстройство, камердинер покинул его.

Спустя еще несколько лет барин умер, оставив по себе несметные долги,— цель, к которой он стремился всю жизнь.

Стали продавать с аукциона его имущество на удовлетворение кредиторов. Очень много рассчитывали на выручку с библиотеки, справедливо пользовавшейся славою полнейшего хранилища литературных сокровищ и редкостей. И действительно, покупщиков явилось множество: каждому хотелось приобресть знаменитую библиотеку. Ждали богатой выручки.

Но велико было всеобщее удивление, когда при ближайшем осмотре библиотеки почти все лучшие и редкие творения оказались неполными: недоставало которого-нибудь тома...

Кредиторы повесили нос; покупщики разошлись с ропотом. Никто, естественно, не хотел дать за знаменитое книгохранилище ни гроша.

Тогда явился маленький человек с физиономией весьма незначительной и купил разрозненную библиотеку за бесценок.

Читатель угадал, что покупщик был прежний камердинер богатого барина.

Выждав год, он открыл книжный магазин, наполнив свое приобретение не только недостающими томами, которыми с мудрой предусмотрительностью запасся заблаговременно, но и многими новейшими сочинениями, уже преимущественно русскими. Несколько лет он торговал, по-видимому, довольно счастливо; но, неизвестно по каким причинам, дела его пришли в расстройство. Он прекратил торговлю, оставив бо́льшую часть своей библиотеки в залоге.

Эту-то библиотеку посоветовали приобресть Кирпичову. Дело скоро сладилось. Заплатив часть условленной суммы владельцу библиотеки, остальную и бо́льшую часть он обязался внести главному кредитору его, у которого она находилась в залоге.

Кредитор этот был Борис Антоныч Добротин.

Вот начало знакомства и связи Кирпичова с горбуном.

Получив в распоряжение свое знаменитую библиотеку, Кирпичов нанял великолепное помещение и, нимало не задумываясь, прибил на дому огромную вывеску с надписью: «Книжный магазин и библиотека для чтения на всех языках, Кирпичова и Комп.» Последнее слово было крупней всех остальных, затем что оно стало теперь в глазах Кирпичова важнее всего необъятного количества слов, из которых была составлена знаменитая библиотека «на всех» языках.

Во все концы огромного нашего государства полетели громкие объявления о новом, великолепном светиле на горизонте нашей книжной промышленности... Газетные фельетоны и журнальные известия наполнились похвалами новому двигателю литературы.

День открытия магазина ознаменовался великолепным пиром, на котором некоторые литераторы плясали вприсядку и пели импровизированные куплеты в честь хозяина.

Потом подхватили Кирпичова на руки и стали качать.

Чувствуя себя наверху блаженства, упоенный славою и торжеством, Кирпичов лишился возможности выражать словами свои ощущения и, подбрасываемый кверху, только с нежностию и грацией дрыгал ногами, выражая тем избыток признательности, переполнявшей его сердце.

В заключение Крутолобов, подвигнувший Кирпичова

на его славное предприятие, вскочил на стол и произнес хозяину спич, который начинался так:

«Я почитаю себя счастливым, что родился в ту эпоху, когда на горизонте нашей книжной торговли появился почтеннейший, умнейший, аккуратнейший и деятельнейший Василий Матвеич Кирпичов».

Неизвестно почему один молодой литератор, присутствовавший тут, насмешливо улыбнулся, слушая такие похвалы новому книгопродавцу.

Но и его выходка, которая, конечно, могла набросить тень неудовольствия на торжествующее лицо хозяина, если б он ее заметил, была счастливо предупреждена и даже обратилась в позор насмешнику.

— Милостивый государь! — воскликнул другой литератор, устремив на дерзкого насмешника взор, полный благородного негодования.— В ту минуту, когда воздается почесть заслуге, вы смеетесь... вы...

Но ему не дали договорить, обступив его и пожимая ему руку в знак сочувствия к его строгому, но справедливому выговору.

Дерзкий насмешник, вероятно почувствовавший угрызения совести, с позором удалился. Остальные гости пировали до утра...

Вот таким образом Кирпичов, торговавший прежде гужами и хомутами, знакомыми ему в совершенстве, попал в книжную торговлю, в которой не понимал ничего...

Итак, Кирпичов вошел в свой великолепный магазин.

Магазин Кирпичова точно можно было бы назвать великолепным, если б местами дорогие, но безвкусные украшения не нарушали гармонии целого.

Очень большая и очень высокая комната, с большими, светлыми окнами, которой стены казались сложенными из книг, местами закрытых огромными ландкартами, заменявшими в ней картины; кругом прилавки красного дерева, резко отделяющие владения самих обитателей магазина от владений публики; на окнах исполинские глобусы, в простенках небольшие диваны, обитые ярким красным бархатом; по протяжению прилавков с внешней стороны местами тоже небольшие диванчики; а с внутренней — конторки, из-за которых виднеются головы, седые и не седые, наклоненные над толстыми счетными книгами, и руки, вооруженные перьями.

Прилавок, идущий по протяжению правой стены, далее отодвинут, чем остальные; владения публики сужены,

зато расстояние между прилавком и стеною значительно обширнее, и не без особенной цели... За этим прилавком, в простенке между двумя окнами, огромная конторка, уставленная разнородными чернилицами, песочницами и множеством разных письменных принадлежностей, какие только могут понадобиться и какие никогда не понадобятся деловому, много пишущему, считающему, наводящему справки, платящему и получающему человеку.

По сторонам конторки два небольшие глобуса; над ней подробная карта Российской империи; нельзя умолчать и о крючке, вбитом в стену над картой: на него нацеплено множество писем и записок всевозможных форм и почерков, со всевозможными делами и нуждами, с просьбами, предложениями услуг, с жалобами, с упреками в неисправности...

Мы не прибавляем: и с комплиментами (без которых, естественно, не обходилось в письмах к Кирпичову), потому что все письма, заключающие в себе похвалы хозяину и его магазину, изъявления благодарности за исправность и аккуратность и тому подобные, Кирпичов откладывал в особый портфель и потом при всяком удобном (а иногда и неудобном) случае показывал и читал гостям и избранным посетителям своим. Особенно замечательные письма такого рода он даже имел обыкновение постоянно носить с собою с тою же целью.

По одной стороне крючка висела карта всех отходящих и приходящих ежедневно почт, а по другой — небольшая красивая рамка, в которую вкладывался, для памяти, каждый день новый листок с исчислением всего, что требовалось сделать в течение дня.

Словом, всё здесь показывало присутствие руки аккуратной и деятельной, хотя при внимательнейшем рассмотрении можно было заметить, что памятный листок с исчислением того, что следовало сделать пятнадцатого числа, продолжал спокойно висеть в той же рамке до двадцать пятого, а иногда и гораздо дольше...

Наконец, на самой середине конторки торжественно возвышалась груда распечатанных конвертов всевозможных форматов, но с одной отличительной принадлежностью, не дающей ни на минуту сомневаться, почему им отведено такое почетное место.

Все конверты, числом, может быть, до трехсот, большие и малые, продолговатые и четырехугольные, надпи-

санные нежным женским почерком и грубой рукой деревенского приказчика, были с пятью печатями...

— Вчерашняя почта! — говорил обыкновенно Кирпичов какому-нибудь важному посетителю, указывая на заманчивую груду.

Но хоть эпоха, в которую мы знакомимся с Кирпичовым, была самая блестящая для его дел, должно, однако ж, признаться, что груда «вчерашней почты» никогда не могла быть так велика, если б Кирпичов не прибегал к маленькой хитрости. Он обыкновенно оставлял на конторке конверты нескольких дней, даже целой недели, и выдавал их неопытным посетителям за «вчерашнюю» или «сегодняшнюю» почту, смотря по времени дня.

Нетрудно догадаться, что пространство, украшенное громадной конторкой, составляло постоянное местопребывание хозяина, когда он был в магазине.

И действительно, войдя в свой магазин и величественно кивнув головой приказчикам, которые, заложив на минуту перо за ухо, отвесили по низкому поклону своему хозяину, Кирпичов направил шаги свои прямо к конторке.

Но прежде нужно заметить, что огромной комнатой, сейчас описанной, не ограничивались владения Кирпичова.

В прилавке, идущем по протяжению левой стены, оставлен был широкий проход, прямо против стеклянной двери, которая вела в другое точно такое же отделение.

Хотя вход туда для публики был особый, а внутренним ходом сообщались с той половиной только хозяин и его приказчики, однако ж над стеклянной дверью красовалась великолепная надпись: «Вход в библиотеку для чтения на всех языках, Кирпичова и К°».

Ту же надпись встречали глаза на стеклах двери.

Мы забыли сказать, что главная дверь, ведущая в магазин, была также стеклянная и что над ней красовалась та же надпись.

Но трудно упомнить все точки, на которых распорядительный хозяин умел поместить свое имя. Довольно сказать, что, подходя к дому, взбираясь по лестнице и, наконец, войдя в магазин, невозможно было найти такую перспективу для зрения, на которой глаза не встретились бы несколько раз с неизбежной надписью: «Кирпичов и К°».

Кирпичов подошел к своей конторке и повелительным жестом подозвал к себе Харитона Сидорыча, который обыкновенно именовался его Правой Рукой.

Правая Рука имел физиономию, не внушавшую особенной доверенности. Грубое угреватое лицо с толстыми растрескавшимися губами, которые плотно никогда не смыкались; взгляд мрачный и мутный; волосы жесткие как щетина и упорно сопротивлявшиеся очевидным усилиям придать им благовидную форму; узкий лоб, огромный угреватый нос и, наконец, костюм, совершенно соответствующий наружности: таков был Харитон Сидорыч.

Сказать правду, Кирпичов каждый раз страдал и бесился при виде своего главного приказчика, нарушавшего своей неуклюжей фигурой общую благовидность его магазина, о чем он хлопотал всего более; но Правая Рука слыл великим дельцом, и вот почему Кирпичов терпел его. Не проходило, впрочем, дня, чтоб он не бранил своего приказчика за неряшество. Но Правой Руке было легче выслушать брань, чем расстаться с неуклюжим сюртуком, к которому он, казалось, тем нежнее привязывался, чем больше таскал его на своих плечах.

— Ну за что он ругается? — говорил обыкновенно Правая Рука после такого увещания.— Что у него доходу, что ли, прибудет, когда я напялю новый сюртук?

И он пожимал плечами и высоко поднимал руки, растопырив мозолистые пальцы.

И теперь разговор начался выговором.

— Хоть бы вы лицо-то умыли, Харитон Сидорыч! — сказал Кирпичов, скорчив презрительную гримасу, когда Правая Рука подошел к нему.— Право, на вас гадко смотреть. Такая рожа!

Кирпичов вообще не отличался деликатностью в обращении с своими приказчиками, а с Харитоном Сидорычем, сердившим его своей неблаговидностью, он обходился и еще грубее, чем с прочими.

— Это, может быть, от угрей, а лицо я с мылом мыл,— смиренно отвечал приказчик.

— От угрей! на то мыло такое есть... от угрей! Ведь вы не в табачной лавке! — с жаром возразил Кирпичов, горделиво озираясь кругом.— Здесь бывают князья и графы...

Вместо ответа Правая Рука подал ему кипу заготовленных писем и угрюмо сказал:

— Для подписания.

— Или вы,— продолжал Кирпичов, не обратив внимания на письма,— почитаете себя важной персоной, что ли? Велика персона! Вот я и не вам чета, а, небось, не выхожу к посетителям в халате? А вы? что вы такое? Ведь вы,— заключил Кирпичов, окинув своего приказчика презрительным взглядом,— вы, душенька, просто свинья!

Нужно признаться читателю, что Кирпичов иногда вставлял в речь свою, кстати и некстати, слово «душенька»,— дурная привычка, укоренившаяся в нем, вероятно, еще во времена торговых операций гужами и хомутами.

Правая Рука молчал и смотрел в пол, но по углам его некрасивых губ на минуту образовалось выражение сильной досады.

— Вы забудьте,— продолжал Кирпичов,— что вы сами имели свой магазин... грошовый,— прибавил он презрительно,— вы здесь не у себя в магазине. Здесь я хозяин, я! слышите ли вы? хотите служить, так служите, как требуется...

— Я стараюсь всеми силами,— мрачно, но кротко возразил приказчик.— Неужели еще вы, Василий Матвеич, недовольны моей службой?

— Службой я вашей доволен, да рожей вашей, душенька, недоволен... Ну, посмотрите на себя: ну, на что вы похожи? Сюртук с заплатками, сидит мешком... словно вам платье не портной, а какой-нибудь гробовой мастер шьет... жилетка в табаке... бороды не бреете...

И Кирпичов начал с омерзением осматривать и повертывать своего приказчика. И потом, перескочив мысленно к самому себе, он с наслаждением поправил свою батистовую манишку, обдернул кашемировый жилет ярких цветов, украшенный дорогой цепочкой с печатками, золотыми зверями и птичками, и самодовольно улыбнулся.

— Я не бог знает какие доходы получаю,— отвечал Правая Рука с принужденной кротостью.

— Что такое? — гневно закричал Кирпичов.— Уж не думаете ли вы, что я вам мало жалованья плачу?.. Да вы вспомните, в каком положении вы были, что я для вас сделал!

Лицо приказчика, всегда мрачное, стало еще мрачнее. С болезненным усилием подавил он негодование, одушевившее на минуту его уродливые черты, и тихим, почтительным голосом произнес:

— Я вами много доволен...

— Велика мне нужда, что вы довольны мной! — возразил Кирпичов с оскорбительным высокомерием.— Вот в самом деле какая честь: Харитон Сидорыч Перечумков мною доволен! У меня с вами, любезнейший, расчет короткий: не хотите служить — идите... только внесите по векселям...

Признаки подавленного бешенства исчезли с лица угрюмого приказчика: он видимо испугался.

— Я вам заслужу...— начал он умоляющим голосом, но Кирпичов перебил его:

— Заслужу, заслужу! А зачем чучелой ходите? у меня магазин не вашей дрянной лавчонке чета... во всем соблюдается чистота, порядок, благоприличие. А вы просто приходящих пугаете, да и голос у вас такой, точно вас сейчас из портерной привели.

— Вы знаете, Василий Матвеич,— возразил Правая Рука с гордостью, значительно возвысив голос,— что я вот уж третий год...

— Знаю, знаю! — перебил Кирпичов.— Да уж у вас такая несчастная фигура! Иной покупатель просто испугается одного вашего вида и голоса,— убежит, ничего не купит да еще знакомым своим расскажет: вот, дескать, у Кирпичова приказчики пьяницы и грубияны.

Здесь Кирпичов, сам не подозревая, высказал великую истину: приказчики в его магазине действительно отличались необычайной грубостью, подражая, впрочем, в обращении с приходящими своему хозяину, который был невыносимо груб и дерзок со всяким, на ком не замечалось явных признаков особенного достоинства.

— Вот чем вы мне платите за мои благодеяния! — заключил Кирпичов.— Про меня по вашей милости дурная слава пойдет... А еще всё толкуете: рад стараться! А чего? сколько времени говорю — сюртука нового сшить не хотите! Ведь в вас, значит, никакого чувства нет, никакой благодарности... ведь вы, выходит, просто подлец, душенька Харитон Сидорыч! Вспомяните мое слово: не исправитесь — прогоню, а векселя подам ко взысканию.... ступайте в долговое отделение. Туда и дорога!

Насмешливая улыбка пробежала по губам приказчика. С ненавистью и угрозой посмотрел он на своего неумолимого хозяина, и тотчас же лицо его опять приняло обычное выражение тупой угрюмости.

— Подпишите, Василий Матвеич! — сказал он почти-

тельно, указав на заготовленные письма.— Не опоздать бы на почту...

— А с повестками пошли? — спросил Кирпичов.

— Пошли.

Кирпичов с глубокомыслием начал подписывать письма, написанные на великолепных бланках, где опять несколько раз повторялась его фамилия, напечатанная различными шрифтами.

— Как ни служи, ничего, кроме брани, не выслужишь,— шепнул Правая Рука соседу, воротившись к своей конторке.— Сюртук, видишь, нехорош!.. Что у него доходу, что ли, в магазине прибудет, когда я напялю новый сюртук?.. Э-хех-ех! сюртук нехорош!

Он с любовью осмотрел свой сюртук и пожал плечами.

Тишина. По раннему времени проходящих почти еще нет. Разве кучер в плисовой поддевке войдет, пронзительно прозвенев колокольчиком, переврет барское приказание, ничего не добьется и уйдет с отчаянием. И снова тишина. Только слышится скрип перьев и щелканье счетов, да из соседней небольшой комнаты (где горит в медном подсвечнике заплывшая сальная свеча, а на полу навалены в беспорядке книги, обрезки бумаги, деревянные ящики, холст и веревки и где нестерпимо воняет дрянным сургучом) раздается стук молотка, показывающий, что артельщик тоже не дремлет, деятельно заколачивая посылки.

Изредка какой-нибудь приказчик, взгромоздясь на высокую лестницу, протянет руку за книгой, мирно покоившейся на самой верхней полке... две-три другие книги, неосторожно задетые, с громом рухнутся на пол, пустив вокруг себя облако пыли... Кирпичов оглянется, прикрикнет и опять погрузится в свое занятие.

Подписывая письма, Кирпичов не столько заботился о содержании их, которого большею частию не дочитывал, сколько о красоте и витиеватости росчерка, который у него выходил удивительно эффектно.

При некоторых счетах, посылаемых вместе с письмами, оставлено было место для цен за самую вещь и за ее пересылку, которые приказчик затруднялся определить сам. Кирпичов в минуту разрешал недоумение приказчика с помощию вдохновения: он выставлял в таких местах первую цифру, какая подвертывалась ему под перо.

Едва успел он подписать последнее письмо, как явился мальчик лет четырнадцати, с простодушной и привлека-

тельной физиономией, и вручил ему «сегодняшнюю почту». Кирпичов не без довольной улыбки принял увесистый пучок конвертов с пятью печатями.

Он вооружился ножичком и стал разрезать конверты, откладывая деньги в одну сторону, письма в другую, а опорожненные конверты присоединяя к прежней груде.

Опорожнив конверты и пересчитав деньги, Кирпичов принялся читать письма, чем, конечно, ему и следовало немедленно заняться, имея в виду нетерпение своих почтенных иногородних доверителей, которых он в каждом объявлении своем уверял в исправнейшем, аккуратнейшем и скорейшем исполнении их поручений с первой почтой.

Было что почитать! Кто просил журнала, кто жаловался, кто благодарил, кто требовал книг, кто требовал и еще разных вещей, кроме книг, начиная свое письмо так: «Посылаю двести рублей. Вина! на все вина!!!» А затем следовал список вин. Другой желал иметь коляску, гувернантку для детей, фортепьяно, охотничьи вещи и просил всё доставить в целости. Третий писал: «Уведомляю вас, что в сентябре я женюсь на очень миленькой образованной девице, дочери здешнего гарнизонного полковника, которая большая охотница до литературы,— потому прошу выслать самых модных романов...» Люди солидные, дельные отличались кратким и отрывистым слогом: их тотчас можно было узнать по лаконизму письма и увесистой пачке ассигнаций, приложенной к нему. Поэты особенно распространялись. Стихов посылалось множество. Одним стихотворением Кирпичов заинтересовался и прочел его:

ПОЭЗИЯ БУРЬ

Летит по дороге четверка:
В коляске Мария сидит.
А месяц, как дынная корка,
На небе полночном висит...
Верхом — словно вихрем гонимый —
Скачу я за ней через лес
И жажду, волканом палимый,
Поэзии бурь и чудес!
Я отдал бы всю мою славу
За горсть, за щепотку песку,
Чтоб только коляска в канаву
Свернулась теперь на скаку.
Иль если б волшебник искусный
Задумал вдруг Мери украсть;
Иль вор, беспощадный и гнусный,

Рискнул на коляску напасть...
 Иль пусть кровожадные звери
Коляску обступят теперь...
На помощь возлюбленной Мери
Я сам бы явился, как зверь.
 Умчал бы ее я далеко —
За триста земель и морей...
И там бы глубоко, глубоко
Блаженствовал с Мери моей.
 Но нет ни зверей, ни злодеев,
Дорога бесстыдно гладка,
Прошли времена чародеев...
О, жизнь, как ты стала гадка!
 Везде безотрадная проза,
Заставы, деревни, шоссе...
И спит моя майская роза,
Раскинувшись в пышной красе,—
 Меж тем как, окутан туманом,
Летит ее рыцарь за ней
И жаждет борьбы с великаном
В порыве безумных страстей...
 О, чем же купить твою ласку
В холодный и жалкий наш век,
Когда променял на коляску
Поэзию бурь человек?..

«Недурно! надо показать Владимиру Александровичу!» — подумал Кирпичов и протянул руку к другому письму; но тут явился Алексей Иваныч...

Алексей Иваныч был единственным наследником своего отца, семидесятилетнего старика, с тремя миллионами, уже не имевшего сил подняться с места; а для таких людей у Кирпичова не было ничего заветного и невозможного. Он был всегда и во всякое время к их услугам,— каким угодно,— унижаясь перед ними столько же, сколько ломался перед людьми беднее его.

Алексей Иваныч, человек лет сорока пяти, с бородкой, острижен в кружок и одет по-купечески: в суконный сюртук, широкий и длинный, и в плисовые панталоны, заправленные в сапоги; в его словах и во всей его фигуре заметна бесцветность, как будто он еще не успел определиться.

Обменявшись с гостем несколькими словами, Кирпичов поднял конторку и положил туда вновь полученные ассигнации... Человек, менее привычный к деньгам, мог ахнуть самым добросовестным образом при виде огромного количества бумажных, золотых и серебряных денег, покрывавших обширное дно конторки и представлявших в

своем беспорядочном смешении зрелище необыкновенно привлекательное.

То была весна: время еще довольно сильного расхода на книги и всякие товары, время, когда многие, надумавшись, подписываются еще на журналы; в конторе Кирпичова собралось в тот день чужих и своих денег до ста тысяч.

Но Алексей Иваныч, бывший главным приказчиком своего отца и видевший в своих руках миллионы, только заметил с добродушно-лукавой улыбкой:

— Конторочку-то скоро надо будет заказывать попросторнее!

— Всё благодетели иногородние! — отвечал Кирпичов, любуясь своими сокровищами и медленно захлопывая конторку.

К чести благодарного сердца Кирпичова и к несомненному удовольствию господ иногородних должно заметить, что Кирпичов обыкновенно называл их не иначе как «благодетелями».

Кирпичов запер конторку и положил ключ в карман. Потом он выдвинул нижний ящик конторки и свалил туда письма, которых, по-видимому, уже не располагал читать.

Затем он положил руку на плечо Алексея Иваныча и повел его вон из магазина. Из комнаты, где производилась упаковка посылок, они поднялись в третий этаж, и Кирпичов, проходя с гостем через комнату жены своей, сказал ей:

— Велите-ка, матушка Надежда Сергеевна, подать нам бутылочку шампанского да закусить.

И он увел гостя в свой кабинет, где, впрочем, чаще предавался разгулу с своими друзьями, чем занятиям, соответствующим названью комнаты.

Глава V

КАК КУТИТ КИРПИЧОВ

Кирпичов допивал с своим гостем уже вторую бутылку шампанского, которое он обыкновенно начинал пить с одиннадцати часов утра, когда явился общий знакомый их, Трофим Бешенцов — человек лет сорока, тучный и краснолицый. Подобно Правой Руке, он считал непростительной роскошью чисто одеваться: по его сюртуку опыт-

ный пятновыводчик всегда мог определить, какого вина он вчера убавил. Перчатки он презирал, толстую шею свою стягивал волосяным галстухом с огромной стальной пряжкой; бороду брил редко.

По званию он был актер, но при театре, по причине положительной бездарности, делать ему было нечего, и он проводил время с купцами, которые вообще охотно дружатся с актерами. Купцы любили его за веселый нрав, за остроумие и за то еще, что он по первому требованию друзей рад хоть вприсядку среди улицы,— качество, которое называли в нем добротой сердца. И притом не обидчив.

Впрочем, Бешенцов имел свое самолюбие; *но что же такое артист без самолюбия?* — как сам он иногда говаривал.

Трезвый он был тише воды, ниже травы, а напьется — кричит: «Велик Бешенцов! велик!..» И убеждение в своем величии тогда достигает в нем такой высокой степени добродушного комизма, что, умей он хоть половину его проявить на сцене, он был бы точно велик.

Кирпичов познакомился с ним у одного купца, вскоре по приезде в Петербург. Они напились и в тот же вечер подружились. В бумагах покойного Назарова Кирпичов нашел письма его брата и по ним доискался местопребывания наследницы, но решительно не знал, как приступить к делу. Он открылся своему новому другу, как безумно влюблен, и Бешенцов помог ему советом и стихами. Купеческие сынки и молодые приказчики часто прибегают в любовных объяснениях к стихам — и не ошибаются: ничто так не льстит самолюбию молоденькой швеи, едва знающей грамоту, ничто так не очарует и не убедит ее, как высокопарная фраза, громкие стихи. И чем меньше она поймет, тем сильней впечатление, тем вернее успех. Расчет удался, и талант Бешенцова торжествовал, доставив ему дружбу богатого книгопродавца.

— А я совсем нечаянно! — сказал Бешенцов, раскланиваясь.

И хозяин и гость ответили ему хохотом.

С некоторого времени вечно праздный Бешенцов ежедневно прохаживался по утрам мимо «Книжного магазина и библиотеки для чтения на всех языках» и, заметив, что к Кирпичову вошел какой-нибудь почетный гость, отправлялся и сам туда, уверенный, что теперь уже не будет лишний, и всегда извещал, что «совсем нечаянно». Хитрость наконец заметили.

Да и сам он уж давно смекнул, что ею никого не проведешь, но был не прочь, заметив, что какая-нибудь простодушная его выходка смешит слушателей, и повторить ее с умыслом,— к чему, впрочем, приходят почти все люди, имеющие в характере своем оригинальную черту, возбуждающую внимание, даже и те, которые не нуждаются в даровом угощении.

Хозяин и гости, попивая шампанское, дружно беседовали. Вдруг Чепраков взглянул на часы и значительно сказал:

— А! Пора!..

— Неужели уж час? — спросил Кирпичов.

— Без пяти минут,— отвечал купец и взял шляпу.

Ни гость, ни сам хозяин не думали удерживать его; Кирпичов только крикнул вслед ему:

— Если ужо, Алексей Иваныч, не найдете нас дома, так приезжайте *туда!*

— Хорошо! — отвечал Чепраков и ушел.

У людей, которые часто сходятся, всегда есть слова, которым придан особенный, условный смысл, непонятный постороннему. Таким образом, в компании Кирпичова *туда* имело разные значения, смотря по времени дня. Сказанное до обеда, оно значило: в трактир.

Кирпичов пространно повествовал Бешенцову, как отлично идут его дела, какие получает он доходы и награды, как ласкают его князья, графы и другие именитые люди; вдруг на пороге показалась чрезвычайно длинная, сухощавая фигура в синих штанах с серебряными лампасами, в коричневом персидском казакине с нашивками на груди; кинжал у пояса, остроконечная баранья шапка на голове довершали наряд нового гостя.

То был персиянин Хаджи-Кахар-Фахрудин. Ему было уже за шестьдесят лет; но лицо его постоянно каждый месяц менялось: то он молодел, то дряхлел,— по той причине, что раз в месяц красил себе волосы, брови, ресницы, даже подкрашивал руки, обросшие волосами. Но следы морщин слишком резко обозначали его лета, глаза его тоже выцвели и были невероятно тупы; вообще трудно было определить степень его ума: он вечно молчал и внимательно слушал, особенно когда говорил Кирпичов, которому вверил он свой маленький капитал. Ежедневно с той поры приходил он ровно в час в магазин и торчал, как статуя, постоянно на одном месте, иногда поднимал с полу

какую-нибудь соринку, сдувал пыль с книги и снова садился. При всяком движении в магазине — отпускают ли товар, привезут ли новое издание, переставляют ли шкафы — он был непременным молчаливым членом: широко раскроет свои тупые глаза и смотрит и прислушивается, медленно кивая головой, словно бьет такт. Вообще он смотрел на магазин Кирпичова и на всё, что в нем делалось, такими глазами, как будто всё тут принадлежало ему и происходит по его приказанию. Ему выходило большое наследство, и он обещал пуститься с Кирпичовым в обороты и даже намекал, что откажет ему свои деньги в вечное владение. И Кирпичов ласкал его и часто, указывая гостям своим на молчаливого персиянина, шептал: «Дурак ужаснейший! и никого родных нет... Вот посмотрите, если не сделает меня своим наследником!»

— Ну, Кахар! отдашь мне свои деньги? — спросил Кирпичов, ударив вошедшего персиянина по плечу.

— Всё отдаст! — отвечал персиянин, улыбнулся и кивнул головой.

Кирпичов предложил ему закусить. Персиянин резал сыр такими кусками, как режут хлеб, откусывал разом по четверти фунта и вообще ел и пил ужасно. Насытившись, он уселся в мягкое кресло и закрыл глаза. Кирпичов занялся чтением Бешенцову писем, в которых господа иногородние благодарили и хвалили его. Бешенцов слушал и поддакивал. На десятом письме чтение было прервано возвращением Чепракова.

— Отделались, Алексей Иваныч? — таинственно спросил его Кирпичов.

— Отделался! — отвечал он, махнув рукой.

— Не отправиться ли *туда?*

— А пожалуй.

Персиянин вскочил... куда сон девался!.. и схватил баранью шапку.

Скоро они прибыли в трактир и заказали обед, а покуда отправились в бильярдную. Здесь они встретили господина с открытым и благородным лицом, который обыгрывал бледного и вялого купчика, приговаривая за каждым ударом: «Шарики-сударики! по сукну катитеся, в борты стучитеся, в лузу валитеся!..», и после каждой партии громогласно требовал то чашку шоколаду, то рюмку водки, то порцию мороженого.

— А, Урываев! — радостно сказал Кирпичов.

И товарищи его обрадовались тоже Урываеву. Только персиянин не обрадовался: небольшой переезд утомил его и он уже спал под шум бильярдных шаров.

Урываев был бильярдный герой. Бильярдные герои, то есть люди, постигшие в совершенстве великую тайну клапстосов, дублетов, триблетов, карамболей и разных бильярдных тонкостей, бывают двух родов: одни начинают поприще свое снизу и постепенно идут вверх, другие начинают сверху и постепенно съезжают вниз.

Первые люди — люди бедные и темные, начав с дрянного трактира и ничтожного куша, оканчивают великолепной ресторацией и значительными кушами. Вторые — наоборот. Прокутив и проиграв состояние в великолепных ресторациях, они, постепенно понижаясь, нисходят в грязные харчевни, откуда помогли выбраться первым. И здесь только приходит им мысль применить свое искусство, так дорого купленное, к делу.

Урываев принадлежал к героям второго разряда. Он имел порядочное состояние, которое прокутил в два года, но не унывал; по характеру он был счастливейший человек в мире. Впрочем, его незачем описывать. Не только в Петербурге, но даже в самом маленьком городке есть непременно хоть одно такое лицо. Человек, который вечно хохочет, острит, выигрывает, хладнокровно делает подчас вещи, поднимающие волосы на голове, навязывается на знакомство, ссорится, мирится, беспрестанно впутывается в истории, из которых выходит не всегда с честью, но всегда веселый и довольный: таков Урываев. Аппетит у него невероятный; выпить он может сколько угодно, и нет такого роскошного пира, с которого бы он ушел, оставив хоть каплю вина. После шампанского он пил водку, потом пиво, потом ром, потом опять шампанское,— словом, он глотал рюмку за рюмкой, не разбирая, с чем она... И ему всё сходило с рук. Всегда здоров и свеж, он полнел с каждым годом; фигуру он имел очень благовидную: щеки полные и круглые, густые бакенбарды и белые зубы; но опытному глазу тотчас делалось ясно, что по лицу его не проходило ни одно человеческое ощущение, но много прошло пощечин. Несмотря на постоянное пребывание в столице, он ходил всегда в фуражке, руки держал в карманах, в левом ухе носил золотую серьгу...

Такой человек присоединился к компании Кирпичова. С Кирпичовым он познакомился в трактире, порядочно

обыграв его для первого знакомства. Кирпичов полюбил его за удалый характер и неистощимую веселость...

Кирпичов пригласил его обедать. Разбудили персиянина и отправились в особую комнату.

Обед прошел чрезвычайно весело. Бешенцов занимал компанию остроумными рассказами, а Урываев, к общему удовольствию, бил тарелки себе об голову с удивительным искусством: тарелка, чокнувшись с головой, издавала глухой звук, и с одного разу на ней оставалась довольно заметная трещина. Персиянин ел за троих, а потом спал.

В исходе шестого часа купец Чепраков, посмотрев на часы, с озабоченным видом сказал: «А пора!» — и поспешно исчез...

— Отделайтесь, пожалуйста, поскорей! — крикнули ему в один голос товарищи.

Когда он воротился, компания отправилась в театр. Урываев взял себе коляску.

В театре в тот вечер с особенным эффектом прошла историческая драма «Боярская шапка», переделанная на русские нравы с испанского. Но Кирпичов и К° не досмотрели ее. Первый оставил театр купец Чепраков. Посмотрев на часы в исходе десятого, он воскликнул испуганным голосом: «Вот тебе и раз! чуть не опоздал!» — и быстро исчез.

— Приходите, Алексей Иваныч, *туда!* — закричал вслед ему Кирпичов.

Туда значило теперь: в танцкласс. Соскучась в театре, приятели вышли в половине третьего действия и сели в свои экипажи. Накрапывал дождь.

Они долго ехали по Фонтанке и наконец, оставив за собой несколько мостов, повернули влево и въехали в узкий и бесконечно длинный переулок, огражденный с одной стороны темным забором; огромные старые березы и липы с шумом наклонялись над ним и бросали гигантские тени на высокую сплошную стену, возвышавшуюся по другой стороне переулка. Стена была гладка и черна; только в самом верху ее виднелось окно, и свет, выходивший из него, местами оставлял на неосвещенных предметах и черных тенях ясные точки и полосы.

Взяв билеты, они вошли в залу и остановились у двери против самого оркестра, помещенного за перегородкою на небольшом возвышении во всю длину комнаты. Несмотря на то что зала была довольно велика, в ней уже некуда было бросить яблоко. Пар тридцать неистово выплясыва-

ли; танцующих окружали плотною массою любопытные, напиравшие, с опасностию жизни, всё сильней и сильней. И правду сказать, оттоптанные мозоли, взъерошенные затылки и вихры, даже неприятное превращение длинного носа в курносый — вознаграждались самым великолепным, разнообразным зрелищем. Не проходило минуты, которая не ознаменовалась бы событием, достойным внимания. То первая танцорка бала — стройная, перетянутая в рюмочку модистка, с распустившимися локонами и плутовским взглядом,— выступает вперед, перегнувшись на сторону и слегка приподняв платье; ее встречают беспрерывным громом рукоплесканий, восторженными криками, а между тем готовится новая потеха. Откуда ни возьмись, навстречу ей гордо вылетает сухощавый француз, у которого, как известно постоянным посетителям бала, в запасе всегда какая-нибудь необыкновенная штука. Француз запускает руки за жилет, закидывает назад кудрявую, распомаженную свою голову и делает вид, как бы привинчивает себе ноги, вынимая их поочередно из кармана. Крики «браво, брависсимо, браво!» заглушают в ту минуту звуки оркестра. Раскланявшись на все стороны, он начинает новый фокус... То появление неуклюжего провинциала, пустившегося, из подражания французу, выделывать па своими жирными ногами и шлепнувшегося от неудачного скачка посреди залы, возбуждает всеобщее внимание; то снова вся пестрая толпа танцующих, как бы разом, вместе с ударом в турецкий барабан, соединившись в одну длинную плетеницу, летит, повергая всё и всех, пока не затихнет утомленный оркестр. Шум, давка, крики, хохот, хорошенькие глазки, усы, плечи, прически, цветы, коки, завитки — всё тогда рассыпается и наполняет остальные комнаты вплоть до самого буфета, где уже не одна пробка успела брякнуть по носу Софокла, Сократа и Эврипида, довольно удачно изображенных на потолке.

Тут, за небольшими столиками, уставленными тарелками и бокалами, уже давно пируют те, которые предпочитают легким танцам положительные котлеты и бифштексы.

Кирпичов с компанией принадлежали к последним и потому не замедлили воспользоваться антрактом между танцами, чтобы пробраться в буфет. Вскоре присоединился к ним и купец Чепраков.

— Ну, теперь отделался на всю ночь,— сказал он Бешенцову с необыкновенной веселостью, как школьник, по-

лучивший наконец свободу.— Эй, малый! две бутылки шампанского! надо догнать товарищей.

Бешенцов помог ему.

Пора объяснить причину таинственных отлучек купца Чепракова. Несмотря на почтенные лета, он решительно не имел своей воли и даже в сущности не назывался еще купцом, а только купеческим сыном. Родитель его, семидесятилетний старик, не любил давать потачки детям. «Ты что? молокосос! — говорил он ему.— Твое дело слушаться старших... вот только уйди со двора без моего спросу!.. Я тебя, мальчишку, так...» И сын не смел явно ослушаться. Но старик, разбитый параличом, бесчувственно сидел в креслах, приходя в память только к обеду, чаю и ужину, и «молодой» Чепраков принял за правило являться домой в такие часы с строжайшей точностью, а остальное время предпочитал проводить с Кирпичовым и не жаловался на свою участь: у него еще жив был дедушка, который обходился с его отцом почти так же.

Урываев производил в танцклассе эффект. Там он был вполне в своей сфере и распоряжался как дома. Он раскланивался и заговаривал решительно со всеми, говорил всем «ты» и расточал поцелуи направо и налево,— внезапно упадал на колени перед красавицей, поразившей его, и громко изъяснялся ей в любви. В промежутках танцев останавливал посреди залы распорядительницу бала, женщину лет шестидесяти, с воинственным видом и с непостижимым упоением покрывал поцелуями ее старые, черные, сморщенные руки. Довольно нецеремонно толкал каждого встречного и громко острил насчет тех, кто не имел счастья ему понравиться. Вступавших за свою честь, как говорится, обрывал, если приходилось по силам, а иным и уступал,— впрочем, с достоинством. Вообще он не был ни слишком храбр, ни слишком самолюбив и хорошо сознавал свои, как он говорил, недостатки.

Потолкавшись еще в буфете и подкрепив себя несколькими стаканами хересу, Урываев вдруг исчез. Кирпичов долго искал его, но потом, пробравшись в залу, где уже снова начались танцы, взглянул на оркестр и расхохотался. Засучив рукава, Урываев деятельно помогал музыкантам, постукивая ножом в тарелку. Впрочем, вмешательство его не портило музыки по той причине, что трудно было ее чем-нибудь испортить.

Бешенцов между тем значительно расходился. Протискавшись в танцевальную залу, он подходил почти к каж-

дому, поднимал кверху толстые свои руки и произносил громовым своим голосом: «Велик Бешенцов! велик Бешенцов!»

Разумеется, такого лица не могли не заметить, и вскоре огромная толпа окружила актера, осыпая его насмешливыми вопросами и возгласами.

— Как вы хорошо вчера играли! — насмешливо крикнул ему один молодой человек.

— Что и говорить, душа моя, божественно! — добродушно отвечал актер, ноги которого начинали уже описывать неопределенные круги.

. . . .

. . . .

Но танцы и многолюдство не слишком привлекали наших приятелей. Скоро они перебрались в особую комнату, примыкавшую к половине хозяйки. Явился ужин. Приятели дружно уселись вокруг стола, ярко освещенного и уставленного бутылками.

Бешенцов мешал есть персиянину, обращаясь к нему с мрачными рассуждениями о своем величии.

— Велик Бешенцов, велик! — кричал он, повертывая персиянина.— Нет, ты ложку брось да скажи, так ли я говорю?

Персиянин кивал головой с таким видом, как будто хотел выклевать трагику глаза своим крючковатым носом.

— Нет, ты поклянись! слышишь ли? поклянись!

И жадный персиянин клялся, лишь бы поскорей возвратиться к вкусному винегрету, который он уписывал ложкой.

Вдруг послышались за стеной звуки фортепьяно и женский голос, напевавший русскую песню. Чепраков и Кирпичов, страстные любители русских песен, опрометью бросились к двери и прильнули к замочной скважине; но звуки плохо доходили до их жадного слуха.

— Можно отдать, так сказать, полжизни,— воскликнул Кирпичов,— чтоб послушать поближе такого голоса!

Чепраков был того же мнения.

Несмотря на позднюю пору, по ходатайству Урываева, желание их исполнилось. Дверь растворилась, и хозяйка представила восторженных слушателей своей племяннице, сидевшей за фортепьяно, и трем ее приятельницам. Племянница, девица лет тридцати с лишком, не отличалась ни красотой, ни хорошим голосом; но Кирпичов и Чепраков решительно растаяли: сердца их давно алкали эстетиче-

ской пищи и только хор московских цыган мог теперь полнее удовлетворить их жажду.

Упрашивая певицу спеть то одну, то другую русскую песню, они осыпали ее похвалами и громко рукоплескали ей. Наконец, в порыве восторга, Чепраков тихонько положил на фортепьяно пятьдесят рублей. Кирпичов последовал его примеру, но положил не пятьдесят рублей, а сто. Тогда Чепраков положил двести; внимательно окинув глазами его пачку, Кирпичов положил триста.

Певица, казалось, ничего не замечала. Закатив глаза под лоб, страшно стуча пальцами по клавишам, она восторженно пела «Черную шаль», и вдохновение ее с каждой минутой возрастало.

В полчаса очарованные слушатели наклали ей на фортепьяно порядочную сумму.

Наконец бумажник Чепракова истощился, и он с прискорбием прекратил приношения. Тогда только прекратил их и Кирпичов, который в порыве благородной щедрости, находившей на него в разгульные минуты, никак не мог допустить, чтобы кто-нибудь дал больше его слуге в трактире, музыкантам, певице, цыганам, фокуснику, кому ни придется. Раз в ресторацию, где сидел Кирпичов одинодинехонек в ожидании приятелей, вошел неизвестный, окинул комнату презрительным взглядом и самым надменным тоном потребовал «бутылку шампанского и два бокала». Кирпичов тотчас же решился оборвать его и крикнул тому же слуге: *«Две* бутылки шампанского и *один* бокал!»
Таково было его самолюбие.

Пока Кирпичов и Чепраков слушали и награждали певицу, остальные продолжали пить в первой комнате. И когда книгопродавец наконец воротился туда, сердце его возрадовалось: стол был загроможден бутылками. Но, не без гордости пересчитав их, он вдруг схватился за карман и озабоченным голосом спросил Чепракова:

— Деньги есть?

— Ни копейки! — с гордостью отвечал купец Чепраков.

— И у меня тоже немного: не хватит на расплату. А где Урываев?.. да что! у него нечего и спрашивать. Делать нечего: погодите, я сейчас съезжу.

И, покачиваясь, он вышел на двор. Ночь была темна и пасмурна; мелкий дождь обратился в ливень. Кирпичов сел в свою коляску и велел кучеру ехать домой.

Дорога укачала его так, что голова начала кружиться. Приехав, он прямо отправился в свой магазин. Глубокая тишина царствовала в знаменитом книгохранилище. Освещенные с улицы красноватым блеском, окна с неспущенными гардинами отражались на потолке неподвижными светлыми треугольниками, повторявшимися на стенах и паркетном полу, и в то же время дрожащие огоньки каретных фонарей бегали по стенам и потолку, будто догоняя друг друга... Нетвердые шаги хозяина глухо звучали в пустой и обширной комнате; две-три здоровые крысы шмыгнули между его ногами, потревоженные, сверх своего ожидания, в такую пору, когда сокровища человеческого ума по давней привилегии поступают в их исключительное владение... Кирпичов подошел к своей конторке, и замок с пружиной громко и резко щелкнул, повинуясь руке, вооруженной ключом. Звук его долго не умолкал. Чувствуя смертельное кружение головы, Кирпичов поднял крышку и, захватив ощупью полную горсть ассигнаций, положил их в задний карман своего сюртука. Повторив еще несколько раз то же и туго набив оба кармана, он запер конторку и тем же нетвердым шагом пошел вон из магазина.

. . . .

— Ну что, привезли денег? — спросил купец Чепраков, когда книгопродавец вошел в комнату.

— Вот! — отвечал Кирпичов и, погрузив руки в карманы, с торжеством показал две пригоршни ассигнаций.

Глаза невольно заблистали у зрителей. Ассигнации были всё крупные; между ними попадались и целые пачки, связанные, вероятно, по тысяче.

Все начали увиваться около Кирпичова. Певица сделалась к нему благосклоннее. Ее приятельницы также улыбались ему с особенной любезностью.

Явилось вино, и пир начался снова.

Глава VI

ПРАВАЯ РУКА

В шесть часов утра Харитон Сидорыч проснулся и разбудил прочих приказчиков. Толстая и красная кухарка принесла огромный самовар и корзинку с хлебом. Напившись чаю, каждый занялся своим делом. Правая Рука, в халате, перед которым сюртук его мог показаться образцом

чистоты и изящества, с растрепанной головой и неумытым лицом, сел к своему столу и погрузился в работу. Поминутно брал он то одну, то другую толстую книгу, прикидывал что-то на счетах и записывал цифры на особый листок. Не успел он кончить своего дела, которое, по-видимому, сильно интересовало его, как послышались за спиной его громкие шаги. Он оглянулся и быстро вскочил: перед ним стоял Кирпичов, возвращавшийся по черной лестнице с ночных похождений. Лицо его было измято и бледно, глаза тусклы, узел шарфа торчал на боку, а концы его болтались сверх сюртука; только две дырочки, уцелевшие на шарфе, свидетельствовали о брильянтовой булавке, которой Правая Рука не замечал на своем хозяине.

— А, душенька, вы уж за работой! — начал Кирпичов, дружелюбно подавая руку своему приказчику.— Ну, доброе дело! А мы вот немножко покутили... не всё работать... надо же и покутить... Не правда ли, душенька?

И он ласково положил руку на плечо своему приказчику.

— Правда,— угрюмо отвечал приказчик.

— Полноте, Харитон Сидорыч, сердиться! полно, душенька! — воскликнул Кирпичов, который в нетрезвые минуты делался добр и чувствителен с своими подчиненными, позволял себе многое высказать и вообще обнаруживал человеческие стороны характера, спавшие в нем остальное время.— Ведь я тебя люблю, ужасно люблю... я вот всё только и думаю, как устроить дела твои... Уж будь уверен... уж, пожалуйста, не беспокойся: векселей не подам ко взысканию... и зачем подавать? ты заслужишь... И из-под следствия выпутаю... Я ведь понимаю, Харитон Сидорыч, что вы мне верный слуга... я ведь не бесчувственная скотина какая... проси что угодно: всё сделаю для тебя... да я так тебя люблю, что готов душу свою положить за тебя, душенька... я жалованья вам прибавлю, Харитон Сидорыч, ей-богу, прибавлю... тысячу рублей... да я тебя в долю приму, душенька, десятый процент дам... разрази меня гром... Ну, поцелуй меня!

И Кирпичов поцеловал толстые, неумытые губы своего приказчика.

— Ну за что ты сердишься? Ну, скажи: ну неужели еще недоволен ты мной?

— Я вами много доволен,— отвечал приказчик, по-видимому тронутый,— только...

— Ну что «только»? чего еще недостает тебе?.. ну, говори.

— Только вот всё насчет платья попрекаете,— отвечал приказчик, потупив глаза.

— Нельзя, душенька, нехорошо: перед публикой стыдно... да что платье? вздор! Я тебе отличное платье сделаю на свой счет... сегодня же позову портного: мерку велю снять... так вот и разговора у нас про платье больше не будет.

— Много благодарен, Василий Матвеич,— сказал приказчик.— А вот я заготовил вам выписочку: сегодня в банк платить.

— Как сегодня? уж будто сегодня, душенька?

— Сегодня, Василий Матвеич.

— Ну что ж? сегодня, так сегодня и заплатим.

— Да и по трем векселям: Грачищеву двадцать семь тысяч, Стригонову и Куницыну срок подходит.

— Что вы, душенька, белены объелись? — возразил Кирпичов.— Ведь у Грачищева брали на восемь месяцев.

— Точно на восемь; только ведь уж они прошли... Вот извольте сами смотреть.

И приказчик сыскал в толстой книге нужную страницу; но Кирпичов, не посмотрев, возразил:

— Верю, верю, душенька! прошли так прошли! мудреного нет — забыл! Денег у меня довольно... в банк хватит, и Грачищеву... только деньги, понимаете, Харитон Сидорыч, не все мои... надо на днях сделать расчет с Владимиром Александрычем... да еще надо задатку дать князю Хвощовскому.

— Какому Хвощовскому? за что?

— Новое издание предпринимаю,— самодовольно отвечал Кирпичов.— Полное собрание сочинений князя Хвощовского, в шести томах, с картинками и чертежами.

— Охота вам, Василий Матвеич, пускаться опять в издания,— с неудовольствием заметил приказчик.— Право, что в них проку? только деньгам перевод! Еще иное дело издавать книги полезные, а то вечно кучу денег потратите на печать, на бумагу, на переплет, на объявления, а потом гляди да сохни: гниет издание в кладовой. По правде сказать, не умеете вы выбирать, Василий Матвеич. Вот Окатов издал «Средство выращать черные усы и густые черные брови» ...оно, конечно, вздор, и купивший ее не только не вырастит черных усов, так и рыжие потеряет, а посмотрите, как книга идет! Всякий думает: верно, вздор, однако ж

попробую! черных усов всякому хочется! А вот опять книга, тоже о волосах: «Средство сохранить навсегда густые волосы и предохранить лицо от морщин до глубокой старости». Шутка! кому помолодеть не хочется?.. вот она и идет. А видели книгу «Нет более паралича»? А «Лечение всех болезней физических и нравственных портером и мадерою»? третье издание печатается!.. А «Тайна быть здоровым, богатым, долговечным и счастливым в отношении к прекрасному полу»? Небось, сочинитель не умрет теперь с голоду, издатель тоже жаловаться не будет... Тут, я вам скажу, Василий Матвеич, дело основано на знании натуры человеческой; а ваша аллегория, смею сказать, просто вздор; с аллегорией пойдешь по миру.

— А что скажут журналы, когда я такие книги издавать стану? — заметил Кирпичов зевая.— Помилуйте, душенька!

— Журналы! да вам не с журналами, а с деньгами жить! Верьте вы мне, Василий Матвеич,— продолжал с жаром Правая Рука, обрадованный благоприятной минутой высказать хозяину свой взгляд на дело,— с журнальной похвалы сыт не будешь, только суетную гордость свою удовлетворишь... а тут капитал — дело нешуточное! Ну вот наиздазали вы теперь философических и аллегорических книг? Сочинения толстейшие: в ином тома четыре... сочинители всё важные, а что толку? валяются экземпляры в кладовой!

— Да, правда,— заметил задумчиво Кирпичов,— книги их точно скверно идут; как напечатал — сваливай в кладовую, а ключ хоть в Неву кидай: не понадобится. Ни одно издание даже не окупилось. Я уж сам, признаться, думал: отчего? люди прекраснейшие и уж в летах, пожили на свете, могли набраться ума, а иные так даже известностью пользуются; поди, как лет тридцать назад сочинения их шли! такие люди, что, кажется, и постыдятся вздор написать,— не то что мальчишка какой, который с голоду пишет в шестом этаже... У них и кабинеты отличные; как войдешь, тотчас почувствуешь, что ученый и умный человек живет: библиотека огромная, стол письменный весь завален бумагами, этажерки, кушетки, кресла, ландкарты на стенах, конторки; на лице такие соображения; заговорит — точно книга: садись и записывай. А издания нейдут! просто и ума не приложу отчего!

— Я думаю,— отвечал глубокомысленно главный приказчик после долгого молчания,— я думаю, оттого, что они

слишком серьезно и аллегорически сочиняют... Люди важные, с достатком, они, натурально, не станут справляться, что происходит даже и между дворянами, не только у купцов и разночинцев, которые любят почитать,— а что придет в голову, то и пишут. Вот и выходит аллегория; а какой прок в аллегории? Уж помяните вы мои слова, Василий Матвеич: не доведут вас до добра издания философические и аллегорические... Я думаю, так они даже и не литература, а просто пустословие! Умный человек не понесет аллегории, а иногородний и плюнуть на нее не захочет. Ему давай житейского, практического!.. Вот, помните, летом приходил к вам какой-то сочинитель, кажется Лачугин... да, точно: Лачугин! Вот вы его прогнали, а Окатов за три золотых купил у него роман да теперь уж третье издание печатает.

— Знаю, знаю, душенька! о нем теперь везде говорят... Да ведь он сам виноват. Приходит: бледный, мизерный такой, жмется, запинается, точно сейчас уличили его, что он платок из кармана украл... «Где вы служите?» — спрашиваю я. «Нигде»,— говорит. «Какой ваш чин?» — «Никакого»,— говорит. «Что же, у вас родители богатые люди?» — «Нет,— говорит,— бедные».— «А какого звания?» — «Мой отец,— говорит,— мещанин...» Ну, каков литератор? прилично ли мне издавать мещанские сочинения?.. «Подите,— говорю,— на то есть Щукин двор: там у вас купят, а я не могу...» — «Какая же причина,— говорит,— вашего отказа?..» Я рассмеялся. «Ну, какая причина? ты, любезнейший, посмотри на себя,— говорю,— так и увидишь, какая причина... Мне,— говорю,— благородные люди приносят свои сочинения, да и у тех, душенька, беру не у всякого...» Вот он и ушел да с тех пор и не бывал... а-а-а... Уж не понимаю, почему ему посчастливилось! — заключил, зевая, Кирпичов, по мнению которого, чтоб сочинение было хорошо, автору его следовало иметь крупный чин.— Прощайте, душенька; спать хочется... а-а-а-а...

— Как же, Василий Матвеич, с векселями? Ведь хуже будет, как сроки пропустим.

— Ну, ужо подумаю... А всего лучше... знаете ли что?.. съездите к Борису Антонычу... попросите тысяч двадцать пять до зимы да и вексель велите заготовить... я ужо подпишу... он не откажет... а-а-а!

Кирпичов ушел спать.

В десять часов Правая Рука постучался в ворота знакомого уже читателю дома на Выборгской стороне, в глу-

хой улице. Рыжий мальчишка беспрепятственно пустил его в калитку и тотчас исчез, предоставив ему полную свободу.

Бойко миновав две первые комнаты и достигнув дверей третьей, Правая Рука осторожно постучался.

Работая в своей комнате, башмачник услышал стук разбитого стекла над своим окном. Как сумасшедший кинулся он к Полиньке, но дверь была заперта. Думая, что Полиньки нет дома, он сбежал в кухню взять ключ у хозяйки, но ее там не было. Башмачник опять отправился наверх, опять дернул за скобку — и, к удивлению его, дверь отворилась! Он вошел в комнату — и окаменел от ужаса: Полинька, бледная, с окровавленной рукой, стояла у разбитого окна; горбун в волнении ходил по комнате. С минуту башмачник дико озирался кругом, и вдруг страшная догадка осветила его ум; подняв сжатые кулаки, он бросился к горбуну. Горбун окинул его презрительным взглядом и молча вышел.

Хозяйка поджидала в сенях.

— Зачем ты заперла дверь? — яростно крикнул ей горбун.

— Вот тебе на! — с ужасом возразила девица Кривоногова, отступая.— Не сами ли наказали!

Он впал в задумчивость и молчал. Хозяйка начала охать.

— Вот наделали дела! как бы чего не вышло!

Он быстро поднял голову и погрозил ей палкой.

— Смотри! ни одного слова.

— Господи ты боже мой! да разве я дура?

Горбун вышел. Вечер был холоден; немногие звезды, одиноко горевшие в разных концах темного неба, скупо освещали его; ветер, дувший весь день, наконец унялся. В переулке царствовала такая тишина, что слышался непрерывный глухой гул, доносившийся с другого, оживленного конца города.

Тишина и холод не успокоили горбуна. Он дышал тяжело. Походка его была нервная и сердитая. На углу одной улицы обступили его извозчики и, похлопывая рукавицами, предлагали свои услуги.

— Пошли прочь! — крикнул он таким бешеным, шипящим голосом, что извозчики попятились и примолкли,

но тотчас опомнились и продолжали уже с намерением приставать к нему.

Он остановился и стал осыпать их самой едкой, раздражительной бранью.

— Ах ты, горбатая образина! — кричали ему извозчики.

Новые страшные ругательства были им ответом; он грозно махал своей палкой, и слова, бессвязно слетавшие с его языка, скорее походили на шипенье змеи, чем на человеческий голос.

Извозчики хохотали. Наконец и сам он понял, как смешон и жалок, и опрометью бросился прочь.

Вылив, таким образом, часть своего бешенства, горбун стал немного спокойнее. Но мысли его были мрачны и путались. Ему живо представилась его прошедшая жизнь, его молодость, его безумная страсть: он вздрогнул и горько усмехнулся... Казалось, он дивился, не мог понять, каким образом снова поддался старым волнениям, снова испытывает старые муки... Размахивая руками, он рассуждал вслух, что молодость и незнание жизни могли довести его до страшного положения, в котором человек безумствует и дорожит своим безумием, невыносимо страдает и благословляет свои страдания, изнемогает, подавленный унижением, и готов еще унижаться. «Гордая женщина осмеяла мою страсть, подавила и уничтожила мое самолюбие беспощадным презрением, сделала меня зверем... Но теперь?.. я люблю бедную девушку... жених ее бросил... что же теперь может помешать мне хоть один час насладиться счастьем?..» Горбун остановился; с минуту он прислушивался — и вдруг побежал с диким криком, зажимая уши... «Она опять смеется... перестань, пощади!» — кричал он и бежал всё скорей, будто за ним кто гнался. И точно: ему чудилось, что гонится за ним женщина, прежде им любимая. Она потрясает воздух громким, презрительным хохотом и, то равняясь с ним, то забегая вперед, кричит ему в уши: «Ты стар, ты безобразен; нет и не будет тебе счастья в любви!..» Наконец горбун остановился и осмотрелся: ничего не было видно кругом, кроме моря тумана; короткие ноги горбуна тонули в грязи.

Он стоял посреди Петропавловской площади, где тогда еще не было парка.

Горбун воротился домой в глухую полночь, измученный и продрогший, и велел затопить печь. Сидя перед огнем, он бессмысленно смотрел на красное пламя. Сырые

дрова пищали и стреляли, пуская курчавые струи дыму; горбун вздрагивал, осматривался и снова обращал к огню свое тревожное, измученное лицо. Одна мысль, о чем бы ни начал он думать, помрачала все другие; одно лицо стояло неотступно перед его глазами. Стараясь хладнокровно обдумывать свое положение, он сознавался, что и безобразен и стар, что Полинька слишком хороша, слишком честна, что даже деньги его тут ничего не сделают.

И он вскочил и, заскрежетав зубами, бешено вскрикнул:

— Нет, клянусь, она будет моею! я хочу мстить!..

А потом снова впал в тихую грусть, припоминая мельчайшие подробности знакомства своего с Полинькой день в день, час в час, все ее ласковые слова, добрые взгляды,— и лицо его сделалось кротко: он заплакал. В ту минуту она предстала ему в таком свете, что он уничтожился перед ней. Он думал, что недостоин ее, что оскорбил ее слишком глубоко и неблагодарно, что она единственная женщина, которая не смеялась над ним. Он думал также, не потому ли только испугалась она любви его, что привыкла видеть в нем отца, и жалел, что дал волю своим безумным страстям...

Дрова сгорели. Свесив голову на грудь, горбун дремал. Перед глазами его мелькали лица, давно не виданные, забытые. В одном, которое поражало резкими чертами болезни, доброты и страданья, он узнал свою мать. Бледное лицо нагнулось к нему и шепчет:

— Ты не был такой, мое дитятко! злые люди тебя таким сделали... Берегись злых людей!

— Я их убью, матушка! — вскрикнул горбун, вскочил и дико осмотрелся.

Через минуту он снова сидел, закрыв глаза, перед потухающими угольями, и новые лица, новые картины проносились перед ним. Вокруг него дикий, заглохший сад; в стороне мрачно возвышаются барские хоромы. Он входит в них. Там гремит музыка, ярко блещут огни, ходят и говорят разряженные гости. Он всё идет дальше и дальше,— он ищет... кого?.. вот он внезапно вздрогнул и остановился. В богатых старинных креслах сидит высокая женщина; на ней горят брильянты; глаза ее то становятся огромны, то суживаются, ноздри расширяются, лицо бледно, как у мертвой. С надменной и злобной улыбкой она манит его к себе, и, увлекаемый непобедимой силой, он повинуется, преклоняет колени перед гордой красавицей... Она нагибается,

шепчет ему нежные слова... Но вдруг красавица залилась диким хохотом, потолок с треском и грохотом рухнулся.

Горбун опять вскочил и осмотрелся с испугом; уголья подернулись пеплом; было совсем темно... Он лег не раздеваясь. Та же гордая женщина, те же мысли неотступно мучили его...

С рассветом он встал и принялся за дело: считал много и долго, писал всё цифры и наконец задремал.

Когда он проснулся, солнце пыльными столбами проникало сквозь щели зеленых стор... Старинные бюро и шкафы, очень массивные, огромный кожаный диван, длинный стол, заваленный бумагами и книгами, пол, обитый зеленым сукном, два окна с опущенными сторами — таков был кабинет горбуна. Множество бумаг, томы Свода законов в старинных переплетах с красно-сизым крапом составляли главное его украшение.

Сон освежил и укрепил горбуна. Казалось, счастливая мысль посетила его: он положил перед собой с решительным и спокойным видом почтовую бумагу и стал чинить перо; вдруг за дверью послышались шаги.

Горбун подкрался к стене и поднял маленькую гравюру; заглянув через небольшое отверстие в ту комнату, он тихо воротился к своему столу и сел.

— Войдите! — крикнул он, когда Правая Рука постучался.

Отворив дверь, Правая Рука низко поклонился и почтительно стал у порога.

— Что нового? что хорошенького? — приветливо спросил горбун, потирая руками и сообщив своему лицу обычное выражение добродушного лукавства.

— Дурак продолжает пьянствовать,— угрюмо отвечал приказчик.

— Хе-хе-хе! не говорите так,— заметил горбун с своим тихим, тоненьким смехом,— не говорите так невежливо о моем любезнейшем друге, о вашем хозяине, аккуратнейшем, деятельнейшем и почтеннейшем Василье Матвеиче. Хе! хе! хе!

— Какой он почтеннейший? — с негодованием возразил приказчик.— Пьянствует, важничает, не помнит, ни кому должен, ни с кого получить следует, затевает новые дурацкие издания...

— Ну, вы сегодня таки сердиты на своего хозяина,— сказал горбун.

— С ним просто не хватит никакого терпения! — отве-

чал с жаром главный приказчик.— Поверите ли, как принялся вчера пушить... и добро бы за дело! а то зачем сюртук с заплатами... Что ему в моем сюртуке? доходу, что ли, у него прибудет в магазине, когда я напялю новый сюртук? Да я в своем сюртуке, а получше дело свое знаю, чем он, кукла безмозглая, болван неотесанный...

— Ну, еще как-нибудь? — весело сказал горбун, прищуриваясь.

— Я, говорит, в тюрьму вас упрячу... Туда же, с угрозами... чучело размалеванное! А утром пьяный пришел да ну обнимать, целовать меня... «Нет у меня друга лучше Харитона Сидорыча!» Какой я тебе друг!.. Расхвастался: жалованья, говорит, прибавлю, в долю приму, сюртук новый сошью... а чего? проспится, так, кроме ругательства, ничего не дождешься... Знаю я, каковы его обещания!.. Вот как самого упрячем в доброе место, так и будет знать, каково сюртуки новые носить. По-моему, Борис Антоныч, коли дела так пойдут, так вся его библиотека через полгода будет у вас в кладовой. Вот и сегодня прислал двадцать пять тысяч просить.

— Добрые вести! добрые вести! — отвечал горбун.— Только знаете ли что? может быть, нам придется его поберечь.

— Поберечь? — запальчиво воскликнул Правая Рука.— Как поберечь?

— Я не говорю положительно,— отвечал горбун,— а может быть: мне, видите, жену его жаль, дети малые... хе! хе! хе! Книги пусть свозит ко мне по-прежнему: я деньги буду давать, только удерживайте, сколько можете, чтоб у других не забирался... на тот конец, понимаете, что если я вздумаю пожалеть его, воротить ему товар и долг рассрочить, так чтоб его другие не придушили.

— Пожалеть? товар воротить? долг рассрочить? — воскликнул с ужасом Правая Рука.— Борис Антоныч! да вы шутить изволите!

— Ну, как хотите думайте. Только как занимать опять пошлет, так прямо ко мне идите: всякую книгу в пяти копейках с рубля настоящей цены беру... А там посмотрим, куда ветер подует... Хе-хе-хе! малые дети... жена... как придется ей идти с детьми просить Христа ради, так увидим, может, кто-нибудь ее и пожалеет... станет упрашивать... хе-хе-хе!

И, довольный своей мыслью, горбун долго и весело смеялся.

Правая Рука, очевидно, имел более определенные планы касательно книжного магазина и библиотеки на всех языках, и он с жаром начал развивать их; но горбуна мучило страшное нетерпение.

Спровадив приказчика, он тотчас же принялся писать письмо. Но оно долго ему не удавалось; он рвал начатые листки и писал снова. Наконец письмо было готово. Положив его в красивый конверт, горбун стал надписывать адрес. Рука его сильно дрожала.

Глава VII

ЗАПАДНЯ

Что делала между тем Полинька с той минуты, как оставили мы ее, негодующую и бледную, у разбитого окна, с порезанной рукой?

По уходе горбуна ни Полинька, ни башмачник долго еще не говорили ни слова; они сидели молча и не глядя друг на друга. Полинька была как убитая; она даже чувствовала к себе отвращение при воспоминании, что допустила горбуна обнять себя. Наконец башмачник робко спросил:

— Он запер дверь?

— Нет,— с неприятным чувством отвечала Полинька.

— Так кто же?

— Я не знаю,— с досадою сказала Полинька.

Башмачник подумал немного.

— Не давайте ключа никому,— проговорил он.

— Я знаю!

Они снова замолчали. Наконец Полинька встала и сказала слабым голосом:

— Я лягу спать.

Башмачник молча поклонился и вышел, но тотчас же вернулся и, взяв подушку с дивана, заложил ею окно.

— Вы запрете дверь? — прошептал он умоляющим голосом.

— Да!

И они расстались. Башмачник долго еще стоял за дверью и ушел лишь тогда, как Полинька повернула ключ.

Башмачник сбирался побить хозяйку, но страх — не разгласила бы она со злости, что Полинька была заперта

с горбуном,— удержал его; он не сказал ни слова, даже стал вежливее с девицей Кривоноговой, которая прикидывалась, будто ничего не знает.

Оставшись одна, Полинька плакала и бранила себя за излишнюю доброту к горбуну. Его любовь страшно пугала ее. Она так привыкла считать его стариком, что даже иногда думала, не показалось ли ей; но вспомнив его взгляды, жаркие поцелуи, Полинька вздрагивала.

На другое утро башмачник постучался к ней. Он вошел озабоченный и усталый .

— Здравствуйте, Карл Иваныч! — с принужденной улыбкой сказала Полинька.

Башмачник неловко поклонился.

— Как ваше здоровье?

— Ничего, я здорова! — скоро отвечала Полинька и невольно спрятала свою обрезанную руку под платок.

Башмачник заметил ее движение и молча стал выгружать из своих карманов аптечные баночки, бинты и компрессы.

— Это что? — с удивлением спросила Полинька.

— Для вашей ручки! — оробев, сказал башмачник.

— Да я вам не дам перевязывать! — решительным тоном сказала Полинька.

Башмачник тоскливо посмотрел на свои лекарства.

— Откуда вы это взяли? — строго спросила Полинька.

— Я?..

И башмачнику, видимо, не хотелось сказать правду, но Полинька так повелительно смотрела на него, что он, улыбаясь, отвечал:

— Я... я взял у моего знакомого, Франца Иваныча.

И, как нашаливший ребенок, башмачник покраснел и старался избегать взгляда Полиньки. Полинька с улыбкой сожаления покачала головой и, грозя ему пальцем, строго сказала:

— По-вашему, сбегать в Коломну с Петербургской стороны ничего не значит?

И в ту же минуту она ласково протянула ему свою больную руку, как бы в вознаграждение за его хлопоты.

Башмачник ужасно обрадовался; он не знал, какую мазь взять, нюхал, рассматривал баночки и, откашлянувшись, с озабоченным видом дотронулся до платка, чтоб развязать его.

Полинька вскрикнула: «ай!» — и отняла руку.

Башмачник побледнел и дрожащим голосом спросил:

— Вам больно?

— Нет, да не дам перевязывать: вы не умеете!

Башмачник жалобно посмотрел на нее.

— Ну! — и Полинька протянула руку.— Только скорее!

Она отвернулась, закрыла глаза, нахмурила брови и готова была закричать каждую минуту, как будто ей делали операцию. Башмачник с ловкостью искусного хирурга снял платок с руки, приложил мазь и забинтовал. Улыбка удовольствия разлилась по его лицу, когда всё было кончено. Он вопросительно посмотрел на Полиньку, которая, как бы прислушиваясь к чему-то, с испугом проговорила:

— Щиплет!

— Это ничего, сейчас всё пройдет.

Башмачник старался успокоить ее; но Полинька, раздраженная сценой с горбуном и бессонной ночью, была капризна: она не хотела ничего слушать и порывалась сорвать повязку. Башмачник пришел в отчаяние.

— Ах, боже мой! — говорил он.— Да я вам говорю, что не будет никакого вреда. Потерпите!

— Вы почем знаете? ваш Франц Иваныч не доктор.

— Я знаю,— с запальчивостью возразил башмачник.

И, отвернув обшлаг рукава, он сорвал с руки перевязку и показал Полиньке обрез, довольно глубокий.

— Видите, мазь лежит уж часа три... я бы вам не решился так...

Башмачник покраснел и закрыл обшлагом руку.

Полинька вспыхнула и, качая головой, с упреком сказала:

— Это вам не стыдно?

Башмачник так сконфузился, что чуть не плакал. Он поспешил оправдаться:

— Я нечаянно.

Но сказав это, он весь вспыхнул, как зарево, и слезы блеснули в его глазах; он опустил голову и стоял как преступник.

Карл Иваныч принадлежал к тем редким и несчастным людям, которые не умеют сказать самой невинной лжи: их совесть восстает в таком случае, и они страдают, будто совершив преступление. Странно бывает сталкиваться с такими людьми; чувствуешь, как они велики и правы, но, по опыту жизни, жалеешь их, и они вызывают невольную улыбку своей искренностью, которая годилась бы разве на необитаемом острове. Но, к несчастию,

и там ее не применишь к делу: там презираются все качества, кроме телесной силы.

Полинька всё это понимала и при случае умела солгать не краснея. Невинная ложь башмачника и его страдальческий вид вызвали печальную улыбку на ее личико. Она вздохнула и, как бы в утешение бедному Карлу Иванычу, сказала:

— Теперь не щиплет.

— Вот видите! — подхватил обрадованный башмачник.— Я был уверен!

— Зачем же вы обрез...

Но Полинька не договорила.

— Ай, смотрите! — вскрикнула она, указав на руку башмачника, из которой текла кровь.

И Полинька зажмурилась и пошатнулась.

Башмачник кинулся поддержать ее, но она махала ему рукой. Не зная, что делать, он спрятал больную руку в карман.

Полинька села и повелительно сказала ему:

— Возьмите мазь и перевяжите руку!

Он вышел; Полинька, посмотрев вслед ему, пожала плечами.

В тот же день, к вечеру, Полинька получила письмо по городской почте. Сначала она обрадовалась, думая, не от Каютина ли, но рука была незнакомая. Полинька стала читать:

«Как и чем вас тронуть, чтоб вы простили несчастному безумцу? Что я говорил, что я делал вчера, я ничего не помню. Вы еще так молоды, ваше сердце не огрубело: вы поймете мои страдания. Я сегодня чуть с ума не сошел при мысли, что вы не хотите меня видеть. Вы не бойтесь: я задушу свою страсть; одним только вашим счастьем и спокойствием я буду жить. Не хочу скрывать, что, увидя вас в первый раз у себя, в моем дряхлом и одиноком, как и я же, доме, я почувствовал, что я еще молод, что не все человеческие чувства убили во мне злые люди и обстоятельства. Цель моего знакомства была узнать вас, обеспечить вашу участь, дать вам средства к жизни. Вы не рождены убивать себя за трудом, вам нужна веселая жизнь. Всё, всё я бы мог и хотел было сделать... Но... узнав вас и ваше положение короче, я понял, что надежды мои дерзки,

безумны, и я дал себе клятву смотреть на вас не иначе как на свою дочь или сестру. Я свято сдержал ее. Я решился отдать вашему жениху весь капитал свой, чтоб ускорить ваше счастие. Я думал: пусть они живут счастливо; много ли надо мне, старику? я буду любоваться их счастием, и мои страдания облегчатся. Мне так дорого ваше счастье, что я писал к одному из моих приятелей, живущему постоянно в К*, как и что делает тот человек, которого ожидает счастье быть мужем такой кроткой и добродетельной девицы. Вчера утром я получил ответ. Писать ли мне вам то, что меня чуть не убило? Да, в первую минуту я был возмущен его поступком. Как! вас, вас обмануть! да это невероятно! Свататься, тогда как он бросил свою невесту в Петербурге! а еще ужаснее — молчать о своих намерениях...»

Полинька вскрикнула и зарыдала. Злость и отчаянье душили ее. Не скоро она решилась продолжать чтение:

«Да, можно было от чего одуреть. Но я, Палагея Ивановна, человек; я знаю, что и стар, и уродлив, но прежде всего я человек. Я немолод только годами, а чувства мои еще слишком свежи и сильны. Я сознаюсь, что это великое мое несчастье. Когда первые минуты моего отчаяния и злобы прошли, я сам не знаю как вообразил себе, что я своею преданностью вас трону, что седины мои будут вам порукой в прочности вашего счастья... Я поспешил, я забылся, я испугал вас. Вы также отчасти способствовали этому. Ваше подозрение о каких-то умыслах, ваши слова затмили мой рассудок. Но теперь вы видите, что меня заставило открыться вам. Неужели вы не простите минуты безумия тому человеку, который готовился для вас на все жертвы? Вы теперь несчастны: может быть, вы скорее поймете мои мучения. Нет в мире отца, который бы нежнее любил свою дочь, чем я вас, Палагея Ивановна, буду любить теперь, когда всё для меня кончено, когда узнал я о несбыточности моих надежд. Нет брата, который бы столь уважал свою сестру, как я уважаю вас.

Ваш и пр.
Борис Добротин.

P.S. Одна ваша строка меня оживит. Нет страшнее мучений на свете, какие я теперь испытываю. Клянусь памятью моей матери, что я во всем раскаялся. Да смягчится ваше сердце и да простит оно несчастному его вольные и невольные проступки, за которые — видит бог — я жестоко наказан!.. Письмо из К* у меня в руках; если пожелаете, можете его видеть».

Так кончалось письмо. Полинька как сумасшедшая плакала над ним. Она не знала, к кому прибегнуть, у кого просить совета. У Кирпичевой много и своего горя; притом Полинька вспомнила, что не послушалась ее предостережений, и теперь боялась упреков. Самолюбие также не позволяло ей видеться с горбуном: мысль, как она оскорбит своего жениха, если слова горбуна окажутся ложью, пугала ее. Она дни и ночи плакала, ей было противно смотреть на людей, с башмачником она обходилась очень сухо, что убивало его. Горбун писал к ней каждый день, умолял о позволении явиться и бывать у ней по-прежнему, доказывал, что Каютин, обманув ее, не так виноват, как может показаться: он еще молод, и страх связать свою участь тяжелыми обязанностями семьянина мог подвинуть его на дурной поступок; советовал ей первой написать, что она разрывает с ним все отношения, и клялся, что он заменит ей всех; богатство его будет принадлежать ей; люди, любимые ею, будут и его друзьями, не только она будет жить в довольстве, но даже и друзьям ее нищета не будет знакома; клялся, что величайшее его счастие быть ей отцом и братом... и затем снова начинались мольбы о свидании. Он даже писал, как тяжело взять на свою душу погибель человека, и вслед за тем прибавлял, что он так сильно страдает, что готов наложить на себя руки. «Не допустите человека совершить преступление; оно падет на вашу голову!»

Горе так душило бедную Полиньку, что она наконец решилась идти к Надежде Сергеевне, рассказать всё и просить совета. Когда же Надежда Сергеевна, выслушав ее, стала с негодованием бранить горбуна, уверяла, что он с умыслом чернит Каютина, и просила Полиньку ничему не верить,— Полинька так обрадовалась, что вскрикнула и с рыданием кинулась обнимать свою подругу.

Будто камень свалился с ее груди, когда она услыхала голос в защиту дорогого ей человека. Надежда Сергеевна советовала даже не читать вперед писем горбуна, а возвращать их нераспечатанными. Полинька так и сделала с первым письмом горбуна, которое в тот же вечер получила.

Дня через два после того ей случилось выйти со двора. Она повеселела; все мысли ее были теперь заняты Каютиным; она стыдилась прежних своих опасений и слез. Отойдя далеко от дому, Полинька почувствовала, что кто-то за ней идет. Быстро повернувшись, она отскочила в сторону и остолбенела: перед нею стоял горбун. Вся его фигура выражала страшное страдание; платье было в беспорядке; глаза его глубоко впали, зубы были плотно стиснуты, как будто он боялся открыть рот, чтоб не вылетел стон из его груди. Полинька, опомнясь, быстро пошла своей дорогой; но ноги плохо повиновались ей, и она готова была упасть.

Тихий голос горбуна долетел до нее. В нем было много странной насмешливости.

— Вы меня не узнали?

Полинька вздрогнула и ускорила шаги.

— Что же вы молчите? — строго спросил горбун и поравнялся с ней.

Она отскочила, остановилась и смотрела прямо ему в лицо. Он вынул из кармана письмо и подал ей.

— Я болен, я едва хожу, а вы заставляете меня целые дни бегать по городу, чтоб встретить вас.

— Я не буду читать! — сказала Полинька, отталкивая письмо рукою.

— Нет, вы должны его прочесть! — повелительно сказал горбун и силою вложил ей письмо в руку.

Полинька вздрогнула от его прикосновения: ей живо представился тот ужасный вечер, страстные взгляды горбуна, его поцелуи и объятия. Вспыхнув, она схватила письмо, разорвала его в мелкие кусочки и с негодованием бросила далеко от себя.

Бумажки, дрожа, летали по воздуху.

Горбун помертвел; губы его дрожали, адская злоба разлилась по всему лицу. Он задыхался от волнения. Кинув разорванное письмо, Полинька посмотрела на горбуна с отвращением и скоро пошла прочь. Горбун с минуту стоял в каком-то оцепенении; лоскутки его письма,

как злые духи, летали и кружились в воздухе и падали у его ног.

Он сделал отчаянный жест и пустился догонять Полиньку, которая чуть не бежала.

— Напрасно вы так бежите: вы думаете, что я уж так стар, что не догоню вас? — язвительно сказал горбун, догнав Полиньку.

Она молчала и всё бежала вперед.

— А, вы не хотите меня слушать? вы не хотите читать моих писем? — угрожающим тоном сказал горбун, заглядывая ей под шляпку.

Она быстро отвернулась; горбун обошел на другую сторону и, встретив испуганный взгляд ее, тихо засмеялся.

— Вы думаете,— продолжал он,— что вы хорошо делаете, поступая со мной так жестоко? Я знаю, вас, верно, учат... наговаривают на меня...

— Меня никто не научает! — сказала Полинька.

— А-а-а! так вы сами всё это делаете! так вы по собственному желанию меня тираните!

И горбун заскрежетал зубами.

— Хорошо, хорошо,— прибавил он,— мучьте меня, рвите мои письма, топчите меня в грязь, презирайте старика!

И горбун всё возвышал голос и стучал палкой о тротуар. Прохожие начали посматривать на них. Полинька тоскливо осматривалась и, завидев извозчика, закричала ему:

— Извозчик!

— Не зовите его! — повелительно сказал ей горбун вполголоса.

— Я устала, я хочу...

— Я не пущу вас! — грозно сказал горбун.

Полинька еще громче позвала извозчика; извозчик подъехал, соскочил с дрожек и, нагнувшись к Полиньке, спросил:

— Куда угодно, барыня?

Полинька хотела говорить, но горбун закричал извозчику:

— Не надо, пошел прочь!

— Надо, что ли? — сердито спросил извозчик.

Полинька сделала движение к дрожкам; горбун схватил ее за руку и, сжав ее, шепнул:

— Не смейте! Пошел прочь, дурак! — крикнул он извозчику.

Извозчик кинулся на свои дрожки и, ударив по лошади, насмешливо сказал:

— Туда же, ругаться, горбунишко пучеглазый!

Стук отъезжавших дрожек привел Полиньку в отчаяние, она остановилась и, посмотрев с злобою на горбуна, полным слез голосом сказала:

— Чего вы от меня хотите? Я вас ни видеть, ни слушать не хочу!

И она хотела перебежать дорогу, но столкнулась лицом к лицу с молодым белокурым мужчиной. Вскрикнув и с испугом взглянув на него, Полинька пустилась через грязную улицу, проворно перепрыгивая с камня на камень.

Горбун кинулся за нею; но молодой человек, протянув свою щегольскую палку, загородил ему дорогу и жадно любовался грациозными ножками Полиньки: перепуганная, забыв всё, она высоко приподняла платье.

— Куда ты? куда на старости лет? — насмешливо спросил молодой человек горбуна.

В его взгляде и движениях было что-то презрительное. Лицо его было нежно, волосы густые, золотистые, костюм щеголеват и изыскан до щепетильности.

Горбун с сердцем оттолкнул палку и пустился в погоню за Полинькой; молодой человек засмеялся, провожая его глазами. Завидев горбуна, Полинька перебежала на прежнюю сторону улицы и быстро прошла мимо молодого человека, не заметив его. Но он не спускал глаз с раскрасневшегося личика девушки, пока оно было видно.

Горбун тоже перебежал улицу.

— Стой! — повелительно крикнул ему молодой человек.— Изволь-ка сказать, за кем это ты бегаешь? а?

И он засмеялся. Горбун не отвечал, продолжая смотреть на бежавшую Полиньку.

— Да что это? что с тобой?

Горбун быстро повернул голову к лицу молодого человека и смотрел вопросительно, с неудовольствием, которого не мог скрыть.

— Кто она такая?

— Разве она вам понравилась?

— Ну а тебе нужно знать? — с презрением спросил белокурый молодой человек.

— Да, я знаком с нею.
— То есть как знаком? — двусмысленно спросил молодой человек.
Горбун стиснул зубы и с запальчивостью отвечал:
— Ну, как бы вы были знакомы с своей невестой!
— Что такое? с невестой? ха-ха-ха! так ты жених?.. ха-ха-ха!.. Ну-ка скажи мне, где живет твоя невеста?
Горбун побледнел.
— Вам на что? — спросил он.
— Я хочу ее видеть, то есть твою невесту... ха-ха-ха!
— Ее трудно видеть! — глухим голосом сказал горбун.
— Что за вздор? ты, кажется, гордишься своей будущей женой.
Горбун весело улыбнулся.
— Вот, небось,— заметил молодой человек,— про эту мне ничего не говорил, а она получше всех твоих рекомендованных!
— Незачем было говорить: я знал, что она не чета другим...
Молодой человек презрительно засмеялся:
— Ты уж слишком много ей приписываешь! не потому ли, что она твоя невеста?
— Смейтесь сколько угодно; но вы знали только женщин слабых, которые любят деньги. Есть еще другие, которые умрут с голоду, а не продадут себя: так, видите ли, я потому вам ничего и не говорил о ней.
— Ну хорошо,— перебил молодой человек,— положим, есть такие женщины, положим! но, видно, они существуют только для горбатых женихов. Вот, я думаю, тебя надует!
И он засмеялся. Горбун задрожал.
— Да она еще не моя невеста! — сказал он задыхающимся голосом.
— Ну, мне всё равно! А вот, знаешь ли, что я тебе скажу? ты лучше достань мне денег.
— Хорошо, только проценты те же.
— Помилуй, брат, это чистое воровство, грабительство! — запальчиво возразил молодой человек.
— Как угодно! — равнодушно отвечал горбун.
— Ну, так и быть, обработывай!
И молодой человек пошел прочь, но тотчас же обернулся к горбуну и крикнул:
— Ты мне адрес ее принеси!

— Я уж вам сказал,— с бешенством отвечал горбун,— что она не такая...

— Как ты глуп сегодня с своей недоступной красавицей!

Они разошлись.

Прибежав домой, Полинька собрала письма горбуна, зажгла свечу и начала их жечь. Пламя быстро охватило тонкие листки; Полинька с отвращением кинула их и, сердито затоптав черный пепел, по которому бегали огненные искры, гордо подняла голову, как будто победив своего врага.

С того дня она не решалась выходить со двора одна. Время шло, а новых писем от горбуна не было, и Полинька уже начинала думать, что он забыл о ней, как вдруг опять принесли письмо. Обманутая адресом, надписанным незнакомой рукой, она распечатала и прочла его. Оно состояло из нескольких строк:

> «Близкие вам люди находятся в очень затруднительном положении. Вы, верно, догадываетесь кто? Срок по заемному письму в очень значительную сумму окончился. Если вы принимаете участие в них, то доставьте мне случай вас видеть. При свидании вы узнаете всё в подробности. Ваш и пр.
>
> Борис Добротин».

Полинька испугалась и хотела тотчас бежать к Надежде Сергеевне, но страх встретиться с горбуном остановил ее; она решилась подождать башмачника, которого не было дома, и просить его проводить ее. Зная хорошо жизнь Кирпичова, его беспечность, расточительность, она не могла не поверить письму горбуна, и беспокойство ее с каждой минутой возрастало. Она уже решилась было писать к горбуну, чтоб он пришел к ней, но одумалась. Дождь, шедший весь день, к вечеру полил сильней. Полинька прислушивалась к его однообразному шуму, к унылому вою ветра, и волнение ее усилилось. А башмачника всё нет! Она не знала, что делать.

Вошла хозяйка и подала записку: Надежда Сергеевна просила Полиньку приехать тотчас же к ней. Это окончательно убедило ее, что горбун прав.

— Возьмите мне извозчика,— сказала Полинька хозяйке, спеша одеться.

— На что вам извозчика? ведь карета за вами прислана.

— Неужели? — радостно вскрикнула Полинька, но тотчас же прибавила печально: — Боже мой! не случилось ли чего?

— Ишь, дождь как льет, точно из ведра! — заметила хозяйка, протирая запотевшее стекло.

— Потрудитесь запереть мою комнату, а ключ положите на вторую ступеньку; я, может, поздно приеду,— торопливо сказала Полинька и вышла.

Проводив ее глазами, хозяйка начала всё обнюхивать и рассматривать.

— Поздно приду! — ворчала она.— Добрые люди уж спать теперь ложатся, а она в гости едет.

Полинька вышла за калитку. На улице было темно и сыро.

— Сюда, барыня, сюда! — крикнул извозчик, открывая дверцы кареты.

— Кто тебя прислал?

— Кто? — запинаясь, повторил извозчик.— Да кирпичовский артельщик нанимал.

— А! ну так скорее, скорее!

И Полинька кинулась в карету, горя нетерпением видеть Надежду Сергеевну.

Извозчик лениво захлопнул дверцы; четвероместная карета медленно двинулась. Сырой и душный воздух, скопившийся в ней, неприятно подействовал на Полиньку. Унылый вой ветра теперь еще яснее слышался ей, а дождь громко барабанил в крышу кареты и неистово стучал в стекла, будто негодуя, зачем их не отворят. Мысли Полиньки были печальны: положение Кирпичовой представлялось ей в мрачных красках. Она жалась в угол кареты и плотнее куталась в свой бурнус.

Вдруг в карете послышался легкий шорох.

Сильный страх охватил Полиньку. Она прислушивалась, с усилием всматривалась,— наконец стала храбриться, старалась отвлечь свое внимание, даже начала тихонько петь; но карету сильно тряхнуло, и что-то живое зашевелилось в ней.

Полинька с ужасом кинулась к окну, отворила его и закричала извозчику:

— Стой!

Но слабый голос ее был заглушен воем ветра и стуком колес. Дождь хлестал ей в лицо, ветер срывал с нее

шляпку... Полинька отшатнулась в глубину кареты, и снова тот же шорох явственнее прежнего послышался ей.

Ни жива ни мертва, села она на свое место, и кровь хлынула ей в голову, сердце замерло: против нее в темноте сверкали два глаза, неподвижно устремленные на нее.

В одну минуту в уме испуганной девушки мелькнула тысяча предположений. Не вор ли? но что за мысль забраться в карету? и что у нее взять? разве один бурнус?.. «Что же это такое?» — в ужасе спрашивала себя Полинька, не сводя глаз с угла кареты, где продолжали сверкать неподвижно устремленные на нее глаза.

Или это призрак, порожденный ее расстроенным воображением?

Страх всё сильней овладевал ею, и наконец она бросилась к дверце кареты и торопилась открыть ее; но дрожащие руки плохо повиновались ей, силы изменяли...

Карета быстро катилась по мостовой с страшным стуком, блестящие глаза стали всё ближе и ближе подвигаться к Полиньке.

— Кто тут? кто тут? — закричала она диким голосом.

Ответа не было. Полинька кинулась к другой дверце и пыталась отворить ее. Всё было напрасно: ручка вертелась, а дверца не уступала, как будто была заколочена.

— Боже мой! боже мой! — в отчаянии повторяла Полинька и, закрыв лицо руками, заплакала. Глухие рыдания раздавались в карете.

И вдруг тихий, дрожащий голос спросил:

— О чем вы плачете?

— Борис Антоныч! — вскрикнула Полинька.

Она не ошиблась: то был действительно горбун.

— О чем вы так горько плачете? — более твердым голосом повторил он.

— Зачем вы здесь? — в ужасе спросила Полинька.

— Мне нужно вас видеть! Отчего вы мне не отвечали на мою сегодняшнюю записку? — строго спросил горбун, приближаясь к Полиньке.

— Выпустите меня, ради бога, выпустите! — отчаянно кричала она, метаясь в карете.

— Одно слово! — умоляющим голосом сказал горбун.

— Я не хочу вас слушать, выпустите меня! — продолжала кричать Полинька, зажимая себе уши.

— Палагея Ивановна, неужели...

Горбун не успел договорить своей мысли, как Полинька кинулась к окну и, высунувшись из него, кричала:

— Стой! спасите, спасите!

— Палагея Ивановна! что вы делаете? успокойтесь!

И горбун с силою оттащил ее от окна, потом пошарил в углу кареты, и в ту же минуту карета остановилась.

Горбун отворил дверцы и, отбросив подножку, сошел вниз, но на последней ступеньке остановился и, повернувшись к Полиньке, сказал:

— Я вижу, что вы решились меня убить своим безрассудным поведением. Вы мне не даете слова сказать вам в мое оправдание. Но вы теперь ошиблись. Я употребил средство даже неприличное в мои лета: я спрятался в карете... не затем, чтоб оправдываться... я хотел с вами говорить о деле очень важном, где наши отношения были бы совершенно в стороне. И вы жестоко меня обидели... Вы меня выгнали, Палагея Ивановна! смотрите, не раскайтесь!

Горбун спрыгнул и стал проворно захлопывать ступеньки.

Полинька испугалась. Голос горбуна звучал такой искренностью... и он сам так покорен... между тем что же будет с Надеждой Сергеевной?

И бедная девушка машинально произнесла:

— Борис Антоныч!

Как ни был слаб ее голос, горбун расслышал его; в одну секунду он очутился опять в карете против Полиньки и спросил ее:

— Что вам угодно?

Но быстрота, с какою вскочил он в карету, поразила Полиньку, и в новом испуге она отвечала:

— Я вас не звала!

Горбун заскрежетал зубами и, быстро выпрыгнув из кареты, угрожающим голосом сказал:

— Прощайте... может быть, навсегда!

Потом он засмеялся по-своему — тихим ироническим смехом, с силой захлопнул дверцу кареты и дико закричал кучеру:

— Эй, вези, куда приказано!

Горбун не выходил у Полиньки из головы. Его большие сверкающие глаза, голос, которым он прощался с ней, быстрота движений, странная в такие лета,— всё так поразило ее, что она не могла ни о чем больше думать...

Уже не один, а тысячи горбунов сидели в карете; их глаза были устремлены на нее, и скрежет зубов заполнял карету. Полинька чувствовала, что в голове у ней всё вертится; горбуны тоже завертелись... Полинька закрыла глаза и прислонила голову к углу кареты. Она не помнила, долго ли оставалась в таком положении... ветер вдруг пахнул ей в лицо, и знакомый голос произнес так проворно, как только могут говорить одни сидельцы Щукина двора, зазывая прохожих в лавки:

— Пожалуйте-с!

Узнав кирпичовского артельщика, обрадованная Полинька чуть не кинулась ему на шею.

— Здесь? — торопливо спросила она.

— Здесь, пожалуйте-с! — отвечал артельщик и, пропустив Полиньку в калитку, закричал извозчику: — Пошел!

Калитка с шумом захлопнулась. На дворе была страшная тьма. Нигде ни признаков огня. Дождь лил как из ведра.

— Куда же мы приехали? — спросила Полинька, осторожно ступая по какой-то скользившей доске за своим вожатым.

— Пожалуйте-с! — отвечал опять артельщик и стал подниматься на какое-то крыльцо.

Они вышли в сени, потом, отворив какую-то дверь, снова поднялись по лестнице и наконец очутились в длинном и темном коридоре. Шаги их печально раздавались в тишине. Сырой, удушливый воздух, паутина, которую Полинька чувствовала на своем лице,— всё показывало, что люди были здесь редкие гости. Полиньке опять стало страшно, и, схватив артельщика за руку, она робко спросила:

— Да куда же мы идем?

— Пожалуйте-с! — отвечал артельщик и отворил дверь.

Полинька нерешительно переступила порог, и дверь тотчас захлопнулась.

Комната, куда вошла Полинька, была совершенно темна.

— Где же Надежда Сергеевна? — спросила Полинька и обернулась.

Но артельщика уже не было.

Вдруг комната осветилась, и ужас, ни с чем не сравнимый, охватил душу несчастной девушки: в противоположной двери показалась горбатая фигура со свечой в руке.

Полинька хотела вскрикнуть, но голосу недостало, и она стояла недвижно, не сводя своих черных прекрасных глаз, обезумленных ужасом, с горбуна...

Точно, фигура его могла испугать в ту минуту. Он был бледен, по губам его пробегала судорожная улыбка, тогда как глаза сохраняли выражение неумолимой жестокости; грудь его высоко поднималась, и рука, державшая подсвечник, дрожала. Медленно и плавно стал он подвигаться вперед, поводя свечой и глазами вокруг комнаты. Увидев помертвелое лицо Полиньки, он приостановился и поставил свечу... Через минуту, заложив руки за спину и язвительно улыбаясь, начал он приближаться к Полиньке мерным и тихим шагом, как будто боялся ее испугать.

Но сильней уже не было возможности испугать несчастную Полиньку... С отвращением отшатнувшись при его приближении, она слабо вскрикнула и упала... в объятия горбуна.

Башмачник был покоен всю ночь: ему сказали, что Полинька поехала к Надежде Сергеевне. Утром рано он сидел за работой и прилежно обшивал ленточками башмаки. Вдруг к нему вбежала встревоженная Надежда Сергеевна и отчаянным голосом спросила:

— Где Поля?

Работа выпала из рук башмачника; он вскочил и дико смотрел на Надежду Сергеевну.

— Разве она не у вас? — спросил он.

— Ее не было вчера у меня; по просьбе мужа я писала к ней, чтоб она приехала. Ждала, ждала: нет ее!

И она заплакала.

Башмачник схватил себя за голову:

— Где же она? Боже мой, что с ней? не он ли... злодей...

Башмачник поднял голову; лицо его налилось кровью, посинелые губы дрожали. Он кинулся к Надежде Сергеевне и, схватив ее руки, раздирающим голосом кричал:

— Где же, где же она? говорите скорей!

Сложив руки на груди, он смотрел на нее умоляющим взором и слабым голосом повторял:

— Где же она?

— Я боюсь...— начала Надежда Сергеевна; но слезы помешали ей продолжать.

В каком-то исступлении башмачник бегал по комнате. Он рвал на себе волосы, бил себя в грудь, страшно сто-

нал, будто ему вывертывали члены... Надежда Сергеевна забыла собственное горе и стала его успокаивать.

— Я сейчас пойду к *нему,*— кричал башмачник,— я заставлю его!

— Боже мой! если что случилось, о, она не переживет! — в испуге сказала Кирпичова.

— Замолчите, замолчите! — закричал башмачник, зажимая себе уши.

— Сходите попросите кого-нибудь, чтоб защитили сироту!

— А! — радостно закричал башмачник.— Я знаю, кто может ее защитить!

Он ударил себя в лоб и бросился в другую комнату. Там он быстро стал одеваться, всё надевал навыворот, ничего не мог отыскать, держал шляпу в руках, а сам искал ее всюду.

— Бегите скорее! что с ней?.. Бедная, бедная Поля!

Башмачник выбежал из комнаты. Надежда Сергеевна хотела было идти за ним, но не могла его догнать. Она вернулась в его комнату и залилась слезами, повторяя отчаянным голосом:

— Бедная, бедная Поля!..

Глава VIII

ВЫСТРЕЛ

Много городов, деревень, мостов, барских домов, бесконечных равнин и лесов проехал Каютин. Много раз спускался он в овраги и поднимался на гору, перекладывал свои пожитки, засыпал и просыпался, то вспрыснутый дождем, то окруженный облаком пыли.

С лишком пятьсот пестрых верстовых столбов мелькнуло перед его глазами. Сначала всё занимало и развлекало его... Лес, бесконечно тянувшийся вдоль дороги, манил его в свою прохладную тень, и, уступая очарованию, он иногда останавливал ямщика и бежал туда... Сырым холодом обдавало его; в таинственном полумраке, в глухом непрерывном ропоте деревьев чудилось ему что-то угрожающее; тысячи лесных криков разом оглушали его — он вздрагивал, ему становилось и грустно и страшно. И бесконечная нива с волнующимися колосьями, и другая нива, черная, рыхлая, с рассеянными по ней поселянами,

и барский дом, мелькнувший на пригорке, среди подстриженной зелени, заборов и служб, и баба с вальком, странно согнувшаяся в глубине оврага на лаве, и помещик, проскакавший на лихой тройке с колокольчиком и бубенчиками, и заседатель, едущий на обывательской паре... словом, всё встречное живо интересовало молодого человека и пробуждало в нем бесконечные думы...

Он читывал рассказы о Южной Франции, о Рейне, где, по выражению туристов, каждый клочок земли, каждая развалина нашептывают путнику «повесть седой старины». И, не встречая древних развалин, Каютин вопрошал мелькавшие перед ним леса, нивы и прочее.

И леса, нивы, хоромы и деревеньки не оставались безответными на его вопросы.

Когда он входил в лес и останавливался, объятый таинственным трепетом, вдруг невдалеке раздавался резкий звук охотничьего рога, слышались дикие крики и лай собак. Крики становились всё ближе и разнообразнее, хор собак всё дружнее и музыкальнее; но Каютин быстро удалялся к своей повозке и приказывал ехать скорее, вероятно опечаленный воспоминанием, что отец его, дед, прадед и все предки были великие псовые охотники. Таким образом, в диких звуках, ответивших на его сокровенные думы, может быть, слышался ему рог прапрадеда, положившего основание нищете своего потомка.

Когда случалось ему засматриваться своим вопрошающим взором на чернеющую ниву и мирного селянина, бредущего в своей сельской одежде за бороной, мужик вдруг затягивал унылую песню; босой мальчик лет шести, которого ветер сбивал с ног, шел к нему с обедом. Мирный селянин садился на свою борону, ел хлеб с луком, пил квас из деревянного жбана, нагнувши его к своему лицу, и потом снова шел за своей бороной и затягивал свою песню. Каютину становилось тяжело,— вероятно, от песни: наши народные песни так унылы.

Но нет надобности пересказывать, какие думы и легенды нашептывали Каютину чернеющие нивы, серые деревеньки, бесконечные леса и барские хоромы с огромным садом, домашним театром и затеями деревенской роскоши.

Неудивительно, что Каютина занимала дорога. Он не видал деревни и поля с десятилетнего возраста, если исключить дачи, куда иногда отправлялся он к знакомым напиться чаю и сыграть в преферанс.

Один сын у отца, Каютин рос свободно и весело на вольном деревенском воздухе. Но отец его промотался: на последние деньги отправил он сына в Петербург, к старому сослуживцу, с просьбою определить мальчика в Дворянский полк. С тех пор Каютин не видал своего отца и своей родины. Старик скоро умер. Его деревню, проданную с публичного торга, купил родственник покойного, приходившийся нашему герою дядей по матери. К нему-то теперь ехал Каютин.

Поступить в Дворянский полк возможности не представилось, за что Каютин, не чувствовавший призвания к военной службе, впоследствии горячо возблагодарил судьбу. Его отдали в гимназию. За него платил дядя. Каютин никогда не отличался особенным прилежанием, но, начав понимать свое положение, учился настолько хорошо, что выдержал экзамен в университет.

Около того времени дядя, человек причудливый, решительно отказался давать ему содержание.

Каютин стал жить уроками, причем имел удовольствие убедиться собственным опытом, как труден и подчас горек хлеб, добываемый продажею своего времени в том периоде жизни, который нужен человеку на собственное образование.

Кончив курс, он попробовал служить; но служба требует труда упорного и непрерывного,— а Каютину хотелось жить. Он не всегда являлся аккуратно к своей должности и подвергался выговорам. Тут примешались дела, которые называют сердечными,— Каютин сошелся с Полинькой и горячо полюбил ее: аккуратно ходить на службу не оказалось уже никакой возможности. Каютин вышел в отставку и возвратился к урокам, проводя всё остальное время у своей невесты.

Школа бедности, которую все безусловно называют очень хорошею, но куда никто не отдаст детей своих добровольно, в одном случае принесла Каютину действительную пользу: он вынес из нее глубокое убеждение, что бедному человеку жениться сущая гибель.

Полинька, выученная в той же школе практическому взгляду на жизнь, была того же мнения.

Вот почему они не сделали той глупости, которую многие делают в их лета и за которую потом дорого платятся.

За всем тем оба они были совершенные дети: доверчивы, склонны к увлечению и неопытны. Будь Каютин поопытнее, встреться случайно с человеком, способным по-

колебать его безотчетную веру, он не отважился бы на свое трудное странствование.

Но судьба распорядилась иначе. Она не столкнула его с таким человеком в решительную минуту,— и вот Каютин несется навстречу неизвестному будущему.

Но мысль о покинутой невесте не оставляет его ни на минуту. Он беспрестанно оглядывается: не видит, разумеется, ничего, кроме пыльной дороги, прихотливо вьющейся по крутизнам и оврагам, и только чувствует с нестерпимой болью в сердце, что всё растет и растет пространство между ним и его Полинькой... Где конец его долгому странствованию? и какой конец? что будет с ним и что с Полинькой? Так ли она тверда, как говорила, и ей ли, слабому, беззащитному и почти бесприютному ребенку, вынести все невзгоды, которые, может быть, ее ожидают? Не умрет ли она при первом несчастии, которого некому будет от нее отвратить, при первой болезни, в которой некому будет позаботиться о ней?.. Не оскорбят ли, не опутают ли ее злые и развратные люди, и не падет ли она, когда болезнь или другое несчастие доведет ее до нищеты? она молода и беззащитна...

Не пожертвовать ли долгим, спокойным, но далеким и, может быть, несбыточным счастьем короткому, но верному счастью? не воротиться ли? Полинька, верно, будет рада...

И Каютин почти готов был воротиться... Но другие мысли толпой теснились в его голову... Сырая, холодная комната; плач больного ребенка; бледная, печальная женщина, некогда прекрасная, теперь изнуренная трудом и заботой... Она сама приносит связку щеп, чтоб нагреть сырой подвал... Она проводит бессонные ночи за работой. Она молчит, она весело ему улыбается... притворяется счастливой... но ее розовые щеки блекнут, в ее улыбке проглядывают слезы... И это его Полинька!.. Она сама носит дрова, она поминутно выбегает в сени; но частая перемена воздуха только усиливает ее гибельный кашель, который она напрасно старается скрыть... грудь ее расстроена... Она должна умереть. И сам он? где прежняя веселость? Упорная борьба с нуждой сделала его угрюмым, ожесточила его... С досадой и злобой смотрит он на страдания близких сердцу, которым не может помочь... Упреки, сожаления и проклятия вертятся у него на языке... Полинька умирает в чахотке...

— Ступай скорее: получишь на водку! — кричит Каютин ямщику взволнованным голосом.

Он помнит своих женатых приятелей, которые были здоровы и веселы — и стали унылы и бледны; были благородны и добры — и стали малодушны и раздражительны; говорили о снисхождении и прощении — и стали тиранами своих бедных жен, которые в свою очередь их тиранили... «А ведь у многих из них,— думал Каютин,— характера было не меньше моего, и любили они своих невест до безумия... нужда! нужда!»

Не воротился Каютин, но подавался всё вперед с заметной быстротой, благодаря легкости своей поклажи, хорошей дороге и русским ямщикам, которые сами не любят ездить тихо. Он платил за пару, но ему везде запрягали тройку.

Тройка его спустилась в овраг, проехала с грохотом по живому мосту, в котором ходило и дребезжало каждое бревно, взъехала на пригорок и бойко подкатилась к станционному дому.

— Лошадок, да поскорее! — сказал Каютин, выскочив из телеги, весь запыленный, и слегка кивнул головой смотрителю, поражавшему каким-то странным, напряженно-грозным выражением лица, изрытого рябинами, в глубине которых виднелись черные точки, так что физиономия смотрителя имела такой вид, как будто была посыпана перцем.

Смотритель курил и, сильно надув щеки, пускал дым с непринужденностью пароходной трубы, исправно делающей свое дело. На его коротеньком, очень тоненьком чубучке, как яйцо на булавке, торчала огромная труба с медной крышкой, которою можно было убить человека. Всё вокруг него имело размеры обширные и смотрело грозно.

При появлении Каютина он выдернул изо рта чубучок с таким резким движением, как будто вытаскивал гвоздь, глубоко вколоченный в стену, медленно осмотрел проезжающего и с видом человека, идущего брать приступом крепость, отвечал:

— Нету лошадок, ваше благородие! все в разгоне.

И он поспешно отступил от Каютина и поднес чубук к губам, как будто защищая огромной трубкой свое лицо.

— Нету лошадок? — возразил Каютин своим обыкновенным полушутливым, полусердитым тоном и сделал шаг к смотрителю.

Смотритель опять попятился от него и поднял повыше трубку.

— Что вы, почтеннейший, шутить, что ли, со мной хотите?

— Извините,— заговорил смотритель робким голосом, но сохраняя в лице всё то же напряженно-грозное выражение,— я не понимаю, за что вы изволили рассердиться. Может быть, я не так вас титуловал? Извините! не в моих правилах обижать проезжающих. Если едет граф, говорю: ваше сиятельство; едет генерал, говорю: ваше превосходительство. Но я не имею чести знать... вашей подорожной... Я, кажется, ничего такого не сказал... а если сказал, простите великодушно... Я горд, я горяч, но я...

Каютин усмехнулся.

— Да неужели у вас в самом деле нет лошадей? — спросил он самым кротким голосом и попятился, а руки спрятал за спину.

Тогда смотритель храбро сделал шаг вперед...

Лошадей точно не было, о чем всего лучше свидетельствовали дормез и бричка чудовищной формы, стоявшие перед станционным двором.

Нечего было делать! Каютин отправился дожидаться в станционную комнату.

Здесь прежде всего кинулось ему в глаза чрезвычайное обилие разных птиц: дупелей, бекасов, куличков, скворцов, пеночек, куропаток, коростелей, снегирей, жаворонков, курочек, перепелок. Все они, без сомнения, прежде оглашали окрестные леса и болота своими песнями и криками; но жестокосердый смотритель содрал с них кожу вместе с перьями, высушил их, наклеил на лоскутки и развесил в рамках для украшения своей комнаты и услаждения господ проезжающих. В этой догадке убеждало Каютина и несколько ружей, грозно смотрящих со стен и из углов комнаты. Еще яснее свидетельствовала о свирепых наклонностях смотрителя старая медвежья шкура, валявшаяся на полу. Обилие птиц отняло законное место даже у портрета генерала Блюхера и других художественных произведений, обыкновенно украшающих смотрительские комнаты. Только одна картина была здесь, изображавшая высокую растрепанную женщину, едва державшуюся на ногах, и низенького человека, охватившего ее талию; подпись: «Наполеон, восстановляющий Францию». Место бюстов заменяли чучела огромных глухарей с красными глазами, расставленные по углам

и повешенные на полке под потолком, по протяжению одной стены. Невольный страх охватил Каютина, когда он поднял голову вверх: глухари, казалось, готовы были всей стаей кинуться на него и заклевать его своими черными клювами.

Кроме множества птиц, никаких особенных украшений в комнате не было. Ее мебель составляли: старый кожаный диван, несколько таких же стульев, два стола и длинное зеркало, склеенное из нескольких кусков, так что одна половина лица казалась в нем смуглою и кривилась вправо, а другая белою и кривилась влево. На середине потолка висело чучело огромного орла с разверстым клювом. Орел этот блистательно довершал ужас, наводимый комнатой.

За столом сидело три проезжих господина, из которых один сразу поразил Каютина необыкновенной тучностью. В ожидании лошадей они играли в карты, покуривали и пили пунш, принадлежности которого находились на другом столе. Мухи черными тучами слетались к сахару и производили в комнате непрерывное жужжанье, болезненно действовавшее на нервы.

При появлении Каютина все три проезжие господина покинули карты и начали с чрезвычайным любопытством осматривать его. Каютин в благодарность за такое внимание кивнул им слегка головой.

— Нашего полка прибыло! — сказал с любезностью тучный проезжий, с красного лица которого лил пот ручьями.

Его черная с брандебурами венгерка и жилет были расстегнуты; складка рубашки приподнялась, так что сбоку можно было любоваться его широкой грудью, густо обросшею черными волосами. Он курил из длинного чубука с огромным янтарем; на чубуке висел потертый бархатный кисет, вышитый на манер стерляжьей чешуи.

— Смею спросить,— продолжал тучный господин,— вы тоже проезжий?

— Так точно.

— А откуда изволите ехать?

— Из Петербурга.

— Куда?

— В К***скую губернию.

— В собственное поместье?

— Нет, к родственнику.

— А ваши родители живы?

— Нет, умерли.
— Батюшка ваш был помещик?
— Помещик.
— Тоже к***ский?
— Так точно.
— Значит, вы там и родились?
— Нет, родился я в Выборге, когда еще отец мой служил.
— А стало быть, вы, так сказать, урожденец морских волн?
— Справедливо.

Тучный господин пустил густую струю дыму.

— Не прикажете ли пуншику? — спросил Каютина другой проезжий, занимавшийся приготовлением себе нового стакана.

— Сделайте одолжение,— подхватил тучный господин.— Без церемонии, по-дорожному!

— Вы чувствительно нас всех обяжете,— прибавил нежным голосом третий проезжий.

Каютин не отказался.

— Извините за нескромный вопрос,— продолжал расспрашивать тучный господин,— как ваша фамилия?
— Так-то.
— А чин?
— Такой-то.
— Где изволите служить?
— Я теперь не служу.
— Так служили... где, смею спросить?
— Там-то.
— Женаты?
— Нет.

Допросив Каютина по пунктам, тучный господин затянулся и обратился к картам.

Нервы Каютина нисколько не были раздражительны: он удовлетворил терпеливо и даже с любезной готовностью любопытству тучного господина и стал в свою очередь допрашивать его.

— А вы из каких мест?
— Ярославский.
— Помещик?
— Помещик.
— Смею спросить фамилию?
— Турманалеев, Александр Аполлоныч.
— А чин?

— Поручик, вышел в отставку в 182* году...
— Большое имение у вас в Ярославской губернии?
— Да будет душ тысячи три... да еще в Костромской и в Симбирской.
— А всего?
— Да до пяти тысяч душ наберется.
— Женаты-с?
— Женат.
— Есть дети?
— Есть.

Короче: Каютин продолжал расспрашивать тучного господина, пока находил в своей голове вопросы. И тучный господин с той же обязательной любезностью удовлетворял его любопытству. Каютин хотел уже перейти с расспросами к другим двум проезжающим, но господин Турманалеев предупредил его.

— А вот они,— прибавил он, окончив собственную биографию и указывая на молчаливых своих товарищей,— мышкинские обыватели: Андрей Степаныч Андрюшкевич и Владимир Владимирович Виссандрович,— едут по собственной надобности...— и пересказал, куда они едут, зачем, где служили, по скольку у них душ и прочее, из чего Каютин заключил, что мышкинские обыватели, подобно ему, были уже в свою очередь допрошены.

Каютин знал, что у нас без того не встретятся два незнакомца, чтобы не расспросить друг друга: как зовут, какой чин и прочее, и ему приятно было встретить новое подтверждение своей мысли.

Расспрашивая, он попивал пунш и следил за игрой. Мышкинские обыватели были молчаливы и мрачны: игра поглощала всё их внимание. Напротив, господин Турманалеев, болтая и покуривая, не обращал ни малейшего внимания на игру; ясно было, что ему всё равно: проиграть или выиграть, лишь бы убить несколько часов скучного ожидания; но ему везло. Он беспрестанно выигрывал, погружая свои выигрыши, довольно тощие, в огромный бумажник, лежавший перед ним на столе.

«Сколько денег, сколько денег! — думал Каютин, не без жадности рассматривая раскрытый бумажник тучного господина, где целыми кипами лежали сотенные и двухсотенные бумажки, ломбардные билеты и серии.— Тут по крайней мере тысяч пятьдесят будет... пятьдесят тысяч! И ведь вот не повези ему — он спустит их в десять минут и через час забудет о своем проигрыше... А ты хло-

почи, трудись, ночи не спи, страдай, рискуй своим счастьем, чтоб достать пятьдесят тысяч... да еще, бог знает, достанешь ли! бог знает, чем всё кончится! может быть, после долгих трудов и страданий я должен буду воротиться ни с чем; может быть, Полинька...»

Мрачные мысли пришли ему на ум. Сердце его сжалось. Он залпом допил свой стакан.

Никогда он так не боялся за свое счастье, никогда не казалось оно ему так неверным, никогда так сильно не хотелось ему видеть свою Полиньку, веселую, счастливую, неизменно ему верную, как теперь!

«Вот бы удивилась, вот бы обрадовалась Полинька,— подумал он, жадно следя за изменчивым ходом игры,— если б я вдруг выиграл пятьдесят тысяч и теперь же воротился к ней... хоть не пятьдесят, а так, тысяч двадцать... она и тому была бы рада... вот бы чудесно!»

Мысль была так обольстительна и заманчива, что Каютину ничто, кроме ее, не шло в голову. И под влиянием ее он спросил:

— Можно, господа, присоединиться к вам?

— Сделайте одолжение,— отвечали в один голос играющие.

Каютин стал играть, и едва ли сам он помнит и знает, каким образом случилось, что в полчаса он проиграл все свои триста рублей!

Господин Турманалеев с своей обыкновенной беспечностью уложил их в свой огромный бумажник, и бумажник даже нисколько не сделался толще: они утонули в нем, как капля в море.

Господа проезжие продолжали играть; они спорили, острили и пили; опорожненный самовар сменился новым; явился еще проезжий, снова начались и кончились взаимные допросы.

Наконец смотритель доложил, что лошади готовы; проезжие оделись, закурили свои трубки и уехали. Каютин ничего не замечал, ничего не слыхал. Он сидел повеся голову; его лицо то вспыхивало, то покрывалось смертельной бледностью; он иногда с отчаянием хватал себя за голову, даже не раз взглядывал с каким-то бешеным упоением на ружье, стоявшее в углу; дрожь пробегала по его телу...

В комнате становилось уже темно. Дверь скрипнула: вошел смотритель.

— Вот и вам лошадки готовы! — сказал он с свободою человека, пришедшего сообщить приятную весть.

Каютин не отвечал, даже не пошевелился.

Думая, что он спит, смотритель подошел к нему и над самым его ухом гаркнул:

— Лошадки вам готовы!

Каютин вздрогнул, вскочил с своего места и дико осмотрелся кругом.

Смотритель юркнул к двери.

— Лошади готовы? — сказал Каютин, начав приходить в себя и стараясь сохранить обыкновенное полушутливое выражение в голосе, который на ту пору плохо повиновался ему.— Ну так что же! лошади готовы, так теперь я не готов.

И он сел на прежнее место и снова погрузился в свои думы.

— Что ж прикажете делать?

— Что делать? — отвечал Каютин.— Что я делал до сей поры? ждал. Ну так и вы подождите.

— Так лошадей прикажете отпрячь?

— А по мне, хоть и не отпрягайте!

Пожав плечами, смотритель ушел к воротам, где толпилось несколько ямщиков, которые толковали, хохотали и боролись. Он сел на лавочку по другую сторону ворот и стал курить медленно и глубокомысленно, держа чубук наискось с одной стороны рта и по временам сплевывая на сторону, что значило курить по-немецки. Скоро к нему подсел старичишка гнусного вида, некогда служивший писарем в земском суде, но выгнанный за лихоимство. Теперь он вел бродячую жизнь, подбивал мужиков к тяжбам и сочинял им прошения (между мужиками также есть охотники тягаться; они зовутся в наших деревнях «мироедами»). Писарь имел все неблагопристойные качества старинного подьячего: неприличную наружность, разодранные локти и небритую бороду. Красный нос его был странно устроен: казалось, что его вечно тянуло кверху, отчего физиономия подьячего имела такое выражение, как будто он только что чего-нибудь дурного понюхал. Смотритель казался перед ним аристократом.

— Капитону Александрычу наше наиглубочайшее! — с низким поклоном возгласил писарь, обнажая свою лысую голову, на которой местами торчали клочки рыжих волос.— Миллион триста тысяч поклонов.

— И вам также...

— Как живете-можете?

— Ничего. А вы?

— Вашими молитвами. Ни шатко ни валко ни на сторону.— Тут писарь остановился, с шипеньем потянул в себя воздуху и прибавил: — Одна беда одолевает.

— Ну, вам еще грех жаловаться на старость. Вот иное дело я...

— Не говорите, Капитон Александрыч! я уж давненько грешным моим телом землю обременяю... Вас не пришибешь, так не переживешь! И сие достойно примечания, что жизнь ваша в миллион триста тысяч раз спокойнее нашей почесться может.

— Что вы? что вы? — отвечал смотритель.— Да от одних проезжающих... А притом строгости какие пошли.

— А что, ваш крутенек?

— Да наезжает иногда: жалобную книгу посмотрит, распечет и уедет...

Писарь опять прошипел, как старинные часы, которые сбираются бить, и сказал:

— Вот то-то! всё нынче не по-людски пошло! Вот и наш был преизрядно строг, зато молодец! с ним не попадешь в беду... Помню, ревизор к нам прибыл... У нашего нельзя сказать, чтоб дела неукоснительно чисты были. Толку в миллион триста тысяч лет не доберешься... да молодец! прямо реченного грозного судию достолюбезным и доброгласным восклицанием встретил. «Ваше превосходительство! — говорит.— Прикажите меня судить: я злодей, я государственный преступник...» — «Что такое?» — вопрошает ревизор в превеликом удивлении. «Я,— ответствует наш, — обокрал жену, детей, растащил весь свой дом, чтобы вверенную мне часть в надлежащее устройство и благоденствие привести...» Каков?.. Ему не на таком месте и не в таком ранге, по талантам, следует находиться... Но в коловратный наш век таланты не оценяются...

Писарь вздохнул.

— Вот другое событие,— продолжал он, — таковую прискорбную мысль подтверждающее... Провожали мы раз знатное, превосходительное лицо... Мороз страшный... миллион триста тысяч градусов... так до костей и пробирает... Мы скачем. Тройка бедовая! Генерал за нами шестериком... Вдруг постигает нас великое бедствие: уж господь знает, по какому злополучному обстоятельству, только смотрит наш на коленку и зрит с превеликим ужасом: коленка у него разорвана! Каюсь, в первую минуту купно

упали мы духом, ничего рассудить, ниже предпринять не могли... дело казусное! приедем на станцию: нужно встретить генерала по форме, как великому сану его приличествует... На превеликое счастье, с нашим была другая пара. Как звери лютые, кинулись и распороли мы чемодан... достали другую пару... и наш на всем скаку переодел другие брюки!.. Каков?.. Где,— продолжал подьячий, с шипеньем втянув в себя весь воздух, какой около него находился,— где нынче столь преславное радение к службе приискаться может!.. Правда, и труда ему толикого стоило, что даже генерал заметил, как он ворочался, и по прибытии на почтовый двор спросил: «Что, не больны ли вы? с вами, кажется, судороги приключилися?» — «Ничего, ваше превосходительство,— ответствовал наш,— холодненько, так я ради моциону...» И после они еще весьма продолжительное рассуждение имели, на разных диалектах. Наш ведь ученый: миллион триста тысяч языков знает! Генерал по-французски, а он ему по-немецки; генерал по-латыне, а он ему по-гречески. Знай, мол, наших! постоим за себя... А как наш ушел распорядиться лошадьми, генерал низошел высокою милостию своею до меня, ласково со мной заговорил... и, видя в нем такое изобилие качеств, добродетельным душам свойственных, я толикую восчувствовал храбрость, что рассказал ему всю сущую правду, какое с нашим великое несчастие в дороге воспоследовало и как оного избегнули... В превеликом удовольствии генерал изволил даже расхохотаться, а потом строго присовокупил: «Напрасно он переодевался... мог простудиться... я таких жертв не требую...» Известно: столичный политикан!.. Порадев так начальнику и благодетелю своему, возымел я дерзостное помышление порадеть самому себе... Пав ниц, возгласил я с великим рыданием: «Наг и неимущ есмь... жена, детей... миллион триста тысяч... Простите, что осмеливаюсь прожужжать, как муха, в паутине опутанная, с нижеследующей просьбой: не соблаговолите ли, ваше превосходительство, в казенное заведение определить...»

— Что же он?

— Он,— отвечал писарь, потянув воздуху и прошипев,— сам поднял меня... «Как не стыдно вам,— говорит,— встаньте! А помочь я вам не могу. Казенные заведения не по моей части...» Но я снова пал ниц и паки слезно просил. Он всё отговаривался, а я ноги его лобызал, и тогда он изволил сказать: «Ну, встаньте, напишите цидулку о

своей просьбе и секретарю моему вручите... я посмотрю...» Возрадовался я и благодарил: «У меня был и не стало,— сказал я ему,— а ныне послал творец небесный отца и благодетеля, так смею сказать вам, ваше превосходительство, я чту и буду чтить по гроб жизни моей, передам моему поколению до ската в вечность нашего существования приносить мольбу о ниспослании вам благополучия...» Потом пастрочил я с превеликим тщанием требуемую цидулку, в коей помянул миллион триста тысяч раз «ваше превосходительство» и другие хвальные наименования... Но втуне трудилась голова и рука моя!..

Подьячий грустно повесил голову.

— Проводили мы,— продолжал он после долгого молчания,— до границы уезда и сдали именитую особу другому. Откушав, отправилась она далее, а мы остались, понеже силы наши зело изнурены были... Выпив преизрядно за здравие будущего милостивца моего, сел я с великим веселием на душе у почтового двора на скамейку, вот как примерно сижу теперь,— и вдруг вижу, гонит ко мне ветер из-за угла бумажку... Смотрю, кажись, бумажка знакомая. Как поднес ее ветер ближе ко мне, я так и ахнул!.. взял, посмотрел: точно, моя цидулка,— дрогнуло мое ретивое! На то ли я тщался украсить ее витиеватостию почерка и хитростию стиля, чтоб оную... бросили...

Писарь повесил голову и задумался. Потом он достал свою берестовую тавлинку и понюхал, отчего слезы показались у него на глазах, крякнул и предложил табачку смотрителю.

Смотритель понюхал и чихнул.

— Миллион триста тысяч на мелкие расходы! — сказал с поклоном писарь.

— Благодарствуйте.

В ту минуту на улице показался Каютин.

Ямщик, привезший его, подошел к нему и сказал:

— А что ж, барин, обещали на водочку?

Каютин молча дал ему двугривенный и подошел к верстовому столбу. На нем четко было написано: до Петербурга 584, до Казани 756. С минуту Каютин задумчиво смотрел на черные и крупные цифры, потом быстро повернулся, и глазам его представилась картина деревенского вечера, какой он давно не видывал.

Станционный дом стоял на горе. Прямо против него, в глубокой долине, виднелось небольшое озеро, местами

заросшее осокой, местами чистое, с трех сторон окруженное кустарником. За озером тянулся лес, возвышались холмы, между которыми лежали сизые полосы тумана, а низменная далекая долина казалась морем. Озеро, лес и зелень — всё было чудесно освещено заходящим солнцем. К озеру стадами слетались дикие утки, и шум их крыльев разливался серебряными, дрожащими звуками в чистом и тихом воздухе; ласточки щебетали и задевали воду крылом. В кустах кричали коростели; черной точкой поднимались высоко и мгновенно падали жаворонки с веселым пеньем... Картина становилась всё полнее и оживленнее; мимо прошла толпа баб и мужиков, возвращавшихся с работы с песней. С шумным и бойким говором появилось огромное стадо скворцов; они то садились, прыгая по плетню и спускаясь на траву, то перелетали косыми тучами, в которых играло солнце. Прошло и настоящее стадо с мычаньем и ржаньем. Пастух лихо хлопал длинным бичом, которого конец визжал и змеился. Красивые жеребята весело бежали за своими матками, ложились на траву и тихонько ржали; им вторили громким ржаньем две-три красивые лошади, летевшие среди стада во весь опор, с поднятыми головами; неуклюжие дворняжки пускались за ними вдогонку, забегали вперед и задорно лаяли. Отставшая корова долго бродила одна, останавливалась с изумленными глазами и, не переводя духу, мычала-мычала. Вдруг всё на минуту стихло, и Каютин услышал песню, долетавшую с озера, куда ямщик погнал своих лошадей, тощих, шероховатых, которые плелись гуськом... Заунывный выразительный голос пел:

Тяжело на свете
Без подружки жить,
А была, да сгибла —
Нельзя не тужить.
Ласкова, проворна,
Сердцем горяча...
Вспомню про милую,
Прошибет слеза!
Куплю я косушку,
То нечего пить;
Куплю я полштофа,
То не с кем делить!

Не дослушав песни, Каютин скорыми шагами ушел в комнату.

— Что за персона? — спросил писарь, провожая его глазами.

— А вот какая персона,— отвечал смотритель.— Каютин, губернский секретарь... прискакал давеча: лошадей! так и торопит... А потом сел играть... проиграл, нахмурился, сидит, не двигается... лошадей велел отложить.

— Проигрался?

— Видно, что так.

— Хе! хе! хе! А разодет, точно у него миллион триста тысяч в кармане.

— А может,— задумчиво заметил смотритель,— и точно не совсем проигрался, а так чудит. Разные бывают проезжающие... Вот сейчас ямщику на водку дал... Нефедка! — закричал смотритель.— Сколько он тебе дал?

— Двугривенный! — отвечал голос из толпы ямщиков.

— Шутишь! — возразил подьячий с недоверчивым смехом.— Из худого кармана последний грош валится... Знаем мы их, столичных!

Он остановился с разинутым ртом, с испуганным выражением глаз: перед ним стоял Каютин. В руках у него было ружье.

— Уж как хотите, господин смотритель,— сказал Каютин голосом, предупреждавшим возражение,— а я вашим ружьем воспользуюсь на минутку... Не бойтесь, не испорчу: я сам охотник.

И он быстро пошел к озеру. Впрочем, смотрителю было не до возражений: он так перепугался, что держал трубку у своего лица чубуком кверху и всё высматривал, в какую сторону безопаснее улизнуть.

Сказать правду, Капитон Александрыч был величайший трус. Он по опыту знал свою слабость, всячески старался скрыть ее и думал грозной обстановкой вознаградить недостаток храбрости, в которой отказала ему судьба.

Каютин спустился в долину и, ловко прыгая с кочки на кочку, скоро скрылся в кустарниках.

— Нет, у него есть деньги,— спокойно сказал смотритель.

— Ни-ни-ни,— возразил подьячий,— ни алтына за душой не имеется, держу на штоф, на ведро, на миллион триста тысяч ведер полугару! Смотрите, Капитон Александрыч, вы с ним (чего боже упаси!) еще беду на грешную голову свою накличете. Вот он проигрался... может быть, еще казенные денежки проиграл... а теперь пойдет да вашим ружьем и застрелится.

— Что вы говорите? — воскликнул с испугом смотритель.

— А как же? вот у нас, в селе Григорьевском, Дрягалово то ж, таковой казус на моей памяти воспоследовал... Приехал в село молодчик, остановился у мужичка, обсушился, позавтракал,— пошел на охоту — и не возвратился. А на другой день нашли его, окаянного, в лесу: лежит безгласен и бездыханен.

— Неужели? — спросил смотритель, вскочив.

— Честию моей заверяю, не лгу! Дали нам знать: прибыли мы, освидетельствовали, допросили, разрезали его на миллион триста тысяч кусков, и по следствию оказалось...

Писарь остановился.

— Что оказалось?

— По следствию оказалось,— отвечал писарь, потянув к себе воздуху и прошипев,— что оный смертоубийца взял свинцовую пулю, зарядил оною смертоносное орудие пистолет и противозаконно лишил себя живота, а по каким причинам умер, неизвестно.

В ту самую минуту за озером раздался выстрел. Эхо несколько раз повторило его. Смотритель побледнел и зашатался...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

СВАДЬБА

Одно случайное обстоятельство до невыразимой степени усилило ужас смотрителя: едва начало замирать эхо, повторившее роковой выстрел, как вдруг на колокольне соседнего монастыря протяжно и торжественно зазвонили.

— Вот кстати и звон! — сказал подьячий и, обнажив свою лысую голову, перекрестился.— Упокой господи душу окаянного грешника.

Смотритель с ненавистью посмотрел на подьячего и кинулся в толпу ямщиков.

— Нефедка! Серардон! Ванюха! Торопка! — закричал он.— Бегите, бегите! ищите проезжающего и приведите его сюда! слышите ли? непременно найдите и приведите!

— Или хоть мертвого притащите! — добавил подьячий.

— Эх! — с бешенством возразил смотритель.— Уж, разумеется, коли застрелился, так не приведут живого!

Ямщики лениво поплелись к озеру, а подьячий принялся утешать смотрителя. Он говорил, что и не такие несчастия бывают с людьми, приводил бесчисленные примеры самых страшных убийств и самоубийств, рассчитывал, во сколько станет дело, и обещал даром настрочить явочное прошение.

— Только вы, Капитон Александрыч, соблаговолите ссудить меня заимообразно гривенничком.

Смотритель исполнил его просьбу с такою скоростию, что подьячий внутренно пожалел, зачем не попросил двугривенного. Рад, однако ж, и гривеннику, он тотчас же

отправился к питейному дому. Вдруг снова раздался выстрел.

— Слышите, слышите, Капитон Александрыч! — зловещим голосом каркнул подьячий, подобрав полы и подбежав к смотрителю.

Смотритель позеленел. Успокоительные мысли не шли ему в голову, соображение бездействовало. Он вообразил, что Каютин, видно, не свалился с одного выстрела.

Раздался еще выстрел.

«Господи! он у меня и ямщиков-то всех перестреляет!» — подумал смотритель.

И такое предположение казалось ему тем естественнее, что ямщики не возвращались, а выстрелы стали повторяться чаще.

— Терешка! — крикнул смотритель ямщику, мазавшему телегу.— Ступай к озеру, кличь наших. Что они там пропали?

— Да когда мне ходить! — отвечал ямщик.— Почта сейчас придет: я очередной, а телега не домазана.

— Говорят, ступай, так ступай!

Терешка ушел и тоже пропал.

Раздалось еще несколько выстрелов.

Разбудив последнего ямщика, недавно приехавшего, смотритель прогнал и его искать товарищей.

И тот как в воду канул.

Смотрителю казалось, что уже часов десять прошло с тех пор, как он послал ямщиков. Послать еще было некого, и, гонимый ужасом, он сам побежал к озеру. Странная картина представилась ему: Нефедка, Терешка и все его ямщики с огромными шестами бродили по озеру, кто по пояс, кто по плечи в воде, и с дикими криками взмахивали дубинами и ударяли ими по воде.

— Вот она, вот она! — кричал им с берега голос человека, скрывавшегося в кустах.— Смотрите, ребята, где вынырнет.

«Так, он, значит, не застрелился, а утопился?» — подумал смотритель и тоже стал смотреть, где вынырнет.

Наступила глубокая тишина. Скоро в одном месте озера показалась огромная утка и начала боязливо озираться. Ямщики с криком кинулись к ней. Она попробовала лететь, но не смогла, и, собрав последние силы, с страшным шумом пронеслась над самой водой, работая и слабыми крыльями и ногами, и пропала под берегом.

— Ага! — раздался торжествующий голос на берегу,

и в то же время из кустов высунулась рука, державшая утку, которая отчаянно трепоскалась и тоскливо вытягивала свою длинную шею, жалобно покрякивая.

Ямщики испустили радостный крик.

Рука с уткой исчезла, и тот же голос с берега закричал:

— Ну, теперь, ребята, другую! Вот она тут под моим берегом притаилась.

Ямщики кинулись к берегу и стали хлестать по воде и кустам своими шестами, страшно крича. И вдруг еще одна утка бойко выкатила на середину озера, осмотрелась и нырнула.

— Смотрите, где вынырнет!

Ямщики притаили дыхание, как вдруг посреди всеобщей тишины раздался повелительный голос:

— Стой!!

Ямщики разом повернули головы и увидали своего смотрителя: он был бледен и грозен.

— Разбойники! куда я вас послал? что я вам приказал?

Но голос смотрителя вдруг оборвался: невдалеке показался Каютин.

— Вот вам! — сказал он, кидая смотрителю порядочную связку уток.— Я сегодня у вас ночевать останусь, так вы прикажите поджарить парочку к ужину. А вот я подстрелил и еще утку — мы ее сейчас поймаем. Ну, ребята!

Так кончились ужасы смотрителя.

Каютин по необходимости переоделся в лучшее свое платье и пошел от нечего делать бродить по селу. Кому случалось любить, строить планы к обладанию красавицей — и на первом шагу оборваться глупейшим образом, тот поймет его положение. Он громко бранил свою ветреность и строил кислые гримасы. Заметив толпу у церкви, он подошел к паперти. На ступеньках сидело несколько разных баб, горячо споривших.

— Что, тетка, свадьба, что ли, будет? — спросил у одной Каютин.

— Как же, батюшка! вот и жених скоро будет,— отвечала баба.— Вишь ты, здешние соседи.

— А кто же женится?

— Барин.

— Да я знаю, что барин! ну а на ком? и как его фамилия?

— Семипалов, батюшка, Семипалов! и женится на раскрасивой; уж такая дюжая да румяная, что тебе только впору!

Бабы рассмеялись.

— Нешто жених чем не хорош? — пискливо спросила старушонка с черными зубами, повязанная по-мещански.

— Небось, я думаю, сын-то ей лучше приглянулся; да, вестимо, старик больше даст.

— Жених стар, верно? — спросил Каютин.

— Как сушеный гриб, прости господи, ей-богу! Ну что за неволя идти за такого! аль больно мужа понадобилось, что ли?

Каютин подсел на ступеньку и продолжал расспрашивать. Бабы наперерыв рассказывали ему всё, что знали и слышали о женихе и невесте: жених уже в последний раз венчается, невеста идет за него потому, что он сделал в ее пользу духовную, и прочее.

— Едут, едут! — закричало несколько голосов.

Бабы вздрогнули и кинулись в церковь занять получше место. Каютин же остался на паперти в ожидании жениха.

Шестерня дряхлых лошадей тащила коляску, которая вышиною не уступала избам. Углубленная часть ее походила на скорлупу яйца, разбитого на две ровные части; сидевшие в ней касались носами друг друга. Винты, гвозди и разные медные украшения шатались и пищали, как бы плача и жалуясь на неумолимость людей, не уважающих дряхлости. В коляске сидели три старика, закутанных в шубы, несмотря на теплоту вечера. Лошадьми правил сгорбленный старик лет семидесяти; на запятках стояли два лакея, высокие и тоже седые как лунь; подпрыгивая при каждом толчке и согнувшись в дугу, они крепко держались — так казалось издали — за плечи своих господ. Лица их, и без того мрачные, приняли грозное выражение,— вероятно, потому, что опасность сломать шею, слетев с такой высоты, или кувырнуться на колени к господам представлялась им слишком ясно.

Коляска остановилась у паперти. Другие лакеи, нарочно присланные сюда заранее, кинулись отворять ступеньки, а стоявшие на запятках не обнаруживали особенной живости; они выгибали спины и морщились. Старики господа закопошились, и один из них крикнул:

— Ну, что же вы дремлете?

Тогда лакеи с запяток схватили его под мышки, приподняли и передали своим товарищам, ожидавшим у дверец с протянутыми руками. Так высадили всех трех

стариков, и каждого по два лакея повели под руки в церковь. Там их развьючили и усадили на стулья в ожидании невесты.

Каютин не мог не сознаться, что букет дряхлости так подобран, что решительно нет возможности различить стариков. Они были родные братья, а самому меньшему — жениху — стукнуло уже семьдесят. Его можно было отличить по изысканности туалета; он был завит, и из всех его седых и жиденьких волос составилось всего три-четыре колечка. Одно нарушало гармонию в его туалете: огромные плисовые сапоги, вроде охотничьих. Средний брат отличался дрожанием во всем теле; губы, загнувшиеся внутрь, по недостатку зубов, беспрерывно чмокали; глаза, полные жадности, вращались кругом, и циническая улыбка дрожала на подбородке, который после долгой разлуки обещал скоро сойтись с носом. Старший брат, с теми же чертами, но плотнее их, находился в дремоте, страшно сопел и, казалось, был полон равнодушия ко всему, что вокруг него делалось.

Вдруг в церкви произошло движение, все головы повернулись к двери и вытянулись. На клиросе запели. Каютин выдвинулся из толпы и стал на видном месте, чтоб лучше разглядеть невесту. Впереди шел высокий и полный мужчина лет под сорок; его румяное, лоснящееся и самодовольное лицо было опушено густыми черными щетинистыми бакенбардами. Белый атласный галстух с огромным бантом и стальной пряжкой, которая впилась в жирный затылок, светло-голубой жилет с серебряными разводами, фрак коричневый с золотыми пуговицами, панталоны светло-синие с красными лампасами — таков был его костюм. За ним торжественно выступала невеста, не уступавшая ему ни ростом, ни дородством. Лицо ее было кругло, с расплывшимися и потому неуловимыми чертами; щеки лоснились, вероятно благодаря тому составу, которым были приклеены к ним пряди волос, называемые височками. Цветы, атлас, кружева, ленты, брильянты украшали невесту. Робости не замечалось в ней: она шла так смело, как будто знала достовернейшим образом, что будет счастлива.

Жених вскочил с своего стула и тихонько делал знаки лакеям, кинувшимся к нему с протянутыми руками.

— Пошли, дураки! не трогайте меня! — ворчал он сквозь зубы.

Но лакеи, которых внимание было поглощено прибытием будущей госпожи, машинально взяли его под руки.

Он сердито вырвался и стал посреди церкви, гордо озираясь кругом.

Невеста не обращала внимания на своего будущего властелина. Окинув смелым взглядом толпу, она, как пораженная громом, остановила свои черные глаза на Каютине, который резко отделялся от остальной бородатой публики, потом нагнулась и стала шептаться с подругами. И все дамы устремили на Каютина свои взоры, до такой степени выразительные, что он невольно попятился к толпе и старался в ней укрыться от этих жгучих взоров. Невеста, поправляя себе то лиф, то перчатки, не сводила с него глаз. Вдруг позади его раздался басистый голос:

— Позвольте... вашу фамилию приказано спросить.

Каютин вздрогнул и, обернувшись, увидел высокого, топорного лакея, который в ожидании ответа оглядывал его с ног до головы.

— Кто приказал? — спросил с удивлением Каютин.

— Барыня.

Каютин невольно оглянулся на дам, как бы желая узнать, которая из них так любопытна. Но они стали все вместе, плотно прижавшись друг к другу, и смотрели на него, едва переводя дыхание.

— Скажи, что моя фамилия Каютин.

Лакей удалился.

Каютин видел, как дамы расспрашивали его и потом шептались.

Через две минуты тот же лакей снова проголосил над его ухом:

— Какого звания... приказано узнать!

Каютин улыбнулся и с расстановкой произнес:

— Дво-ря-нин!

Лакей подернул плечами и выпрямился. Каютин смелее стал смотреть на невесту, которая лорнировала его.

— Откуда изволите ехать? — опять раздалось над ухом Каютина.

— Из Петербурга! — гордо отвечал Каютин.

Лакей немного попятился в толпу и медленно осмотрел его.

— А куда изволите ехать?

— В К***скую губернию.

Лакей откашлянулся и удалился, а Каютин по-прежнему обратил всё свое внимание на невесту.

Вдруг на стороне жениха сделалась суматоха, и старика — старшего брата — повели вон. Жених махал тоскливо руками и с жаром говорил что-то господину с густыми бакенбардами и старику, среднему брату, который чмокал губами и насмешливо улыбался одними глазами.

Невеста подозвала к себе господина с бакенбардами и спросила:

— Что такое случилось с beau-frère?*

— Дяденьке дурно-с, маменька! — отвечал господин с бакенбардами нежным голосом, который не очень шел к его плотной фигуре.

Это был будущий пасынок невесты, который, горя нетерпением иметь такую мачеху, звал уже ее нежным именем маменьки.

— Что же будем делать? — спросила невеста.

— Право, не знаю; дяденька теперь никуда не годится!

— Это всё ваш папа! — с сердцем сказала невеста.

— Да я ему тоже говорил, маменька, что на дяденьку рассчитывать нельзя.

— Очень интересно! по его милости без шафера осталась! — подхватила невеста, горячась всё больше.— Впрочем, я сама виновата! зачем позволила ему распоряжаться... просто срам: шафера нет! Точно как будто я бежала и венчаюсь потихоньку.

И невеста, добродетель которой была возмущена, вся вспыхнула.

— Что вы, маменька! — с ужасом сказал пасынок.

— Я всё поняла,— запальчиво продолжала невеста,— я всё поняла! он боялся, что молодые шафера будут над ним смеяться. Да, да! я это теперь ясно вижу!

Господин с бакенбардами раскрывал рот и закрывал: разгоряченная невеста не давала ему возражать. Дамы подвигались к ней всё ближе и слушали с напряженным вниманием. Скоро она начала обращаться к ним,— на стороне невесты тоже сделалось смятение. Господин с густыми бакенбардами отправился к жениху; но невеста вдруг закричала:

— Pierre, Pierre!

Pierre в одну секунду стоял возле нее и ждал приказания.

— Видишь? вот налево,— сказала она,— молодой человек?

* деверем *(франц.)*

— Вижу, маменька! — радостно отвечал Pierre.
— Ну?..— произнесла невеста.
Pierre вопросительно посмотрел на нее.
— Ну, проси его: не может ли...— с гневом сказала невеста.
— Быть у вас шафером?
— Ну да! — свободно вздохнув, отвечала невеста.
— Сейчас... я спрошу у папеньки.
— Не нужно!.. я не хочу! поди и от моего имени попроси его заменить мне... но, боже! ты не знаешь по-французски, а он из Петербурга!
Лицо невесты выражало отчаяние.
— Научите, маменька: у меня память хорошая,— заметил будущий пасынок.
— Нет... только уж смотри, как можно вежливей... Его фамилия Каютин, он дворянин; так ты хоть повторяй чаще: мосье Каютин... слышишь? мосье!
Невеста раз десять повторила «мосье», и пасынок, заметив с радостью, что прежде очень хорошо знал французский язык, но забыл по недостатку практики, отправился к Каютину.
— Смею спросить, мосье...
Но, заучивая «мосье», он совершенно забыл фамилию Каютина. Каютин, заметив волнение и умоляющие взгляды невесты, поспешил спросить его:
— Что вам угодно?
— Одно неприятное обстоятельство с моим дяденькой, которому следовало быть шафером... мой папенька женится, а мой дяденька очень ослабел и не может быть шафером...
— Так вы желаете, чтоб я его заменил? но я не одет, сейчас с дороги.
— О, ничего-с! мы все по-домашнему! — заметил пасынок и с гордостью осмотрел свой туалет.
— Позвольте мне переодеться!
— Нет-с, нет-с! сделайте одолжение, мосье...
— Пожалуй, я рад; но...
— Ничего-с, ничего-с!
И пасынок тащил Каютина прямо к невесте. Она потупила глаза, покраснела и быстро проговорила по-французски:
— Мосье Каютин, извините нас: мы...
— Помилуйте, я очень рад случаю познакомиться с

вами,— отвечал Каютин тоже по-французски и ловко расшаркался. Невеста грациозно приседала.

— Pierre! отрекомендуй мосье Каютина папа́,— жеманно сказала она.

И пасынок повел Каютина к жениху, который, ослабев от испуга и нетерпения, в изнеможении сидел на стуле. Радость его была трогательна при рекомендации нового шафера. Он обнял Каютина, расцеловал и дал приказание начинать обряд.

Жениха водили под руки, брата его шафера тоже поддерживали. Невеста томно глядела вверх и поминутно вздыхала, так что корсет ее трещал и скрипел.

Каютин измучился, держа венец, потому что невеста была страшно высока, а цветы делали ее еще выше.

Начались поздравления. По примеру других, Каютин подошел к руке невесты — и почувствовал легкое пожатие.

— Мосье Каютин,— сказала невеста,— я надеюсь, что вы до конца исполните вашу обязанность?

— Маменька, мы с ним поедем,— дружелюбно сказал пасынок.

Каютин разинул было рот, но невеста подала ему свою шаль.

— Потрудитесь подержать.

Он поклонился и взял шаль. Пасынок радостно засмеялся.

Всё общество отправилось в деревню молодого, которая была в двух верстах. Новых лиц не прибавилось; вечер, благодаря рассказам Каютина о Петербурге, прошел скоро и весело. Молодая томно смотрела на Каютина и, улучив минуту, когда они остались вдвоем, шепнула ему:

— Мосье Каютин, вы оживили меня: мне ужасно было скучно.

— Мне кажется, что в такой день невозможно скучать,— заметил Каютин.

— Есть всюду исключения!

Она тяжело вздохнула и трагически произнесла:

Где б ни был он,
Ему привет, ему поклон.

Каютин докончил романс.

— Неужели и в Петербурге его знают? Не правда ли, прелестный романс? Сколько чувства!

Ах, тяжела моя верига.

— Спойте что-нибудь,— сказал Каютин.

— О нет, я боюсь!

— Чего?

— В Петербурге всё такие насмешники... Уж чего не говорят про нас, бедных провинциалок... право, уж даже смешно!

— Помилуйте, как можно! да вот я... откровенно скажу, что я нигде так приятно не проводил времени, как у вас.

Лукерья Тарасьевна (так звали молодую) быстро встала, села у фортепьян и сделала фальшивый аккорд.

— Правда,— спросила она,— что петербургские женщины не умеют любить?

— Отчего вы так думаете?

— Они все холодны: столичная жизнь их портит. Природа, о природа!..

И молодая снова застучала по клавишам.

— Я не могу судить о всех женщинах вообще, но и в Петербурге любят.

И Каютину невольно представилась Полинька в чистенькой, уютной комнатке.

— Спойте что-нибудь! — сказал он, не желая продолжать разговора.

— Я ничего не знаю, право; я так редко пою; у меня только и есть два-три романса любимых.

— Ну спойте любимый.

Лукерья Тарасьевна выпрямилась, откашлялась и запела басом:

Где б ни был он,
Ему привет, ему поклон.

Голос был так могуч, что Каютин вздрогнул. Почти каждое слово произносилось с особенным ударением, и глаза певицы были постоянно устремлены на Каютина. Скоро окружили фортепьяно слушатели. Молодая выла всё громче и громче и наконец, неистово ударив по клавишам, вскочила и кинулась к балкону. Все засуетились, уговаривали ее не ходить в сад; но она не послушалась и скоро исчезла в темной аллее.

Каютину было не совсем ловко, и, чтоб скрыть свое смущение, он начал фантазировать. Ему стало грустно; он готов был отдать теперь свою жизнь, лишь бы увидать Полиньку. Всё, кроме нее, исчезло для него; он заиграл

вальс, по которому они часто вальсировали, потом песню башмачника, которую певала Полинька.

Слушатели стояли кругом в молчании. Лукерья Тарасьевна, облокотясь на фортепьяно, страстно глядела ему в глаза.

— О, спойте что-нибудь!— сказала она, когда он перестал играть.

И другие подхватили:

— Пожалуйста, пожалуйста!

Ему хотелось уйти и быть одному; но его силой усадили, жужжа:

— Да сыграйте, да спойте!

Сердитый, он сильно ударил по клавишам и дико запел.

Похвалы посыпались градом. Когда он спел всё, что помнил из опер, один из старикашек подошел к нему, с чувством пожал ему руку и дрожащим голосом сказал:

— Зачем вы не едете в Италию? Поезжайте в Италию.

— Денег нет, — отвечал Каютин и запел водевильный куплет.

Публика пришла в такой восторг, что, казалось, кто-нибудь сейчас выскочит и предложит ему денег на усовершенствование голоса. Целый вечер чуть не носили его на руках; даже молодой, забыв нечаянное бегство жены в сад, бил в ладоши, обнимал Каютина и упрашивал погостить. Каютин благодарил, но отговаривался, предвидя опасные последствия дальнейшего своего пребывания у молодых. И он не ошибался: Лукерья Тарасьевна точно была сильно увлечена его молодостью и ловкостью, а старик муж враждебно посматривал на любезность своей супруги к гостю. Даже пасынок был уж слишком предупредителен и одно ухо вечно направлял в ту сторону, где разговаривал Каютин с его мачехой.

Отправляясь спать, Лукерья Тарасьевна нежно улыбнулась Каютину и выразительно сказала:

— До завтра, мосье Каютин!

Он был в затруднительном положении: никто не хотел с ним прощаться, все твердили: «До завтра!»

Комнату отвели ему очень чистую, даже на столе красовался великолепный букет. Каютин улыбнулся.

«Вот если бы Полинька увидела эту Лукерью Тарасьевну!» — подумал он грустно и, увидав бумажку, торчавшую из цветов, поспешно вынул ее.

«Вы не уедете; это будет жестоко с вашей стороны».

Он неистово засмеялся, прочитав таинственную записку, потом спрятал ее в карман и сказал:

— Извините-с! как вы ни любезны, но я завтра же уеду!

Но тут ему пришла неприятная мысль: на какие деньги он уедет? Он поскорее разделся, улегся в пуховики и после нескольких бессонных ночей заснул мертвым сном.

Ночь скоро прошла. Каютин сквозь сон услышал сиповатый шепот и открыл глаза. Солнце ярко пробивалось в окна, завешенные кисейными занавесками. Два дюжие, широкоплечие парня, не очень чисто одетые, тихо разговаривали, повертывая в руках пальто Каютина:

— Вишь ты, Мишка, где карман? А ты гляди: наизнанку!

— На то питерской,— отвечал Мишка, нахмурив брови и рассматривая пальто.

В ту минуту Каютин увидал свой чемодан и все свои вещи.

Он быстро сел на постель и, указывая на свое добро, строго спросил:

— Как сюда попали?

Дюжие парни смешались и кидали пальто друг другу.

— Что же вы молчите?

— Это Мишка-с, не я. Вот-с он взял,— он, изволите видеть, учился портному мастерству.

Мишка с упреком глядел на своего товарища.

— Как попал сюда мой чемодан? — спросил Каютин.

— Барыня приказала! — в один голос отвечали лакеи, обрадованные, что дело шло не о них.

— А что, встали?

— Встали-с и чай кушают,— опять в один голос отвечали лакеи.

Каютин надел самый пестрый галстух, взял такой же фуляр.

«Фи! Как скверно воняет кожей! — подумал он, обнюхивая свое платье.— Ах я дурак! а духи-то, духи моей голубушки Полиньки!»

Он откупорил стклянку, хотел налить, но вдруг остановился и снова спрятал духи. «Так они как раз и выйдут,— подумал он.— Надушился одеколоном, и то хорошо будет!»

Молодые сидели за чаем. Молодой, в пестром шелковом халате, в ермолке, вышитой яркими шелками, с сал-

феткой, повязанной под горлом, озабоченно кушал чай, вынимая из стакана кусочки булки, накрошенные нарочно для облегчения труда его старым зубам. Молодая сидела за самоваром в белом капоте, вышитом так, что, верно, не одна девушка испортила над ним глаза. Весь капот был на розовой подкладке. Чепчик с розовыми лентами прикрывал жирно напомаженную голову молодой. Юбки производили грохот при малейшем движении. Пасынок и братья молодого сидели в креслах. За ними, вытянувшись, стояли лакеи, как нянюшки за маленькими детьми.

Молодая встретила Каютина очень приветливо.

— Как вы поздно встаете, мосье Каютин! — сказала она.— Сейчас видно, что из Петербурга.

— Я с дороги,— раскланиваясь со всеми, отвечал Каютин.

— Неужели в Петербурге и прислуга так же поздно встает? — глубокомысленно спросил пасынок.

Прошла неделя, а Каютин всё еще жил у молодых. Ему было хорошо и весело; проведав о петербургском госте, к молодым стали приезжать соседи. Только одна беда: Лукерья Тарасьевна была уж слишком ласкова к нему и внимательна. Супруг ее косился и морщился, и часто Каютин замечал, что молодые ссорились вполголоса. Пьер был посредником между ними и скоро утишал бурю. Но Каютину казалось, что он же был и причиной бурь. Отец его сделал духовную в пользу Лукерьи Тарасьевны: понятно, что Пьер не мог чувствовать к ней особенного расположения. Сообразив всё, Каютин понял услужливость его к мачехе.

Делать, однако ж, было нечего: уехать не с чем; и Каютин иногда еще благодарил судьбу, что она послала ему людей, которые поят, кормят и ласкают его.

Раз вечером он случайно очутился в саду с Лукерьей Тарасьевной. Предметом разговора, разумеется, была природа. Лукерья Тарасьевна, любуясь звездами, слегка преклонила свою голову к его плечу, а он машинально пожал ей руку. Лукерья Тарасьевна взволновалась, ахнула, и жирно напомаженная ее голова упала к нему на грудь.

— Я несчастна,— прошептала она едва внятно и заплакала.

Он испугался, не знал, что делать... как вдруг в кустах послышался шорох.

— За нами подсматривают! — заметил он тревожно.

— О, я так несчастна... пусть все, все видят мои слезы...

Каютин ясно слышал шорох и боялся последствий. И ревность мужа и обмороки жены скоро так надоели ему, что он не шутя стал подумывать, как бы поскорее уехать, а покуда решился избегать беседы с Лукерьей Тарасьевной и всё больше играл в карты с ее мужем. Но такая холодность только усилила пламя; упреки, прямые и косвенные, посыпались на его голову.

— Я ни за что не желала бы жить в Петербурге,— говорила молодая кому-нибудь.

— Отчего?

— Все петербургские мужчины холодны и не умеют любить.

— Почему вы так думаете?

— О, я знаю хорошо! они не стоят любви! — восклицала с жаром Лукерья Тарасьевна.

А супруг ее, игравший в другом углу с Каютиным в дурачки, смеялся и, подмигивая ему, говорил:

— Каково, каково? у-у-у!

Наконец Лукерья Тарасьевна потребовала объяснения, почему Каютин с ней холоден. Он оправдывался ревностью мужа и хитрыми умыслами пасынка. И сама Лукерья Тарасьевна соглашалась, что ей нужна осторожность, что Pierre имеет виды очернить ее в глазах мужа, чтоб старик в пылу гнева разорвал духовную; но благоразумие Лукерьи Тарасьевны было только на словах.

К молодым собралось много гостей; устроились танцы. Молодая танцевала с Каютиным, а молодой бесился и делал ей страшные гримасы.

— Ваш муж совершенно забывается: скоро уж все заметят его гримасы! — шепнул Каютин Лукерье Тарасьевне, которая с досады кусала губы.— Я, право, не хочу больше танцевать с вами; посмотрите, он грозит нам!

— Через час, в комнате Кати,— тихо отвечала ему молодая,— слышите? Вот моя последняя просьба! надо положить конец...

Каютин радостно пожал ей руку и проворно сказал:

— Я буду!

У него был уже обдуман план, как положить разом конец делу, и потому он так скоро и охотно согласился. Но, по ветрености своей, он не подумал о последствиях, если свиданье будет открыто. А между тем буря приближалась.

Катя была главная горничная и вместе поверенная Лукерьи Тарасьевны. Помещение она имела довольно тесное: половина комнаты была отрезана парусинной перегородкой до потолка, за которой находился гардероб Лукерьи Тарасьевны.

В комнате Кати было темно; тихонько вошли в нее — супруг Лукерьи Тарасьевны и его сын. Отворив дверь за перегородку, сын сказал:

— Сюда, папенька, сюда!

— Ну а если они не придут? — заметил старик и остановился в нерешимости у дверей.

— Придут, придут! Я собственными ушами слышал, как Катя разговаривала с маменькой.

— Если это правда, Петя, то я...

И голосу не хватило у старика.

— Скорее, папенька! неравно кто придет!

Старик ступил за перегородку и сказал:

— Стул дай сюда, стул!

— Вот вам и стул; не кашляйте! крепитесь, не выскакивайте,— говорил сын, усаживая старика,— пусть всё выскажут!

— Ну, иди в залу; да поскорее бы... поскорее бы мне их услышать!

Сын осторожно запер дверь перегородки и вышел. Старик совершенно забыл его предосторожности: он сморкался, кашлял и вертелся, кутаясь в платья своей жены.

Скоро Катя привела в свою комнату Каютина и с грубым кокетством сказала:

— Уж погодите, вас когда-нибудь подстерегут!

— А ты на что? ты защитишь.

И Каютин хотел обнять ее.

— Что вы, что вы? — сердито шептала Катя, а между тем защищалась так неловко, что он успел поцеловать ее раза два.

Послышались шаги; Катя вырвалась и отворила дверь. Лукерья Тарасьевна, сильно взволнованная, вошла в комнату и повелительным жестом удалила горничную.

Долго длилось молчание. Каютин с чрезвычайным вниманием рассматривал свечу, горевшую на столе, а Лукерья Тарасьевна не сводила глаз с него, с упреком качая головой. И вдруг она зарыдала.

— Что с вами? чего вы плачете? — спросил он, едва удерживая досаду.

— Я несчастна! — отвечала она — Я хочу умереть!

— Помилуйте! что с вами! как можно!

— Вы меня разлюбили!

Положение его было щекотливо: не сказать же, что никогда и не любил ее!

— Вы меня не любите? говорите! — трагически сказала она.

Он вдруг как будто переродился,— привел в беспорядок свои волосы, сложил руки крестом, нахмурился и так же трагически воскликнул:

— Если так, то бежим... да, бежим! Пусть падет на нас клевета всего света! я презираю людей! Мы будем жить в хижине... Бежим, бежим!

И он сильно жал ее руку и тащил даму к двери.

Дама испугалась и, вырвавшись, отвечала:

— Нет, мы лучше здесь останемся! Я не могу бежать!

Каютин торжествовал. Он знал, что Лукерье Тарасьевне сильно нравилось именье мужа, и решил предложить ей бежать. Чтоб сильней запугать ее, он даже сложил стихи, в которых ясно доказывалось, что женщина, полюбив другого, должна бежать.

— А, так ты меня не любишь? — воскликнул он и стал грозно ходить по комнате.— Итак, прощайте.

— Нет, я люблю, люблю,— отвечала она.— Но что скажут люди?

— Люди! — возразил он и, думая окончательно отделаться, прочел свои стихи.[1] Но он жестоко ошибся: стихи, которым и сам он не верил, произвели совсем другое действие на его даму. Она кинулась ему на шею и страстно простонала:

— Убежим! я твоя!

---

[1] Вот они, для любопытных:

Когда горит в твоей крови
Огонь действительной любви,
Когда ты сознаешь глубоко
Свои разумные права,
Верь: не убьет тебя молва
Своею клеветой жестокой!
Отвергни ненавистных уз
Бесплодно-тягостное бремя
И заключи — пока есть время —
. . . . . по̀ сердцу союз!
Но если страсть твоя слаба
И убежденье не глубоко,
Будь мужу вечная раба,
Не то раскаешься жестоко!

Каютин побледнел. Он внутренно проклинал свой план и нелепые стихи, как вдруг вбежала испуганная Катя: она махала руками и делала отчаянные жесты, указывая на перегородку. И Лукерья Тарасьевна и Каютин мигом догадались, что их подслушивают. Но когда Катя шепнула своей госпоже, кто именно подслушивает, Лукерья Тарасьевна в ужасе закрыла лицо руками. Катя, как кошка, подкралась на цыпочках к двери перегородки и приложила ухо. Пока Каютин и Лукерья Тарасьевна менялись отчаянными взглядами, горничная быстро отворила дверь и едва не расхохоталась. Лукерья Тарасьевна с ужасом увидела своего мужа, сидящего на стуле; лицо его было слегка прикрыто кисейным платьем, висевшим над его головой. Ноги и руки его были неподвижны. Каютин побледнел: ему пришла мысль, что старик умер, огорченный изменой жены. Но скоро успокоил его легкий храп, мерно вылетавший из груди старика. Все трое подошли ближе. Старик сладко спал на стуле, свесив голову на грудь и скрестив свои ноги в плисовых сапогах.

— Всё его, его штуки! — сказала Лукерья Тарасьевна и бросилась из комнаты.

Каютин поблагодарил судьбу за сон, ниспосланный человеку, и тоже вышел. Катя разбудила своего барина, который очень был удивлен, увидя себя между платьями, но, вспомнив о жене, строго приказал Кате остаться с ним за перегородкой, опасаясь ее выпустить, чтоб она не предупредила свою госпожу. Он выходил из себя, ожидая изменницу; наконец послышались шаги: то была Лукерья Тарасьевна. Войдя в Катину комнату, она звала свою горничную; но старик крепко держал Катю за талию: всё боялся, как бы не вырвалась.

— Как вам не стыдно, сударь! что вы? пустите! — говорила Катя обиженным голосом.

— Тише, тише! — бормотал старик, зажимая ей рот.

Лукерья Тарасьевна гневно раскрыла дверь — и, отскочив, с ужасом вскрикнула:

— Что я вижу?!

Старик испугался и прятал Катю в платья. Скоро послышался плач: Лукерья Тарасьевна кричала, что она несчастна, что с таким ветреным мужем невозмо́жно жить.

Старик умолял ее успокоиться, клялся, что не изменил ей, и откровенно во всем признался. Она долго не верила и только после многих клятв и молений простила его.

Pierre был поражен, как громом, появлением мужа и жены к гостям.

— Ну что, папенька? — спросил он в волнении.

— Ты дурак!

— Что такое случилось?

— То, что ты своего отца осрамил!

И оскорбленный отец даже не удостоил сына объяснением.

Скоро супруг Лукерьи Тарасьевны, к удивлению Каютина, пристрастился к картам; Каютин не хотел играть на деньги, но старик настаивал и с каждой партией увеличивал куш. Каютину везло. Сидя подле отца, сын иногда замечал ему, что он делает ренонс, не так ходит, но старик продолжал свое, возражая с запальчивостию:

— Молчи, дурак! разве не знаешь пословицы: курицу яйца не учат?

Дня в три Каютин выиграл столько, что мог продолжать свой путь, и объявил, что завтра уедет.

Старик обнимал его, предлагал ему денег взаймы и был очень весел, а сыну своему всё твердил:

— Нет уж, где со мной справиться? Если захочу, всех перехитрю!

Он точно схитрил. За несколько дней перед тем пришел к нему поторговать лошадку смотритель соседней станции и, увидав случайно Каютина, не преминул рассказать, что Каютин проигрался и прочее. С того же вечера Каютину повезло в игре.

Каютин простился с вечера и ушел в свою комнату с намерением завтра чем свет уехать. Он с наслаждением уложил чемодан и задумался. Он вспомнил Полиньку, свое прощанье с ней, свои клятвы и покраснел при мысли, что так скоро забыл ее.

«Ах, Полинька! зачем ты так добра? зачем веришь мне? я не стою тебя».

Так рассуждал Каютин, сидя у чемодана, как вдруг постучались к нему.

— Войдите, кто там? — сказал, он запирая чемодан.

Катя высунулась в дверь.

— Барыня идет к вам! — сказала она и скрылась.

Испуганный Каютин вскочил. Он не верил своим ушам; но в дверях показалась обширная фигура, окутанная большим платком.

— Кто это? — робко спросил Каютин.

— Я! — торжественно отвечала Лукерья Тарасьевна, сбрасывая платок и являясь перед Каютиным во всем величии отчаянной женщины. Ее жидкие волосы падали очень скудно по широким плечам, белый капот был не застегнут, и пышная грудь сильно порывалась на свободу, угрожая разорвать туго затянутый корсет.

— Вы едете?

— Еду,— весело отвечал Каютин.

— Ах, мне дурно!

И она, шатаясь, доплелась до стула и села.

— Не угодно ли воды?

И Каютин сделал движение к двери.

— Стойте!

Она заслонила ему дорогу.

Каютин равнодушно смотрел на отчаяние дамы и решился выдержать свою роль до конца.

— Я лишу себя жизни!

— О, не лишайте! жизнь ваша так дорога!

— Для кого?

— Для вашего мужа.

— О, как жестоко! слишком жестоко! — воскликнула она.

Вдруг вбежала Катя и задыхающимся голосом сказала:

— Идут! идут!

— Кто? Боже! я погибла! — воскликнула Лукерья Тарасьевна, начиная бегать по комнате.

— Вот видите! — сказал Каютин.— Теперь уж вы и погибли!

Он запер дверь, и в ту же минуту в нее начали грозно стучаться. Все вздрогнули.

— Отворите! — кричал в ярости муж Лукерьи Тарасьевны.

Она стояла уже на стуле у окна, а Катя опускала другой стул за окно, чтоб госпоже легче было спрыгнуть.

— Итак, прощайте! — прошептала Лукерья Тарасьевна таким тоном, как будто готовилась к самоубийству.

Каютин делал ей знаки, чтобы она скорее спрыгнула.

— Навсегда!

— Отворите! или я разломаю дверь! — кричал ревнивый старик.

И точно, дверь стала трещать.

Лукерья Тарасьевна наконец спрыгнула, и скачок был таков, что дом дрогнул. Катя заперла окно, накинула

барынин платок, закрыла им даже лицо свое и стала в угол, посмеиваясь.

Каютин отворил дверь. Ревнивый старик в сопровождении сына вбежал в комнату и, как тигр, кинулся к Кате.

— Ага, попалась! а!! мужа срамить!!!

Он сорвал платок,— и ярость сменилась в его лице удивлением и радостью. Он обратился с гневным вопрошающим взором к сыну, который заглядывал во все уголки, позабыв, что мачехе его нужно было немало места. Каютин стоял как преступник, потупив глаза, а Катя, закрыв лицо руками, дрожала, едва сдерживая смех.

— Извините, я... — сказал Каютин запинаясь.

— Ха-ха-ха! ничего, ничего! дело молодое... ха! ха! И старик помирал со смеху.

— Ну, беги, беги скорее,— говорил он Кате,— чтоб барыня не увидала! Она у меня такая строгая,— прибавил он, обращаясь к Каютину.

В заключение он обнял своего гостя и, пожелав ему благополучного пути, вышел, побранивая сына.

Каютин вздохнул свободно. Он заперся на ключ, осмотрел окна, как будто опасаясь воров, разделся и лег. Он вспыхнул и покраснел при мысли, что чуть было не отплатил гостеприимному старику очень дурно; но скоро потом он свалил всю вину на Лукерью Тарасьевну, а себя даже хвалил за то, что умел удержаться в границах; благодаря такому обороту мыслей сон его был покоен и крепок.

В шестом часу утра он уже скакал по большой дороге.

Глава II

ДЕРЕВЕНСКАЯ СКУКА

Август приближался к концу. Подул постоянный осенний ветер. Мрачная перспектива открылась деревенскому жителю.

Непрерывно ревет, воет и злится осенний ветер, нагоняя нестерпимую тоску на душу. Куда ни пойди, везде шумно, уныло и пусто. Ветер крутит и гонит песок по дороге; послышится ли песня — ветер смешает ее с своими дикими звуками, заглушит и унесет за тридевять земель. Ветер сносит и далеко мчит по необъятному печальному полю шалаш пастуха, закутанного в рогожу. Что сдела-

лось с смирной речкой, которая еще недавно чуть заметной струей катилась по каменистому дну в глубине высоких и красивых берегов? Она вздулась и тоже ревет и бурлит, сколько хватает силы... А как страшно в лесу! Среди вечного глухого ропота, непрерывного колебанья и треска ветер с диким ожесточением срывает с деревьев сухие листья, крутит и вертит их, как тучу невиданной саранчи, желтым ковром устилает подножие леса... Всё в непрерывном насильственном движении, будто проникнуто страхом близкого разрушенья; всё дрожит, и трепещет, и молит пощады унылыми звуками. Трещат вековые деревья, гнутся и ломятся отростки. Беспрестанно колеблется и склоняется с тихим, печальным шепотом густой, высокий кустик травы, уцелевший среди почерневшей зелени, изломанных сучьев и желтых листьев... На верхушку высокого дерева сядет отдохнуть усталая птица; с минуту она силится удержаться, качается, взмахивает крыльями, плотно обогнув когтями обнаженный сук; но ветер озлится, сорвет бедную птицу, и, не вдруг справившись, летит она в поле... Но и там та же тревога, шумная, суетливая, но безжизненная...

Скучно!

За стенами громадных зданий не слышит и не замечает озабоченный горожанин суровых порывов осеннего ветра... Зато ничего, кроме их, не слышит несколько месяцев сряду деревенский житель... Нестерпимое уныние охватывает его душу... Куда идти? что делать? как убить длинный вечер? как убить целый ряд длинных вечеров?..

В такие-то вечера, томительные, ненужные, свободно разыгрывается праздное воображение, родятся на свет и плодятся нелепые сказки, фантастические ужасы; дикое суеверие туманит светлую голову, и вера в чудесное выкупает недостаток действительного движения в окружающем. Тускло светит нагорелая свеча, старушка в очках оракулом сидит на первом месте; ветер шумит, и под его однообразные звуки чудовищная фантасмагория кажется сбыточным делом... Карты, бобы, растопленный свинец и всякие гаданья получают свою законную силу. Человек порядочный, загнанный в глушь, спивается с кругу... В такие-то вечера в ленивые, утомленные однообразным бездействием головы заходят странные причуды, эксцентрические выходки...

Ветер шумит и гудит вокруг огромного старого дома на краю деревни, стучит и скрипит ставнями, хлопает

воротами. Убаюканный его унылыми звуками, сладко спит в прихожей мальчик лет четырнадцати, в суконном казакине с красными нашивками на груди,— сладко спит, прислонив руки к столу и положив на них голову.

В столовой тускло горит свеча на круглом столе перед диваном; на диване лежит старичок. Его волосы седы; маленькое, сморщенное лицо болезненно; в некрупных заостренных чертах его заметны хитрость и пресыщение, утомленье жизнью. Глаза его закрыты; он тоже спит. Вдруг ветер завыл сильнее, громче застучал ставнями: старичок проснулся. Он вздрогнул, осмотрелся и закричал:

— Мальчик!

Ему отвечает тихое, мерное храпенье.

— Мальчик! — кричит старичок громче.

Является мальчик. Свет режет его сонные глаза, и он щурится.

— Ты не спал? — спрашивает иронически старичок.

— Не спал-с.

— Так... а как думаешь, который теперь час?

— Не знаю-с.

— Не знаю! вот новость сказал: не знаю! А ты подумай.

Мальчик думает.

— Ну?

Мальчик продолжает думать.

— Говори же.

— Не знаю.

— Вот, ничего не знаешь! ступай посмотри!

Мальчик уходит в дверь направо, возвращается и докладывает:

— Шесть часов без четверти.

— Полно, так ли?

— Так-с.

Молчание.

— Ты ничего не видишь? — спрашивает старичок.

— Ничего-с.

— Посмотри-ка хорошенько.

Мальчик внимательно осматривается кругом.

— Ничего, всё как следует,— отвечает он.

— Всё как следует? полно, всё ли? посмотри еще!

Мальчик осматривается и повторяет:

— Всё-с.

— Ты слеп?

— Нет-с, вижу.

— Что же ты видишь?

— Да всё-с.

— А что? ну, говори, что?

— Стол, диван... стулья... свечку... гитару.

— Больше ничего?

— Нет-с, стены вижу, вас вижу... потолок вижу.

— А еще?

— Ничего,— отвечает мальчик.

— И всё в порядке?

— Всё-с.

— А вот не всё!

— Что же-с? — робко спрашивает мальчик.

— Ну, посмотри хорошенько, так и увидишь.

Мальчик в недоумении осматривается в третий раз и тоскливым голосом отвечает:

— Ничего-с, всё как следует.

— Решительно всё?

— Всё-с.

— Ну, посмотри еще!

Мальчик осматривается с мучительным беспокойством. Старичок устремляет на него вопросительный взгляд. Но мальчик молчит.

— Так ничего не видишь?

— Ничего-с.

Старичок приподнимается, указывает на нагорелую свечу и говорит:

— Это что такое?

— Ах! — вскрикивает сконфуженный мальчик и спешит снять со свечи.

— О чем ты думаешь? где у тебя глаза? — говорит старичок.— Скоро ли из тебя выйдет человек?

Мальчик молча удаляется к двери и по дороге роняет маленький ключ... Не заметив этого, он уходит в прихожую, а старичок на цыпочках подбирается к ключу, прячет его в карман, так же тихо возвращается и ложится.

. . . .

— Мальчик!

Является мальчик.

— Подай пороху.

Мальчик уходит в сени, где помещается шкаф с ружейными принадлежностями, но через минуту возвращается и начинает шарить в прихожей.

— Что ж пороху? — кричит старичок.

— Сейчас!

И мальчик опять идет в сени, возвращается и начинает шарить.

— Ну?

— Да не знаю, сударь, ключ от шкафа куда-то затерялся,— отвечает смущенным голосом мальчик,— сходить разве, не у Татьяны ли?

— Ну сходи.

Мальчик ушел и не являлся десять минут. Наконец дверь в прихожей скрипнула.

— Мальчик? — кричит старичок.

Является мальчик; лицо его выражает сильное беспокойство.

— Что ж, взял ключ у Татьяны?

— Да она говорит, что у нее нет.

— Ну так где же он?

— Не знаю, сударь... он всё у меня был.

— Где?

— Вот здесь, на поясе... как вы изволили приказывать.

— Так ты, видно, потерял его?

— Нет-с... как можно! Я его крепко привязал.

— Крепко?

— Крепко-с... Сходить разве к матушке... не оставил ли я его там, как переодевался?

— Сходи.

Мальчик опять ушел и воротился через четверть часа. Он тяжело дышал. Беспокойство в лице его увеличилось.

— Ну, принес пороху?

— Да никак, сударь, ключа не могу найти,— отвечает отчаянным голосом мальчик.

— Ключа не можешь найти... а?

— Не могу-с.

— Я кому отдал ключ? — спрашивает старичок.

— Мне-с,— робко отвечает мальчик.

— Я тебе что приказывал?

Мальчик молчит.

— Ну, говори, что я тебе приказывал?

Молчание.

— У тебя есть язык?

— Есть.

— Лжешь — нет. У тебя нет языка... а?

— Есть.

— Что ж ты молчишь?

Мальчик продолжал молчать.

— Говори же! Я тебе приказывал ключ от пороху носить на поясе, никому не давать и беречь пуще глазу... так?

— Так-с,— едва слышно произносит мальчик.

— Ну так куда же ты его девал?

— Не знаю-с... я никуда его не девал... я...

— Никуда?

— Никуда-с.

— И не отдавал никому?

— Никому-с.

— И не терял?

— Не терял-с.

— Ну так подай пороху!

Мальчик молчит и не двигается. Холодный пот выступает у него на лбу.

— Ни стыда, ни совести в тебе нет! — говорит старичок, качая головой.— Хлопочи, заботься о вас, ночи не спи,— а вы и ухом не ведете! Ну теперь вдруг воры залезут, волки нападут,— понадобится ружье зарядить... ну где я возьму пороху?.. Так за тебя, разбойника, всех нас волки и разорвут.

Мальчик громко рыдает.

— Я уж сам не знаю, куда ключ пропал,— говорит он всхлипывая.

— Не знаешь... ну так ищи.

— Да я уж искал... да не знаю, где уж его и искать.

— Не знаешь?.. а есть, а пить, а спать знаешь? а?

Мальчик продолжал рыдать.

— Поди сюда.

Мальчик подходит. Старичок достает из кармана и показывает ему ключ.

— Это что такое? — говорит он, устремив на него лукавый и проницательный взгляд.

Мальчик смотрит и, пораженный радостным изумлением, восклицает простодушно:

— Да как же он вдруг у вас очутился?

— Узнал? — спрашивает старичок, наслаждаясь удивлением мальчика.

— Узнал-с.

— Рад?

— Как же не радоваться? — отвечал мальчик с просиявшим лицом, по которому текут слезы.

— То-то вы! — говорит старичок.— Я вас пой, корми, одевай, обувай, да я же вам и нянюшкой будь... Возьми, да потеряй у меня еще раз!!!

— Пороху прикажете? — спрашивает мальчик.

— Не нужно; ступай.

Мальчик отправляется в прихожую. Старичок ложится. Наступает тишина, прерываемая только воем ветра и гулом проливного дождя... Вдруг на лице старичка является тревожное выражение. Он быстро приподнимается, щупает себе живот и под ложечкой, пробует свой пульс и кричит:

— Мальчик!

Является мальчик.

— Подай зеркало.

Мальчик приносит ручное зеркало.

— Свети!

Мальчик светит. Старичок, приставив зеркало, рассматривает свой язык.

— Так, так,— говорит он дрожащим голосом, делая гримасы перед зеркалом и стараясь высунуть как можно больше язык.— Белый, совсем белый... точно сметаной с мелом вымазан.

— Белый? — спрашивает он, поворачивая лицо с высунутым языком к мальчику.

— Белый-с.

— Как снег?

— Как снег.

— Возьми!

Мальчик уносит зеркало. Старичок в отчаянии опускается на диван, ощупывает себя и рассуждает сам с собою: «Чего бы я такого вредного съел?.. А! грибы! — вскрикивает он.— Точно, в соусе были грибы... Ах, проклятый поваришка! прошу покорно: наклал в соус грибов...»

— Мальчик! — кричит старичок.

Является мальчик.

— Позови Максима.

Приходит Максим — человек среднего роста, лет сорока, в белой куртке и белом фартуке. Он низко кланяется и робко стоит в дверях.

— Ты что такое? — спрашивает его старичок.

Максим молчит.

— У тебя есть язык?

Молчание.

— Да говори же: есть у тебя язык?

— Как же, судырь, как же! — отвечает с пугливой поспешностью Максим.

— Покажи!

Максим плотнее сжимает губы.

— Ну!

Максим нерешительно переминается.

— Мальчик! — кричит старичок.

Является мальчик.

— Скажи ему, чтоб он показал язык.

— Ну, покажи язык! — говорит повару мальчик.

После долгой нерешительности повар с крайней застенчивостью неловко высовывает язык.

— Отчего же ты молчишь? — спрашивает старичок.

Максим молчит.

— Что, ты глух?

— Нет-с.

— Что ж, у тебя пенька в ушах, что ли? Мальчик! вынь ему пеньку из ушей.

— Ну, говори! — говорит мальчик повару.

Повар молчит.

— Ты что такое? — спрашивает его старичок.

На лице молчаливого повара выражается мучительное недоумение.

— Ты будешь мне сегодня отвечать?

Максим издает губами неопределенный звук.

— Я тебя спрашиваю! ты что такое: кузнец, плотник, слесарь...

— Повар, судырь, повар,— с радостной поспешностью отвечает Максим.

Мальчик уходит.

— Ты изготовил сегодня всё, как я тебе приказывал?

На лице Максима выражается беспокойство.

— Всё,— отвечает он почти шепотом.

— Ты что сегодня готовил?

— Суп, холодное...

Максим запинается.

— Ну?

— Соус,— быстро и глухо произносит Максим и тотчас же прибавляет: — Жаркое, пирожное...

— Стой, стой... зачастил!.. соус?

— Соус,— робко отвечает Максим.

— С чем?

Максим молчит.

— Говори!

— С красной подливкой... жаркое-с...

— Да нет! ты постой! с чем соус?

— С красной подливкой.

— А еще с чем... ни с чем больше... а?

— Ни с чем, судырь, ни с чем! — отвечает обрадованный Максим.

— А грибов в соусе не было?

Максим бледнеет и молчит.

— Не было грибов?

Максим издает неопределенный звук.

— Ну?..

— Немножко, судырь... так... только для духу,— отвечает дрожащим голосом повар.

— Немножко?.. Ты что такое?

— Повар, судырь.

— Чей?

— Вашей милости.

— Ты должен меня слушаться?

— Как же, судырь, как же.

— Я тебе что приказывал?

Молчание.

— Говори: приказывал я тебе класть в кушанье грибы?

— Нет, судырь.

— Зачем же ты положил их?

Максим молчит.

— Ну, говори: зачем? А?

— Да я так... немножко... я думал... только...

— Стой! что ты думал?

Максим молчит.

— Что ты думал? — повторяет старичок.

— Да я, судырь, думал,— отвечает Максим,— что он вкуснее будет.

— Вкуснее! прошу покорно, вкуснее будет!.. Ему и дела нет, что барин нездоров... Он рад мухоморами накормить... валит грибы очертя голову, а тут хоть умирай... Знаешь ли, что ты со мной наделал?

— Не могу знать-с,— отвечает повар.

— Мальчик!

Является мальчик.

— Подведи его сюда!

Мальчик подводит повара к столу.

— Видишь? — говорит старичок и показывает повару язык.

— Вижу-с.

— Белый?

— Белый-с.

— Как снег?

— Как снег.

— Что мне с тобой сделать? — спрашивает старичок.

Максим молчит.

— А?

— Не знаю, сударь.

— Как думаешь?

— Не знаю-с.

Долгое молчание.

— Ступай! — говорит старичок. — Да положи у меня еще раз грибов!!!

Максим поспешно уходит.

. . . .

— Мальчик! — кричит старичок.

Входит мальчик.

— Который час?

— Половина осьмого,— докладывает мальчик.

— Ух! — говорит старичок и с отчаянием опускает голову на подушку.

Тишина. Старичок снова начинает себя ощупывать, повторяя: «Отравил! совсем отравил, разбойник! и желудок тяжел, и под ложечкой колет... уж не принять ли пилюль? не поставить ли мушку?..»

— Мальчик!

Является мальчик.

— Энгалычева подай!

Мальчик приносит несколько старых книг в серо-синей бумажной обертке.

— Очки!

Надев очки, старичок читает. По мере чтения лицо его делается беспокойнее. Наконец в волнении он начинает читать вслух:

— «При ощущени тяжести в животе, урчании...»

Старичок прислушивается к своему животу. «Урчит! урчит!» — восклицает он с ужасом и продолжает читать:

— «...боли под ложечкой, нечистоты языка, позыву к отрыжке...»

Старичок насильственно рыгает. «Так, и отрыжка есть!» — говорит он.

— «...нервической зевоте...»

«Ну, зевота страшная целый вечер! — восклицает пугливо старичок и потом с наслаждением зевает несколько раз сряду, приговаривая беспокойным голосом: — Вот и еще! вот и еще!..»

— «...жару в голове, биении в висках...»

Старичок пробует себе голову. «Так и есть: горяча! Ну, биения в висках, кажется, нет,— говорит он, пробуя виски.— Или есть?.. да, есть! точно есть!.. Прошу покорно... начинается тифус, чистейший тифус... Ай да грибки! угостил!.. Не поставить ли хрену к вискам? или к ногам горчицы?.. а не то прямо не приплюснуть ли мушку на живот?..» Кричит:

— Мальчик!

Является мальчик.

— Скажи повару... нет, поди, ничего не надо.

«Лучше подожду,— говорит старичок,— пока начнется... Вот и Энгалычев пишет: не принимать решительных средств, пока болезнь совершенно не определится».

Старичок закрывает глаза и ждет. Проходит минут десять. «Начинается... или нет? — говорит он, приподнимаясь, и вся фигура его превращается в вопросительный знак; он прислушивается к своему животу, пробует себе лоб, виски, живот...— А, вот началось! началось! — кричит он так громко, что мальчик в прихожей вздрагивает и просыпается...— Нет, ничего,— продолжает старичок тише и спокойнее.— Лучше я чем-нибудь займусь, так оно тем временем и начнется... определится... тогда и меры приму... А чем бы заняться?.. А!..»

. . . .

— Мальчик! — кричит старичок.

Является мальчик.

— Ты что делаешь?

— Ничего-с.

— Который час?

— Тридцать пять минут девятого.

— Тебе хочется спать?

— Хочется.

— И если тебя пустить, ты вот сейчас и заснешь?

— Засну-с.

— Поди вон.

Мальчик уходит. Старичок закрывает глаза и делает усилие заснуть. Но усилия его напрасны.

— Сонуля!

Является мальчик.

— Подай Удина.

Мальчик приносит книгу. Старичок берет ее и через минуту оставляет... «Вот и Удин,— говорит он,— советует... не принимать решительных мер, пока болезнь не определится...», затем им овладевает неестественная зевота. Он зевает с вариациями и фиоритурами, вытягивая бесконечные «а-а-а-а-о-о-о-о-у-у-у...»

. . . .

— Мальчик!

Является мальчик.

— Который час?

— Сорок три минуты девятого.

Тишина.

— Мальчик!

Является мальчик.

— Подай станок!

Мальчик приносит небольшой токарный станок. Старичок начинает пилить и строгать. Мальчик светит, стоя перед станком. Однообразное визжание подпилка скоро убаюкивает его. Он спит, слегка покачиваясь. Наконец рука его ослабевает и раскрывается, подсвечник с резким звоном падает на пол. Мальчик вздрагивает, спешит поймать подсвечник и опять становится на прежнее место. Старичок поднимает голову и дает ему легкий щелчок. Снова раздается однообразное визжанье подпилка. Но через минуту старичок оставляет свою работу.

— Возьми прочь.

Мальчик уносит станок.

— Ты что видел во сне? — спрашивает старичок, когда он возвращается.

Мальчик, переминаясь, молчит, но старичок уже не спрашивает — ни есть ли у него уши и слышит ли он, ни есть ли у него язык: он уж позабыл свой вопрос.

Он снова начинает зевать глухо, протяжно, убийственно...

Так проходит минут пять.

Старичок обращается к потолку: видит серых птиц, амуров и муз с арфами; к свече: видит желтое пламя, а над ним черный ус дыма, то сокращающийся, то вырастающий почти до потолка; видит нагорелую шапку све-

тильни, которая то черна, то вдруг покраснеет, то вместе и красна и черна... Апатия, глубокая апатия выражается на лице старичка. Он обращается к самому себе: снова прислушивается к своему желудку, ощупывает себя до последнего ногтя; заглядывает то в Энгалычева, то в Удина, требует еще медицинскую книгу, известную в доме под именем Пекина,— читает... Беспокойство, заснувшее на минуту, снова с страшною силой пробуждается в нем: лицо его покрывается смертельной бледностью.

— Мальчик! — кричит он.

Является мальчик.

— Спроси у Анисьи шпанскую мушку и глауберову соль... да скажи Максиму, чтоб приготовил шесть горчичников самых крепких... Пусть затопит плиту, чтоб был огонь, если понадобится припарки ставить.

Но благодетельный голос еще не совсем замер в душе его. Отдав приказание, старичок во второй раз тотчас же отменяет его.

Мальчик возвращается в прихожую. Проходит пять минут. Тишина. Старичок снова принимается зевать, и заунывнее осеннего ветра, печальнее погребального колокола, болезненнее жужжанья осенней мухи, доживающей последние минуты свои, раздаются в комнате дикие, протяжные, апатические звуки его зевоты!

Мальчик в прихожей тоже увлекается его примером, но, не смея зевать громко, удерживается и поминутно ударяет себя ладонью по рту, широко раскрытому.

Потом старичок снова смотрит на потолок, на свечу, на стены, слушает ветер и дождь, наконец, берется за свои книги... Еще минута, и огромная шпанская муха будет прилеплена на живот, исправно делающий свое дело; еще минута, и огненными горчичниками облепится здоровое тело... но вдруг слышится звук колокольчика, всё ближе, ближе...

Вот он замолк; послышались голоса; скрипят ворота. Вот опять прозвенел колокольчик под самыми окнами.

— Мальчик! мальчик! мальчик! ступай, свети! Кто-то приехал... к нам, к нам приехали! — кричит старичок с неожиданной энергией.

Дверь отворяется; высокий молодой человек, в пальто, в дорожной фуражке, в котором читатель узнал Каютина, показывается на пороге.

— Дядюшка! — кричит он, бросаясь к старику.

— Тимоша! Тимоша! тебя ли я вижу? — восклицает

старичок, и радостное рыдание мешает ему продолжать. Он бросается на шею племяннику.

Он так не был рад ни разу в жизнь!

. . . .

Дядя Каютина был своего рода эксцентрик, и скука одинокой жизни с каждым годом усиливала врожденную причудливость его характера. Много было у него эксцентрических выходок, но нет возможности перечесть их. Между прочим, он был страшно мнителен и одержим страстью лечиться и лечить других. Сначала он перепробовал всех окрестных докторов, наконец, убедившись, что сам лучше их понимает свою болезнь, накупил медицинских книг и завел домашнюю аптеку. *Удин, Пекин и Энгалычев,* три старые автора, о которых едва ли слыхал читатель, были главными его любимцами; но и на свои медицинские знания он полагался немало и часто в разговоре примешивал к авторитетам своим и собственное имя. Проведав про аптеку, к нему стали стекаться окрестные мужики, и он охотно наделял их советами и лекарствами,— но и здесь оставался верен своему эксцентрическому характеру.

Являлся больной мужик. Расспросив его подробно, Ласуков (так звали старика) писал ему рецепт и говорил:

— Ступай в аптеку: там лекарство дадут.

Мужик уходил в мезонин, где помещалась аптека. Ласуков поспешно переодевался в аптекарское платье и шел по теплой лестнице тоже в аптеку. Там, угрюмо кивнув мужику головой, он приготовлял лекарство и ломаным языком давал своему пациенту приличное наставление; потом спускался в свою комнату, переодевался постарому и требовал к себе мужика.

— Был у аптекаря? — спрашивал он угрюмо.

— Был, батюшка,— отвечал мужик, едва удерживая улыбку.

— Что же он?

— Да лекарство дал.

— Покажи!

Мужик показывал лекарство.

— А что он тебе говорил?

— Да то и то, батюшка. Квасу, говорит, не пей, и вина тоже...

— А ты ему что?

— Не буду, говорю, не буду, кормилец.

— А он тебе что?

— Редьки, говорит, не ешь, луку в рот не бери... знаю я вас, говорит, дураков: как придет плохо, так рад в ноги кланяться, а как немного отойдет, так и пошел опять всё убирать.

— А ты ему что?

— Вестимо, говорю, батюшка, вестимо...

— А он тебе что?..

И так далее.

Расспросы продолжались иногда по целому часу, причем Ласуков немало употреблял стараний втолковать пациенту наставления, данные в аптеке.

— Понял? — спрашивал он в заключение.

— Понял, батюшка.

— Ну так говори.

Мужик сбивался. Ласуков начинал снова и потом требовал повторить. Таким образом, расспросы часто действовали как потогонное средство и пациент уходил совершенно здоровый.

Каютин скоро убедился, что если покинуть дядюшку на жертву осенней скуки и мнительности, то он залечит себя в несколько месяцев, и потому решился пожить у старика.

Надо признаться, что была тут и другая причина: племянник думал, что авось-либо богатый дядюшка, бездетный и не любивший своих родных, не забудет его в своем завещании. А жить старику, по всей вероятности, оставалось недолго.

Но решимость Каютина дорого ему стоила. Скука у дяди была смертельная. Развлечений никаких, местность унылая, пища самая скромная, работа языку беспрестанная. То читай Удина, Пекина и Энгалычева, то развлекай старика рассказами; в последнем случае Каютин хоть замечал с отрадой, как лицо старика постепенно одушевлялось и бесчисленные болезни, изобретенные праздной мнительностью, одна за другой покидали его. Не последним делом в деревенской жизни Каютина было также удивляться пагубной белизне языка своего дядюшки. К довершению бед, Каютин даже не мог спать спокойно: как только старик поднимет ночную тревогу, Анисья — весьма полная и краснощекая домоправительница, которой вообще не нравилось появление племянника в дядином доме,— тотчас вбегала к спящему Каютину и кричала благим матом над самым его ухом: «Благодетель-то наш!

кормилец-то наш!..» Такие всхлипыванья продолжались, пока наконец Каютин просыпался и с ужасом кричал:

— Что?

— Кончается, совсем кончается! уж, может, таперича и скончался!

Каютин бежал в комнату дяди. Тревога, разумеется, была пустая.

— У тебя сегодня что-то цвет лица нехорош,— говорил иногда Ласуков своему племяннику,— уж не болен ли ты?

— Нет, ничего, дядюшка,— весело отвечал Каютин.

— Ты хорошо спал?

— Хорошо.

— А что ты видел во сне?

Каютин смущался и медлил ответом: всю ту ночь ему грезилась Полинька; но он не хотел посвящать дядю в свои тайны.

— Ну так и есть! — восклицал проницательный старик.— По лицу видно: тебе снились дурные сны, только ты не хочешь сказать.

— Ах, дядюшка, не дурные, ей-богу, не дурные... отличные!

— К чему лукавить? — возражал дядя.— Я тебя насквозь вижу!

— Ну, не совсем, дядюшка!

— Уж поверь, что совсем...

— Ну так отгадайте сами, что я видел?

— Известно что: тебе грезились чудовища... звали тебя куда-то, протягивали страшные руки... сжимали твою шею.

— Так, дядюшка! точно, были руки, только не страшные, право, не страшные... и шею сжимали.

— Дрожь пробегала по твоему телу,— подхватывал дядя,— и ты просыпался.

— Точно, дядюшка... и дрожь пробегала... и я просыпался.

— Ну, вот видишь! — самодовольно говорил старик.— А покажи-ка язык... Так и есть,— продолжал он, осмотрев язык племянника,— по краям и с концов туда и сюда, а середина совсем белая. Плохо! надо захватить заблаговременно.

Старик на минуту задумывался.

— Удин, Пекин, Энгалычев *и я,* мы полагаем,— говорил он с докторской важностью,— что в таких случаях

полезно, согрев внутренность больного, посадить его на диету. Выпей мяты да не обедай сегодня!

— Помилуйте, дядюшка! — с испугом возражал Каютин.— Да мне уж теперь есть хочется.

— Ну, конечно! теперь я нисколько не сомневаюсь, что ты в опасности. Ложный аппетит самое...

— Ложный аппетит?! нет, уж извините, дядюшка, не ложный! Дайте-ка мне пулярку с трюфелями да бутылку лафиту, так я вам докажу.

— Тебе, в твоем положении, лафиту, пулярку с трюфелями! нехорошо, нехорошо! Ты вот посмотри на меня: я как болен, так меня и силой не заставишь съесть вредного,— сижу себе на одних сухарях.

Каютину становилось смешно. Старик в болезни точно не обедал и не ужинал, но утром и вечером подавали ему чашку чаю, которая походила больше на полоскательную, чем на чайную; он всыпал туда фунта три сухарей и, уничтожив одну такую порцию, часто требовал другую. В такие дни говорилось: *барин сидит на одних сухарях.*

— Что, тебе жизнь мила? — ласково спрашивал старик своего племянника.

— Как же, дядюшка.

— Умереть не хочешь?

— Нет.

— Ты меня любишь?

— Люблю.

— Уважаешь?

— Уважаю.

— Веришь моей опытности?

— Верю.

— Знаешь, что я тебе дурного не посоветую?

— Знаю,— робко произносил племянник.

— Ну так не обедай сегодня.

Каютин не обедал, а вечером с ожесточением нападал на дядюшкины сухари. И много подобных жертв приносил племянник своему старому, богатому и бездетному дядюшке; но толку, однако ж, не выходило, и не могло выйти. Каютин не принадлежал к людям, способным при случае совершенно стираться с лица земли: иногда он был и внимателен и уступчив с своим дядей, а в другой раз заспорит, вспыхнет, наговорит старику кучу горьких истин — и всё дело испортит. И такие сцены стали повторяться тем чаще, чем сильнее томила его осенняя дере-

венская скука и чем злее будила его по ночам Анисья, приглашая просидеть ночь у одра умирающего дяденьки, который, впрочем, и не думал умирать. Каютин наконец начал догадываться, что ему тут ничего не добиться. В то время кстати явилось письмо Полиньки. Великодушная девушка, не желая убивать бодрости в своем женихе, ничего не написала ему о своих несчастиях и только умоляла крепиться и не губить даром времени. Письмо так подействовало, что Каютин в тот же день простился с дядей, к явному торжеству Анисьи. К счастию, старик был тогда в щедром расположении (а надобно знать, что приливы скупости и расточительности находили на него полосами) и сам предложил племяннику немного денег.

— Спасибо, дядюшка! я вам непременно возвращу, как только дела мои поправятся.

— Нет, ты лучше, как попадешь в Петербург, пришли такую трубку и такой ланцет, чтоб можно было самому...

— Хорошо, дядюшка, пришлю!

— Да еще Энгалычева, новое издание, в хорошем переплете.

— Непременно, непременно... Прощайте, дядюшка!

Глава III

НОВЫЕ ЛИЦА

Каютин не без удовольствия сел в широкие пошевни, набитые сеном, и пустился в дорогу. Удовольствие его, впрочем, скоро нарушилось.

Когда подумал он, сколько времени убито даром, когда вспомнил, сколько вынес скуки и принуждения, сделал бесполезных уступок, сколько подавил в душе своей справедливой желчи,— горячий пот прошиб его с головы до пяток. Снег валил хлопьями, к явному неудовольствию лошадей, которые отдувались и сердито фыркали; много мелькнуло и исчезло унылых деревень, бесконечных обозов, усадьб, обнаженных, печальных лесов,— а Каютин всё лежал лицом к подушке, будто стыдясь смотреть на свет божий. Во второй раз, и сильнее чем в первый, почувствовал он безрассудство своего поведения, увидел ясно необходимость труда и мысленно поклялся посвятить ему все свои силы. Он читал и перечитывал письмо Полиньки, прижимал его к губам полузамерзшей рукой и

много раз повторил свою клятву. Уж не для одного счастья хотел он теперь денег: стыд торжественно признать свое бессилие, свою неспособность также громко говорил в нем.

— Нет, — повторил он торжественно,— клянусь, я буду иметь деньги наперекор судьбе, наперекор моему беспутному характеру!

С той минуты он как будто переродился, и перерождение его началось с мелочей, которыми он прежде пренебрегал. Нельзя было надивиться, с какой аккуратностью укладывал он свои вещи, как был внимателен ко всему, в чем видел хоть малую пользу.

Когда художник до такой степени проникнут своей идеей, что не расстается с ней ни на минуту, что бы ни делал, о чем бы ни говорил,— верный признак, что произведение будет хорошо. Если б тот же закон прилагался к промышленности, Каютину наконец можно бы предсказать успех: с самой разлуки с дядюшкой он не мог ни о чем больше думать, кроме денег, а во сне ему постоянно виделись то тихие картины цветущей торговли, то грозные коммерческие бури со всеми их ужасами.

Он решился возвратиться к своему первоначальному плану и ехал теперь в ближайший город. Прибыв туда и послав часть своих денег Полиньке, он пустился в разъезды по ближайшим городам и большим торговым селам, вникал во все роды местной промышленности и торговли, приглядывался, прислушивался, записывал и наконец остановился на одной мысли. Губерния, в которой он теперь находился, принадлежала к самым хлебородным русским губерниям. Хлеб поступал в руки закупщиков по ценам, которые они установляли по своему усмотрению. Конкуренции не существовало. Каютин рассчитал, что если б ему удалось согласить нескольких помещиков отправить с ним свой хлеб в Петербург или хоть в Рыбинск, вместо того чтоб продавать на месте по низкой цене, то выгода и ему и производителям предстояла несомненная. Мысль была счастливая и тогда новая. Оставалось найти людей, которые дали бы средства осуществить ее. Каютин знал, что найти их всего труднее, но не отчаивался. Проникнув несколько в тайны хлебной торговли и речного судоходства и составив приблизительный расчет вероятной выгоды, какую обещала придуманная им мера, он принялся искать нужных ему людей. Теперь ему предстояло испить горькую чашу, и он испил ее до дна! Не-

чего и говорить, что успеха не было. И, конечно, никакое терпение, никакая настойчивость не помогли бы ему, если б не счастливый случай. В то самое время, как он после многих бесполезных и мучительных попыток начинал уже приходить в совершенное отчаяние, один богатый помещик той губернии, весьма умный и образованный, живший то в Москве, то в Петербурге, то в Париже, вздумал наконец пожить в своей губернии с самой благой целью.

— В наше время стыдно ничего не делать,— говорил он.— Я довольно постранствовал по свету, теперь хочу работать... работать, приносить пользу обществу!

Данкову (так звали помещика) было лет тридцать пять. Высокий, плечистый, с довольно полным выразительным лицом, с черной окладистой бородой, с манерами, которых размашистую резкость облагораживала изящная простота, он представлял собой совершеннейший тип русского красивого молодца. Он не любил сюртуков и носил всегда просторный пальто, которого покрой ловко обозначал его видную фигуру. В манере его говорить было также много оригинальности, несколько резкой, но привлекательной. Когда, тряхнув своими длинными кудрями, остриженными в кружок, он энергически ударял кулаком по столу и заводил речь о той жажде благородной деятельности, которая кипит в его груди, нельзя было не сочувствовать, не верить каждому его слову, нельзя было не сознаться, что он призван действовать и сделает много хорошего.

Именно такой человек нужен был Каютину, и они наконец встретились. Каютина удивили его начитанность, его многосторонние сведения, его обширные планы, один другого остроумнее, общеполезнее. Данков, скучавший в глуши, с своей стороны тоже обрадовался Каютину, встретив в нем порядочного человека.

— Поедемте ко мне в деревню,— сказал он ему,— там поговорим на досуге.

Каютин не отказался.

Усадьба Данкова, Новоселки, отличалась красивым местоположением и многими признаками довольства. Одно удивило Каютина: дом помещика, начатый в огромных размерах, был не достроен, и кончать его, казалось, и не думали. Отделано было только несколько комнат.

Помещика встретил человек лет тридцати, наружности привлекательной, но болезненной и угрюмой.

— Здравствуйте, любезный художник! — сказал Данков, дружески пожав ему руку, и потом представил его Каютину.

— Семен Никитич Душников, мой приятель, добрейший и милейший человек, хоть и посматривает зверем!

Душников неловко поклонился Каютину.

За обедом он был так же угрюм и робок и только отвечал на вопросы Данкова, касавшиеся хозяйственных дел,— сам же говорил мало. В словах его виден был ум; но он выражал свои мысли совсем иначе, чем люди, привыкшие к обществу.

— Скажите, что за человек ваш Душников и почему вы называете его художником? — спросил Каютин, оставшись наедине с Данковым.

— А вот какой человек,— отвечал Данков,— мещанин.

— Мещанин?!

— Да, мещанин. История его весьма интересна... если хотите, я расскажу.

— Расскажите, пожалуйста!

И помещик рассказал Каютину довольно длинную историю. По той роли, какая принадлежит Душникову в нашем романе, необходимо знать ее и читателю.

ИСТОРИЯ МЕЩАНИНА ДУШНИКОВА

— Несколько лет тому назад (так начал Данков) по одному делу мне случилось пожить в городе К*. Я остановился в русской гостинице, единственной в том городе. Хозяин гостиницы был купец старого покроя и гордился очень, как я заметил, своим званием, отзываясь с презрением о людях ниже его сословием. Он считал необходимостью заходить ко мне раз в день, чтоб осведомиться, всем ли я доволен. Но такое внимание оказывалось не всякому: желания угодить проезжающим в нем не было. Уважение его ко мне проистекало из других источников: я был коренной дворянин и не без денег, как он мог судить по делу, которое привело меня в тот город. Я люблю говорить со стариками, но мой хозяин был скучен и односторонен. Весь его разговор вертелся около того, как знавал он такого-то дворянина и такого-то вельможу, который сказал ему: «Ты ведь, чай, страшный плут» — и потрепал его по плечу. Раз хозяин пригласил меня к себе на чай, причем с гордостью заметил, что у него и генералы пивали. Знакомых у меня в том городе не было, и я охотно явился на его приглашение. В комнате была страшная духота: все

окна были плотно закрыты, точно в глухую зиму. Достающий почти до потолка шкаф известной формы, в нижней половине которого ящики с медными скобками, а в верхней стеклянные рамы, за которыми помещаются чашки и торчат ложки, натыканные в скважины, поделанные по ребрам полок; изразцовая лежанка с синими густо наляпанными узорами; стулья, плотно поставленные по стенам; кожаный диван с выгнутой спинкой и множеством медных гвоздиков; небольшие окна с белыми занавесками и еранями — такова была комната, куда я вошел. Всё смотрело в ней неуклюже и неловко, и была такая чистота кругом, что даже делалось неприятно. Правда, что у купцов известного сорта две крайности: грязь или чистота, которая наводит уныние. И это уныние, наводимое безжизненной чистотой, еще усиливал огромный и жирный дымчатый кот, старавшийся вылизать как можно чище свои лапы, и без того чистые. У окна сидела старуха в черном нанковом сарафане, с головой, повязанной черным же платком; на ее носу, пригнутом к губам, торчали огромные очки; она шила мужскую сорочку; руки ее дрожали.

— Вот моя хозяюшка! — указывая на нее, сказал купец, самодовольно поглаживая свою седую бороду.— Сорок годов живем в мире и согласии!

Старуха молча привстала и низко поклонилась мне. Всё лицо ее было изрыто рябинами и безжизненно, как будто окаменелое.

Мы уселись. Желая начать разговор, я сделал вопрос, и, кажется, невпопад.

— У вас есть детки?

Хозяин нахмурил брови, а старуха пугливо повернула ко мне голову. С минуту длилось молчание.

— Умерла-с! — отвечал хозяин, и я заметил злобный взгляд, брошенный им на старуху. Старуха тяжело вздохнула и перекрестилась.

— Подай-ка нам самовар! — отдал ей приказание хозяин.

Старуха закопошилась; когда она встала, я был поражен: старуха была согнута в дугу. Заметив, что я провожал ее глазами, хозяин сказал:

— Вот, изволите видеть, как бог-то ее покарал! а всё за то, что против мужа пошла. Гляньте-ка, батюшка, наверх.

Я взглянул: над диваном, где мы сидели, висел портрет молодой девушки в городском платье; лицо было

грустное, черты тонкие. Портрет поразил меня смелостью кисти, я быстро спросил:

— Это чей портрет?

Хозяин задумчиво гладил бороду. При моем вопросе лицо его слегка передернулось; однако ж он отвечал покойно:

— Дочка моя была...

— Прокоп Андреич! — окликнула своего мужа старуха, появившаяся на пороге, таким отчаянным голосом, что я вздрогнул.

Хозяин с сердцем повернул к двери голову и грозно спросил:

— Что надо?

— Самовар готов,— робко отвечала старуха.

— Ладно! — отвечал хозяин и, обратясь ко мне, продолжал:

— Ей всего было годов двадцать, как умерла.

— Она, кажется, уж больная списана? — заметил я, не отрывая глаз от портрета.

— Да-с!.. Уж, знать, мы бога прогневили. Всего одно детище и было, да и то...

И хозяин махнул рукой.

— Прокоп Андреич! медцу прикажешь подать? — тем же отчаянным голосом спросила старуха.

— Давай всего для дорогого гостя! — с дурно скрытой досадой отвечал хозяин.

Чем больше я вглядывался в портрет, тем сильней поражался свободой и тонкостью кисти.

— Скажите, пожалуйста, кто делал? — спросил я, указывая на портрет.

Хозяин избегал смотреть на портрет.

— Кто писал?.. здешний,— отвечал он, не поднимая головы.

— Кто же он?

— Да мещанин здешний.

— Не знаете ли, где он учился?

— А бог его знает! да что, нужно, что ли, вам его? коли угодно, можно послать за ним моего молодца.

— Нет, я так... знаете, очень хорошо сделано.

— Правда, схоже сделано, больно схоже.

И хозяин искоса поглядел на портрет своей дочери.

Я прекратил расспросы, заметив, что они ему неприятны, хоть любопытство крепко поджигало меня. Мы пили долго и много выпили чаю; я люблю чай, да и времени

девать было некуда. Моя ненасытность пленила хозяина; он сознался, что хоть у него и генералы пивали, но так еще не был люб ему ни один гость, как я.

— Отчего это ваша дочь умерла такая молодая? — спросил я снова, когда хозяин немного поразговорился о своей домашней жизни.

— А бог ее знает! из блажи, батюшка; знать, бога прогневили. Девку-то я в страхе божием держал; такая богомольная была, никогда не прекословила. Да всё бабы-то наши: вот они-то, батюшка, всему злу корень... не так ли? ась?

— Так! известно, что у бабы волос долог...

— Да ум короток!.. ха-ха-ха! — подхватил хозяин и долго смеялся избитой пословице, которую я привел очень кстати: она, кажется, расположила его к откровенности; а может быть, и выпитый самовар согрел его душу до такой степени, что он почувствовал необходимость облегчить ее...

— Я вот тебе скажу,— начал он дружелюбным тоном,— как родному, всю правду; что греха таить? девка-то сгибла от дурного дела... супротив родительской воли пошла. Вот бог и покарал; да и мать то ж: дескать, не потакай дурному делу.

В соседней комнате послышался шепот. Я повернул голову и увидал в полуоткрытую дверь старуху, которая стояла на коленях и молилась перед углом, уставленным множеством образов.

— Марюха была у меня девка красивая,— продолжал купец.— Жидковата маленько, да думал: молода еще, выровняется. Всё шло ладно! были у меня в ту пору разные делишки — так дома, почитай, и не сиживал. Раз прихожу, хозяйка бух мне в ноги. «Что, мол, тебе?» Не говорит, а только плачет. «Да говори!» — прикрикнул я. «Марьюшка наша, лебедушка моя, сохнет, словно в поле травка».— «Что приключилось?» — «Батька, отец родной, взмилуйся, не серчай! она у нас одна как перст, мы уж люди старые...» Я смекнул: дело неладно! Не любил я потачки давать; у меня супротив моей воли пойти не смей и подумать... Осерчал я, прикрикнул и мигом узнал всю подноготную. Вишь ты, уж как они там состряпали, бог весть, только отдай я свою дочь за сынишка мещанина Душникова. Старик, не тем будь помянут, был башка умная, то есть — как бы сказать, не солгать? — на словах отменно

всё у него выходило, а дело не спорилось, хоть и трудолюбив был, надо правду сказать.

Я понял, что мещанин, видно, был больше теоретик, что в мелкой торговле никуда не годится, да и вообще не слишком пригодно.

— Даже сынишка,— продолжал купец,— не сумел держать в страхе. Он у него из лавки то и знай бегал, ниже последней узды продать не умел с пользой отцу. Книги читал да вот мазал этак!

И хозяин с презрением указал на портрет дочери.

— Ну, сам посуди: примерно, у тебя была бы дочь... вдруг бы какой-нибудь, или... ну, положим, из нашей братьи приглянулся бы ей... а?.. ведь, чай, не полюбилось бы? а?

И хозяин вопросительно посмотрел на меня.

Я утвердительно кивнул головой, чтоб не задерживать рассказа. У меня правило никогда не противоречить тем, кого нет вероятности переубедить.

— Ну вот так же и мне,— продолжал купец, довольный, что нашел собрата по убеждению,— не след был с мещанами родниться. Батька мой был купец, да и дед-то купец, и никто мещанок в дом не приводил, не срамился. А тут на тебе зятька мещанина-голыша. Да что бы сказали про меня добрые люди? знать, денег нет? аль дочь у него какая-нибудь, с позволенья сказать, потаскушка, что ее за мещанина выдают? Я так расходился, что мои бабы словно неживые стали, тише воды, ниже травы; послал за стариком Душниковым: так и так, говорю, сам знаешь, стать ли мне, купцу... Он же мне должен был, я и пугнул его. Гордая был голова! «Ты,— говорит,— меня не пугай, я ничего не боюсь; воля твоя, Прокоп Андреич, хоть сейчас всё продам, деньги ворочу. А что до моего молодца, так я сам бы не дал ему моего родительского благословения: я сына своего не попущу в чужой дом идти, а пусть жену в дом возьмет; да ему, щенку, надо еще уму-разуму учиться, а не о жене да детишках думать; я,— говорит,— его в Москву пошлю: пусть в чужих людях поживет, горя попытает». Супротив такой разумной речи не стать спорить! Простились мы дружественно,— молодца отец в Москву отослал, в сидельцы к одному земляку; вот я и поотдохнул... только всё мои бабы как-то невеселы. Хозяйка моя то хлебы испортит, то квас, то к празднику пироги забудет испечь. Просто напасть! да я такой вольницы и не видывал! А Марюха моя, словно свечка, тает. Я смекнул дело,—

свах за бока: давайте женишка, только, чур, хорошего! У меня, признаться, уж был на примете один: вдовый, разумная голова, добро мое не пропало бы в его руках. Как узнали мои бабы, что свахи на двор, вой подняли, а я дело повернул круто, да и говорю своей хозяйке, чтоб завтра гостей ждала. Марюха вытаращила на меня глаза, словно съесть хочет, потом бух в ноги да и говорит: «Сударь-батюшка, не хочу я замуж идти, дай мне у тебя умереть». Вижу, дело плохо! что блажи потакать? «Коли ты,— говорю,— ослушаешься, то я знать тебя не хочу!» Сами изволите знать, кому нужна дочь-ослушница!

Я опять кивнул головой.

— Девка взвыла,— продолжал купец,— «Сударь-батюшка! воля твоя, лучше убей, замуж не пойду!» — да вдруг и замолкла, лежит точно мертвая. Мать взмолилась, ноги мне целует. «Она, родимый, у нас одна,— говорит,— взмилуйся!» Срамное дело баб послушаться! Велел я своей хозяйке, чтоб к завтрему пироги пекла да дочь свою нарядила, а коли Марюха не явится к жениху, так я...

— Что же, она явилась?

Хозяин нахмурил брови и глухим голосом отвечал:

— Нет! ее не нашли в доме.

— Куда же она девалась?

— Бог ее знает! Я чуть и хозяйку не потерял... вот бы на старости один как перст остался! Год с лишним лежала в постели, дом вверх дном пошел,— так я уж тогда и позволил ее-то портрет повесить (и он указал головой на портрет дочери). Думаю, хуже: на старости одному не остаться бы... ну, пусть.

— Куда же она бежала? — спросил я.

— Ума не приложу! — сначала думали, что в Москву махнула; да я разузнал, что ее там у него никто не видал... Жива ль она аль нет, Христос знает!

Хозяин повесил свою седую голову на грудь и сидел в раздумье. Старуха продолжала с жаром молиться и плакать в другой комнате.

— Молись, молись!.. загубила дочь-то! — с упреком сказал хозяин.

Я вздрогнул. В однообразном шепоте старухи послышалось рыдание: видно, она услышала слова своего мужа.

Мне стало так душно и тяжело, что я схватился за шляпу; к удивлению моему, хозяин не трогался с места, и я ушел незамеченный. Я пошел бродить по городу, чтоб рассеять неприятное впечатление, и очень сердился на

свое любопытство. Откровенно сказать, я был уже в тех летах, когда чужое горе не скоро трогает, а если захватит врасплох, то состраданье проявляется очень оригинально: вы делаетесь желчны, грубо отвечаете, хмуритесь. Вам совестно, зачем вы огорчились, отчего не вышло никому пользы, а только самому вред... Подобные размышления вкрадываются в нас понемногу, как вор, влезающий в окно и пристально озирающийся, нет ли кого... А позднее нам уже нет нужды и в такой осторожности: постепенно облекаемся мы такой неприступностью, что никто уж и не решается побеспокоить нас своим горем.

Но прогулка по пустым улицам только усилила мою тоску, и я поспешил добраться до своего нумера. Убирая мое платье, трактирный молодец, как называл его хозяин, болтал без умолку, может быть с великодушным намерением развеселить меня. Грязный, небритый, оборванный и вечно полупьяный, он вдобавок имел убийственную страсть говорить с прибаутками. Раз я спросил его, отчего он никогда не бреется.

— Козел бороды не бреет оттого, что денег не имеет,— отвечал он.

— Знаешь ли ты здешнего живописца? — спросил я его.

— Как не знать-с! Мы всех-с здесь знаем, от кума Ивана до последнего болвана.

И дурак самодовольно улыбнулся, отпустив прибаутку.

— Скажи-ка лучше, где он живет?

— Вам нужно-с его?

— Ну да.

— Он живет недалече: у мещанки Шипиловой... Залихватская баба! толокно едала, вино пивала...

— Мне ничего не нужно, иди! — сказал я, чувствуя сильную охоту вытолкать его.

— Иди вон, да не стукайся лбом! — проговорил он, удаляясь, и прибаутка пришлась кстати: он сильно пошатывался.

Закурив сигару, я лег, стал читать и скоро почувствовал, как волнение мое начало успокоиваться. Я совершенно забыл лица, тревожившие меня час тому назад. Мне как-то было приятно, что я нахожусь в городе, совершенно мне чуждом, где ни я никого, ни меня никто не знал.

Так я пролежал с час. Вдруг в коридоре послышалось движение и голос мучителя моего, лакея. Дверь с шумом

растворилась, и лакей, едва державшийся на ногах, известил меня, что он привел живописца.

— Кто тебя просил? — прошептал я сердито, делая ему гримасы, чтоб он притворил дверь; но он, заметив мое неудовольствие, сказал:

— Если не угодно, я велю ему идти, пусть придет в другой раз, не велика штука, может проглотить и щуку.

Я ужасно рассердился: живописец мог всё слышать.

— Проси, дурак! — сказал я и привстал принять гостя.

— Иди сюда! — грубо сказал лакей, маня его рукою к двери.

На пороге явился человек среднего роста, сгорбленный, как старик, в длинном широком сюртуке, очень поношенном и застегнутом доверху, так что остального платья нельзя было видеть. Петли и пуговицы едва держались. Под мышкой у живописца была небольшая картина, завернутая в клетчатый полинялый платок. В руках он мял безжалостно шляпу, порыжевшую от времени. Лицо его далеко не было дурно, но что-то мелкое и жалкое неприятно поражало в нем: он стоял потупя голову, как будто боялся поднять глаза. Я понял эту робость, подошел к нему и сказал:

— Очень приятно с вами познакомиться.

— Вы изволили меня требовать? поясной желаете? — скороговоркой, с заметным дрожанием в голосе спросил портретист и, выставив одну ногу вперед, нагнулся и стал развязывать на коленке миткалевый платок.

Руки его дрожали. Он зубами развязал узел платка и, освободив оттуда два портрета, подал их мне.

— Вот-с моя работа! — робко проговорил он и попятился, стараясь держаться ближе к двери.

— Эвти господа точно живые! — с улыбкой заметил лакей.— Две недели прожили у нас.

То были два портрета удальцов, в одних рубашках, с трубками в руках и бокалами. Я рассмеялся: так хорошо были они сделаны.

— Очень, очень хорошо! — сказал я и придвинул стул к дивану.— Садитесь!

И я стоял, ожидая, пока он сядет.

Портретист видимо ужаснулся. Он смотрел вопросительно то на меня, то на лакея, который в свою очередь смотрел на меня с глупым удивлением.

— Садитесь, пожалуйста! — сказал я и взял за руку портретиста.

Лакей фыркнул и кинулся вон: истерический смех раздался по коридору. Я запер дверь, и мне стало так же неловко, как и портретисту: только тут понял я ужас такого положения. Я искоса взглянул на портретиста: он вертел свою шляпу в руках так, что она трещала. Воображенье ли меня обмануло, только мне показалось, что у него на ресницах дрожали слезы.

— Садитесь, пожалуйста! — сказал я умоляющим голосом и сам помог ему сесть.

Портретист сел на кончик стула. Я боялся взглянуть на него.

— Чьи это портреты? — спросил я после нескольких минут молчания, любуясь удальцами.

— Это-с остались... забыли взять...— отвечал, запинаясь, портретист и хотел привстать.

Я удержал его. Меня поразила деликатность ответа. Я догадался, что, видно, деньги не были заплачены за работу.

— Вы здешний? — спросил я.

— Да-с.

— Где вы учились?

— Я-с... я самоучкой больше!

— Неужели? — воскликнул я недоверчиво.

Портретист слегка покраснел и поспешил прибавить:

— Я с детства любил-с рисовать.

Я с благоговением смотрел на портреты, которые лежали передо мной на столе.

— Очень хорошо! как это вы могли дойти до всего?

— Страсть-с! я день и ночь прежде трудился; нынче — вот так, здоровье...

И портретист замолчал.

Я поглядел на него, и мне стало больно: признаки неумеренности начинали налагать на его измученное лицо печать безжизненности; одутловатость щек и мутность глаз неприятно подействовали на меня.

— Много имеете работы?

— Очень-с мало, очень! Иной раз по целым месяцам кисти не беру в руки... здешним не нравится моя работа!

Я заметил горькую улыбку на его потрескавшихся губах.

— А цена какая вашим портретам?

— Оно дешево... очень дешево-с... да я рад и этому был бы иной раз: пять и десять рублей, смотря по величине.

Я чуть не закричал от ужаса.

— Вам невыгодно, я думаю? чем же вы живете? — спросил я.

— Да так-с.

И портретист невольно обдернул свой сюртук. Я покраснел, осмотрев попристальней его платье: оно было всё в заплатках. Мы молчали оба. Мне так стало неловко, что я очень желал в эту минуту, чтоб портретист догадался и ушел; но он продолжал сидеть потупя глаза.

— Вы постоянно здесь живете?

— Да-с... нет-с, я был в Москве.

— Долго?

— Года два-с.

— Что же вы там делали? тоже работали?

— О, я там очень хорошо жил: я много имел работы, очень много!

Глаза его оживились, и, помолчав с минуту, он спросил с неожиданной развязностью:

— А вы надолго сюда приехали?

Я с удивлением посмотрел на портретиста: он о чем-то думал.

— Нет... впрочем, я здесь по делу... смотря по тому, как оно пойдет.

— Что-с? — быстро спросил портретист.

— Я говорю, что не знаю еще, долго ли пробуду здесь.

Портретист дико смотрел на меня: видно было, что он совершенно забыл о своем вопросе. Мы опять сидели молча... Я встал, портретист тоже вскочил и, заботливо схватив свой стул, закопошился, не зная, куда его поставить.

— До свиданья! — сказал я и, взяв у него стул, подал ему руку.

Портретист сначала протянул мне свою шляпу, а потом уже чуть дотронулся до моей руки, как будто боялся обжечься. Я проводил его до дверей. Он успел споткнуться раза три на гладком полу и потом уж вышел. Я слышал, как лакей сказал ему:

— Ну-ка, давай двугривенник: ведь я тебя привел к барину!

Нельзя сказать, чтоб я спокойно спал в эту ночь. На другой день, часа в три после обеда,— там уж так рано обедали,— пошел я отдать визит портретисту и посмотреть его мастерскую, расспросив наперед полового, где живет Душников. Но это, впрочем, было лишнее: в том городе любой прохожий мог указать квартиру кого угодно.

Я пришел к полуразвалившемуся домику о трех окнах и, взбираясь по темной и ветхой деревянной лестнице, чуть не разбил лба; ощупью нашел дверь и, отворив ее, очутился в кухне, до того натопленной, что трудно было дышать. Стон стоял в ней от множества мух. Девка лет семнадцати, спавшая на голом полу под овчинным тулупом, вскочила при моем появлении и, протирая глаза, пугливо спросила:

— Кого надо?

— Здесь живет господин Душников?

— Кого?

— Вот что пишет... Душников.

— А!..

И девка бросила робкий взгляд на полурастворенную дверь, ведущую в другую комнату.

— Кто там? Эй, Оксютка! — раздался оттуда неприятный женский голос.

Я заглянул в дверь. Почти всю небольшую комнату занимала огромная кровать с пестрыми ситцевыми занавесками. Пуховики возвышались до потолка, так что взобраться на них можно было только с помощью подмостков. Может быть, потому владетельница комнаты предпочла улечься, свернувшись, на небольшом сундуке и, вероятно опасаясь озябнуть при двадцати пяти градусах тепла, прикрыла плечи меховой душегрейкой.

— Здесь живет господин Душников? — спросил я, не решаясь войти.

— Ах, господи! Оксютка! — вскрикнула хозяйка и вскочила с сундука.

Она была высока и полна, с черными зубами, одета по-городски; платье у ней назади не сходилось на четверть; волосы, в которых торчала роговая гребенка, были растрепаны, отчего ее грубое лицо приняло страшное выражение. Сильно топая ногами в шерстяных спустившихся чулках, она подошла к двери и, высунув голову, внимательно оглядела меня.

— Кого вам, батюшка, угодно? — спросила она с тривиальной любезностью.

— Господина Душникова,— отвечал я сердито.

Распахнув дверь во всю ширину, хозяйка явилась в кухню и, то приподнимая, то погружая глубоко свою неуклюжую роговую гребенку, с наслаждением чесала голову.

— Да здесь, что ли?

— Пожалуйте сюда! — ласково сказала она и отворила дверь в сени.

Мы поднялись еще несколько ступенек. Хозяйка бойко отворила дверь и повелительно крикнула в комнату:

— Семен Никитич, вас спрашивают!.. Пожалуйте-с,— прибавила она, приглашая меня войти.— Ну, скорее, скорее: господин ждет!

И она с ворчаньем спустилась с лестницы.

Я вошел в комнату, если так можно назвать грязный чулан, и заметил, что портретист, спрятавшись за дверью, торопился надеть свой засаленный сюртук; но рукав вывернулся; портретист никак не мог найти его.

— Не беспокойтесь! — сказал я, заметив, что пот выступил у него на лбу.

Портретист принялся кланяться. Я оглядел комнату, и дрожь пробежала по моему телу. Несмотря на лето, в ней было сыро и мрачно. Единственное окно, завешенное дырявым передником, слабо освещало грязную, оборванную мебель: кожаный диван с деревянной спинкой и ситцевой подушкой, хранившей свежие следы головы несчастного портретиста, два стула и длинный простой стол, на котором вместе с красками валялись объедки пирога и балалайка. На мольберте висел старый жилет и шейный платок, в углу стоял полуразвалившийся комод — вот и всё... Да, я еще забыл сказать, что пол и потолок совершенно покривились на один бок.

Вышедши из засады и поклонившись мне в сотый раз, портретист схватился за стул, вытер его полою своего сюртука и предложил мне. Потом он кинулся прибирать на столе, обнаруживая такую мучительную суетливость, что я раскаялся, зачем пришел к нему.

— Я думаю, вам здесь очень дурно работать? — сказал я, приняв на себя роль хозяина и усадив портретиста.

— Нет-с... то есть очень-с.

И портретист оглядел свою комнату с таким видом, как будто прежде и не подозревал, что мастерская его не очень удобна.

— Позволите посмотреть? — спросил я, протянув руку к листу, на котором заметил какую-то фигуру.— Господи! да это я! — вырвалось у меня невольно.

Портретист сконфузился и, выдвинув ящик у стола, достал оттуда тетрадь вроде альбома и предложил мне. Я начал рассматривать альбом: много было хорошего. Больше всего поразило меня смуглое лицо молодой жен-

щины, которое повторялось беспрестанно; в этом оригинальном лице было что-то привлекательное и страшное.

Между тем портретист, прибирая комнату, нечаянно толкнул какую-то стеклянную посудину и сильно сконфузился. Желая показать ему, будто я не слыхал этого обличительного звука, я спросил, указывая на смуглую женщину:

— Позвольте узнать, чей это портрет?

Заглянув в тетрадь, портретист ахнул, вырвал у меня альбом и, судорожно повертывая его, весь бледный, пробормотал:

— Извините-с... я ошибся, это так... я сам для себя...

— Ничего-с, помилуйте!

— Вот извольте другую.

И он подал мне другую тетрадь. Я пересмотрел всё и окончательно убедился, что несчастный портретист при других обстоятельствах мог быть великим художником. Тут случайно бросилась мне в глаза довольно большая картина, стоявшая в темном углу и повернутая к стене.

— Можно посмотреть? — спросил я, указывая на картину.

Портретист смешался; я замолчал и принялся снова пересматривать тетрадь. А он опять засуетился в комнате. Так прошло минут пять. Я поднял голову — и остолбенел. На мольберте стояла картина, изображавшая смуглую женщину, купавшуюся в речке, покрытой болотными белыми лилиями. Портретист заботливо устанавливал картину, стараясь отыскать выгоднейшее освещение, наконец поднял дырявый передник у окна и начал внимательно смотреть на картину, как будто совершенно позабыв о моем присутствии. Я вскочил и кинулся ближе: женщина, казалось мне, была живая; ее жгучие черные глаза лукаво смотрели на меня; свежестью дышала ее смуглая кожа; полураскрытый рот весело улыбался. В ее черных как смоль, роскошных волосах красовались белые лилии, переплетенные одной прядью косы; а другая прядь, полурасплетенная, падала на цветы и широкие листья, окружавшие высокую грудь и пышные плечи красавицы, полускрытые в воде. Рука ее, строгой формы, тянулась сорвать еще цветов, и на ней висели зеленые тонкие травы. Отделка была необыкновенно тонка и изящна. Я повернулся с намерением обнять художника; но я не узнал его: ничтожное и жалкое лицо его одушевилось, глаза блесте-

ли, он стоял прямо и гордо смотрел на картину. Я долго любовался художником и его произведением.

— Боже! как хороша! — воскликнул я, всё более увлекаясь смуглой женщиной.

— Не правда ли? — с гордостью подхватил портретист.— Посмотрите,— продолжал он,— волосы, волосы-то!.. а глаза!.. улыбка... а руки? Я уж потом никогда не встречал такой руки!

— Так, значит, это не фантазия ваша? — спросил я с живостью.— Я рад, впрочем, что в действительности существуют такие женщины. Только мне кажется,— прибавил я, намекая на страшно лукавое выражение красавицы,— что они хороши для портрета, а не для жизни.

Портретист не слушал меня; он страшно изменился в лице, сложил руки на груди и с каким-то благоговением смотрел на смуглую женщину. И вдруг он закрыл лицо руками, пошатнулся и с глухим рыданием кинулся на диван.

Во всю жизнь я раз только слышал такие раздирающие рыдания; они были тихи, но так и хватали за душу. Что мне было делать? Утешать я не мог: я ничего не знал, да и, правду сказать, чем станешь утешать человека, когда каждый его стон заключает в себе столько жалобы, столько страдания, что все сокровища мира, кажется, не в состоянии искупить их? Я постоял, постоял, снял с мольберта картину, поставил ее на прежнее место и вышел из комнаты.

На другой день я посылал за портретистом, но он не явился, сказавшись больным.

От моего полового-балагура я узнал, что хозяйка Душникова, мещанка Шипилова, была женщина жадная, обижала портретиста, брала с него страшные расписки и держала его в руках. Лакей намекнул мне о близких отношениях ее к портретисту.

Дня через три портретист зашел ко мне. Я был очень рад его посещению и употреблял все усилия уничтожить в нем застенчивость. Совестно сознаться, но вино было единственное средство заставить его говорить свободно. Он описал мне свое жалкое положение, и я узнал, между прочим, что его считают самым дурным портретистом именно за сходство, которое не нравилось дамам. «Что за живописец, который не умеет прикрасить!» — говорили они. Я сказал ему, что был в гостях у хозяина гостиницы, передал ему рассказ купца о дочери и просил сказать мне от-

кровенно, знает ли он, где она. Портретист божился, что он ее не видал с той поры, как отец отправил его в Москву. Я стал бродить с ним по городу, бывал даже на гуляньях, что немало сделало шуму в городе. Чего-чего обо мне не толковали! Наконец решили общим голосом, что я потому с ним связался, что имею тоже слабость к вину. Меня тешили эти сплетни, я радовался, что хоть на минуту оживил город: многие из городских сплетников шмыгали около гостиницы, чтоб увидеть меня и на целый день запастись материалом для своего языка. А когда я появлялся с портретистом на гулянье, мимо нас толпами ходили дамы и кавалеры и лорнировали нас, перешептываясь.

Раз портретист, выпив стакана три пуншу, сделался очень развязен.

— Ну, расскажите мне, пожалуйста, как вы воспитывались? — сказал я ему.

Он усмехнулся и так начал свой рассказ:

«Да что вам рассказать? Ну, вот: отец мой был мещанин, очень честный и умный, но ему ничто не удавалось,— видно, мелкая торговля не того требует. От неудачи ли в делах, или уж так, по характеру, только он был страшно суров и упрям. Мать моя была женщина тоже неглупая, но сварливая и болтливая. Много было у них детей, да всё умирали, только я, последний, уцелел. Мать баловала меня. Мне было лет восемь, когда в городе стали строить церковь, а отца сделали старостой. Я бегал туда играть. Церковь выстроили; начали расписывать. Я целые дни проводил в ней: меня сильно занимало, как расписывают потолки. Живописец у нас был тогда немец; он портреты делал и потолки расписывал в домах, да и то едва жил. Он был уже стар и, бывало, поработавши немного, отдыхал и разговаривал со мною. Дети любят передразнивать больших: мне страстно захотелось тоже рисовать. Я стал приставать к старику, и он взялся учить меня. Я был понятлив и довольно скоро начал порядочно рисовать носы и глаза. Это расположило ко мне старичка, и он удвоил свои старания. Раз я долго смотрел на своего учителя: мне показался странным его нос; я нарисовал его и поднес ему. Он рассмеялся: видно, узнал,— и, погладив меня по голове, сказал: „Учись, Сеня: будешь богат“. С того дня я рисовал всех, кто мне нравился или не нравился. Помню, как больно отец высек меня за страшную рожу с рогами, которую я нарисовал и забыл спрятать; мать увидала ее, хотела похвастать и показала отцу. Мне запретили ходить к учи-

телю, но я бегал тихонько. Так я дожил до шестнадцати лет. Выучив грамоте кое-как, отец засадил меня в шорную лавку; я умирал со скуки и, как есть время, украдкой, бывало, всё чертил что-нибудь. Вдруг случилась беда: учитель мой разрисовывал у кого-то потолок, да и упал и переломил себе руку. Тут только я почувствовал всю мою любовь к доброму старику. Меня запирали, меня секли, но я всё-таки убегал, чтоб посидеть у больного. Он умер на моих руках, оставив мне свои краски, холст, даже платье свое. Я всё это перетащил тихонько на чердак и устроил там себе мастерскую. Ни о ком еще так не плакивал я, как о моем учителе, сидя ночью в своей мастерской и не зная, как и что делать с рукой или ногой, которая мне не нравилась, но которую поправить, как ни бился, я не умел. Мне пришла мысль проситься у отца, чтобы он позволил мне быть живописцем, и я приступил к этому, нарисовав Спасителя, только что снятого со креста. То был день Пасхи. Мать поднесла ему картину: отец очень хвалил и пожелал знать, откуда она взялась. „Это наш Сенька!“ — сказала мать. Отец улыбнулся. А я чуть жив стоял за дверью, подсматривая в щелку. Меня позвали к отцу; он похвалил меня и дал мне синюю ассигнацию. То были первые деньги, выработанные мною; я чуть с ума не сошел от радости и на все накупил себе карандашей и бумаги. Я стал трудиться неутомимо, день сидел в лавке, а ночь на чердаке,— читал, учился,— всё думал своими сведениями поразить отца: авось тронется моими трудами и отпустит в Москву учиться. Напрасно! Раз он увидал, что у меня огонь на чердаке, ни слова мне не сказал, только... Целый день я просидел в лавке и после ужина, укравши у матери огарок, с радостью побежал наверх. Можете представить мое положение, мое отчаяние. Я не узнал своей мастерской. Всё было сломано, разбросано, бумаги разорваны, всё вверх дном! Я стоял как ошеломленный, и вдруг принужденный смех раздался за мной. То был мой отец, наслаждавшийся своим торжеством. Он долго стыдил своего непокорного сына, и я дал ему слово более не тратить времени на глупости. Я не сдержал его. Я рисовал, где только было можно, и с той поры стал заниматься портретами, делать копии с образов и копил деньги: у меня была мысль бежать в Москву.

Наступал мне тогда двадцатый год; я заметил, что на меня ласково глядят девушки. Это мне понравилось, но я был робок и не решался заговаривать с ними. Тут-то я

сошелся с Машей, дочерью Прокопа Андреича, вашего хозяина. Она мне созналась, что давно я ей приглянулся. Я любил ее страстно, как мне казалось тогда, и дал ей слово жениться. Тогда-то я и снял с нее портрет. Маша одним мне не нравилась: вечной своей грустью. Правда, отец ее человек крутой, и надежда была плоха на его согласие, но даже в минуты самой нежности она плакала и всё твердила: „Сеня, не разлюби меня — я умру!“ Скоро она стала худеть и хворать и наконец созналась во всем матери, которая страстно любила ее. Они поплакали вместе, помолились богу и приступили к делу, то есть сказали отцу...»

— Я знаю, какой ответ они получили,— перебил я.

«Ну так вот, я, ни жив ни мертв, ждал грозы, узнавши, что Прокоп Андреич прислал за моим отцом. Страшно вспомнить, какое было лицо у отца, когда он воротился от него. „Ты хочешь жениться?.. а? щенок ты этакой! ты женин хлеб хочешь есть! да ты,— говорит,— отцу на грош барыша не принес, еще с выгодой ни разу простой узды не продал. Я тебя! я,— говорит,— в очередь тебя упеку, если ты будешь думать о женитьбе...“ Я бух ему в ноги, просил простить и позволить идти в Москву. Отец согласился,— только, как я узнал от матери, согласился он с тем, чтоб засадить меня там в лавку, к одному своему приятелю. „Пусть,— говорил он,— чужого хлеба попробует да горя помыкает на чужой стороне!“ Я простился с матерью и отцом и решился лучше бежать из Москвы в Петербург, но уж ни за что не быть сидельцем. Приехав в Москву, я сдал дело, которое мне поручил отец, и написал ему, что хочу учиться и быть живописцем. Он грозил сам приехать за мною, но захворал и умер; мать тоже вскоре умерла, оставив мне один только домишко полусгнивший, который теперь принадлежит мещанке Шипиловой... Я продал его ей, как воротился сюда...»

Ничего дальше никогда портретист мне не говорил.

Наконец дела мои кончились. Я собрался ехать. Портретиста я с неделю уж не видал. Он сидел запершись в своей комнате, не пускал никого к себе и сам не выходил никуда. Всё уже было готово. Я уже уселся в экипаж, потеряв всякую надежду видеть его, как вдруг, к удивлению моему, он явился. Я заметил в нем особенную веселость и развязность и угадал причину тотчас, как он заговорил: язык плохо повиновался ему. Прощаясь со мною, он сунул

мне в руку небольшую картину, завернутую в бумагу, сказав:

— Это на память от меня.

Я крепко пожал ему руку, и мы простились. Как только он удалился, я сорвал бумагу. В руках моих была удивительная копия с портрета смуглой женщины с белыми лилиями. Ее большие глаза с лукавой улыбкой навели на меня страх. Простившись с хозяином и трактирной прислугой, обступившей меня, я поехал и, проезжая одну улицу, еще раз увидел портретиста. Он едва держался на ногах и чертил углем на заборе какую-то фигуру. Мальчишки рвали его за фалды, а смельчаки рисовали мелом ему на спине разные рожи с высунутыми языками. Я взглянул невольно на смуглую женщину, которая оставалась еще у меня в руках. Она язвительно улыбалась, как бы посмеиваясь над тем, что я чувствовал в эту минуту. Под тяжелым впечатлением оставил я город.

Приехав в свою деревню, я послал портретисту денег и письмо, в котором просил его переехать ко мне. Я получил от него ответ очень трогательный. Он сознавался, что жизнь его грязна, но писал, что силы его оставили, что он не надеется на себя и потому считает лучшим остаться в прежнем положении. У нас завязалась переписка. Он удивил меня смелостью и здравостью своих суждений об отвлеченных предметах; о том же, что было ближе к нему, он избегал писать. Наконец я спросил его раз, какое обстоятельство было в его жизни, заставившее его так опуститься? «Старая песня (писал он мне) — любовь самая страстная и самая безумная», и с следующей почтой прислал толстое письмо. Вот оно; прочтите:

«Решившись жить в Москве и учиться (так начиналось письмо, которое Данков вручил Каютину), я стал писать образа. Работа шла удачно. Я ходил в галереи, проводил там целые дни и был совершенно счастлив. Только любовь к Маше... но я скоро забыл ее и весь предался искусству. Так я прожил с полгода, очень счастливо; но так как человек ничем не бывает долго доволен, то я задумал ехать или идти пешком в Италию и занялся исключительно портретами, чтоб скопить деньжонок на дорогу. Правда, иногда, воротившись с какого-нибудь сеанса, я чуть не разбивал себе головы об стену с отчаяния и унижения; но надежда осуществить мои планы поддерживала меня. Бывало, сидишь в каком-нибудь доме, снимаешь портрет

с кривой барышни; вдруг является папенька или маменька, невежды в искусстве, и начинают делать грубые замечания и давать советы; да это еще ничего, а то с наглостью требуют перемены, которую невозможно сделать, и если не угодишь, так портрет кривой барышни остается в руках. Старая кокетка требует, чтобы она сидела en face,* но в то же время, чтоб видна была ее толстая, неискусно привязанная коса, глаза были бы томны, тогда как они съесть хотят. Мать семейства, желающая оставить потомству свое тучное изображение, бранится с поваром, который стоит в дверях, за лишний фунт муки и поминутно стучит кулаком по столу,— отчего и рука моя и стол дрожат,— а потом сердится, что долго должна сидеть.

Раз мне случилось писать портрет с одной старушки. Я был в восторге от ее доброго и благородного лица. Она обласкала меня, и я в первый раз чувствовал легкость в чужом доме. Узнав мое звание, она не изменилась ко мне, а даже удвоила внимательность. Я всякий день ходил к ней обедать и снова принялся учиться, потому что старушка дала мне деньги вперед за образ, который заказала, а скорого исполнения не требовала. Тут только я с ужасом вспомнил о Маше, которую, впрочем, уж не любил,— может быть, потому, что она могла быть помехой моим лучшим надеждам. Я молил бога, чтоб отец ее продолжал упорствовать и освободил бы меня от подлости, которую пришлось бы сделать. Да тут скоро всё перевернулось.

Старушка все уши прожужжала мне рассказами о своей внучке Лизе, которая гостила у одной своей подруги в деревне, недалеко от Москвы, и должна была скоро воротиться домой. Старушка была ее опекуншей; Лиза была круглая сирота. Раз прихожу к старушке обедать и замечаю, что она как-то необыкновенно весела. Первое ее слово было:

— Семен Никитич! Лиза моя приехала!.. Лиза! Лизанька! поди сюда! — закричала старушка с своего дивана, где она постоянно сидела.

— Сейчас, бабушка! — отвечал из другой комнаты звучный голос.

Через минуту в комнату вошла смуглая девушка, среднего роста, с таким детским, веселым взглядом, что и сама она показалась мне ребенком. Она с любопытством посмотрела на меня. Я сконфузился: ее взгляд был жгуч и совер-

---

* лицом к смотрящему *(франц.)*

шенно недетский. Потом она занялась своим передником, в котором что-то держала.

— Это Семен Никитич, Лиза! — сказала бабушка таким голосом, в котором слышалось мне: „Полюби его!“

— Что ваш портрет делал, бабушка? — спросила Лиза и снова бросила на меня жгучий взгляд.

Я покраснел и поклонился еще раз.

— Да, да. Вот он и с тебя снимет тоже; он добрый! — отвечала старушка.

Лиза лукаво улыбнулась, подошла ко мне и, раскрыв свой передник, показала мне трех еще слепых котят, которые тихо пищали.

— Сделайте одолжение, снимите мне портрет с моих котят, только, пожалуйста, чтоб были похожи.

— Лиза! что это? — спросила старушка, услышав писк.

— Котята, бабушка! Я вот прошу Семена Никитича снять с них пор...

— Лиза, Лиза! — с упреком перебила старушка, качая головой.

Я глядел как дурак на смуглую девушку и ничего не мог сказать. Я видел только, что она не дитя, а женщина, что стройный ее стан уже совершенно развит. Необыкновенная гибкость была в каждом ее движении; глаза горели и, казалось, щурились от собственного блеска; губы заманчиво были полураскрыты, а белые зубы резко обозначали свежесть их; волосы, черные как смоль, небрежно, но грациозно были уложены вокруг головы; их тяжесть тянула головку немного назад, отчего в лице девушки было что-то смелое и вакхическое. Простое белое платье с открытым лифом и короткими рукавами еще разительнее высказывало смуглость ее кожи.

Она, кажется, заметила впечатление, которое произвела на меня, и, лукаво улыбнувшись, убежала из комнаты.

— Ох эта Лиза! — сказала старушка, провожая глазами свою внучку.— Вы, пожалуй, подумаете, Семен Никитич, что она дитя... Нет, батюшка, ей уже девятнадцать лет.

Я не хотел заметить доброй старушке, что жгучие взгляды внучки лучше всего говорят, сколько ей лет. Весь тот день я провел у старушки, не спуская глаз с Лизы, которая казалась мне то капризным ребенком, то страстной женщиной.

— Завтра, Семен Никитич, потрудитесь начать портрет с Лизы,— сказала старушка, когда я уходил домой. Назначили час.

Очутившись на улице, я почувствовал, что голова моя горит; в ушах так шумно, точно я угорел. Смуглое личико и жгучие глаза Лизы ни на секунду не давали мне покоя. Я не лег спать, а всю ночь просидел с карандашом, рисуя это чудное личико. К утру я сел на диван, поджав ноги, и так просидел несколько часов, припоминая каждое слово, каждое движение смуглой девушки. Мне было весело.

Часом ранее условленного времени явился я к старушке. Мы долго ждали Лизу; старушка несколько раз посылала будить ее. Наконец Лиза явилась с лицом, в котором и тени не было сна. Она сухо кивнула мне головкой и поцеловала у бабушки руку.

— Лиза, как это тебе не стыдно заставлять ждать себя! ведь Семен Никитич трудами живет! — наставительно сказала старушка.

Лиза с презрением посмотрела на меня и, проходя мимо, сказала:

— Вольно же вам было так поторопиться... Уж если б не скука лежать, я бы вас!

Она улыбнулась и выбежала.

Я стал готовиться, разложил краски и карандаши. Явилась Лиза с своими котятами.

— Лиза, опять котята... как не стыдно! — сказала старушка.

— Ах, бабушка! надо же мне что-нибудь держать в руках. Посмотрите, как будет мило! — прибавила она, обращаясь ко мне, и села на стул.

Сложив руки на груди и закинув головку назад, Лиза лукаво глядела на меня.

— Не правда ли, так будет хорошо?

Она улыбнулась и переменила положение.

Я ничего не отвечал: я не мог еще опомниться, пораженный чрезвычайно грациозной позой, которую она за минуту приняла.

— Неужели так будет лучше?

И Лиза сбросила котят на пол, вытянулась и сделала бессмысленные глаза,— но в ту же минуту покатилась со смеху и, поймав котят, приняла прежнюю позу.

Старушка молча взяла с колен внучки котят и унесла

их. Лиза насмешливо глядела ей вслед и, обратясь ко мне, строго сказала:

— Я хочу, чтобы я была нарисована с котятами; слышите?

Я кивнул головой, не сводя с нее глаз.

Старушка возвратилась и с гордостью спросила свою внучку:

— Что, будешь смирно сидеть?

— Нет, бабушка! — отвечала Лиза.

— Отчего?

— Мне смешно, право, смешно.

И Лиза стала смеяться.

— Ну, отчего тебе смешно? — сердито сказала старушка.

— Выйдите, бабушка, я буду смирно сидеть.

Старушка ушла. Проводив ее лукавым взглядом, Лиза вскочила со стула и запрыгала, как дикарка. Корпус ее гнулся во все стороны,— точно у ней не было костей.

— Вам угодно, чтоб я рисовал ваш портрет? — спросил я, чувствуя, что весь горю.

— Разумеется, нет! изволь сидеть два часа как кукла; на тебя смотрят, рассматривают тебя, как какое-нибудь чудовище!

И Лиза расхохоталась, заглянув в зеркало.

— Лиза, не болтай! — закричала старушка из другой комнаты.

Лиза, как кошка, на цыпочках подкралась к своему стулу и села. Устала ли она или уж сжалилась надо мною, но наконец, после долгого спора, уселась, как я желал. Только я никак не мог уговорить ее, чтоб она смотрела в другую сторону. Нет, ее жгучие глаза прямо были устремлены на меня. Стараясь скрыть свое смущение, я чинил карандаши, ломал их и снова чинил, натирал краски. Вдруг Лиза вскрикнула, вскочила со стула и залилась истерическим смехом; потом она упала на диван и, помирая со смеху, принимала такие чудесные позы, что я, как держал в руках краски, так и остался неподвижен.

Вошла старушка и, слегка покраснев с досады, сказала:

— Это уж из рук вон, Лиза!

— Бабушка... посмотрите... ха-ха-ха! — сказала внучка, указывая на меня.

Старушка, поглядев на меня, усмехнулась и покачала головой.

— Ну, есть тут чему смеяться? — сказала она.— Семен Никитич, вы себя краской мазнули.

И старушка указала мне на щеку. Я начал стирать краску.

— Не троньте! — нежно закричала Лиза и с ужимками котенка стала ласкаться к бабушке, целовала ее и вела к двери, приговаривая:

— Бабушка, голубушка, я не буду шалить, простите, уйдите, право, буду хорошо сидеть.

Я заметил, что старушка исполняла всё, что хотела внучка. И теперь она вышла; мы опять остались одни.

— Дайте мне палитру и кисть,— умоляющим голосом сказала Лиза и, не дожидаясь, вырвала у меня из рук, что просила.

Я с восгоргом глядел на нее, не понимая, что она хочет делать. Смеясь, она подошла к зеркалу и начала себе раскрашивать лицо с таким искусством, как будто от рождения только этим и занималась.

— Так хорошо?.. а?..— поминутно спрашивала она, оборачивая ко мне лицо.

Раскрасив его, она распустила свою косу, которая чуть не доставала до полу, и, любуясь собой в зеркало, спросила:

— Не правда ли, я похожа на дикую?

— Красавицу! — прибавил я невольно.

— Так я вам нравлюсь? — наивно спросила она.

Я молчал.

— Ах! — вскрикнула она и, нежно посмотрев на меня, подошла ко мне и сказала: — Позвольте мне вам раскрасить лицо,— будемте дикими! Вы первый начали! — прибавила она с усмешкой.

Я вытянул лицо. Она проворно взъерошила мне волосы, взяла палитру и кисть и, передразнивая меня, начала разрисовывать мои щеки. Потом Лиза села на стул, а мне приказала стать на колени. Я повиновался и жадно смотрел на нее: она была так близко ко мне, я даже чувствовал ее дыхание! Она вертела своими руками мою голову, любуясь своей работой Мы так углубились в наше занятие, что не заметили прихода старушки, которая, всплеснув руками, с ужасом вскрикнула:

— Что это?

Лиза отскочила от меня и, смеясь, сказала:

— Бабушка, меня Семен Никитич учит рисовать.

Должно быть, я был очень смешон, потому что добрая

старушка от души смеялась, глядя на меня. Лиза пошла смывать краски, я тоже, и, заглянув мимоходом в зеркало, сам рассмеялся: Лиза нарисовала на моем лице множество разноцветных котят. Смывши краски, мы опять уселись за работу. Старушка села тут же. И я успел набросать абрис лица ее внучки.

— Хотите учиться рисовать? — спросил я Лизу.

— Нет!

— Отчего?

— Оттого что я не люблю ничему учиться.

— Что же вы любите?

— Бегать! ах, побежимте... кто кого догонит?

И Лиза вскочила со стула.

— Я устала, довольно,— сказала она и, лукаво указывая мне головой в сад, убежала.

(При доме, как часто в Москве, был довольно большой сад. Всё это происходило весной.)

Я наскоро убрал свои краски и кинулся в сад. Увидав меня, Лиза побежала в другую сторону, поддразнивая меня и крича:

— Догоните, догоните!

Мы бегали долго: я измучился; несколько раз я уже ловил ее, но она какою-нибудь хитростью ускользала из моих рук. Я разгорячился и, догнав ее, схватил за талию. Она стала защищаться и...

Сам не знаю как, я крепко обнял ее — и страшно испугался. Лиза побледнела; она дико глядела на меня и, с негодованием вырвавшись из моих рук, тихо и гордо пошла к дому, как тридцатилетняя женщина. Долго я стоял на одном месте, не решаясь идти в дом: так испугал меня взгляд Лизы. Мы увиделись за столом. Лиза была молчалива. Заметив перемену в своей внучке, старушка сказала:

— Вот, Лиза, если бы ты всегда была такая.

— Вам нравится? — спросила Лиза, и мне показалось, что вопрос больше относился ко мне.

В несколько дней портрет был кончен; сходство было поразительно, хоть я не был им доволен.

— Теперь я могу быть веселой? — спросила меня Лиза, пожимая мне руку за портрет.

— Разве я вам мешал?

— Да... вам, кажется, не нравилось, что я всё смеюсь.

Лиза сделалась весела по-прежнему. Целые дни проводил я с ней, бросил занятия и жил только любовью, сам

не смея сознать ее в себе. Лиза сердилась на меня, если я не приходил к ним; но на мой вопрос: „Разве вам скучно без меня?" — она обыкновенно отвечала:

— Я думаю! с кем же мне бегать? — не с бабушкой же.

Пришло лето. Старушка начала собираться в свою деревню. Я чуть не сошел с ума при одной мысли, что нужно расстаться с Лизой. Она заметила мою грусть и требовала, чтоб я сказал ей причину. Я молчал, слезы душили меня.

— Я знаю, знаю! — сказала Лиза.— Вам скучно, что я уеду в деревню?.. вы... вы влюблены в меня,— строгим голосом прибавила она.

Я вздрогнул и, закрыв лицо руками, прошептал:

— Да, я вас люблю!

Лиза молчала. Я открыл лицо, с жаром поцеловал ее руку и спросил:

— Вы позволите мне любить вас?

Лиза вспыхнула и, отбегая прочь, сказала:

— Я никому не запрещаю любить меня.

На другой день старушка предложила мне ехать с ними в деревню. Чтоб скрыть свою радость, которая так и порывалась наружу, я говорил, что мне некогда.

— Вы не хотите ехать с нами в деревню? — строго спросила Лиза, когда мы остались одни.

— Я боюсь.

— Чего?

— Вас.

— Разве я кусаюсь?

— Хуже! вы так хороши... вы будете смеяться надо мной.

— Если вам что не понравится, скажите — я не буду этого делать.

— Так вам жаль меня? — в восторге спросил я.

— Разве вы несчастны? — с удивлением спросила она.

— О, я очень... Я люблю вас; а вы?

— Что же я такое делаю? разве я вам запрещаю... ну, продолжайте меня любить; может быть, я вас и полюб...

Я не дал ей договорить, кинулся перед ней на колени и, рыдая от восторга, целовал ее руки. Она не защищалась и с любопытством глядела на мой безумный восторг.

Мы приехали в деревню. Я заметил, что старушка смотрела на меня как на близкого ей человека и, верно, не стала бы противоречить своей внучке, которая позволяла мне целовать ей руки, говорить про мою безумную лю-

бовь, но сама ни разу мне не сказала, что любит меня. Целые дни мы гуляли вместе по полям, по горам, по саду. Сад был огромный, но запущенный: старушка находила излишним занимать свою немногочисленную дворню чисткой его. В саду была небольшая речка, которая летом становилась довольно мелка и покрывалась вся белыми лилиями. Гуляя около берега, Лиза раз захотела цветов и приказала мне нарвать ей букет. Я тянулся, но никак не мог достать.

— Трус! — сказала она и повелительным голосом прибавила: — Извольте идти к бабушке! да смотрите, не сказывайте ей, что я купаюсь. Пошлите ко мне Катю.

(Катя была ее горничная.) Я побледнел и умоляющим голосом сказал:

— Что вы хотите делать?

— Я хочу купаться: я славно плаваю! — с гордостью отвечала она.

— Боже! вы утонете! — с отчаяньем сказал я.

— Извольте идти и делать, что я приказываю! — сердито сказала Лиза и, повернув меня, толкнула вперед.

Я знал ее характер и, повесив голову, безмолвно побрел к дому исполнять ее приказание. Я не мог сидеть спокойно: мне всё казалось, что она тонет. Наконец я кинулся в сад и, тихонько подкравшись к реке, засел в кустах. Я увидел Лизу. Она плескалась в реке, смеялась, пела, срывала цветы и украшала ими свою головку. То она исчезала, нырнув, и показывалась в другом месте; то ложилась на бок и плыла к тому месту, где ей нравился цветок. Что было со мною, я уже не могу вам сказать. Очнувшись, я услышал голос Лизы, раздававшийся по саду. „Ау! ау-у!“ — кричала она, ища меня всюду. Я отбежал далеко от реки и откликнулся. Мы сошлись; на ее голове еще были цветы; в руках она держала букет.

— Где вы были? я вас искала! — сказала она и вдруг, пристально посмотрев на меня, топнула ногой и строго прибавила: — А! вы подсматривали?!

Я оробел и заикнулся было оправдываться, но Лиза помешала мне. Нахмурив брови и сложив руки, она сказала:

— Прекрасно! очень хорошо! так-то вы меня любите, так-то вы меня слушаетесь! хорошо, хорошо!!

Я так испугался ее угроз, что кинулся к ней в ноги и, целуя их, просил прощенья. Показался ли я ей жалок, или так просто, только она села на траву и с своей лука-

вой улыбкой поманила к себе. Я читал в ее глазах прощение и был наверху блаженства. Я уселся возле нее. Она положила ко мне на плечо свою голову. Я обнял ее за талию. Мы так сидели долго, ни слова не говоря. Я слышал ее ускоренное дыхание, влажные ее волосы с белыми лилиями прохлаждали мою голову, всю в огне.

Старушка искала нас по саду. Я вздрогнул и хотел встать, заслышав невдалеке ее голос. Лиза удержала меня за руку и, посмотрев на меня жгучими глазами, страстно поцеловала меня — и вскочила, а я не в силах был встать. Что меня поразило, так это спокойствие, с которым Лиза встретила свою бабушку.

Я чувствовал, что неблагородно долее скрывать мою любовь от доброй старушки. Я ей во всем сознался, напомнил ей о своем звании и клялся, что во что бы то ни стало добьюсь чего-нибудь, если она согласится выдать за меня свою внучку.

— И, батюшка! что мне до чину! ведь и мы не бог знает что такое; правда, отец-то Лизы был чиновник, ну а дочь-то моя...

И старушка улыбнулась.

— Как Лиза знает,— продолжала она,— я ей не буду мешать. Мать ее была точь-в-точь как она и, умирая, мне всё твердила: „Смотрите, не выдайте мою Лизу против ее воли". Знаете, она, моя голубушка, вышла замуж по желанию отца и не очень-то жила весело.

Мы стали женихом и невестой; но это знала только старушка: таково было желание Лизы. Мы переехали в город, и тут я узнал о смерти отца и матери. Я был так счастлив, что легко перенес эту потерю.

Спустя месяц случилось обстоятельство, которое сильно напугало меня. Раз возвращаюсь домой: мне говорят, что приходила сестра, долго сидела в моей комнате и ждала меня. Сначала я очень удивился, но по описаниям догадался, что это была бедная Маша. Осмотревшись, я недосчитался одного портрета Лизы, которых у меня было множество. А у того портрета, который я тогда писал и который потом так вам понравился, я нашел носовой платок, весь смоченный слезами. Я ждал Машу, даже начал ее искать; но скоро собственное горе заставило меня забыть всех на свете.

Переехав в Москву, Лиза стала выезжать часто с своей приятельницей, очень напыщенной девушкой, которая заняла первое место в ее сердце. Лиза перестала говорить

и шутить со мной, и я заметил, что она сердилась, если я приходил, когда у них были гости. Я изнывал с отчаяния.

Старушка досадовала на свою внучку и выговаривала ей, что не следует честной девушке завлекать молодого человека, когда она его не любит.

Лиза еще больше сердилась.

— Вы,— сказала она мне,— наговариваете на меня бабушке да всё хнычете: оттого вы мне противны!

Раз собрались у них гости, зашел разговор о модах. Вдруг Лиза спросила:

— Бабушка, а бабушка! какие платья носят мещанки?

Приятельница ее засмеялась, и они обе посмотрели на меня. Старушка чуть не упала со стула, а я... право, не знаю, как я вышел из их дома!

На другой день старушка, грустная, встретила меня такими словами:

— Семен Никитич, батюшка... совестно мне... но Лиза не хочет выходить за вас...

Лиза переехала гостить к своей приятельнице. То, что я перечувствовал тогда, право, нет у меня слов описать вам. Я решился уехать на родину, думая найти там Машу.

Насилу мы со старушкой упросили Лизу проститься со мной. Она приехала домой и была грустна. Я рыдал как ребенок, хотел много сказать ей, да ничего не сказал.

— О чем вы плачете, Семен Никитич? я не виновата; что же мне делать, когда надо мною смеются, что буду мещанка. Если бы я знала, то...

— Знаю, знаю, я один виноват,— сказал я всхлипывая.

Лиза тоже расплакалась: верно, мои рыдания ее растрогали. Меня без чувств уложили в кибитку...

Приехав на родину, я Машу не нашел. Всё это меня так скрутило, что я с год ходил как помешанный, обнищал совсем, наконец опомнился, стал работать. Остальное вы знаете. Прощайте!»

— Как же, наконец, он попал к вам? — спросил Каютин, дочитав письмо.

— Когда я вполне узнал его историю,— отвечал Данков,— мне так стало тяжело за него, что я решился нарочно поехать в тот город: там я разведал стороной, что главная причина, почему Душников не мог оттуда выбраться, были долги; особенно много был он должен хозяйке Ши-

пиловой, которая имела его расписки. Я заплатил за него и увез его в деревню почти силой, пригласив к себе и напоив пуншем. Кстати: он совсем перестал пить... да много и других перемен произошло с ним. И теперь,— прибавил помещик с простительным самолюбием мецената,— может быть, талант его не погибнет для света.

— Что ж он думает делать?

— Я советовал было ему ехать в Петербург; но Петербург пугает его. Притом нужны деньги,— покуда-то еще там работу найдет,— а он и так мучится, что много должен мне. У меня есть участок в Каспийских рыбных промыслах. Он узнал, что мне нужен туда управляющий, и сам вызвался. Весной он отправится в Астрахань, а теперь покуда знакомится с тем краем, сколько можно, по книгам и ведет самую тихую жизнь: как видите, всё молчит, задумчив, много читает. Я пробовал с ним спорить, но он упорен. Надо дать ему отдохнуть и осмотреться; я уверен, он тогда сам начнет рваться вон из глуши.

Каютин почувствовал сильное влечение к Душникову и благодаря своему счастливому характеру, в котором много было простоты и привлекательного добродушия, скоро сблизился с портретистом, робким до дикости. Быстрому развитию их взаимной откровенности много способствовала и деревенская жизнь. Говорят, был даже человек, который понемногу сдружился с самым лютым своим врагом потому только, что враг квартировал ближе к нему, чем другие знакомые. Каютин и Душников вместе гуляли, вместе охотились и ездили верхом, вместе забивались во время метелицы в теплую комнату,— условия самые благоприятные для дружбы. О многом говорили они, и нет сомнения, что Душников имел большое влияние на характер и самую судьбу нашего героя.

А время между тем шло, и шло незаметно. Отличный стол, удивительное вино, охота, верховые лошади, книги и, наконец, приятные собеседники... после долгого карантина у дядюшки Каютин не мог вообразить ничего лучше. Он сначала удивлялся, почему Данков медлит приводить в исполнение свои остроумные и общеполезные планы, о которых так прекрасно и с таким жаром говорил. Но когда поближе присмотрелся к делу, когда сам пожил той жизнью, удивление его кончилось. Он даже сознался внутренно, что и сам мог бы прожить тут бесконечное число лет, ни разу не вспомнив о деле... если б только не Полинька!

Глава IV

ПЕРВЫЙ ШАГ

Заря только что занимается; широкая С***ская пристань темным пологом стелется по крутому и ровному берегу Волги. Кругом ни голоса, ни признака жизни. Тишина между длинными рядами хлебных амбаров и закромов, высоко поднимающих свои черные рогожные макушки над светлою рекою; тишина на судах, барках и расшивах, стиснутых вдоль берега... Только алые флюгера на длинных мачтах, обступивших целым лесом пристань, разносят робкий шелест. Там и сям, вдоль покатых бревенчатых спусков, между амбарами и шалашами, на грудах рогож, кулей и досок, спят, развалившись, вповалку бурлаки; положив молодецкую голову на бок товарищу, укутавшись лохмотьями овчины, не чует ни один ни студеной росы, окропляющей его смуглое лицо, ни холодного предрассветного ветра. Мазуры, лоцмана и приказчики также покоятся на своих судах. Всё спит.

Но вот сизый туман, окутывающий Волгу и далекий берег с луговой стороны, понемногу алеет и подбирается выше; в чистом небе уже тухнут одна за одной звезды, уступая багровому зареву горизонта. Уже открываются понемногу песчаные отмели, разбросанные по реке, обагряемой восходом; за ними белеют и искрятся луга, упитанные росою, прорезывается сизый бор в чуть видной синеве... Но всё еще та же мертвая тишина кругом, и только алые флюгера на высоких мачтах вытягиваются прямее в холодном, сыром воздухе.

Золотое зарево распускается всё выше; вот уже макушки церквей с нагорной стороны переглянулись с солнцем; до пристани достигнул свет; с ближайшей приречной слободы долетели крики петухов; глянуло наконец солнце, и вдруг как бы разом оживилась вся пристань. Всюду заскрипели калитки амбаров, из-под каждой циновки выползал бурлак, радостно встречая ведренное утро. С горы по желтым, освещенным солнцем дорогам покатились тяжелые подводы, потянулись длинные ватаги бурлаков, мазуров и всякого рабочего народу. Пронзительный свист послышался с барок; крик лоцманов, смешиваясь постепенно с шумом сбрасываемых досок, с гамом толпы, с песнями, мало-помалу наполнил пристань какою-то дикою, нескладною сумятицею. Жизнь и деятельность закипели

кругом. Там разводили уже огонь, и вокруг котла усаживались бурлаки; в другом месте они тянулись один за другим по дощатым подмосткам, с одной барки на другую, таща на широкой спине пудовые кули с мукою и рожью. Тут клубился густой столб дыму над опрокинутой баркой, которую обдавали кипящей смолой. Здесь нагружали барку; на другом спуске с криком, гвалтом и песнями вытаскивали на берег расшиву; кое-где неподвижными группами лежали, на обрывчатом скате, на тюках и бревнах, работники в ожидании найма и хозяев; краюха ржаного хлеба, щедро засыпанная крупною солью, была в руках каждого. Мало-помалу показались и самые хозяева барок. Длинные синие армяки и пуховые шапки, обсыпанные мукою, бирки в руках и окладистые бороды отличали их сразу в толпе, которая поминутно увеличивалась. Несмолкавший говор охватывал всю пристань.

В то же время вверху на горе, близ города, происходили сцены, не менее оживленные. Народ шумел и толпился против кабаков и харчевен. Тут попадались даже бабы и девки: иные, сбившись в кучи, горячо спорили, другие вели под руки мужей, успевших уже спозаранок порядочно выпить.

В стороне от кабака, поодаль от крика и гама, сидела молодая баба и горько плакала. Ее всячески утешал молодой высокий купец в новом синем армяке, подпоясанном шелковым кушаком. Ему помогал иногда тут же стоявший человек, высокий и плечистый, в котором по одежде тотчас же можно было узнать помещика.

— Не плачь! — ласково говорил бабе молодой купец.— Григорий скоро вернется... счастью не бывать без кручины... что ж делать! Вернется Григорий с деньгами, привезет тебе кумачу да лент... полно убиваться... всё пойдет хорошо, не увидишь, как вернется Григорий... Эй, Егор! — крикнул молодой купец, обратясь к высокому парню, снаряженному по-бурлацки, то есть с кожаной лямкой через плечо, с берестовою котомкою за спиною и деревянною ложкою за ремешком на шляпе.— Сходи-ка, брат, в кабак да зови скорей наших; время было им нагуляться... пора!

— Ну, друг Каютин,— сказал помещик, крепко сжимая руку молодому купцу,— дай вам бог, чтобы вернулись к нам таким же молодцом, да только посчастливее, побогаче; смотрите, не забывайте нас...

Пронзительный визг молодой бабы перебил их.

— Касатик ты мой, ясный, ненаглядный сокол! — во-

пила она, обнимая ноги высокому с черными кудрями парню, вышедшему из кабака в сопровождении целой толпы, одетой один-в-один как Егор.— На кого ты меня покидаешь? кто станет меня, горемычную, любить да жаловать, холить да миловать, кто хлебом кормить да вином поить?

— Полно, Парашка,— говорил парень, силясь развести ей руки,— полно! ну, о чем?.. Господь приведет, опять свидимся...

— Эх, Гришка, Гришка! — вымолвил Егор.— Вот те и знай с бабами ватажиться: и самому теперь жутко; поди, щемит ретивое? то ли дело одна голова! любо!

Гришка высвободился кое-как из рук Парашки и сломя голову, без оглядки побежал вниз к пристани; Парашка рванулась было за ним, но ноги ее подкосились; она отчаянно вскрикнула и упала.

— Эй, тетки,— сказал Каютин двум близ стоявшим бабам,— приглядите-ка за ней, вот вам полтинник, не подпускайте ее только к берегу... Ну, ребята,— продолжал он, обращаясь к товарищам Егора,— время и нам на пристань. Что, выпили на дорогу... довольны?

— Довольны, батюшка! спасибо! дай бог тебе много лет здравствовать! — дружно отозвались в толпе.

— Прощайте, Григорий Матвеич,— вымолвил не совсем твердым голосом Каютин и принялся горячо обнимать помещика,— прощайте, спасибо вам за всё... за всё... авось, скоро свидимся... Все ли готовы? — крикнул он мужикам, обступившим его.

— Как же, батюшка, все, все!

— Ну, с богом!

— С богом! — раздалось со всех сторон; и сотни шапок замахали в воздухе.

— Прощайте! прощайте! — кричал Каютин, оборачиваясь время от времени к помещику, стоявшему наверху горы, посреди народа, всё еще махавшего шапками.— Прощайте!

Помещик, провожавший Каютина, был Данков. Он же снарядил его и в путь. Дело, впрочем, не вдруг сделалось. Уж с лишком месяц жил Каютин в Новоселках, а Данков всё еще не собрался даже переговорить с ним о деле, за которым пригласил его в деревню. Наконец раз Каютин, больше обыкновенного выпив шампанского, разболтался и рассказал ему всю свою историю с Полинькой. Это было лучшее средство пробудить деятельность Данкова. В нем

самом не совсем еще погас огонь молодости, и он вообще принимал дела такого рода близко к сердцу. После многих тостов за милую Полиньку Данков в тот же день призвал к себе управляющего, и скоро всё было решено. Данков вверял Каютину весь свой хлеб, стоявший еще с осени непроданным, и сговорил к тому же нескольких соседних помещиков, обеспечив их своим поручительством. Каютин тотчас приступил к необходимым приготовлениям, работал неутомимо, и вскоре по вскрытии рек с берега широкой С*** ской пристани можно было видеть шесть больших барок, нагруженных хлебом и снаряженных в путь. Пять из них принадлежали «временному купцу Каютину», шестая — купцу Шатихину. Шатихин еще с осени закупил у Данкова часть его хлеба и, встретившись в Новоселках с Каютиным, сговорился плыть с ним вместе до Рыбинска. Каютин был этому рад, узнав, что Шатихин уже не в первый раз пускается по Волге с судами.

Простившись с Данковым, Каютин вместе с своею дружиною миновал пристань, ступил на дощатые подмостки, соединявшие барки одну с другою, и исчез между амбарами и шалашами, возвышавшимися на судах справа и слева. Таким образом, спустя несколько минут они очутились на палубе одной барки, отделанной тщательней других и называемой казенкою, как вообще называются барки, на которых постоянно находятся сами хозяева и хранится их «казна».

— Теперь помолимся богу, ребята!

Все сняли шапки. На минуту воцарилась мертвая тишина. Даже смолкнул народ, столпившийся на соседних судах, чтобы поглядеть на отплывающих.

— Ну, ребята, *набивай* [1] якорь! — крикнул Каютин.

Якорь подняли.

— Совсем, что ли?

— Готово.

— Отчаливай!

— Тронулись, тронулись! — разом загрохотало на всех барках.— С богом! с богом!

— С богом и вам! — отвечали отплывающие, дружно принимаясь подымать паруса.

Вскоре барки стали уходить из виду. На пристани, привычной к таким отправлениям, никто уже не провожал их глазами; все снова принялись за работу.

---

[1] вынимай

И вот на отплывших судах наступил уже тот порядок и тишина, какие следуют всегда после суматохи и тревоги во время отплытия. Метнули жребий; очередные заняли свои места; остальные рассыпались в разных концах палубы. Завязались россказни. Кто с жаром передавал разные слухи, только что почерпнутые на пристани; кто вспоминал свою сторону с родной семьей и лачугой; кто рассчитывал барыши свои и хозяйские; кто мурлыкал заунывную песню.

Только Каютин не принимал участия в песнях и россказнях. Он сидел один-одинешенек на корме, сняв шапку, подперев ладонью голову, и с грустью глядел на струю воды, оставляемую судном.

Никогда человеку предприимчивому не представляются так ясно все шаткие стороны даже обдуманного предприятия, как когда оно на мази или на ходу и нет уже возможности из него выбраться... Рождал ли сомнения в душе Каютина сильный его план, другие ли безотрадные мысли давили ему сердце — угадать трудно, но во всяком случае грустное раздумье четко обозначалось на лице его, и не раз путем-дорогой проводил он ладонью по широкому лбу, как бы силясь согнать с него горькую думу... Но прошло несколько дней, и уже Каютин весело толковал с Шатихиным и своими рабочими, веселым взором оглядывал крутые берега Волги, покрытые то густым, непроницаемым лесом, то золотым рассыпчатым песком, из которого торчмя выглядывали исполинские мшистые камни. Часто берег поднимался прямо из воды отвесною неизмеримою скалою, увенчанною столетними соснами и елями; иные, свесясь над бездною, набрасывали на серую скалу сизые и темные тени; другие распускали по ней извилистые свои корни, принимавшие издали вид исполинской паутины; часто берега изменяли мрачную, дикую наружность, и тогда между угловатыми утесами открывалась живописная долина с селами, слободками, церковью и стадами, мирно пасущимися по зеленому скату. Иногда и правая сторона берега вдруг сбрасывала также свой обнаженный плоский вид: леса, тянувшиеся нескончаемою сизою полосою, раздвигались; в отдалении на темном небе показывался городок, осененный радугою; или же у самой воды вдоль берега пестрели на солнце толпы баб и мужиков,— широкая картина полевых работ оживляла скучную, однообразную луговину. Все высыпали тогда на палубу, и даже сам Каютин жадно вслушивался в звучную, раз-

гульную песню. И снова всё исчезало; снова подымались мрачные утесистые берега с одной стороны, с другой тянулась безжизненная равнина,— вокруг ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. Изредка лишь беркут, распластав широкие крылья свои, появлялся над рекою и диким своим криком оживлял на миг пустыню. С какою же зато радостию встречался тогда на пути с дружиною Каютина чужой парус! Кто в чем ни есть летел стремглав на палубу; не дадут времени подъехать да поравняться. Как с той, так и с другой стороны издали еще перекидываются обычным окликом:

— Мир! Бог на помощь, брат!

— Вам бог на помощь!

— Отколева бог несет?

— Чье судно?

— Чья кладь?

— Отколева бурлаки?

— С богом!

— С богом!

Иногда дружина Каютина сходила на плоский берег и тянула барки бечевой, пристегнутой к кожаным лямкам, которые врезывались в грудь и плечи бурлаков; иногда, несмотря на глубину, приводилось бросать якорь, поневоле стоять на месте. Хребты горных туч заслоняли небо. Оба берега исчезали под непроницаемою сетью ливня. Свирепый ветер пронзительно визжал в мачтах и реях, обдавал вздрагивавшую палубу шипящею пеной и грозил поминутно сорвать паруса; яростные буруны наклоняли легкие суда то в ту, то в другую сторону и рвали канаты; ливень хлестал справа и слева в лицо оторопевших бурлаков, препятствуя им работать... Но мало-помалу всё утихало; снова качался на корме мокрый якорь, снова надувались паруса, и барки бойко бежали вперед, оставляя далеко за собою ветер, грозу и ненастье.

Таким образом много дней и ночей провели они в пути и наконец благополучно достигли Рыбинска.

В Рыбинске на ту пору цена на хлеб стояла не слишком высокая: барыш приходился довольно скудный. Купцы наши пригорюнились.

— Знаешь ли что, Иван Ермолаич,— сказал Каютин своему товарищу,— чем нам поджидать здесь, пока цены поднимутся (а они, может, и совсем не поднимутся в нынешнем году), махнем-ка в Питер!

И он с замирающим сердцем ждал ответа: выгода, ко-

торую обещала собственно ему настоящая хлебная операция, далеко не была такова, чтоб покончить разом все его странствования,— но увидать хоть ненадолго Полиньку, показать ей на самом деле, что он держит свою клятву, и потом снова пуститься на труды и опасности — вот мысль, которая поднимала всю кровь к сердцу нового временного купца.

— Опасно! — отвечал Шатихин раздумывая.

— Э! Иван Ермолаич! волка бояться — в лес не ходить! Зато какой барыш-то получим! Бог милостив!

Купец подумал, подумал и согласился.

Перегрузившись в суда, удобные для плавания по Вышневолоцкой системе, Каютин и его товарищи стали подвигаться к Петербургу, куда и мы переносим теперь действие нашего романа.

Глава V

ПОЛИНЬКА И ГОРБУН

Полинька, потерявшая память при нечаянном появлении горбуна, очнулась в незнакомой комнате, которая поразила ее своим великолепием: так мало видела она роскоши.

Везде был штоф, занавески с кистями и бахромой, столы и стулья старинного фасона с позолотой, зеркала снизу доверху; стены были увешаны огромными картинами в золотых рамах. На столе стояла старинная канделябра; несколько восковых свеч ярко освещали комнату. Мебель была уж слишком массивна и шла скорее к зале какого-нибудь замка.

Первое движение Полиньки было кинуться к двери, но она была плотно заперта. Полинька нагнулась и посмотрела в замочную скважину: мрак непроницаемый расстилался перед ее глазами и холодный ветер пахнул ей в лицо. Она стала прислушиваться: кругом была страшная тишина. Дождь по-прежнему стучал в окна. Мороз пробежал по телу Полиньки; она внимательно осмотрела комнату, нашла еще дверь, долго пробовала отворить ее, наконец села на диван и горько зарыдала.

Она очень ясно припомнила сцену в карете и свой страх при появлении горбуна со свечой в руках,— отерла слезы и стала себя спрашивать, что же он хочет с ней делать.

Полинька знала, что законы строги, если бы он решился употребить насилие; да и к тому ж она слишком надеялась на свои собственные силы... Итак, она решила, что горбун только хочет испугать ее. «Хорошо же, я его проведу!» — подумала Полинька и, увидав себя в зеркале во весь рост, невольно засмотрелась. Ей очень нравилось, что она может видеть свои ножки. Полинька распустила свою черную косу, чтоб оправить волосы, и очень-очень удивилась, как они у ней длинны. Медленно и с сожалением она снова свернула свои волосы и, окончив туалет, села на диван против зеркала и стала в него глядеться. Она смотрела на свою фигуру, отражавшуюся в зеркале, как на совершенно ей незнакомую, и ей было совестно сознаться, что эта фигура очень ей понравилась.

Потом она снова перешла к своему горю: сердце ее сжалось, и такой страх охватил ее, что она готова была кричать.

Вдруг вдали, бог знает где, послышались тихие и мерные шаги; они всё приближались; наконец Полинька услышала, как кто-то вложил ключ в дверь и тихо повернул его. Вспомнив свое намерение, Полинька вскочила с дивана и спряталась за дверь, которая в ту же минуту медленно раскрылась. Полинька увидела в зеркале горбуна: он искал ее. Она совсем забыла, что если сама видит горбуна, то и он может ее увидеть, и вздрогнула, когда глаза их встретились. Он усмехнулся и заглянул за дверь.

Полинька бросила на него взгляд, полный негодования и упрека.

— Вы не думайте, Палагея Ивановна...— пробормотал горбун в волнении.

Заметив его робость, Полинька ободрилась и с запальчивостью сказала:

— Это низко, это неблагородно, Борис Антоныч!

Горбун потупил глаза и молчал, но едва заметная улыбка дрожала на его узких губах.

— Выпустите меня сейчас же! — повелительно сказала Полинька.

— Несколько слов! — кротко возразил горбун.

— Я вас не хочу слушать! — гордо отвечала Полинька и взялась за ручку двери.

Горбун быстро захлопнул ее и запер на ключ. Плотно прижавшись к двери и улыбаясь сколько мог приятно, он глядел на испуганное лицо Полиньки. С минуту они молчали.

— Извините меня, Палагея Ивановна,— первый начал горбун,— но я решился во что бы то ни стало объясниться с вами. Я употребил средства решительные... но вы сами... вы из одного каприза не хотели сказать мне хоть одно утешительное слово. Нужно же мне было принять меры. Но, клянусь вам, я теперь не имел бы счастия видеть вас у себя, если б час тому назад, в карете, вы дали мне объяснить вам... Вы выгнали меня!.. а?

И злая улыбка передернула его лицо; он вопросительно глядел на Полиньку, которая потупила глаза.

— Неужели я так страшно провинился перед вами, что ни мои слезы, ни мои страдания не могут вас смягчить? и что такое я вам сделал? скажите, ну что такого ужасного я вам сказал, чтоб можно было так оскорбить человека моих лет?

В голосе горбуна было столько упрека, что Полинька прослезилась и почувствовала, как будто она точно виновата.

— Я вас не оскорбляла, Борис Антоныч,— робко заметила она.

Улыбка пробежала по его лицу; он усмехнулся.

— Выгнать человека из дому, тогда как он был расположен к вам, как отец, как брат! не отвечать ему на все его мольбы, бежать от него, как от злодея, с отвращением отворачиваться от него,— как же всё это вы назовете, как не оскорблением? а?

И горбун задрожал.

— Мало того: вы лишили меня сна и аппетита, вы сделали из меня круглого дурака; я запустил свои дела, интересы мои сильно пострадали; и всё вы, вы... Палагея Ивановна... да! вы виноваты!

Горбун приостановился.

— Я должен был прибегнуть,— продолжал он, придав своему лицу и голосу больше кротости,— к смешному средству в мои лета; но что же делать! По крайней мере вы теперь выслушаете меня.

Горбун поднял глаза к потолку и торжественно сказал:

— Видит бог, мои намерения чисты!

И, обратясь к Полиньке, он прибавил с приятной улыбкой, указав ей на диван:

— Извольте сесть, и прошу вас, Палагея Ивановна, выслушать меня.

Полинька не решалась.

— Я прошу теперь только одного, чтоб вы выслушали меня и узнали бы, какой я человек и насколько предан вам.

Полинька села на стул у двери.

— Что же вы, Палагея Ивановна? — спросил горбун, указывая на диван.

— Мне и здесь хорошо! — отвечала Полинька, рассчитывая, что горбун не так близко будет сидеть к ней.

— Там дует! — заметил горбун, указывая на дверь.— Хе-хе-хе!

— Она заперта! — с особенным ударением отвечала Полинька.

— Как вам угодно... мы и здесь переговорим,— добродушно сказал горбун и придвинул себе кресло, чтоб сесть ближе к Полиньке, которая делала над собой страшные усилия, чтоб не убежать от него в угол.

— Вот видите ли, Палагея Ивановна,— начал горбун,— Василий Матвеич банкрут не сегодня, так завтра!

— Боже мой! неужели это правда? — с испугом спросила Полинька.

— Я вам, кажется, писал об этом... хе-хе-хе! — сказал язвительно горбун.

— Неужели нет надежды, Борис Антоныч? — умоляющим голосом спросила Полинька, знавшая, что горбун был главным кредитором Кирпичова.

— Как нет! помилуйте-с! можно еще уладить дело.

— О, вы это сделаете: вы спасете их! — с увлечением сказала Полинька и, сложив руки, умоляющим взором смотрела на горбуна.— Она была еще в таких летах, когда чужое горе, чужая опасность живо трогают.

— Теперь вы поняли меня? теперь вы простите мне всё? — насмешливо спросил горбун.

— Я виновата перед вами, Борис Антоныч; я думала, я...

И Полинька от души раскаялась.

— То-то молодость! Вот хоть вы, Палагея Ивановна, вы другим на слово верите, а мне, так хоть умри я, не хотите ни в чем верить! Вам насказали: поеду, буду работать, наживу денег! Не верьте, я таки пожил довольно... Нет-с, деньги нелегко наживаются. Мне много стоило труда, страдания и даже унижения — да-с! унижения,— чтоб нажить всё, что я имею. Теперь другое дело — мне ничего не стоит удесятерить свой капитал. Лишь бы охота была. Я имею покровительство, защиту. Мне все теперь кланяются, руку жмут. Вы, чего доброго, подумаете, что

мои седые волосы заслужили такое уважение? э! нет-с, Палагея Ивановна, нет-с: деньги, деньги, одни деньги. Это правда, что я их добыл кровью и потом... но всё-таки не за добрые дела, а за деньги достаются поклоны да улыбки людей. Я хорошо знаю свет, всяких людей видал. Иной помогает тебе взыскать, точно друг какой; ну вот и усадим несостоятельного в тюрьму; что же бы вы думали? через день придет просить взаймы денег! Вы, говорит, вчера получили с такого-то за продажу всего его движимого, так нельзя ли ссудить? А сам знает, как легко было их получать! дети плачут, мал-мала меньше, жена как безумная мечется, муж того и гляди руки на себя наложит... Вот-с как деньги-то важны, Палагея Ивановна! Кто их имеет, тот много доброго может сделать.

Полинька внимательно слушала горбуна и вздрогнула, когда он коснулся положения семейства, у которого описывают имущество. Горбун, кажется, того и хотел.

— У них тоже будут всё описывать? — тревожно спросила Полинька.

— Хе-хе-хе!.. известно, всё опишут, да еще и в тюрьму засадят Василья-то Матвеича.

— Боже! — воскликнула Полинька, побледнев.

— Да-с, жаль его супругу; прахом пошли все денежки... На удочку поддел ее Василий-то Матвеич. Теперь она жила бы себе барыней. Ну, что делать! пойдет по миру с детьми. Сама...

— Борис Антоныч! Борис Антоныч! спасите ее, спасите! — раздирающим голосом сказала Полинька и тихо опустилась на колени.

Горбун отодвинулся в креслах и, весь дрожа, любовался Полинькой, стоявшей перед ним на коленях. Он так смотрел на нее, что Полинька закрыла лицо. Потом она зарыдала.

— О чем же вы плачете? — дрожащим голосом спросил горбун, вскочив с кресел и подходя к ней.

— Я не встану с этого места, Борис Антоныч,— сказала Полинька отчаянным и решительным голосом,— пока вы мне не дадите слова спасти Кирпичова от тюрьмы и позора!..

Горбун мгновенно вырос; он смотрел на Полиньку такими глазами, как будто не верил своим ушам.

— Борис Антоныч! — продолжала она, приписывая его волнение состраданию к Надежде Сергеевне.— Сжальтесь!

Он взял ее за руки и приподнял; она чуть не вскрикнула: руки его были холодны как лед и дрожали.

— Успокойтесь, Палагея Ивановна,— сказал он глухим голосом,— я всё устрою к лучшему. Не плачьте! Всё в ваших руках.

— Как! в моих? — с удивлением спросила Полинька.

— Неужели вы не поняли меня? — в волнении отвечал горбун.

— Что же такое вы мне сказали? — робко спросила Полинька.

Горбун медлил ответом.

— Всё мое состояние,— наконец произнес он быстро,— всё, всё принадлежит вам... Вы будете жить счастливо, ваши друзья будут моими. Пойдемте,— продолжал он, стараясь скрыть сильное волнение,— пойдемте, я вам покажу всё, что я имею!

И он взял со стола канделябру вышиной с него самого и, поддерживая ее одной рукой, распахнул другой занавеску и, достав ключ из кармана, отпер дверь. Окна огромной комнаты, куда горбун ввел Полиньку, были наглухо заколочены. Вся комната была заставлена сундуками, ящиками и огромными кипами книг, возвышавшимися местами до потолка. На полках стояли серебряные вазы, канделябры, кубки, бронзовые часы разной величины. Полинька с любопытством разглядывала всё. Горбун поставил канделябру на пол и, присев на корточки, стал отпирать сундуки; ржавые замки визжали. Наконец крышки всех сундуков были подняты, и у Полиньки невольно вырвалось: «ах!»

Горбун одушевился; его глаза перебегали с диким блеском от одного предмета к другому. Услышав восклицание Полиньки, он кинулся к одному сундуку и стал вынимать из него свои сокровища. Чего тут не было! сервизы серебряные с гербами, кубки, шпоры, рукоятки сабель, подсвечники. Из другого сундука он вынимал шубы собольи, салопы, разные дорогие меха, из третьего — штофы, парчи, шали турецкие. Забросав себя грудою разных вещей, горбун показался Полиньке каким-то страшным волшебником; ей пришли на ум старые сказки, и она улыбнулась и пожалела, что горбун не может превратиться в какого-нибудь красивого рыцаря.

Посреди своих сокровищ горбун так увлекся ими, что забыл на минуту и Полиньку и цель, с которою привел ее сюда. Закрыв один сундук и сев на него, горбун поста-

вил себе на колени небольшой ящик и стал вынимать оттуда серьги, кольца, браслеты, нитки брильянтовые. Глаза его горели не менее огромных брильянтов, которыми он любовался. Полинька подвинулась вперед, чтоб лучше рассмотреть драгоценности. Горбун опомнился. На минуту он обратил всё свое внимание к лицу Полиньки и потом, как бы сравнивая, глядел то на нее, то на свои сокровища, наконец захватил судорожно горсть дорогих каменьев и протянул руку к Полиньке.

— Возьмите, возьмите! это ваше, это ваше, что вы тут видите. У меня много еще денег... они тоже ваши. А через год или два я еще столько же вам принесу. Возьмите, возьмите всё!

Горбун говорил несвязно. Большие глаза его дико вращались кругом. Он бросил ящик на сундук с таким презрением, как будто он вдруг потерял для него всю цену, и кинулся на колени.

— Сжальтесь над стариком, не доведите его до сумасшествия! одно утешительное слово, один ласковый взгляд бросьте несчастному!

Полинька попятилась и в испуге глядела в комнату, из которой они пришли.

— Вы молчите? вам мало моих жертв? — спросил горбун отчаянным голосом.

— Мне ничего не нужно от вас,— сказала Полинька.

Горбун помертвел. Он как безумный осмотрелся кругом и поспешно начал всё прятать, но, не окончив дела, схватил канделябру и вышел из комнаты, с силою захлопнув за собой и за Полинькой дверь. Он прислонился к двери и задыхающимся от злобы голосом спросил:

— Согласны?

— Нет! — твердо сказала Полинька.

Горбун дико засмеялся; но вдруг смех его неожиданно оборвался. Он весь изменился в лице и робко прислушивался, озираясь с испугом и недоумением.

— Опять она смеется! — прошептал он таинственно и долго молчал.

— Выпустите меня, ради бога, выпустите! — дрожа всем телом, сказала Полинька.

Горбун в негодовании поставил канделябру на стол и с бешенством отвечал, ломая руки:

— Кричите, разбивайте окна, но я вас не выпущу отсюда, пока вы не согласитесь быть моей женой!

Полинька вскрикнула; горбун продолжал:

— Я погублю вас, себя, Кирпичова, его жену, детей, всех! пусть все гибнут со мною! но я дорогою ценою выкуплю свои страдания!!

И горбун заскрежегал зубами.

— Вы думаете, что вас не накажут?

— Кто? — гордо спросил горбун.

Полинька молчала.

— Ну, кто? говорите же!

— Мой жених,— нерешительно произнесла Полинька.

Горбун сжал кулаки.

— Ваш жених! — возразил он бешеным и презрительным голосом.— Ха-ха-ха! вот хорошая защита за тысячу верст! Зовите его сюда, пусть он явится. Я с ним поговорю!!! Ваш жених? а я? разве я тоже не ваш жених? не гожусь вам в женихи? Я вас люблю, я богат. Мне жаль вас: вы погибнете от своего упрямства. Сегодня вы меня презираете, отворачиваетесь от меня, завтра, может быть, вы и ваши друзья будут стоять передо мною на коленях, но я буду тверд. Я только на одном условии соглашусь.

— На каком условии? чего вы хотите от меня? — перебила его Полинька в совершенном отчаянии.

— Чтобы вы согласились быть моей женой! Вот вам бумага и перо. (Горбун указал на небольшой стол, где было всё нужное для письма.) Извольте написать вашему жениху, что вы берете свое слово назад и выходите за меня замуж.

— Никогда, никогда! — воскликнула Полинька, вся покраснев от негодования.

Горбун пожал плечами.

— Хорошо, вы этого не сделаете, но я вас буду держать у себя, пока не придут ко мне за вами. Соседи ваши узнают. Вам житья не будет от их языков. Всё равно ваш жених будет знать, что вы пробыли у меня несколько дней! а?.. хе-хе-хе!

И горбун тихо засмеялся и начал потирать руками.

Полинька не верила своим ушам. Ей живо представились лица всех соседей и соседок, искоса поглядывающих на нее; а Каютин? может быть, и он поверит! — и Полинька горько заплакала.

— Вы не смеете меня удержать! — сказала она.— Выпустите меня! я хочу идти домой.

— Напрасно вы плачете: я глух к вашим слезам; я так много выстрадал, так много вынес унижения, что ваши детские слезы не тронут меня.

— Я пойду всюду сама, я везде буду просить на вас, что вы лжец, что вы меня силою держали у себя! — заливаясь слезами, говорила Полинька.

Горбун смеялся.

— О, я этого не боюсь! я богат, и жалобу бедной девушки всякий скорей припишет желанию принудить меня жениться на вас...

— Я этого не хочу, не хочу! слышите ли вы? — с сердцем закричала Полинька.— Клянусь вам, я скорей лишу себя жизни!

— Я стар, я умнее вас, я имею деньги и покровителей,— продолжал горбун.— Да первый ваш друг, Надежда Сергеевна, да она, если я захочу, будет называть меня своим спасителем... Да, впрочем, что с вами говорить! вы дитя, а не женщина! — с жалостью заметил горбун.— Завтра я приду за ответом,— прибавил он спокойнее.— Посидите, подумайте!

И он поклонился и пошел к двери.

Полинька, как бы потеряв всякую надежду на спасение, предалась совершенному отчаянию. Она упала на диван и в штофных подушках старалась заглушить свои рыдания. Горбун остановился; при каждом рыдании Полиньки лицо его выражало страшное мучение, он тоскливо мялся на месте и ломал себе пальцы так, что они хрустели. Наконец он схватил себя за грудь и в изнеможении опустился на стул. Полинька продолжала плакать... Горбун встал и тихонько подошел к ней... Казалось, он хотел говорить, умолять ее успокоиться; но в ту же минуту волосы на голове метавшейся Полиньки распустились и роскошной завесой покрыли ее лицо, как бы для того, чтоб горбун не видал на нем слез. Горбун вздрогнул; он долго и жадно смотрел на роскошные волосы Полиньки, наконец махнул рукой и выбежал из комнаты, захлопнув за собой дверь с такою силою, что свечи в канделябре погасли; уцелела только одна после долгой борьбы с ветром, ворвавшимся в комнату, и уныло горела, бросая слабый свет на картины, которых мрачные лица выдавались из рам, как будто с любопытством прислушиваясь к горьким, мучительным стонам беззащитной девушки.

Глава VI

ПОИСКИ

Не слыша ног под собою, мучимый неотступной мыслью: «Полиньки нет! Полинька пропала! что с ней будет? она не переживет...», башмачник бежал, бежал и наконец остановился в одной из тихих петербургских улиц, перед уютным деревянным домиком. Он перевел дух и, отворив калитку, вступил на двор, очень обширный, посреди которого красовался — редкость в Петербурге — луг едва уже зеленеющей травы. Внутренность двора походила на ферму. Индейские петухи, кокоча, важно прохаживались с своими семействами. Курицы озабоченно подбирали по двору зернышки. Петухи потряхивали гребешками и величаво поводили глазами, надзирая за подругами своей жизни. Мычание коровы раздавалось из стойла, смешиваясь с блеянием баранов. Необычайно жирная свинья, хрюкая, вела за собой поросят и всюду шарила носом. Всё, по-видимому, наслаждалось здесь полным довольством.

Башмачник своим появлением нарушил на минуту порядок и спокойствие двора, так разнообразно населенного; под ноги ему кинулся поросенок и потом пронзительно запищал. Индейки закудахтали, курицы, хлопая крыльями, забегали по двору; откуда ни взялась собака и свирепо залаяла, но, подбежав и обнюхав башмачника, замахала хвостом и воротилась в конуру.

Башмачник торопливо подошел к крыльцу и, отворив дверь, на которой прибита была дощечка с надписью: «Сергей Васильич Тульчинов», вошел в прихожую. Сидевший тут пожилой лакей так был поражен его физиономией, что поспешил снять с носа очки, пристально осмотрел его и, положив книгу, с удивлением спросил:

— Карлушка, что ты, братец? уже не погорел ли ты? а?

Башмачник смотрел дико и ничего не отвечал.

— Да сядь! ты, братец, едва стоишь!

И лакей силой усадил башмачника.

— Ну скажи ты мне, уж не замешали ли тебя в каком воровстве?.. ведь ты такой глупый да добрый... а?

И он, подпираясь руками в колени, с участием заглядывал башмачнику в лицо.

— Я, я... Яков Тарасыч... видеть барина! — едва внятно пробормотал башмачник.

— Барина видеть? — повторил лакей, успокоившись. Но в ту же минуту его доброе лицо нахмурилось, и он печально прибавил: — Его теперь нельзя видеть: очень занят!

Башмачник вскочил в таком отчаянии, что добродушный лакей испугался.

— Да что ты, Карлушка? — сказал он с упреком.— Как не стыдно! ну скажи, что с тобой случилось?

— Мне сейчас же нужно видеть барина! — настойчиво сказал башмачник.

— Я тебе говорю, что барин очень занят: у него Артамон Васильич... слышишь? Артамон Васильич!

Не обратив внимания на таинственный голос лакея, башмачник схватил его за руку и толкал к двери, упрашивая доложить о нем.

— Постой, постой! — говорил Яков, вырываясь.— Что ты, рехнулся, что ли?

Он подошел к двери и, поглядев в щель, с важностью сказал:

— Занят... нельзя, нельзя доложить.

— Я сам пойду,— решительным тоном сказал башмачник и бросился к двери.

— Стой! — грозно закричал Яков, но тотчас же смягчился и кротко прибавил:

— Ну что ты, Карлушка, в самом деле? ну видано ли, чтоб приходящие без доклада в барские комнаты лезли? зачем же я тут и сижу? А еще знаешь, что барин занят: Артамон Васильич у него!

Оканчивая наставление, Яков немного приотворил дверь и стал покашливать, всё еще не решаясь войти, а башмачник в нетерпении поднимался на цыпочки и глядел из-за его плеч.

Комната, в которую он так желал проникнуть, была небольшая, с книжными шкафами около стен, с письменным столом, сафьянными креслами и диванами; по стенам висели эстампы, между которыми резко отделялись портреты в белых колпаках и таких же куртках, отличавшиеся умным выражением. В креслах сидел довольно тучный старик с широким и круглым лицом. Взгляд его был еще бодр, рот необыкновенно приятен; большие глаза его были полузакрыты пышными веками; седые как лунь волосы придавали ему почтенный вид.

Перед ним стояла сухая фигура, тоже немолодая уже, в колпаке, куртке и переднике безукоризненной белизны.

В ней нетрудно было узнать оригинал одного из портретов, висевших тут, в подобном костюме. Артамон Васильич держал в руках безмен с прицепленной к нему плетеной корзиной, в которой что-то покоилось. Барин и повар с напряженным вниманием глядели на безмен.

— Неделю тому назад десять фунтов, а теперь пятнадцать... Хорошо, очень хорошо, Артамон Васильич!

В ту минуту башмачник силой втолкнул Якова в дверь.

— Что тебе? — строго спросил старый барин.

— Карлушка-с пришел,— проворно отвечал Яков, стараясь притворить за собою дверь, в которую порывался башмачник.

— Ну, пусть подождет,— сказал барин и обратился к повару: — Ну-с, Артамон Васильич, вы как думаете: на сколько еще можно утучнить? а?

Повар, не отвечая, открыл крышку корзинки и с трудом вытащил оттуда индейку, страшно жирную. Она тоскливо била крыльями, глупо разевала рот и после страшных усилий сипло прокудахтала в то время, когда повар глубокомысленно щупал, а барин нежно осматривал ее и поглаживал с лукавой улыбкой.

— Славная птица, славная! ну а когда она ввезена в Европу и кем? а, небось, опять забыл?

— Нет-с, не забыл! — отвечал повар с усмешкой.— Помню-с, Сергей Васильич!

— Ну-ка, скажи!

Между тем башмачник рвался вперед, а Яков заслонял ему дорогу. Наконец башмачник неожиданно присел и, вынырнув из-под руки Якова в комнату, остановился с потупленными глазами перед господином Тульчиновым, позабыв даже поклониться ему.

— Что случилось? — с участием спросил Тульчинов, увидав бледное лицо башмачника.

Башмачник молчал; слезы душили его.

— Не обидел ли кто тебя? а?

Башмачник закрыл лицо руками и глухо зарыдал.

Присутствующие переглянулись. Старик молча указал повару и лакею на дверь и, когда они удалились, обратился к башмачнику.

— Ну, скажи, что с тобою случилось? — спросил он ласково.

С рыданием сильнее прежнего башмачник кинулся в ноги Тульчинову и произнес:

— Заступитесь, спасите сироту, спасите!

— Успокойся, братец,— сказал старик, приподнимая башмачника, и на добрых глазах его показались слезы.— О чем плакать? лучше расскажи, что с тобою случилось.

Собравшись с силами, башмачник, как мог, рассказал несчастие, постигшее Полиньку. При имени горбуна Тульчинов заметил презрительно:

— Знаю я его: негодяй отъявленный!

Башмачник трогательно умолял старичка тотчас же идти с ним к горбуну и заступиться за Полиньку. Слушая его, Тульчинов лукаво улыбнулся и наконец ласково спросил:

— Ну а зачем ты скрывал от меня, что у тебя есть невеста? а?.. Ну что ты так на меня смотришь? — прибавил он, заметив внезапную перемену в лице башмачника.— Ведь ты любишь эту девушку, хочешь жениться на ней?

— Нет, она не моя невеста! — отвечал башмачник глухим голосом.

Тульчинов закусил губы и с горечью покачал седой своей головой.

— Ну, что же надо делать? — спросил он, тронутый положением башмачника.

— Сделайте милость, освободите сироту; ее жених далеко; у ней никого нет. Я, я один только... но что я могу сделать? я небольшой человек! Если что случится,— прибавил башмачник, дико озираясь кругом,— я... я утоплюсь... не хочу жить, лучше умру!

— Полно, брат, полно! — ударяя его по плечу, сказал Тульчинов.— Мы всё уладим. Он ничего не посмеет сделать ей!

— Нет, вы не знаете его: он злодей!

— Просто мошенник,— заметил старик,— я его знаю лучше тебя! Позвони-ка: я оденусь!

Башмачник кинулся к звонку.

Явился Яков, и по значению взгляда, брошенного им на башмачника,— дескать, как тебе не стыдно такими пустяками барина беспокоить,— можно было догадаться, что он подслушивал.

— Вели-ка мне дать позавтракать,— сказал старик, но вдруг принялся с испугом чмокать губами и прислушиваться к своему желудку, бормоча: — Нет аппетиту, нет! надо подождать... Постой-ка! — продолжал он, обратясь

к Якову.— Я после позавтракаю, а ты вот вели накормить его.

— Я не хочу; я не могу есть! — робко сказал башмачник.

— И полно, поешь! лучше: поуспокоишься... Вели Артамону Васильичу дать ему чашку бульону: это его подкрепит.

Яков жестами приглашал за собой башмачника.

— Оставьте, оставьте меня, я не хочу, я не могу есть! — с отчаяньем воскликнул башмачник.— Будьте добры, защитите, спасите бедную девушку!

Тульчинов махнул рукой и велел давать одеваться. Яков вывел башмачника в прихожую, усадил и поставил-таки перед ним чашку бульону по приказанию своего барина.

Сидя перед ней, башмачник тоскливо прислушивался к движению в кабинете, и когда наконец отворилась дверь и на пороге явился старик, совсем готовый идти, в шляпе и с палкой, Карл Иваныч как помешанный кинулся к двери и растворил ее настежь.

Увидав чашку на столе, Тульчинов заботливо посмотрел в нее и, качая головою, сказал:

— Упрям, упрям!

Они вышли на парадное крыльцо, куда уже были поданы дрожки.

— Нет, брат, не нужно: я пешком пойду,— сказал Тульчинов кучеру.

Башмачник вскрикнул.

— Что ты? что с тобою?

— Далеко, очень далеко... не скоро дойдем.

— Куда торопиться? нас не обедать ждут. Торопиться можно и даже должно,— заметил старик с важностью,— только на обед: тот, кто опаздывает к обеду, грубейший невежда. Ну, пойдем.

И старик пошел, постукивая палкой, но вдруг остановился и, улыбаясь, стал прислушиваться.

Нежное мычание коровы доносилось со двора, только что покинутого ими. Старик воротился.

— Куда вы? — с ужасом спросил башмачник, заслоняя ему дорогу.

— Сейчас, сейчас! забыл заглянуть на двор: что-то у меня там делается?

И старик вошел в калитку, а несчастный башмачник опустился на ступеньки крыльца.

Тульчинов расхаживал по своему двору, заботливо и гордо осматривая, всё ли у него в порядке. Каждому животному умел он сказать какое-нибудь приличное приветствие. Особенно пленил его один поросенок: толстый, белый, со сквозившими ушами и лапочками. Поймав его и поглаживая, старик с умилением смотрел ему в глаза, едва заметные. Скоро явился и Артамон Васильич. Барин и повар долго молча любовались поросенком.

— Хорош! — заметил наконец в упоении Тульчинов.

— Очень хорош-с! — отвечал повар.

— Уши-то, уши! точно у какой-нибудь красавицы; а лапки? право, у иной дамы ручки не бывают так нежны. Ну а что наш барашек? не пора ли его?

— С недельку надо еще обождать-с, зато будет — сливки! — глубокомысленно отвечал Артамон Васильич.

— Ладно, ладно, подождем, изволь, Артамон Васильич! Ну а что ты мне дашь сегодня позавтракать? я вот моцион сделаю; что-то вкус не...

Но старик не договорил: он стал чмокать губами и наконец радостно сказал:

— Лучше, гораздо лучше! а то вот Карлуша совсем было испортил мне аппетит... ну да вот прогуляюсь. Смотри, Артамон Васильич, полегче что-нибудь.

Тульчинов отправился к калитке. Увидав башмачника, прислонившего голову к стене, он коснулся его своей палкой и сказал:

— Что, заснул?

Башмачник вскочил, и они наконец пошли.

— Тише, тише! куда бежишь? — поминутно говорил старик башмачнику, не поспевая за ним, но, убедившись наконец, что нет возможности обуздать его, кликнул извозчика.

В нескольких шагах от дому горбуна башмачник вскочил и побежал, показывая извозчику, чтоб ехал за ним.

Калитка была не заперта, крыльцо также. Тульчинов и башмачник свободно вошли в прихожую, потом в залу, где некогда горбун принял в первый раз Полиньку. Здесь Тульчинов приостановился, покашлял; но никто не выходил им навстречу. Они пошли далее и миновали несколько комнат, закрытых ставнями с вырезанными сердцами, сквозь которые проникал дневной свет, дававший возможность видеть разнохарактерную мебель и вещи, наполнявшие комнаты: бронзовые часы, картоны, огромные кипы книг, перевязанные веревками.

— Сколько нужно было ему пустить по миру семейств,— с грустью заметил Тульчинов,— чтоб загромоздить так свои комнаты!

Продолжая подвигаться вперед, они очутились в темном и длинном коридоре; долго шли они и наконец увидали дверь, не совсем плотно притворенную.

— Послушай,— сказал старик башмачнику,— не входи туда; я буду один говорить с ним.

Он заглянул в дверь и увидел комнату, которая поразила его страшным беспорядком: бумаги были разбросаны по полу; между ними валялся разбитый фонарь; на письменном столе лежала шинель, стояли две догоравшие свечи, боровшиеся с дневным светом, проникавшим сквозь щели спущенных стор. Перед столом сидел горбун; лицо его выражало сильную внутреннюю тревогу; он держал в руке небольшое колечко и не спускал с него глаз. Услышав шорох за дверью, горбун сердито спросил:

— Кто там?

Погрозив пальцем башмачнику, Тульчинов смело вошел в комнату.

Горбун быстро вскочил с дивана и с удивлением посмотрел на Тульчинова, который оглядывал его с ног до головы презрительным взглядом. Горбун смутился, потупил глаза и, поклонившись, с холодной учтивостью спросил:

— Чем я обязан чести видеть вас у себя?

Тульчинов молчал. Он пристально смотрел на портрет, висевший над диваном. На портрете была изображена красивая молодая женщина в верховом платье. Позолоченная рама была очень искусно сделана и украшена гербами.

— Это как попало в твои руки? — строго спросил Тульчинов, указывая на портрет.

Горбун злобно посмотрел на портрет и молчал.

— Чтоб сегодня же он был снят! — повелительно сказал Тульчинов, не спуская глаз с портрета.

— Могу вас уверить, что, кроме меня, никто не входит сюда,— робко произнес горбун.

— Тебе-то и не должно его видеть! Да и как мог попасть к тебе фамильный портрет? а?

— Он был заброшен: я...

Тульчинов усмехнулся.

— Заброшен?! Ты, пожалуй, скажешь, что и деньги, которыми ты набил свои карманы в их доме, были тоже заброшены.

— Вы, кажется, изволите знать,— отвечал горбун, сдерживая злость, исказившую его лицо,— что не я, а, напротив, у меня было взято. Я чту память...

— Замолчи и не трудись высчитывать свои добродетели, которых ты никогда не имел! — сказал Тульчинов и, указав на портрет, повелительно прибавил: — Чтоб завтра же он был отослан по принадлежности!

Тульчинов прошелся по комнате, остановился перед горбуном и, не спуская с него глаз, спросил:

— Скажи, зачем ты держишь у себя девушку?

— Какую девушку?

— Ты не знаешь? ну, я скажу тебе: ту, которую подлым обманом завез ты в свой дом. Говори, где она?

— Вот как справедливы все ваши обвинения,— отвечал горбун.— Обмана никакого не было, девушку я не увозил. Она точно была здесь... по доброй воле... и уехала, когда ей вздумалось. Теперь она давно дома.

— Лжешь! она у тебя: со вчерашнего дня ее нет дома.

— А если и нет, чем же я виноват? Может быть, она у кого-нибудь ночевала,— с цинической улыбкой прибавил горбун.

— Ты гадок! — сказал Тульчинов.

— Вы точно знаете, что ее нет дома? — спросил горбун, в лице которого появилось легкое беспокойство.

— Говорю тебе, что знаю. Сегодня в десятом часу мне пришли сказать.

— В десятом часу? — повторил горбун встревоженным голосом и стал рассчитывать по пальцам. — Не может быть! Впрочем,— прибавил он спокойнее,— она, верно, у Кирпичовой.

— Лжешь, лжешь! — вскрикнул башмачник, вбежав в комнату и кидаясь к горбуну.— Ее нет у Кирпичовой. Она у тебя, у тебя! Говори, где она спрятана?

Горбун побледнел.

— Постой, не кричи! — сказал он повелительно, схватив руку башмачника.— Отвечай мне: ты точно знаешь, что ее нет у Кирпичовой?

— Да, да! Кирпичова сама приходила к ней, искала ее. Я работал,— она пришла, бледная...

— Сегодня? — спросил горбун дрожащим голосом.

— Сегодня, вот недавно!

Ужас обезобразил лицо горбуна. Он опять принялся торопливо считать по пальцам и соображать, а Тульчинов и башмачник с недоумением наблюдали судорожные его

движения, не спуская глаз с его бледного лица. Больше минуты длилось молчание.

— Так ее нет ни дома, ни у Кирпичовой? — наконец спросил горбун.

— Нет, нет!— сказал башмачник.— Полно притворяться! Ты сам лучше знаешь, где она. Говори же! выпусти ее!

И он метался около горбуна с своими вопросами, хватал его за плечи, повертывал, стараясь заставить говорить. Но горбун не отвечал ему, не защищался, не отталкивал его. Выражение ужаса до высочайшей степени возросло в лице его; он как будто обезумел и бессмысленно озирался кругом, широко раскрыв свои большие глаза.

— Где же, где же она? — отчаянно повторял башмачник, продолжая тормошить его.

— Где, где? — наконец с бешенством сказал горбун, оттолкнув его прочь.— Тебе очень хочется знать?.. на том свете!

— Она умерла? — спросил Тульчинов.

— Ты убил ее? — воскликнул башмачник и кинулся к горбуну; но силы ему изменили: он пошатнулся и чуть не упал.

Поддержав и уложив бесчувственного башмачника, Тульчинов, сильно встревоженный, обратился к горбуну.

— Что ты сделал с несчастной девушкой?— спросил он.

Горбун не отвечал. Он схватил свечу и пристально осмотрел комнату: подходил к каждому углу, заглянул под диван; потом перешел в другую комнату и так же пристально осмотрел ее; потом осмотрел и третью. Тульчинов следовал за ним. Наконец пришли они в ту комнату, где незадолго горбун старался соблазнить Полиньку своими сокровищами. Здесь было всё еще в большем беспорядке, чем оставил он тогда: крышки сундуков подняты, дорогие меха и шубы разбросаны по полу, кипы книг стащены на середину.

— Ищите, ищите! — кричал горбун Тульчинову, расхаживая между сундуками, стряхивая шубы, раздвигая кипы книг.

— Нет,— наконец сказал он слабым, отчаянным голосом.— Нигде нет...

Он прислонился к высокой кипе книг и тяжело дышал.

— Значит, ты спрятал ее в другом месте? — сказал Тульчинов, приближаясь к нему.

Горбун вздрогнул.

— Вы мне не верите? — сказал он с упреком.— Правда, я ничем не заслужил вашей доверенности! Я всегда стоял в таком положении, в котором удобно снискивать только презрение.

Тульчинов с удивлением слушал горбуна: он, казалось, не ждал от него ничего подобного. Но голос горбуна вдруг перервался. Он, видимо, изнемог и едва держался на ногах.

— Сядь,— сказал ему Тульчинов, с неприятным чувством замечая, как мертвая бледность всё больше и больше распространялась по его лицу.

Горбун оставил свечу, сел на книги и повесил голову; дыхание его было тяжело.

Долго длилось молчание.

— Скажи, что сделалось с девушкой? — тихо спросил наконец Тульчинов.

— Что сделалось? — слабым голосом повторил горбун.— Не знаю,— продолжал он, останавливаясь на каждом слове,— но боюсь, не сделалось ли чего ужасного... Послушайте, я вам всё скажу. Я ее безумно люблю, и страсть извинит мой поступок. А если и нет — всё равно! Она точно была обманом привезена ко мне; я запер ее в особую комнату, крепко запер и ушел к себе. Было двенадцать часов. Я ходил, сидел, пробовал писать, считать: не писалось, не считалось. Я вскакивал, смеялся и плакал, скрежетал зубами. Страсть поминутно омрачала мой рассудок. Я схватывал ключ и свечу и шел к той двери; но вдруг мне приходило на мысль, что она единственная женщина, которая не смеялась надо мной, что она была добра и ласкова со мною... и я ставил свечу и далеко бросал от себя ключ... Наконец и стыд, и сожаление — всё замерло во мне: кипела одна дикая страсть; я схватил свечу и ключ и, задыхаясь, бегом кинулся к той двери. Я отворил ее... я вошел...

Горбун остановился и перевел дух.

— Ну? — с ужасом сказал Тульчинов.

— Тут случилось обстоятельство невероятное, непостижимое,— отвечал горбун,— я не нашел ее в комнате!

— Видно, ты забыл запереть дверь? — спросил Тульчинов, у которого отлегло от сердца.

Горбун усмехнулся.

— Два раза повернул ключ,— отвечал он,— другая дверь точно была отперта, но она ведет сюда, а отсюда (горбун окинул глазами комнату) нет другого выхода.

Я несколько часов ломал голову, как она могла уйти... думал, не спряталась ли? обошел все комнаты, перерыл сундуки, рылся в платьях, в книгах: напрасно! Наконец решил я, что она ушла (а как, богу известно!), и перестал искать ее. Она пропала ночью, в пятом часу, и я не сомневался, что она давно дома; я успокоился и строил новые планы, как овладеть ею. Но если ее до сегодняшнего утра не было ни дома, ни у Кирпичовой, так боюсь,— заключил горбун чуть слышным голосом,— не исполнила ли она своей клятвы...

Он с отчаянием опустил голову.

— Какой клятвы? — спросил Тульчинов.

— Она клялась мне,— отвечал горбун,— что скорей лишит себя жизни, чем согласится выйти за меня... А я грозил ей вечным преследованием. Мало того: я оклеветал перед ней ее жениха; я также пугал ее, что никто уж больше не поверит ее честности... что осталось ей в жизни?.. Долго ли?.. о, она девушка горячая! она способна...

Горбун закрыл лицо руками и зарыдал.

Долго стоял над ним Тульчинов. Один вопрос сильно занимал его ум: говорил ли правду горбун и раскаяние действительно проникло в душу старого ростовщика, или играл он гнусную комедию, припрятав Полиньку в надежные руки?

Тульчинов прислушивался к его рыданиям, и они казались ему так истинны, так полны глубокого страдания. Сердце его сжалось; он почти верил...

— Подними голову, старик! — кротко сказал Тульчинов, прикоснувшись к плечу горбуна.— Полно отчаиваться, если только ты действительно тронут!.. Вот к чему ведет путь, по которому ты шел в своей жизни! Всё равно, у тебя или нет несчастная девушка,— во всяком случае обещай мне по крайней мере, что, если она каким-нибудь образом окажется жива, ты прекратишь свои преследодования...

— Клянусь, она не услышит больше моего имени! — с живостью отвечал горбун.— Я уеду отсюда, уеду навсегда!

И, встретив недоверчивый взгляд Тульчинова, он еще раз повторил свою клятву.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I

ПОДГОРОДНЫЙ ДИКАРЬ

Солнце едва взошло и озолотило предметы, как уже на высокую гору, в окрестностях Петербурга, взбиралась небольшая компания молодых людей. Впереди шел румяный мужчина лет сорока с лишком, но свежее всех остальных. Лицо у него было доброе и привлекательное; он бодро взбирался на гору, поощряя своих товарищей, которые следовали за ним будто по принуждению.

— За тобой не поспеешь, Тульчинов! — заметил один юноша, с изломанными манерами и одетый очень вычурно для прогулки по горам. Его лакированные башмаки скользили по траве, а шелковые пестрые чулки были смочены росою.

— Вы ленивы, господа,— сказал Тульчинов и, сделав последний шаг, очутился на горе.— Уф, как хорошо здесь! — вырвалось у него невольно, когда он огляделся кругом.— Вот вам награда, господа, за ваш сон! — прибавил он, обращаясь к своим отставшим товарищам.

Свежий и тихий утренний ветерок пахнул ему в лицо, и, будто приветствуя утро, он снял фуражку и с минуту любовался картиной природы. Под его ногами был крутой берег; небольшая река шумно текла, крутясь и пенясь около острых камней, торчавших из воды. Противоположный берег, испещренный обрывами, угловато торчавшими камнями, глубокими впадинами, поднимался высокою стеною, почти скрывая горизонт. Ни травы, ни другой зелени не было на верхушке его; известь, как снег, покрывала его на большое пространство. Только одна то-

щая сосна, все корни которой были на виду, как скелет, торчала на обрыве.

Зато на горе, где стоял Тульчинов, всё было покрыто свежей зеленью и цветами. Вдали виднелся лес в утреннем тумане, который, покидая землю, будто нехотя, медленно поднимался к небу, оросив при прощанье изобильными слезами каждую травку. Вся зелень была влажна, и на листьях висели капли росы, сверкавшие, как брильянты, и готовые упасть при малейшем дуновении ветра. Казалось, вся растительность плакала о скоро промчавшейся ночи, как плачет красавица, проводившая своего возлюбленного: слезы, отуманившие ее глаза, придают ей еще больше прелести. Цветы, защищаемые туманом от лучей солнца, лениво расправляли свои сложившиеся листочки и долго хранили капли влаги. Величаво поднималось солнце из тумана, рассыпая свои горячие лучи всюду, и, наконец почувствовав его могущество, цветы обернули свои головки к его лучам, как бы прося солнце высушить их слезы. Птицы радостно пели, перелетали с дерева на дерево, прыгали с сучка на сучок и перекликались, с жадностью прикладывая свои носики к листьям дерева.

Городскому жителю редко случается видеть природу, особенно встречать утро среди лесов. А когда и случается ему засидеться в гостях за картами до рассвета, так, возвращаясь домой, он страшно зевает, глаза его сжимаются, голова тяжела, и прекрасное утро, напротив, сердит его, потому что жаркие лучи солнца режут ему глаза. Он спешит домой и радуется, что непроницаемые занавески защищают его от докучливого солнца.

И Тульчинов, и присоединившиеся к нему товарищи с минуту молчали, пораженные картиной чудесного утра. Они с жадностью впивали влажный воздух.

— Как хотите, господа, а я посижу здесь, — сказал наконец Тульчинов.

И, сняв с себя непромокаемый пальто, он бросил его на траву, лег лицом к небу и, прищуривая глаза, с наслаждением глядел на облака. Остальная компания последовала его примеру. Только юноша в лакированных башмаках не находил себе места, потому что его туалет был слишком изящен и легок, чтоб лечь на траву.

— Как мы все глупы, господа,— начал Тульчинов, глядя в небо,— живем в душном городе, вечно в комнатах!

— Нельзя ли меня исключить! — перебил с досадой юноша в лакированных башмаках, с ужасом ощупывая свой полусюртук светлого цвета, который запачкался травой и был сыр.

— Почему тебя исключить? — ты тоже городской житель,— сказал Тульчинов.

— Потому что я желаю остаться им навсегда и не сожалею, что встаю так поздно.

Юноша сорвал полевой цветок, вдел его в петлю своего сюртука и начал любоваться им.

Тульчинов привстал; казалось, он хотел спорить, но, увидав, что всё внимание его противника поглощено эффектом бутоньерки, лег по-прежнему и сказал:

— Мы во многом виноваты: наши физические болезни все от нас же происходят, а затем и душевные.

— Давно ли вы сделали это открытие? — заметил молодой мужчина, сухой и бледный.

— Сейчас,— весело отвечал Тульчинов.— Я в городе часто бываю сердит: мне то не нравится, другое; поеду за город — и всё забываю: природа меня мирит с людьми, с их низостями, с их...

— Мне кажется, природа вас озлобляет, потому что я в первый раз слышу от вас, что люди низки,— перебил его худой и бледный молодой человек и закашлялся очень подозрительно.

— Поверьте мне, я люблю людей и готов пожертвовать для их блага своей жизнью.

— Может быть, вам жизнь надоела? Мы всегда то отдаем другим, что нам не нравится или никуда не годится.

— Совсем нет! — возразил Тульчинов.

Но бледный молодой человек с жаром перебил его, продолжая начатую мысль:

— Почему, если вы имеете нужду, вам прежде всего предлагают дружбу, сожаление, а не деньги?

— Не горячись; я знаю очень хорошо людей, понимаю их эгоизм, но я, я очень люблю жизнь в эту минуту.

И Тульчинов с наслаждением осмотрелся кругом.

— Надо уметь пользоваться ею, а жизнь очень хороша,— прибавил он.

— Да, она хороша, но не для всех. Например, завтра вместо этой травы я увижу зеленое сукно, вместо этого леса — кучу перьев, вместо воды — чернила! Теперь я взобрался по мягкой траве на гору; завтра я должен бу-

ду взойти в четвертый этаж, чтоб просидеть в душной комнате несколько часов. Нет, я не так скоро мирюсь с жизнью и прощаю ей.

Молодой человек покончил речь сильным кашлем, и от волнения на его бледных и впалых щеках выступил багровый румянец.

Несколько голосов восстали против него, а некоторые за него.

— Вот откуда вытекают наши страдания: из злопамятности! Я так всё простил и всё забыл,— сказал торжественно Тульчинов.

— Очень понятно; сравните меня с собою: кто поверит, что вы гораздо старше меня?

— Что ж! вы больны, а я здоров; ваши страдания вас состарили прежде времени.

— Ведь и вы страдали? — язвительно спросил бледный молодой человек.

— Да, но я их вынес; вы слабее меня; вы...

— Нет-с, извините, тут есть другая причина. Вы страдали из прихоти!

Все засмеялись; особенно заливался юноша в лакированных башмаках, как будто отмщая Тульчинову за утреннюю прогулку, которую он устроил.

— Как из прихоти? — спросил удивленный Тульчинов.

— А вот как: вы страдали, лежа на диване и куря дорогую сигару, а я страдал, умирая с голоду и холоду. Вы, господа, имеете об этом чувстве, которое называют страданием, очень приятное понятие...

И бледный молодой человек обвел насмешливым взглядом всю компанию и продолжал:

— Вам есть хочется? у вас аппетит? — вы радуетесь, потому что вас ожидают тонко приготовленные блюда. Я же, я до сих пор без страха не могу чувствовать голод: мне всё кажется, вот я опять перечувствую унижение, злобу на свое бессилие, как в былое время, когда над головой моей пируют гости, а я, я думаю, где взять обед... Вы живете с людьми по вашему вкусу, а я жил с теми, с кем столкнет необходимость. Вы не знали отказа своим прихотям, а я разучился их иметь. Ну а остальные чувства я делю поровну.

— Какие же? какие? — спросило несколько голосов разом.

— Обманутая любовь, дружба...

Тульчинов задумался и глубокомысленно сказал:

— Да! человек не может существовать без пищи.

— Следовательно, нам пора идти удить рыбу, а то мы останемся без обеда,— сказал юноша в лакированных башмаках, радостно засмеявшись своей остроте и вскочивши на ноги.— Господа, вперед... Marchons...*

И он промурлыкал что-то нараспев по-французски.

Все поднялись; один только бледный молодой человек продолжал сидеть, погруженный в задумчивость.

— Что же ты? — спросил Тульчинов.

— Идите, я здесь посижу,— отвечал он.

— Ну, как хочешь.

И Тульчинов поспешил догнать своих товарищей.

Оставшись один, молодой человек долго кашлял; у него показалась горлом кровь. Он скорчил отчаянную гримасу и презрительно улыбнулся вслед весело удалявшейся компании. С час просидел он на одном месте, устремив глаза на кончики своих сапогов. Его не занимали ни птицы, распевавшие и летавшие вокруг его головы, ни стрекоза, скакавшая и трелившая, ни травы, ни цветы; всё жило и цвело вокруг него, а он думал о смерти!

Вдали послышался рожок. Тощее стадо, уныло побрякивая колокольчиками, с мычаньем взобралось на гору и медленно подвигалось вперед, пощипывая траву. Рожок смолк; позади стада показался пастух, мальчик лет семи. Длинные белые прямые волосы закрывали его миниатюрное лицо с белыми бровями и ресницами. Костюм его вызвал улыбку у молодого человека. На пастухе сверх толстой рубашки красовался шотландской материи жилет с человека таких размеров, что пройма руки приходилась мальчику по колено, а карманы болтались почти у ног, босых и грязных. Позади него шла беловатого цвета небольшая собака, столько же худая, как и ребенок. Пастух рвал цветы, хлопал бичом и что-то мурлыкал себе под нос. При виде человека он выронил цветы и, вытаращив на него глаза, остолбенел. Понемногу радостная улыбка озарила его лицо, серые глаза оживились; захлопав белыми ресницами, он кинулся бежать и спрятался за небольшой куст. Собака начала было лаять на молодого человека, но пастух прикрикнул на нее.

Молодой человек поманил мальчика к себе; пастух радостно кинулся из своей засады.

---

* Идемте... *(франц.)*

— Ты пастух? — спросил его ласково молодой человек.

Мальчик заиграл на рожке; вдали откликнулось ему мычание коровы.

— Ты русский или чухонец?

Мальчик закивал головой.

— Куда ты идешь?

Мальчик заболтал по-чухонски, но, увидев, что его не понимают, покраснел, остановился на половине своей речи и указал на лес.

— Пойдем вместе,— вставая, сказал молодой человек и подал ему руку.

Мальчик весело запрыгал.

Молодой человек привел его к реке, где вся компания, сохраняя глубокое молчание, сидела с удочками в руках, устремив жадные глаза на свои поплавки. Увидев пастуха, Тульчинов спросил:

— Откуда ты привел такого шута?

— Вот ребенок, который один-одинехонек по целым дням остается в лесах и полях,— отвечал молодой человек.

— Посмотрите, посмотрите!

Мальчик обнаруживал признаки живейшей радости: он осторожно забегал ко всем, заглядывал ласково каждому в лицо, любовался удочками. Осмотрев с любопытством и радостным удивлением присутствующих, он вдруг исчез.

— Твой дикарь убежал,— заметил Тульчинов.

— Да, верно, вспомнил свою обязанность,— печально сказал молодой человек.— Я не понимаю, как такой малютка может справиться со стадом? как он в реку не упадет? как он не боится оставаться один в лесу? Я помню, раз в детстве я чуть не умер со страху, когда должен был пройти две темные комнаты.

— А всё оттого, что у него нет ни матушек, ни нянюшек, которые бы пугали его нелепыми рассказами о домовых и нечистой силе.

В то время мальчик воротился. Он так бежал, что запыхался и раскраснелся; лицо его сияло торжеством. В руках его был лист папоротника, на котором ползали и крутились червяки. Он на минуту приостановился, поглядел на всех, как будто выбирая, кому принесть жертву, и жребий пал на доброе лицо Тульчинова. Тронутый такой любезностью дикаря, Тульчинов погладил его по

голове. Признаки полнейшего счастья появились в лице и движениях чухонца: он смеялся, подпрыгивал, и естественная любовь человека к человеку живо выразилась в диком ребенке. Пастух занял всех и много смешил. Вдруг вдали послышался лай собаки. То был, видно, условный знак между дикарем и собакой, извещавший об опасности. Чухонец вздрогнул, побледнел и кинулся бежать. Скоро дикие звуки его рожка раздались в лесу.

Потолковав о нем, компания снова погрузилась в глубокое молчание...

К вечеру вся компания сидела на лужайке, невдалеке от трактира. Разговор вертелся около десятифунтовой щуки, вытащенной Тульчиновым. Пили чай по-английски, то есть с мясом и сыром. Половой, в розовой рубашке, в чистом переднике, с жирно намазанными волосами, кокетливо прислуживал, умильно улыбаясь и господам и тарелкам. Вдали показалось стадо, мычавшее на разные голоса; послышались слабые звуки рожка.

— Вот и наш дикарь отправляется домой,— заметил Тульчинов, услышав рожок.— Послушай, любезный,— продолжал он, обращаясь к половому,— чей мальчик у вас в пастухах? здешний, что ли?

— Никак нет-с.

— Есть родные у него?

— Никак нет-с: сирота; нашинские мужики его на лето нанимают.

— А какая плата? — спросил бледный молодой человек.

— Известно-с, какая-с,— отвечал лаконически половой, приятно улыбаясь.

— То есть кусок черствого хлеба? а? — язвительно заметил раздражительный молодой человек.

— Известно-с, что следует ему есть: ведь он-с чухна, их тут много таскается, ихняя деревня недалеко от нашинской.

— Как же попал к вам мальчик? — спросил Тульчинов.

— Года-с три тому назад-с пришла нищая чухна, с ребенком на руках, наниматься в работницы. Лето пожила из хлеба и на зиму просится,— знать, есть было нечего в своей стороне,— да никто не взял...Ну, сами посудите, след ли мужику держать нищих, да еще чухну,— хотя нашинские мужики нельзя сказать, чтоб бедны бы-

ли: у иного тысяч до тридцати есть капиталу,— с гордостью заключил половой.

— Отчего же такие развалившиеся избушки у них у всех? — заметил Тульчинов.

Половой с сожалением улыбнулся:

— Да на что-с мужику-с избу чинить? не в избе-с дело, лишь бы деньги были.

— Ну а что же сделалось с нищей? — прервал молодой человек.

— Вот она-с всё и пробавлялась милостынкой около наших мест, да вдруг, бог ее знает отчего, стала чахнуть, чахнуть и умерла,— отвечал половой с той улыбкой, которую многие лакеи разного рода в разговоре с господами считают долгом сохранять на своем лице, даже рассказывая о смерти своих родителей, жен и детей.— Ребенка оставила,— продолжал половой,— тоже такого хилого. Мы, признаться, думали, что и он не переживет, да чухне что делается!

Половой улыбнулся.

— Кто же его взял к себе?

— Да никто-с: кому он был нужен-с?

— Кто же его кормил?

— Никто-с. Кто же станет его кормить-с! — отвечал половой, улыбаясь добродушию барина.

— Как же он остался жив?

— А уж так-с: чухна, известно, живуча-с; мать свою звал всё, потом его научили нашинские бабы просить на дороге милостыню: он только всего и знает по-русски, а который год живет у нас. Летом иной раз дня три пропадает; думают, верно, с голоду умер,— нет-с, смотришь, вернется, да еще и грибов принесет или ягод!

Половой засмеялся и показал ряд гнилых зубов.

— Ну, летом он пастухом, а зимой? — спросил Тульчинов.

— Милостыню просит; да, признаться сказать, мало проезжающих зимой-то, торговля очень дурна-с, только свои мужики придут чайку выпить.

— Ну, так как же он?

— Да так-с: где-с дров натаскает, где в лес за прутьями поедет,— вот его и кормят за это; ну, известно, случается, что и не поест иной день,— весело прибавил половой.

Тульчинов переглянулся с бледным молодым человеком, который нетерпеливо вертелся и кусал губы.

— Позови его сюда,— сказал Тульчинов, увидав пастуха, который, провожая стадо, издали любовался своими знакомыми.

— Вот охота с пастухом толковать! — сердито заметил юноша в лакированных башмаках; но было уже поздно: половой нагнал пастуха. Мальчик в одну секунду очутился у стола и радостно смотрел всем в лицо.

— Ты устал? — спросил Тульчинов.

Чухонец закачал головой.

— Он только понимает, а не умеет по-нашински; а вот я-с так знаю по-ихнему,— с гордостью заметил половой.

Мальчика спросили, что он делал в лесу,— он весело запел какую-то чухонскую песню. Юноша в лакированных башмаках зажал уши, потом замахал руками и закричал:

— Довольно, довольно!

Мальчик замолчал, робко улыбнулся и, нагнувшись, вытащил из кармана своего огромного жилета засаленную колоду карт. Он подошел к Тульчинову и начал ее показывать ему.

Половой рассказал, что жилет и карты подарили мальчику в прошлом году какие-то господа, англичане, встретившись с ним в лесу.

Мальчика спросили, что он делает с картами,— он сдал по нескольку карт и бойко заболтал по-чухонски.

Никто ничего не понял. Половой грозно прикрикнул по-чухонски, прибавив по-русски: «Глупый народ-с чухна-с!» И мальчик поспешно собрал свои карты и спрятал в карман жилета. Ему дали кусок ветчины, хлеба и сахару. Долго он вертел всё это в руках, то нюхал ветчину, то робко лизал сахар. Вдруг он положил сахар на ветчину, попробовал раздавить и потом с наслаждением стал есть ветчину с сахаром. Хохот последовал за выдумкой мальчика; один Тульчинов с сожалением качал головой.

— Жаль бедного! — заметил он.— Голод лишил его вкуса!

— Да и к чему иметь вкус, когда нужно глодать черствый хлеб? — сказал раздражительный молодой человек.

Мальчик между тем лакомился с таким наслаждением, что даже забыл поделиться с своей собакой. Потом он поблагодарил каждого особо своими выразительными глазами, сиявшими радостью, и убежал.

Подали экипажи; приятели уселись и хотели ехать, как вдруг, весь запыхавшись, явился мальчик с огромным пучком полевых цветов в руках. Он оделил всех и даже поднес было букет половому, но тот грубо оттолкнул его.

Тульчинов дал мальчику два четвертака. Чухонец весь задрожал, оторопел и вопросительно глядел на всех.

— Возьми себе и купи лапти.

Нога у мальчика была в крови: видно, он ушиб ее, как бегал за цветами. Но он с презрением посмотрел на свою рану и закивал головой, улыбаясь сквозь слезы.

Половой с жадностью глядел на деньги, данные Тульчиновым пастуху, и, сердито толкнув мальчика в спину, пробормотал что-то по-чухонски. Мальчик покраснел и кинулся было обнять Тульчинова, но сконфузился, потупил голову и тяжело дышал. Половой с презрением заметил, что чухна глупый народ: даже и поблагодарить не умеет!

Долго провожал глазами мальчик удалявшуюся коляску и всё кивал головой, хотя никто на него не оглядывался. Потом он радостно взвесил на ладони два четвертака. В его серых глазах столько было счастья, что он задыхался от него. Собака вертелась около и всё старалась заглянуть ему в глаза. Наконец он показал ей деньги и что-то сказал ей. Будто разделяя радость своего хозяина, она завиляла хвостом и стала ласкаться к нему. Мальчик спрятал деньги, в избытке счастья обнял свою собаку и, тихо посмеиваясь и лепеча что-то, начал валяться с ней по траве.

Глава II

ХАЛАТНИК

Была глубокая осень. Тульчинову случилось охотиться в тех же местах. День был мрачный; резкий, холодный ветер с маленьким дождем пробирал до костей; под ногами хрустели сухие сучья. Полуобнаженные деревья тоскливо качались, издавая жалобные стоны. В воздухе вместо резвых птиц кружились сорванные ветром желтые листья и, дрожа, падали на сырую землю. В лесу в такую пору бывает необыкновенно грустно. Всё кругом мертво; только ветер стонет, будто сам тоскуя о своем раздолье.

Охота шла неудачно, да и увядающая природа неприятно действовала на Тульчинова. В самом унылом расположении духа вышел он из лесу и увидел стадо, собравшееся в кучу: тощие животные жались друг к другу и жалобно мычали. Тульчинов вспомнил своего летнего знакомца — пастуха. С воем ветра долетело до его слуха что-то вроде детского плача. Осмотревшись, он заметил вдали шалаш из прутьев и пошел к нему. Шалаш походил на клетку: листья отвалились, сучья посохли, ветер свободно дул в широкие скважины. Заглянув в одну из них, Тульчинов ужаснулся: на мокрых, полусгнивших листьях лежал, скорчившись, пастух, стараясь отогреть свои босые ноги и руки. Он дрожал под мокрой и дырявой рогожей, тихо и уныло напевая чухонскую песню, и пенье его скорее походило на страдальческие стоны. К пастуху жалась вымокшая собака, тоже вся дрожа от холода; закинув голову кверху, она тихонько выла, подтягивая своему хозяину. Шорох за шалашом заставил ее вздрогнуть; она чутко осмотрелась и с лаем кинулась вон. Встреча двух собак посреди лесов и болот не очень была умилительна: они оскалили зубы и, враждебно глядя друг на друга, ворчали. Тульчинов окликнул свою собаку, и на голос его пастух робко выглянул из шалаша.

Рубашка и шотландский жилет его превратились почти в лохмотья; губы его были сини, в глазах его блистали слезы; он хотел улыбнуться, но не мог, и начал прыгать. Отогрев свои члены, он весело раскланялся, и радость его была неописанная, когда он узнал Тульчинова.

— Иди за мной! — сказал ему охотник, тронутый бедственным положением ребенка.

Пастух внимательно поглядел на небо, тяжело вздохнул и покачал головой.

Тульчинов, как мог, растолковал ему, что хочет взять его с собою. Пастух долго думал, наконец вдруг кинулся в шалаш и через минуту вернулся в странном наряде: маленькая голова его с белыми намокшими волосами продета была в отверстие длинной рогожи, которая волочилась по земле. Он заиграл в рожок; печальное эхо пронеслось по лесу, собака кинулась к лежавшему стаду и, подняв его своим лаем, погнала вперед. Пастух хлопал бичом и весело припрыгивал.

Через час из деревни выехала коляска; на запятках сидел пастух в рогоже и чухонскими криками ободрял свою собаку, бежавшую за экипажем.

Мальчика вымыли, приодели, назвали Карлушей, и через несколько дней управляющий Тульчинова отвел его в ученье к басонщику. Карлуша всему удивлялся, всего дичился; в лесу он любил людей, в городе он стал их бояться. В первый день пребывания у басонщика товарищи больно побили его, разумеется без всякой причины: так, познакомиться с новичком и измерить его силы... Как на новичка, на Карлушу возложили должность дворника, судомойки, кухарки, прачки — одним словом, взвалили на него всю работу, какая была в доме. Злая и тощая чухонка-кухарка бранила Карлушу с утра до ночи, несмотря на то что он был ее земляк. Карлушу остригли под гребенку, отчего лицо его стало казаться еще меньше, надели на него с большого мальчика старый, разорванный нанковый халат и толстые панталоны, которые внизу были обтрепаны так, что нитки грубого зеленого сукна висели, как бахрома, около босых ног мальчика. Веревка вместо пояса довершала его наряд. Платье же, подаренное ему Тульчиновым, поступило в распоряжение кухарки и хозяина, которые сочли выгоднейшим продать его.

Хозяин Карлуши был мрачный немец; прожив двадцать лет в России, он знал по-русски только несколько энергических, сильных слов, которыми щедро награждал ленивых учеников. Его мрачный вид и зловредный дым сигары, которую он не выпускал изо рта, наводили ужас на Карлушу. Сначала мальчика не допускали в мастерскую, но он работал с утра до ночи, вставал ранее всех и ложился позже всех. Он и его товарищи спали в темной маленькой комнатке вроде чулана, возле кухни, кто на сундуке, кто на полу, не раздеваясь. Удушливый кашель кухарки, ее ворчанье и шепот рано будили Карлушу. Проворочавшись ночь в душной каморке, он с рассветом, шатаясь, выходил из нее и опрометью сбегал по темной, грязной и узкой лестнице, чтоб *натаскать* дров, пока все спят. Захватив охапку, он, задыхаясь, взбирался в четвертый этаж; от страха быть пойманным спотыкался: полено за поленом быстро катилось вниз; Карлуша, выбившись из сил, садился на грязные и сырые ступени мрачной лестницы и, закрыв лицо исцарапанными руками, горько плакал. Поплакав досыта, он собирал силы и карабкался выше с своей ношей. В кухне его встречала кухарка бранью, что мало принес дров, и посылала принесть еще. Он также таскал чистую и грязную воду; иногда руки его так ослабевали, что всё валилось из них, и тогда...

В семь часов утра Петербург спит, везде пусто, только рынки, и особенно Сенная, кипят жизнью. Сонные кухарки с бранью перебегают от прилавка к прилавку. Старые женщины отважно взлезают ка высокие телеги и, дрожа от волнения, снимают часа по два с необыкновенным наслаждением настой молока с небольших кувшинчиков, заткнутых ветошкой, которую они каждый раз усердно облизывают, пробуя, не горьки ли сливки.

Когда Карлушу в первый раз взяли на Сенную, утро было холодное и туманное; мелкий снег порошил с неба и полосами ложился по грязным улицам. Закутавшись в длинную кацавейку, кухарка исполинскими шагами стремилась по пустым улицам к рынку. Карлуша, в одном халате, босиком, без фуражки, с огромным парусинным мешком и несколькими горшками, бежал за нею. Ветер с наглостию рвал с него последнее одеяние и усыпал его бедную, плотно обстриженную голову серебристым снегом.

Подходя к Сенной и заслышав смешанный гул, кухарка удвоила шаги. Крик, говор, скрипение телег, толпа народу — всё вместе так поразило Карлушу, что он ухватился за кацавейку кухарки, которая уже бойко кричала, торгуя молоко. Карлуша дрожал от страха и холода; ему казалось, что все кричат на него, бранят его.

С час водила его кухарка по площади среди грязи, разъедавшей его босые ноги, не привыкшие к каменной мостовой. Парусинный мешок всё туже набивался капустными листьями, валявшимися около прилавков. Уже он так страшно раздулся, что некуда было положить горошины, уже Карлуша изнемогал под бременем его, а кухарка всё продолжала с жадностью хватать листья.

— Что, тетка, корова, что ли, у тебя? — крикнул ей один мужик, который, стоя у своего прилавка, похлопывал руками и припрыгивал.

— А вон, гляди, и корова! — со смехом сказал ему сосед, указывая на Карлушу, который страшно испугался мужиков: их бороды, брови и ресницы были опушены снегом, отчего резко обрисовывались широкие, плоские черты мужиков. Кухарка отвечала им бранью. Закупив достаточное количество провизии, она взвалила Карлуше на спину мешок, вдвое больше его, а сама бережно понесла горшки. Карлуша кряхтел, и хотя было холодно, но на лбу его выступили крупные капли пота.

Возвратясь домой, он должен был чистить посуду, стирать и полоскать белье.

Но вот явился еще новичок, и Карлушу посадили в мастерскую. Комната широкая, но мрачная, с низеньким потолком, закопченными стенами, пол грязный. Станки, упиравшиеся в потолок, загромождали мастерскую; только узенькие проходы оставлены между ними; сети из шелку, проволоки и веревок протянуты в разных направлениях; всё дрожит и шипит; с грохотом вертятся колеса, стучат педали,— гам и стук непрерывный! Карлуша страшно испугался, очутившись в таком хаосе. Всё здесь было ему и страшно и дико; он не подозревал, что из всего этого стука и треска выйдет какой-нибудь тоненький снурок или бахрома для дамского платья.

Товарищи его сидели за станками, проворно и мерно ударяя босыми ногами по педалям и быстро меняя мотки шелка, которые были у них в руках. Мальчики хранили глубокое молчание, потому что хозяин, покуривая свою страшную сигару, прохаживался по закоулкам комнаты.

Карлуше дали распутывать шелк, посадив его у пустого станка. Копотливая работа, непрерывное шипенье бесчисленных нитей, медленно шевелившихся над головой, непрерывный гул, треск и стук — всё так сильно подействовало на мальчика, что голова его стала кружиться, мысли путались. Всё с большею силою завертелась, наконец, и самая комната, стук сделался нестерпимым громом: голова бедного ребенка скатилась на станок,— дальше он ничего не помнил. Очнувшись, он долго сидел неподвижно, в отупении и бессилии, позабыв свою работу, как вдруг почувствовал над своей отяжелевшей головой зловредный запах сигары. Карлуша весь содрогнулся. Хозяин молча взял его за руку и, выводя из мастерской, грозно кликнул кухарку, которая схватила своими костлявыми руками ошеломленного мальчика...

Слабый крик вырвался из груди мальчика, и он лишился чувств.

Суровая кухарка привыкла бороться с новичками; но, увидав бледного Карлушу у своих ног, она тронулась. Притащив воды и спрыснув ему лицо, она осторожно свела его в кухню и дала ему чашку теплого синего молока. С того дня Карлуша поступил под ее защиту; она свалила всю работу на вновь поступившего в ученье мальчика, и испытание Карлуши кончилось.

Но ежеминутный страх, брань кухарки, которая решительно не могла иначе говорить, душный воздух, тоска по полям и лесам сушили Карлушу. Впрочем, он еще

как-нибудь выносил бы свою участь, если б не страдание о собаке, которая подвергалась побоям, голоду и холоду, как и он. Первые дни она рвалась в кухню, где был Карлуша, выла на всю лестницу, будто жалуясь Карлуше на жестокость людей, не отходила от дверей, как ее ни били. Наконец животное покорилось своей участи и поселилось в темном углу под лестницей, которая вела на чердак, и там лежало дни и ночи в ожидании своего хозяина. Карлуша так любил свою собаку, что половину своего скудного обеда оставлял ей. В праздничные дни он просиживал с ней по целым часам под лестницей, а в тяжелые минуты, обняв костлявую шею собаки своими худыми руками, он жал ее к сердцу, затягивал тихо свою чухонскую песню, и слезы ручьями текли по его впалым щекам. Собака чуть слышно стонала, будто страшась, чтоб не открыли их убежища, ласково махала хвостом и лизала лицо и руки своего хозяина.

Настал март месяц. На грязный двор, окруженный со всех сторон стенами, как ящик, начали иногда залетать воробьи, которые весело щебетали, радуясь близкой весне.

На лестнице стало еще сырее. Карлуша днем и ночью бредил травой, лесом, своим стадом, и после отрадных снов еще печальнее представлялась ему действительность. Раз снится ему, что бегает он по полям, играет в рожок; стадо мычит; солнце ярко светит... везде цветы, небо ясно... он бегает с горы на гору... но вот он устал: жарко и душно! Карлуша проснулся, и страх сжал его сердце: кругом темно, товарищи храпят на разные голоса,— ему так стало вдруг тяжело, что он бросился на двор. Весь дом спал, было тихо, не то что днем, когда медники, мебельщики, сапожники и прочие жильцы возятся и стучат во всю мочь. Карлуша сел на полуразрушенную поленницу и, жадно глотая воздух, думал о своем сне. Вдруг страшный визг раздался у ворот,— Карлуша вздрогнул: он узнал голос своей собаки. С отчаянным усилием проскочив в подворотную щель, она подошла, шатаясь на трех ногах, к своему хозяину. На шее ее была веревка, тянувшаяся по земле; собака была вся в крови; четвертая лапа ее волочилась по земле. Карлуша с воплем кинулся к ней; собака легла на бок, жалобно завизжала и глазами, полными слез, смотрела на Карлушу. С рыданьем потащил он ее в темный и сырой угол под лестницу, обмыл ее раны и гладил ее, заливаясь горькими слезами. Собака, будто

в благодарность, лизала ему руки своим сухим и горячим языком.

Начали вставать. Карлуша кинулся в мастерскую. Сидя за работой, он вздрагивал; слезы мешали ему видеть. Однообразное шипенье ниток и проволок, смешанное со стуком колес, нестерпимо томило его, и, когда басонщик закурил свою зловредную сигару, Карлуша тихонько вынырнул из мастерской и кинулся к больной собаке. Она изнемогала от раны, кровь текла сильно, и бедная собака так ослабела, что, привстав при появлении Карлуши, тотчас опять упала. Тихим стоном и медленным виляньем хвоста приветствовала она Карлушу, а Карлуша обнял ее израненную голову, целовал ее и приговаривал, что он с ней убежит в лес, что они снова будут пасти стадо. Собака мутно поглядела ему в глаза и, будто не веря в возможность такого счастья, печально склонила голову.

Карлуша долго болтал ей про леса, про стадо и горы, гладил ее, называл нежными именами. Собака лежала бесчувственно, приткнув к его колену голову. Наконец Карлуша заглянул ей в глаза, и ужас оледенил его. Сам не зная, что делает, он схватил уже не дышавшую собаку на руки, сбежал вниз и спрятался с ней за дрова. Там он в каком-то отупении глядел на свою собаку и ласками и слезами думал оживить ее. Так провел он целый день за дровами. Настал вечер. Карлуша, не замеченный никем, пробрался в мастерскую, спрятался за станок. Работать уже кончили; в комнате было тихо и темно. Карлуша долго лежал; он вспомнил много лиц, которых видел давно-давно. То казалось ему, что он лежит на горячих угольях; то вдруг становилось холодно; он впадал в бесчувственность или грезил, что заблудился в дремучем лесу. Карлуша развел руками и ощупал педаль станка; хотел привстать и подавил ее: колесо завертелось, несколько проволок вздрогнуло. В ушах мальчика раздался страшный стук; колесо давно смолкло, но ему казалось, что все станки пришли в движение и грохочут, что все проволоки шипят и свистят; множество народу набежало в мастерскую, кричат, суетятся! Карлуша заметил, что лица у людей не человечьи — как они кривляются, как прыгают! а по проволокам скачут маленькие чудовища... Вдруг комната наполнилась дымом, и мрачный хозяин с ужасной сигарой явился перед Карлушей, таща на веревку худую, окровавленную собаку. Он всё рос; наконец голова его уперлась в потолок, а руки были так длинны, что он, не нагибаясь,

схватил собаку и, грохнув ее об пол, убил сразу; потом так же, не нагибаясь, схватил Карлушу за горло и начал душить.

К утру бедного мальчика в страшной горячке отвезли в больницу.

Когда наконец Карлуша выздоровел, его хотели было опять отправить к басонщику; но он так жалобно умолял не везти его к прежнему хозяину и так горько плакал, что управляющий счел нужным доложить об этом Тульчинову. Тульчинов, к удивлению всех в доме, очень занялся маленьким дикарем, сам долго расспрашивал его и потом поместил к одному очень честному и доброму башмачнику, тоже немцу, который выучил Карлушу не только шить башмаки, но даже читать и писать.

Карлуша вообще не походил на петербургских мастеровых: у него недоставало духу с опасностью жизни бежать полверсты за каретой, чтоб прокатиться на запятках; драки между мальчиками-портными и мальчиками-башмачниками, вечно враждующими, не внушали ему ничего, кроме ужаса; он не умел прикидываться пьяным, чтоб заслужить уваженье товарищей... Словом, на Карлушу товарищи смотрели как на недостойного носить тиковый халат. Единственным развлечением его было выбегать иногда под ворота. А в воскресенье, одевшись во всё чистое, пригладив волосы, он по целым дням стоял у крыльца. Из противоположного дома, где помещался магазин дамских мод, часто выбегала к нему хорошенькая девочка-ученица и болтала с ним и смеялась. У Карлуши появились на тиковом халате шелковые обшлага, шелковый воротник, и он уже лентой подпоясывал талию. В свою очередь и у девочки явились ботинки, сшитые в свободное время Карлушей. Так шло время. Горе и радость Карлуша делил с Полинькой, и, когда подруга его выехала из магазина, он плакал как сумасшедший. Но, к счастию, ученье его скоро кончилось. Тульчинов дал ему небольшую сумму на заведение собственной мастерской; Карлушу переименовали в Карла Иваныча, и он поселился на Петербургской, в одном доме с Полинькой.

Новый мастеровой был совершенно счастлив, пока не стал жить в Струнниковом переулке Каютин. Остальное читателю известно.

Что касается до Тульчинова, то история его коротка: в молодости он любил, был разочарован, обманут в дружбе, обыгран — словом, всё испытал, что только посылается

людям с обеспеченным состоянием. Состояние его можно было даже назвать огромным: как ни были утонченны его гастрономические потребности, как ни много проедал он, денег, однако ж, оставалось. И так как он по натуре был добрейшим существом, то и употреблял свои избытки не ко вреду, а в пользу других,— известно, что и аппетит лучше после доброго дела!

Чем старее становился Тульчинов, тем больше принимал участья в башмачнике. Он видел, что Карлуша слишком добродушен, что он вовсе человек непрактический, и боялся упустить его из виду. Притом ему нравилась, как нравится всякая редкость, детская простота Карла Иваныча, перешедшая в зрелые лета и обещавшая проводить башмачника в могилу; и одинокий старик, с чувством, похожим на любовь, усаживал и кормил башмачника каждый раз, как благодарный немец приходил поздравить с праздником своего благодетеля.

Теперь понятно, почему Тульчинов принял такое участие в башмачнике, прибежавшем к нему искать помощи как к единственному своему покровителю. Понятно, также, почему Тульчинов, не узнав ничего утешительного насчет Полиньки, чуть не со слезами воротился в кабинет горбуна, где оставил бесчувственного башмачника.

Первые слова очнувшегося Карла Иваныча были о Полиньке. Голова его была страшно горяча, мысли путались. Тульчинов в карете перевез его к себе и послал за доктором. Но башмачник не хотел лечь в постель, не хотел ждать доктора; он рыдал и рвался искать Полиньку. Наконец у старика недостало сил уговаривать его,— Карл Иваныч убежал...

Безотчетно очутился он в Струнниковом переулке, измученный и печальный. Стыдно было проходить ему мимо знакомых домов, встречать лица соседей: ему казалось, что все смотрят на него насмешливо, как будто спрашивая: а где Полинька ночевала? где она до сей поры пропадает?

Подходя к своему дому, он увидел Доможирова, в халате, в картузе с длинным козырьком и с метлой: почтенный домохозяин, по примеру многих жителей своего околотка,— вероятно, для моциона,— усердно мел улицу перед своими окнами.

— А, здорово, здорово! — забормотал он, увидав бледного башмачника.— Да скажи же ты мне, что у вас,

праздник, что ли, какой? Чуть свет — ты уж и со двора. У ней тоже уж гости.

— Гости? Да разве она дома?! — воскликнул башмачник.

— Батюшка! как глаза вытаращил! — отвечал Доможиров с хохотом.— Уж, значит, дома, коли говорю: у ней гости!

Как ни мало верил башмачник Доможирову, успевшему прослыть не только в Струнниковом, но и во всех окрестных переулках великим шутом, однако ж он опрометью кинулся в квартиру Полиньки.

Опершись на метлу, Доможиров проводил его глазами и потом глубокомысленно проговорил:

— Вот и немец... башмачник... а нарезался, как сапожник!.. ха-ха-ха!

И он долго хохотал своей шутке.

Глава III

НОЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЬКИ

Полинька (мы теперь обращаемся к ней), оставшись одна в мрачной и пустой комнате, тускло освещенной, долго плакала. Угрозы негодующего горбуна страшно пугали ее. Что будет с бедной Надеждой Сергеевной? Полинька готова была решиться на всё, чтоб спасти свою подругу, которая заменяла ей мать и сестру. Что будет с ней самой? Она думала о Каютине, и ей казалось, что брак их не может осуществиться; а стыд, когда все узнают, где она провела ночь? а Карл Иваныч? что будет с ним? Полинька вскочила с дивана и кинулась к окну: отчаяние внушило ей страшную мысль. С трудом раскрыв форточку, она высунула голову. Мрачно было внизу, ветер всё еще выл, перед ней качались голые деревья,— вышина была страшная! Полинька содрогнулась. Что, если горбун только стращает?.. Карл Иваныч, может быть, догадается и придет спасти ее. Каютин, может быть, уже в дороге и спешит к ней. В одну минуту Полиньке казалось возможным и спасенье и счастье. Ей пришла мысль, нельзя ли обмануть горбуна притворным согласием, смягчить кокетством? И она подбежала к зеркалу, чтоб увериться, точно ли может кокетством смягчить своего врага,— придала глазам своим, еще полным слез, лукавое

выражение, потом умоляющее и заключила повелительным жестом, как будто горбун уже лежал у ее ног и просил прощения.

Но скоро в душу Полиньки снова закралось отчаяние: если он останется непреклонен? если не поверит хитростям? «Что ж! пусть не думает он, что я боюсь его угроз!» — подумала она, топнув ножкой,— и осталась жить. Так она хитрила перед собой, испугавшись самоубийства.

Полинька села у окна и задумчиво всматривалась в мрачное небо; тучи быстро мчались... вот (и Полинька сильно обрадовалась) показалась звездочка, еще и еще. Полиньке живо представился Каютин, который иногда рассказывал ей о звездах; она забылась и предалась воспоминанию. Так прошло с полчаса. Вдруг посреди глубокой тишины послышался шорох на дереве; она подняла голову и в испуге отскочила от окна. Кто-то сидел на сучке дерева и покачивался; фигура спустилась ниже, в уровень с окном, села верхом на сучок и стала снова покачиваться. Полинька с напряженьем всматривалась в нее и наконец радостно вскрикнула и кинулась к форточке: она узнала своего приятеля — рыжего мальчишку, с которым немножко поссорилась, когда в первый раз приходила к горбуну. Ей казалось, что он пришел спасти ее, и, протянув ему руку, она сказала умоляющим голосом:

— Спаси меня! выпусти!

— Тише,— отвечал шепотом мальчишка, погрозив ей пальцем.— Ну а как я тебя спасу? Пожалуй, взлезай на дерево: я не буду кричать!

Полинька тяжело вздохнула: взлезть на дерево из форточки было невозможно.

— Как же ты забрался сюда? — спросила она мальчишку, желая хоть продлить с ним свидание.

— Как забрался? я привык лазить по нашим деревьям.

— Что ты тут делаешь? — спросила Полинька.

— Гуляю. Днем хозяин запирает меня, как идет со двора,— так я вот по ночам зато гуляю.

— Разве весело тебе сидеть на дереве?

— А как же! я всё видел, всё; сколько у него золота, каменьев! Уф!

И мальчишка прищелкнул языком.

— Где же ты всё видел?

— А вот сижу здесь и смотрю, что в комнате делается. Как вырасту, уж я ему дам себя знать!

И он сжал кулак.

— Так ты его не любишь? — спросила Полинька, довольная, что нашла еще человека, который ненавидит горбуна.

— Я люблю ли его? ха-ха-ха! А вот я ему покажу, как выросту!

— Что же ты сделаешь?

— Что я сделаю!.. а тебе на что?

— Я буду рада, если ты ему что-нибудь дурное сделаешь; я его тоже ненавижу: он гадкий!

— За что ты его бранишь? вишь, он куда тебя запер. Я раз хотел посмотреть в щель, что он здесь делает,— так он меня чуть не убил. А как ты упала, так он плакал, рвал на себе волосы... вишь ты какой! ха-ха-ха!

И мальчишка засмеялся.

— Я его не люблю! он обманул меня, он злой!

— Злой, а небось тебя не запер, как нас с Машкой,— злобно заметил мальчишка.

— С какой Машкой? — спросила Полинька, вздрогнув, и ей тотчас представилась другая жертва, подобно ей завлеченная обманом и, может быть, погибшая.

— Кто Машка? моя сестра! — мрачно отвечал мальчишка и запел петухом.

— А большая твоя сестра? она здесь тоже живет?

— Машка? нет, она умерла.

— Давно? а который ей год был?

— Я почем знаю!.. меньше меня ростом — по грудь мне приходилась.

Полинька нехотя рассталась с мыслию, что не ее одну постигла такая страшная участь.

— Отчего твоя сестра умерла?

Мальчишка не мог вдруг отвечать на вопросы; он сначала сам повторял:

— Отчего умерла?.. оттого умерла... ну, так же умерла, как наш тятька.

— А кто твой отец был?

— Я не знаю: я маленький был; помню, как он лежал на столе, такой худой и страшный.

— Так вы сироты?

— Ха-ха-ха! барыня-сударыня, подай Христа ради сироткам, хоть копеечку! — запищал мальчишка.— Мы, бывало, с Машкой,— прибавил он с увлечением,— так прашивали. Нет, у нас мать есть. Одна барыня увидала Машку на улице и взяла ее к себе, платье ей сшила, куклу купила; Машка ушла от нее: скучно стало сидеть в

комнате! Где, бывало, не перебываем в целый день! А как дурная погода, так больше доставали: дрожим, будто от холоду; я притворяюсь хромым, слепым или немым. Машка и ну кричать: «Господа, подайте слепому, убогому сироте!» Иной остановится, начнет спрашивать,— Машка и врет: что мы ничего не ели с утра, что мы сироты. Я ее научу; она слушалась меня...

— Ну а мать знала, что вы милостыню просите?

— Мы ей деньги приносили; она на фатере жила с нищими. Нас сначала две старухи брали с собою, а особенно Машку, когда та была маленькая. Потом мать велела нам ходить одним: я ей сказал раз, что Машке дают много денег господа.

Полинька забыла на минуту свое положение и в ужасе слушала мальчишку.

— Ты любишь свою мать?

— Я люблю ли свою мать? — и мальчишка задумался.— Да, люблю, когда она не бранится...

— Как же ты сюда попал?

— Как сюда попал? А мы раз шли с Машкой по улице, увидали горбуна; я согнулся, как он, да и стал просить милостыни: мать, дескать, на столе лежит, нечем похоронить! Он руку в карман, а другой как схватит меня за шиворот. Я крикнул, Машка заплакала и ну его просить, руку ему целует. А он погрозился ей да и говорит: «Ведите меня к матери: посмотрю я, как она на столе лежит!» Я было не хотел, да он будкой грозит; вот и пришли. Мать спала. Уж как он кричал на нее: зачем, вишь, у ней дети нищие! Покричал и говорит: «Я возьму к себе твоих детей: пусть они трудами хлеб достают». Мать и отдала нас. Он ей платит в месяц, не знаю сколько. Я ей жаловался, как сестра умерла, да она его боится. А он теперь уж совсем не пускает меня к ней. Да вот выросту...

— Вы одни у него жили?

— Одни; до нас тоже, верно, жил мальчик; мы нашли в подвале игрушку. Машка очень боялась хозяина. Мы с ней двор выметали, всё в доме убирали; я платье вычищу, всё сделаю. А он как со двора, так и запрет нас. «Дети,— говорит,— могут и дом зажечь!». А в подвале почти совсем темно, вот и сиди, пока воротится! А крысы какие там, так и бегают! Машка их боялась; раз, как она спала, крыса по ней пробежала; с тех пор она и ну плакать: всё ей страшно было. Да вдруг и захворала, всё меня просила: убежим! хотелось ей к матушке и погулять.

Мать сама часто приходила к нам; вот как Машка уж совсем исхудала, хозяин и велел ее взять; а потом уж она скоро и умерла...

Мальчишка стал прислушиваться.

— Идут! идут! — прошептал он и, как белка, очутился на самой верхушке дерева.

Полинька испугалась тоже, притаила дыхание; но шорох умолк, всё кругом было тихо.

— Нет никого! — сказала она.

— Мне спать пора!

— Нет, погоди!

— А что дашь?

Полинька нашла в кармане своего передника мелкую монету и показала мальчишке. Сучок пригнулся к самому окну, и мальчишка схватил деньги. Они оба засмеялись.

— Хочешь получить много денег? — спросила Полинька.— Отнеси ко мне на квартиру письмо, спроси там башмачника и отдай ему; он тебе даст много денег; и я, как выйду, дам тоже.

Мальчишка молчал.

— Послушай,— продолжала Полинька, придав столько нежности своему голосу, что мальчишка улыбнулся,— ты хочешь своему хозяину досадить? Ну, отнеси мое письмо! Я бы, пожалуй, и из окна выскочила, да высоко! Зато как меня спасут,— он придет сюда: никого уж и нет! У! как весело! вот рассердится!

И Полинька чуть не прыгала.

— А он точно будет сердиться? — спросил мальчишка.

— О, ужасно! Ему хуже всего на свете, если я убегу.

— А что дашь? я выпущу тебя,— сказал мальчишка.

— Всё, что ты хочешь! — в восторге воскликнула Полинька.

— Четыре золотых,— сказал мальчишка.

— Хорошо, только выпусти.

— Где же деньги? — спросил он смеясь.

— У меня нет здесь, я дома отдам.

— Обманешь! нет, дай сейчас, так выпущу.

Полинька пришла в отчаяние: она стала умолять мальчишку, но он не верил ей; он даже припоминал, что она хотела жаловаться на него хозяину. Полинька горько зарыдала. Мальчишка улыбался, качаясь на сучке.

— Ну, не плачь! — наконец сказал он.— Дай мне бумажку, какую ты давала хозяину,— помнишь, как деньги занимала.

— Как тебя зовут? — радостно спросила Полинька.

— Волчок,— отвечал он.

— Как? Волчок? да такого имени нет.

— Как нет! да меня все так зовут. А то есть еще имя, да тем меня никто не зовет, только матушка.

— Ну как?

— Осип.

— Так и надо. А отца как звали?

— Сидором.

Полинька кинулась к столу и написала расписку.

— Ну, вот тебе, Осинька! — нежно сказала она.— Только спаси, спаси меня!

Волчок, раскачавшись на дереве, вырвал у ней записку и с хохотом проворно спустился вниз.

Полинька вскрикнула. Совершенное отчаяние овладело ею; надежда, так неожиданно вспыхнувшая, так же скоро исчезла.

Полинька долго досадовала на свою легковерность, забыв даже закрыть форточку. Ветер утих, но воздух был сыр и холоден; петухи лениво перекликались. Вдруг послышалось:

— Тссс!

Полинька радостно кинулась к форточке.

Волчок уже сидел на дереве. Он вертел на пальце ключ и поддразнивал им Полиньку.

— Брось его сюда, брось! — сказала она умоляющим голосом.

— Ишь, какая прыткая!

— Где ты его достал? неужели у него?

— Как же, держи карман! нет, я не дурак: ключ мой собственный... я, как выросту... я его тогда!

— Ты хочешь его обокрасть? — спросила Полинька.

— А ты хочешь ему пожаловаться? — грозно сказал Волчок.

— О нет, нет!

— Смотри у меня!

— Уверяю тебя, я ему ничего не скажу. Я никому не скажу, я буду очень рада! — твердила Полинька, стараясь разрушить недоверчивость своего спасителя.

Он рассмеялся; она тоже принужденно смеялась.

— Ну, прочь с окна! — повелительно сказал мальчишка, приготовляясь бросить ключ.

— Дай мне в руки! ты не попадешь в форточку, окно еще разобьешь!

Полинька отшатнулась, радостно спрыгнула с окна и кинулась подымать с полу тряпку, в которую Волчок завернул ключ.

— Спрячь тряпку! — крикнул он.

Полинька исполнила его приказание и от радости не знала, что делать.

— Тсс!

И мальчишка манил ее к себе. Полинька весело вскочила на окно.

— Когда отворишь дверь, запри ее за собою и ключ вынь. Ты выйдешь в коридор, налево окно, влезь на него, а там крыша. Смотри, прислушайся, нет ли его в коридоре, а потом отворяй. Я запою петухом у окна два раза — значит, пора.

И мальчишка спустился с дерева.

Полинька не проронила ни одного слова. Но ей вдруг стало страшно, руки дрожали, ее бросало то в жар, то в холод; от двери она кидалась к окну, боясь не услышать условного знака. Наконец петух крикнул два раза. Полинька боялась поверить: точно ли пел мальчишка? не настоящий ли петух? Она потушила свечи, заперла форточку и, приложив ухо, долго прислушивалась, нет ли кого в коридоре. Дрожа всем телом, Полинька вложила ключ. Холодный пот выступил на ее лице, когда после многих поворотов ключа во все стороны замок не раскрывался. Забыв всякую осторожность, она стала вертеть ключ изо всей силы и с отчаянием сказала: «Он обманул меня!» Но как-то случайно она приподняла ключ кверху — и замок щелкнул! Полинька, как кошка, скользнула в дверь, заперла ее и спрятала ключ в карман. Очутившись в темном коридоре, она не решилась ступить шагу. Холодный ветер пахнул ей в лицо и тем напомнил об окне. Окно было довольно высоко от полу, и Полинька с большим трудом вскарабкалась на него и потом спустилась на крышу.

Мальчишка молча взял ее за руку и повел по крыше. Когда пришли они к тому месту, где к стене дома примыкал забор, мальчишка спустился на самый край крыши и очутился верхом на заборе.

— А ты что ж? — сказал он Полиньке.

Полинька с чрезвычайными усилиями тоже добралась до забора.

Волчок смеялся. Они были над теми самыми воротами, в которые Полинька вошла в первый раз к горбуну. Волчок неожиданно спрыгнул вниз.

— Прыгай,— сказал он Полиньке.

Полинька взглянула вниз: больше сажени было до земли.

— Послушай,— сказала она,— что, если я ногу переломлю, как я тогда убегу?

— Ха-ха-ха! а мне что за дело! Ну так оставайся здесь, сиди на воротах! вот как рассветет — полюбуются прохожие. А не то назад ступай!

Полинька прыгнула, и удачно, только кисти рук ее хрустнули и страшно заныли.

Волчок смеялся, глядя, с каким усилием поднималась она на ноги.

— А вот я так умею прямо на ноги прыгать, сколько хочешь. Ну, прощай! убирайся скорей... У-у-у! то-то сбесится! то-то сбесится, как узнает, что тебя нет! ха-ха-ха!

И мальчишка прыгал и гримасничал.

— Прощай!

В два прыжка очутился он на воротах, но тотчас же с быстротою кошки спустился и прошептал испуганным голосом:

— Беги, беги скорее! Он ходит по двору с фонарем... ищет, ищет!

Полинька пустилась бежать со всех ног.

Приставив глаза к щели и выждав, пока горбун ушел на другую сторону двора, где росли обнаженные деревья и куда выходило окно с форточкой, Волчок тихонько перелез на двор. Едва успел он добраться до своего подвала, лечь и притаиться спящим, как бледный, дрожащий горбун, с фонарем в руке, появился на пороге.

И по всему дому начались поиски, о которых горбун говорил Тульчинову.

Полинька бежала, сколько хватило силы, повернув в первую улицу, какая попалась; ей всё казалось, что горбун гонится за ней. Наконец страшная усталость заставила ее приостановиться. Улица, в которой она находилась, была совершенно ей незнакома. Кривые, полувросшие в землю деревянные домики местами печально выглядывали среди заборов. Всё спало; только шаги Полиньки, резко звучавшие по деревянным помосткам, нарушали тишину улицы. Страх всё сильней овладевал Полинькой. Во всю жизнь не испытывала она столько разнородных ощущений, столько горести, негодования, отчаяния, ужаса, сколько пережила теперь в несколько часов, и нервы ее не выдержали. Собственная тень пугала

ее, малейший звук вдали заставлял ее вздрагивать; слезы так и навертывались на глаза. «Что мне делать? что мне делать?» — спрашивала она себя с отчаянием. Вдруг вдали показалась черная точка. «Помогите, помогите!» — готова была крикнуть Полинька, затрепетав всем телом; но черная точка скоро получила очертание женщины, и Полинька успокоилась. Она была высока и шла бодро, сухо кашляя, размахивая руками и бормоча: «Три с полтиной, два с четвертью...», и так была занята своими расчетами, что, поравнявшись с Полинькой, даже не заметила ее.

Лицо, изрытое рябинами, седые нависшие брови, седые волосы, торчавшие из-под чепчика с изорванными кружевами и старомодной измятой шляпки, высокий рост старухи и, наконец, огромный узел, который она держала под салопом,— всё вместе произвело неприятное впечатление на Полиньку; однако ж она решилась спросить:

— Как пройти в Струнников переулок?

— Господи! — воскликнула старуха, вздрогнув: верно никак не ожидала встретить кого-нибудь в такую пору.

— Как пройти в Струнников переулок? — повторила Полинька, побледнев.

— В Струнников? — сказала старуха, пристально оглядывая Полиньку, которая, дрожа, отвечала:

— Да!

— Как пройти?.. гм!

Старуха еще раз искоса оглядела Полиньку и с усмешкой сказала:

— А вот, голубушка моя: иди всё прямо, выйдешь на улицу с заборами — всё иди, а как поравняешься с сереньким домиком, поверни налево.

— Нет, я не пойду, не пойду!— с ужасом воскликнула Полинька, догадываясь, мимо какого серого домика нужно будет ей проходить.

— Да что с тобой? что ты так дрожишь?

Полинька чувствовала, что руки и ноги у ней дрожали, а голова начала кружиться.

— Мне что-то дурно! — прошептала она и села на деревянные помостки, которые были тут высоко от земли.

— Да пойдем ко мне: ляг; там — отдохнешь — я, пожалуй, и провожу тебя! — ласково сказала старуха, нагнувшись к Полиньке.

Полинька протянула руки; старуха приподняла ее, и они пошли.

Подойдя к окну ветхого домика, окна которого (числом три) казались вросшими в землю, а до крыши можно было достать рукой, старуха постучала в крайнее окно и, обращаясь к Полиньке, сказала:

— Вот мы и дома!

— Что, небось, испугала детей! Чай, думали: трубочист пришел! — маня за собой Полиньку, говорила старуха человеку, стоявшему за калиткой и страшно кашлявшему.

— Ja!* — отвечал немец, дрожа от холоду (он был очень легко одет).

Они вошли в сени. Ощупав дверь, старуха достала из кармана ключ и отперла ее.

Полинька вошла в комнату, низенькую и мрачную; навес крыши не допускал много свету в маленькие окна, которые внутри комнаты были ближе к потолку, чем к полу. Бедно было в комнате, освещенной лампадкой; лоскутки наполняли ее; старые платья грудами лежали во всех углах; иные висели по стенам. Шляпы мужские и женские, остовы зонтиков, старые башмаки — словом, всё, что требовалось для туалета дамского и мужского, можно было выбрать здесь, и всё в самом негодном виде.

— Ну, красавица моя, гостья дорогая,— говорила старуха, засветив свечу и поставив ее на стол,— ляг, отдохни, полежи... хочешь, я тебе кофею сварю? согрейся.

В голосе старухи было столько радушия, что Полинька без отговорки сняла салоп и шляпку. Увидав ее без шляпки, старуха вскрикнула и, взяв со стола свечу, поднесла к лицу Полиньки.

— Что вам? — невольно спросила Полинька.

— Так, так: не бойся; так... ишь ты, какие волосы славные! чудо! Вот тоже хорошие, да что! дрянь перед твоими!

И старуха вытащила длинную-длинную косу из своего узла.

— А какие длинные! — заметила Полинька.

— Ну зато нет глянцу такого! У меня, видишь, жилица бедная такая: так вот она обрезала косу и дала продать.

Старуха, спрятав косу своей жилицы, взяла Полинькин бурнус и стала рассматривать и вертеть его.

— Еще новый, совсем новый,— говорила она с сожалением.— А как сносишь, принеси мне; да еще чего ста-

* Да! *(нем.)*

рого нет ли? я тебе променяю на что угодно... на ситец... ну, на что пожелаешь.

И старуха подсела к Полиньке и стала с жадностью ощупывать ее платье.

Полинька так была утомлена, что глаза ее невольно смыкались и она чувствовала, как понемногу теряет сознание и последние силы; все члены ее будто замерли. Сидя подле нее, старуха что-то ворчала; но Полинька ничего не понимала и скоро заснула. Детский плач разбудил ее; но она была так слаба, что едва могла открыть глаза. Старуха сидела посреди комнаты на полу, окруженная лохмотьями; на ее безобразном носу торчали очки в медной оправе, опутанной нитками; она порола небольшим ножичком старый сюртук.

— Ничего, спи,— сказала она, заметив, что Полинька приподнялась,— это жилицыны дети плачут.

Послышался детский кашель.

— Ишь ты, простудили его. Вот зачем таскали на дачу! Да и то правда,— прибавила старуха, усмехнувшись,— с кем же его было оставить?.. Ну, не хочешь ли кофею?

— Нет-с, благодарю!

За стеною послышались удары в бубен, и пискливый детский голос затянул в нос немецкую песню.

— Это что? — спросила Полинька.

Старуха усмехнулась и стала тихонько, сиплым голосом, подтягивать.

— А дочь шарманщика учится,— сказала она.

Девочка кричала во всю глотку, ребенок плакал, мужчина кашлял, женский голос бранился по-немецки.

— Вот так веселье: кто плачет, кто поет... Чего хочешь, того просишь! — заметила старуха.

— Кто тут живет?

— Шарманщик с женой да с двумя детьми. Немчура бедный, прежде держал токарный магазин, да проторговался, а в подмастерья не годился: глаза плохи! вот и мыкают горе. Жаль их! иной раз ходят-ходят, чай, весь Петербург обойдут: меньше гроша принесут домой! Кажись, думают люди, что коли с музыкой человек ходит, так ему весело и есть не хочется! а не всё равно — такой же нищий: подайте Христа ради, вот и всё. Постой, я спрошу, что они собрали вчера? на дачу ходили!

И старуха, смеясь и подмигивая, встала, подошла к стене и, постучав, закричала:

— Мадам, а мадам!

Гам продолжался; ответа не было.

— Эй, гер, гер! — гаркнула старуха во всё горло.

И то напрасно. Наконец она потеряла терпенье и начала стучать в стену. Всё смолкло; только один кашель продолжался.

— Мадам, что достали вчера? а?

— Два двугривенных! — крикливо, ломаным языком отвечал женский голос.

— Ха-ха-ха! едва хватит починить обувь; чай, хорошо прогулялись! стоило за семь верст идти киселя есть. Два двугривенных!

И старуха пошла в угол и стала прилежно рыться в куче старых сапогов и башмаков.

— Ну, вот хорошая еще парочка, хоть и разные,— ворчала она, откладывая в сторону башмаки.

За стеною снова начался гвалт.

— Который час? — спросила Полинька.

— Да девятый есть... вот я спрошу.

И старуха опять застучала в стену:

— Эй, мадам, который час?

— Девять час! — закричал тоненький голос.

— А! значит, они сейчас пойдут.

— Ах, мне тоже нужно идти домой! — сказала Полинька.

— Ну иди с богом! Если что променять понадобится, вспомни меня: дом знаешь... ну да только спроси, как придешь в наш переулок, *Дарью Рябую*... ха-ха! (Старуха засмеялась и начала одеваться.) Пойдем, я тебя провожу.

Полинька ужасно обрадовалась. Они вышли в сени; старуха заперла дверь. Уже совершенно рассвело, но, кроме ребятишек да собак, никого не было видно на улице. Старуха хотела запирать калитку, но вдруг остановилась и, раскрыв ее шире, сказала:

— Шарманщик тоже идет; вот мы вместе все и пойдем.

Едва пролез через калитку худой и тощий, небритый человек с шарманкой за плечами. Волосы его были уже наполовину седы, платье оборванное, под носом табак. Ремень от шарманки плотно врезывался в его плечи и впалую грудь; за ним выступала долгоносая женщина, высокая, худая, одетая довольно чисто, но бедно и слишком легко; она несла двухлетнего ребенка и заботливо окутывала его своим большим шерстяным платком. На другой ее руке висела складная подставка. Белобрысая

девочка, в ситцевой кацавейке, в шерстяной сеточке, заключала шествие; только в ней не заметно было уныния: она весело постукивала бубном в колени и с аппетитом доедала кусок хлеба.

— Гут морген! — сказала старуха шарманщику.

— Здравствуйте! — отвечал он, низко сгибаясь под тяжестью шарманки.

— Пора?

— Да, пора.

И они разошлись в разные стороны.

— Кто твои родные? как ты живешь? чем живешь? — расспрашивала старуха Полиньку, шагая так скоро, что усталая Полинька едва успевала за ней.

Полинька решилась идти к Надежде Сергеевне и потом уж возвратиться домой вместе с ней, чтоб отстранить малейшее подозрение соседей о своих ночных похождениях.

— Благодарю вас, прощайте! — сказала она, увидав себя в знакомой улице.

— Ну, прощай; если понадобится что, не забудь меня.

— Прощайте!

И Полинька рассталась со старухой.

Узнав, что Полинька не ночевала дома, Кирпичова кинулась домой, чтоб потребовать объяснения у мужа. Она вспомнила, что Кирпичов вчера уж слишком усердно просил ее написать записку, чтоб приехала Полинька, что записку эту он сам передал артельщику, и не сомневалась, что он принимал участие в похищении Полиньки.

Но Кирпичова не было дома. Бедная Надежда Сергеевна не знала, что делать, как вдруг явилась Полинька; радость подруг была неописанная.

Пересказывая свои похождения, Полинька не забыла рассказать, что горбун грозился погубить Кирпичова и пустить по миру всё его семейство.

— Ты предупреди его,— сказала она.

— Напрасный труд! — печально отвечала Кирпичова.— Он так ему вверился, что не позволит о нем дурного слова сказать. Разве поверит, когда придут описывать магазин...

— А уж скоро! — невольно, с трепетом сказала Полинька.— Он мне писал, что срок векселю в значительную сумму приближается.

— Когда он писал?

— Вчера.

— Да ведь он вчера же сделал моему мужу отсрочку...

(Они не знали, что ценой отсрочки была именно записка, которая чуть не погубила Полиньку.)

— А знаешь что? — сказала Полинька.— Может, дела твоего мужа и не так дурны, а они только сговорились пугать нас, чтоб, понимаешь...

— Бог их знает.

Кирпичова вместе с Полинькой пошла в Струнников переулок, и когда башмачник, измученный и убитый, прибежал к Полинькиной двери, Полинька уже давно сидела в своей комнате.

Восторг башмачника доходил до безумия. Забыв свою обыкновенную застенчивость, он бросился целовать Полиньку, потом Надежду Сергеевну, потом опять Полиньку, и радостные слезы ручьями текли по его бледному лицу, которое в ту минуту было прекрасно: необычайное одушевление придало ему энергию и выразительность, которой недоставало в лице доброго Карла Иваныча.

Глава IV

ПЕРЕВОРОТЫ В СТРУННИКОВОМ ПЕРЕУЛКЕ

Всё пришло в прежний порядок. Башмачник в течение недели почти каждый день бегал в улицу, где жил горбун, и наконец успокоился, убедившись, что горбун выехал из Петербурга. Успокоилась и Полинька. Но в характере ее произошла значительная перемена. Уже очень давно не получала она ни строчки от Каютина. Сомнение мучило ее, но гордость мешала ей передать комунибудь свои опасения. Веселость ее сменилась раздражительностью: часто смеялась она без всякой причины и от смеха вдруг переходила к слезам. Работа ей опротивела. Трудолюбивая Полинька стала ветреной и капризной, часто выходила со двора без всякой нужды, даже делала долги, а потом сердилась на башмачника, который был вечно у ней во всем виноват. Что касается до Каютина, то она старалась показать, что забыла о нем; но стоило упомянуть его имя, чтоб рассердить ее.

Раз башмачник застал ее в слезах и стал утешать, как умел, думая, что она плачет о своем женихе. Он угадал. Но Полинька вспыхнула при мысли, что о ней жалеют,

как о покинутой. Она отерла слезы, гордо посмотрела в лицо башмачнику и сказала:

— Господи! чего вы не выдумаете! я стану плакать о нем? да я его давно забыла!

— Так вы его не любите больше? — быстро спросил башмачник.

Полинька громко засмеялась и подошла к зеркалу, будто пригладить волосы, но больше затем, чтоб скрыть слезы, вновь выступившие.

— Да теперь,— говорила она, небрежно повертываясь перед зеркалом,— хоть приди и умри он передо мной, так я не пойду...

— Так вы уж за него не пойдете? — едва скрывая радость, перебил башмачник.

— Ни за кого! — грозно сказала Полинька, повернув к нему голову.

Он так смутился и струсил, что чуть не вскрикнул.

Пригладив волосы, Полинька надела салоп и шляпку и подошла к нему.

— Прощайте! я пойду гулять. Видите, как я о нем скучаю!

И она вышла, громко напевая.

Много страдал в такие дни добродушный башмачник!

. . . .

Долги росли и начали сильно тревожить Полиньку.

— Карл Иваныч, я уж дала слово одной госпоже: хочу попробовать на месте пожить,— сказала она башмачнику, когда он пришел к ней. С некоторого времени ей очень нравилось видеть его испуганное лицо.

Он вскочил, потом опять быстро сел и бессмысленно смотрел на нее.

— Что же вы думаете, Карл Иваныч?

— Что-с?

— Я да-ла сло-во ид-ти на ме-сто! — протяжно повторила Полинька, глядя на него лукавыми глазами.

Пот крупными каплями выступил на его лбу. Он машинально достал платок и отерся.

— Я вам отдам своего снегиря и цветы,— сказала Полинька грустным голосом.— Вы будете его любить? а? — Но вдруг она вскочила и дико закричала: — Карл Иваныч! Карл Иваныч!

Башмачнику сделалось дурно. Полинька, дрожа от испуга, в отчаянии металась по комнате, обливала его голову водой, терла ему виски. Наконец он медленно

открыл глаза. Всё еще придерживая его голову, Полинька сквозь слезы улыбнулась ему; на бледных его щеках вспыхнул легкий румянец, глаза заблистали таким счастьем, что Полинька покраснела и отняла свои руки; но он удержал их, приложил к своей горячей голове, хотел поцеловать, но вдруг вскочил и, махая руками, с испугом сказал:

— Не надо, не надо! я здоров!

В ту минуту под самым окном послышались крики:

— Пожар! пожар!

Взволнованная Полинька страшно испугалась и начала бегать по комнате как безумная, тоже повторяя: «Пожар! пожар!» Башмачник кинулся вон. Полинька отворила окно и, высунувшись из него, дико вскрикнула:

— Спасите! горю!

В переулке была беготня и тревога; почти в каждом окне торчала испуганная фигура.

Вдруг раздался дикий, оглушительный хохот. Полинька подняла голову: с ведрами и баграми в руках Доможиров и его сын стояли на крыше своего дома. Хохот так разбирал их, что они ломались и коверкались до исступления, не хуже тех паясов, которые, забравшись на балкон своего балагана, употребляют все усилия, чтоб завлечь в балаган почтеннейшую публику.

— Ну-ну! ну! — кричал, прикрякивая, Доможиров, как будто сам себя уговаривал, что уже довольно посмеялся; но стоило ему взглянуть на сына, чтоб покатиться с новою силою...

Полинька тотчас догадалась, в чем дело: Доможиров пошутил. Скоро узнала она и подробности шутки. Лежа на окне и перебраниваясь с девицей Кривоноговой, Доможиров вдруг озабоченно начал глядеть на крышу ее дома; глядел, глядел... и наконец быстро, не говоря ни слова, исчез с окна; а через минуту он и красноухий сын его были на крыше в оборонительном положении.

— Пожар! горим! — гаркнула девица Кривоногова так, что разом привела в тревогу весь Струнников переулок. Схватив чугун, она побежала на чердак, чтоб накрыть трубу, но впопыхах сунулась в слуховое окно, по тучности тела, до половины засела в нем и увеличивала общую сумятицу дикими криками: ей казалось, что ноги ее уже горят!

Смех Доможирова успокоил всех. Только хозяйка не успокоилась; высвободив наконец свое туловище из за-

сады, она пустила чугуном в Доможирова и кричала на всю улицу, что она жаловаться пойдет.

— За что? — спросил Доможиров, едва переводя дух.— Разве я кричал, что пожар? а?

— А зачем на мою крышу глаза выпучил?

— А почем же я знаю, что вы с меня глаз не сводите? — с гордостью заметил Доможиров и юркнул в слуховое окно, опасаясь гнева девицы Кривоноговой, которая долго еще высчитывала сбежавшейся публике недостатки и дурные качества Доможирова, его отца и даже прадеда.

Полиньку очень рассердила шутка остроумного соседа. Перебежав через улицу, она тихо отворила дверь и вошла к нему. Он сидел на корточках у окна, наблюдая украдкой за своим врагом. Полинька рассмеялась.

— Афанасий Петрович!

— А-а-а! — вскрикнул он и с удивлением уставился на свою гостью.

— Я к вам в гости пришла,— кокетливо сказала Полинька.

— Милости просим! вот не ожидал! — сказал он, распрямляясь и всё еще дико глядя на нее, как будто не верил своим глазам.

Полинька сделала ему глазки, потом с испугом потупила их. И при виде нежно улыбавшегося личика Полиньки лицо его озарилось довольной улыбкой, глаза заблистали.

— Ну, пошутили! — сказала Полинька.— Как она вас бранит!

— Скверная женщина! — заметил он басом, с громкой усмешкой.

— Как у вас хорошо! — сказала Полинька, оглядывая неуклюжий мезонин.

— Нравится? А зачем редко в гости ходите? — самодовольно улыбаясь, спросил Доможиров.

— Ах, как можно! я боюсь соседей: что скажут! — лукаво отвечала Полинька.

— Ишь, теперь что скажут! а как бегала к нему, так не боялась злых языков.

И Доможиров подмигнул одним глазом.

— Так он был мой жених! Ну, посватайтесь: тогда буду к вам ходить! — сказала Полинька.

Он погрозил ей пальцем.

— А ведь, небось, не пошла бы?

— Пошла бы! — отвечала Полинька так искренно, что Доможиров вытаращил глаза и вопросительно глядел на

нее. Она потупилась, завертела кончиком своего передника и прибавила запинаясь:— Если вы, Афанасий Петрович, в самом деле имеете намерение, то прошу вас сказать мне, потому что я уж и сама вижу, что девушке бедной, как я, лучше иметь мужа в летах...

Доможирову никогда и в голову не приходило свататься за Полиньку; но теперь, когда она стояла перед ним, раскрасневшаяся, в его собственной комнате, ему показался такой поворот дела очень естественным: он считал себя первым лицом в Струнниковом переулке по званию, уму и достатку,— что же мудреного? особенно если Полинька разлюбила ветреного Каютина.

— Прощайте! — грустно сказала Полинька.

— Да подождите! — возразил с легкой досадой Доможиров.

— Нет, не могу: вы сперва посватайтесь.

И Полинька быстро скользнула в дверь. Но не успел Доможиров собраться с мыслями, как дверь снова скрипнула: головка Полиньки показалась.

— Право,— сказала она, нежно кивая ему,— сватайтесь скорее, а то поздно будет! — и со смехом захлопнула дверь.

Доможиров ничего не слыхал; он кряхтел, усердно затягивая свой халат. И скоро пояс исчез, глубоко врезавшись в его бока, а он всё стоял посреди комнаты и тянул, что было лучшим признаком, что голова его сильно работала.

С того дня он переменился: всё сидел дома, рассуждая, уж не жениться ли. Со стороны Полиньки, казалось ему, уже не может быть никаких препятствий; одно пугало его: что, если Каютин приедет и вызовет его на дуэль? Воображение его по-своему сильно работало.

Полинька между тем действительно решилась принять место у одной госпожи, которая согласилась дать ей денег вперед. А деньги необходимы были Полиньке, чтоб расплатиться с девицей Кривоноговой, которая, с тех пор как Полинька задолжала ей, стала очень дерзка с своей жилицей. Нечего и говорить, что поведение Доможирова, начавшего посматривать на окно Полиньки чаще обыкновенного, довершило ярость девицы Кривоноговой и усилило до невыносимой степени ее дерзость. Съехать было необходимо; даже сам башмачник (несчастный башмачник!) чувствовал эту необходимость и с пыткой в груди

побежал нанимать ломового извозчика, который должен был перевезти Полинькины вещи.

Увидав, что ломовой извозчик стоит у дома девицы Кривоноговой и что вещи Полинькины укладывают, Доможиров пришел в отчаяние. Он чуть не перекрутил себя пополам (к счастию, лопнул пояс!) с досады, что так много пропустил даром времени, и, как был в халате, кинулся к Полиньке. Но с половины дороги он воротился, спохватившись, что неприлично свататься в таком виде.

Увидав Доможирова, вбежавшего к ней с испуганным лицом, в сюртуке, Полинька приняла сердитый вид и с упреком сказала:

— Я уж думала, что вы и проститься не придете!

— Палагея Ивановна! что вы, что вы? уезжаете! — сказал запыхавшийся Доможиров и посмотрел вопросительно на Полиньку, на Надежду Сергеевну, на унылого башмачника и даже на Катю и Федю, которые перебирали лоскутки, подаренные им Полинькой, и были очень довольны суматохой.

— Я вас ждала, ждала, наконец соскучилась и вот теперь еду; прощайте, Афанасий Петрович!

Полинька поклонилась ему.

— Палагея Ивановна, да я думал... я не поверил... и кто же вас знал...— чуть не со слезами говорил Доможиров, запинаясь и покручивая две грациозные кисточки, украшавшие его картуз.

Полинька тяжело вздохнула, причем башмачник вздрогнул, а Надежда Сергеевна с недоумением покачала головой.

— Палагея Ивановна, прикажите внести ваши вещи: я...

— Мои вещи... зачем это, Афанасий Петрович? — с удивлением спросила она.

— Ах, боже мой! вот дурак так дурак: жил окно в окно сколько лет... глупая башка, глупая!.. эх!

Так заключил Доможиров, открутив совсем одну кисточку и с негодованием бросив ее на пол.

— Палагея Ивановна! — продолжал он умоляющим голосом, не поднимая головы.— Матушка, прикажите внести всё назад... Голубушка! простите меня! я ведь дурак: знаете, не верил!

— Попросите хорошенько! — кокетливо сказала Полинька.

— Ну да как же еще? я уж, право, не знаю.

— Ну, станьте на колени.

— Как на колени?

— Ну, как вы ставите вашего сына.

— Ишь, какая!.. Ну-ну, извольте. Так ли, Палагея Ивановна? так?

Он стал на колени. Очень смешна была вся его фигура, особенно лицо.

Полинька сложила руки и величаво спросила:

— Чего же вы хотите?

— Вашей ручки, ручки вашей.

И он нежно вытянул губы.

Полинька расхохоталась, оттолкнув Доможирова, который так был поражен неожиданной развязкой, что не справился с легким толчком, упал и с разинутым ртом дико смотрел с полу на смеявшуюся Полиньку. Катя и Федя торжествовали, прыгая около распростертого Доможирова и хлопая своими маленькими руками. Они терпеть не могли Доможирова: вечно праздный, он вмешивался в детские распри и, по естественному пристрастию к своему красноухому Мите, всегда обвинял Катю и Федю, жалуясь на них девице Кривоноговой. Башмачник угрюмо помог встать Доможирову и отчистил его сюртук.

— Ну, Афанасий Петрович,— сказала Полинька,— теперь мы квиты! Вы довольно шутили с нами,— вот и вам пора было... не правда ли?

Он с минуту стоял как ошеломленный, вытаращив глаза, и вдруг разразился потрясающим смехом. Долго хохотал он, хорохорился, поздравлял Полиньку, что она перехитрила его; но слезы слышались в его диком хохоте, и он поминутно сморкался.

— Однако ж я шучу, шучу, а уж пора: всё готово,— сказала Полинька нетвердым голосом.

Чем ближе подходило время разлуки, тем сильней становилось ей жаль своей комнатки, башмачника и даже Доможирова.

— Ага! шутила, шутила, а теперь, кажется, уж и плакать,— заметила Надежда Сергеевна, которой очень не нравилось, что Полинька начинает бродячую жизнь по чужим домам.

— И не думала! — с досадой сказала Полинька и, чтоб скрыть слезы, вскочила на окно и сняла клетку. Вынув своего снегиря, она поцеловала его, погладила и, держа на пальце, поднесла к форточке.

— Что ты делаешь? — спросила Надежда Сергеевна.

— Выпустить хочу.

— Ведь он умрет с голоду.

— Зато полетает на воле.

И Полинька высунула свой пальчик в форточку: снегирь чивикнул, радостно забил крыльями и порхнул.

— Полетел! — печально сказала Полинька, спрыгнув с окна.

— Полетел! — рыдающим голосом повторил башмачник, у которого вертелся в голове тот день, когда Полинька в первый раз приласкала птичку, а он, гордый и счастливый своим подарком, любовался Полинькой, притаившись у двери.

— Вон он, вон, вон! — закричали Катя и Федя, вскакивая на окно и следя за снегирем, который уселся на крыше Доможирова и припрыгивал и осматривался во все стороны.

— Я его поймаю! — сказал Доможиров и выбежал.

— Карл Иваныч, вы возьмите мои цветы; только смотрите, берегите их! — сказала Полинька, надевая шляпку и салоп.

— Извольте, я их...

Полинька быстро повернулась к нему спиной и, подойдя к Кирпичовой, спросила:

— Что, не криво я шляпку надела без зеркала?

— Нет,— сказала Надежда Сергеевна,— шляпка не криво надета.— А вот,— прибавила она едва слышным голосом,— слезы зачем?

И она отерла слезу, катившуюся по щеке Полиньки. Они крепко поцеловались.

— Ну, Христос с тобою!

И Надежда Сергеевна перекрестила Полиньку.

Они вышли на улицу. Праздные жители Струнникова переулка собрались около воза разглядывать Полинькино добро. Воз двинулся, и Полинька, раскланиваясь на все стороны, пошла за ним в сопровождении Кирпичовой и башмачника, напутствуемая пронзительными криками Доможирова, забравшегося на крышу ловить снегиря.

Казалось, Катя и Федя теперь только почувствовали, что сиротство их увеличивается, и огорчились отъездом Полиньки. Переглянувшись, они схватились ручонками и побежали за ней. Вдруг раздался могучий голос девицы Кривоноговой:

— Куда? зачем? назад!

Дети вздрогнули, оглянулись и тотчас же, сжав еще крепче руку друг другу, пустились во всю прыть вперед.

— Тетя, тетя! — закричали они отчаянно, догоняя Полиньку.

Полинька обернулась и приняла в объятия запыхавшихся детей. Они повисли у ней на шее и плакали, целуя ее. Много нужно было Полиньке употребить усилий, чтоб самой не заплакать.

— Вот вам, купите себе леденцов,— сказала она, давая им по пятачку.— Да ступайте домой, а то старая тетя бранить станет!

— Ничего, пускай бранит! — дерзко сказали дети в один голос, всхлипывая и в то же время сквозь слезы с улыбкой посматривая на свое богатство.

— Ну, прощайте! — сказала Полинька и поспешила догнать свой воз.

Дети долго смотрели ей вслед.

— Ушла,— грустно сказал Федя.

— Ушла тетя Поля,— сказала Катя, тяжело вздохнув.

Они еще с минуту молчали; потом Федя взглянул на свои деньги и сказал:

— Пойдем в лавочку, купим леденцов.

— Пойдем,— отвечала Катя.

И они побежали купить леденцов, как будто надеясь заглушить ими свое горе.

Может быть, ни для кого в Струнниковом переулке отъезд Полиньки не был так чувствителен, как для Кати и Феди,— ни для кого... кроме несчастного башмачника!

Чем ближе подходила Полинька к дому, где должна была жить, тем грустнее становилось ей. Разговор замолк, и все трое шли за возом так молчаливо и так уныло, как ходят люди только за гробом.

Глава V

ОПЕЧЕНСКИЙ ПОСАД

Пока в Струнниковом переулке совершались перевороты, сейчас рассказанные, Каютин прибыл благополучно с своими судами в Вышний Волочок. Здесь он должен был ожидать несколько времени скопления каравана. Наконец, запасшись хорошими лоцманами, которые нанимаются уже до самого Петербурга, он вышел в озеро

Мстино, а оттуда барки его были выпущены в реку Мсту, славную своими порогами.

Главнейшие пороги Мсты: Ножкинские, Басутинские и Боровицкие. В них барки проводятся особыми лоцманами, хорошо знающими изгибистое направление фарватера.

Барки Каютина, миновав благополучно Ножкинские и Басутинские пороги, остановились у пристани в Опеченском посаде.

Между Опеченскою и Потерпелицкою пристанями, на протяжении двадцати девяти верст, находятся знаменитые Боровицкие пороги, самое затруднительное место для судоходства в России.

Опеченский посад, называемый в простонародье Рядком, расположен по обеим сторонам Мсты, на довольно живописной местности. Строения красивы, улицы удивительно чисты. У правого берега, обделанного на большое протяжение околотым булыжным камнем, стоят суда, предназначенные для спуска. Число их доходит иногда до полуторы тысячи. На другом берегу помещаются порожние барки, куда грузятся (сбывают лишний груз) те суда, которые сидят в воде более, чем требуется для прохода по порогам. Постоянных жителей в Рядке мало; но в судоходное время народ толпами сходится сюда из окрестных деревень, и тогда вся пристань представляет самое живописное зрелище.

В ожидании спуска своих барок Каютин бродил по пристани, с любопытством наблюдая кипящую перед ним деятельность; прислушивался к толкам рабочих, лоцманов и хозяев; провожал долгим, задумчивым взором каждую спущенную барку и потом поминутно с сердечным волнением смотрел на телеграф.

Нужно заметить, что на возвышенных местах Мсты, около порогов, стоят телеграфы: если барка проходит благополучно, на них висит белый шар; если барка разбивается или останавливается на ходу, выкидывают красный шар. Таким образом несчастие делается в несколько минут известным в пристани, и спуск судов прекращается, пока не очистится ход.

Барки Каютина назначены были к спуску на третий день по прибытии. Уж многие лоцмана приходили к нему наниматься, выхваляя свои достоинства, но Каютин, по совету Шатихина, решился прибегнуть к лоцману Василью Петрову, знаменитому своим искусством.

Лоцмана в Опеченском посаде составляют особое сословие и пользуются особенными правами, которые довольно интересны. Вновь поступают только на место выбывших и не иначе как по выборам. Лучше *концевые*[1] записываются в кандидаты, и список их рассматривается инженерным начальством. Потом назначается день выборов. Собираются лоцмана и баллотируют кандидатов шарами. Список избранных представляется на утверждение начальству.

Стало быть, право быть лоцманом зависит решительно от способностей и знания дела. Случалось, однако, что дед, отец и сын были лоцманами, передавая друг другу свои знания.

В гонке барок между лоцманами соблюдается очередь, нарушаемая, впрочем, по взаимному согласию: лучшие лоцмана, известные под названием «просьбенных», становясь на суда не в очередь, платят очередным условную плату. Выгода лоцмана сопряжена, разумеется, с благополучной переправой барки. Если барка разобьется, он не только лишается платы, но и работы до окончания следствия. Такое лишение продолжается одну или две перемычки, смотря по результатам следствия.

Дом лоцмана Петрова отыскать было нетрудно: любой человек на пристани знал к нему дорогу. Миновав целый лабиринт складочных сараев, пильных дворов, барок, досок, образующих местами длинные переулки, кузниц и лачужек, расположенных по косогору на песчаном берегу реки, Каютин очутился наконец перед небольшим зданием, чем-то средним между избою зажиточного крестьянина и мещанина. Здание примыкало почти вплоть к обрыву берега; окна его с резными вычурами и цветными ставнями глядели на реку; две-три столетние дуплистые ветлы осеняли его кровлю. Высокий плетень, огибавший густой огород, был завешен сушившимся бреднем; у ворот вместо сохи или бороны лежала опрокинутая лодка. Куда только ни обращался взор, всё обозначало довольство; нигде не видно было той ветхости, какую так часто встречаешь в обыкновенных сельских лачугах. Вступив на двор, Каютин еще более убедился в зажиточности хо-

[1] Барки управляются четырьмя потесями, то есть огромными веслами, сажени четыре в длину, вершков шесть в диаметре, расположенными по концам. Правою, переднею, управляет сам лоцман; на остальных распоряжаются его помощники, называемые концевыми.

зяина. Кругом амбары, клети, бочки; стада гусей и кур бродили по двору; над крылечком висело несколько островерхих клеток с перепелами; на веревке, протянутой через двор, висели всё красные рубахи, тулупы, шубейки, плисовые шаровары. Впрочем, и то сказать: ни одно сословие из простонародья не живет так привольно, как лоцмана тех мест. За каждую благополучную гонку барки хозяин платит им иногда до пятнадцати рублей серебром. В Потерпелицкой пристани всегда готовы лошади, и хорошему лоцману удается часто в сутки прогнать три барки; в три перемычки (промежуток времени, в которое спускаются барки) хороший лоцман зарабатывает до трех тысяч ассигнациями.

— Эй! тетка! — сказал Каютин, обратясь к толстой бабе, стиравшей белье посреди двора у колодца.— Дома, что ли, хозяин?

— Дома, кормилец; подь в горницу.

Каютин вошел в просторную сосновую избу, жарко натопленную; в правом углу, перед богатой образницей, за большим дубовым столом несколько человек распивало чай. Неуклюжий самовар стародавнего фасона шипел и визжал, пуская кудрявые клубы пара в лица и бороды собеседников.

— Кто здесь Василий Петров? — спросил Каютин, поклонившись всей компании.

— Что угодно твоей милости? — отвечал, приподымаясь, бодрый и высокий старик лет пятидесяти, в пестрой ситцевой рубахе, синем суконном жилете с медными пуговицами и в плисовых штанах, заправленных в сапоги. В черных кудрявых волосах его проглядывала седина; лицо его, смелого и бойкого очертания, было правильно и привлекательно, но сурово.

Вообще все лоцмана имеют осанку горделивую; походка их строга, движения величавы. Привычка командовать кладет на них свою печать. Притом все они народ здоровый, сильный и ловкий.

— Я пришел к тебе, Василий Петрович, с просьбой,— сказал Каютин,— возьмись завтра управлять моей казенкой да укажи хороших лоцманов.

— Да с чего же ты ко мне-то пришел? — возразил лукаво старик.

Он бережно поставил на стол блюдечко, которое держал на концах пальцев, и, сузив свои глаза, устремил их на молодого человека.

— Выдь на улицу, гаркни только: лоцмана-де нужно! набежит, как саранча! Глянь-ка, поди на пристань, как обступают вашего брата, хозяев,— не продраться сердечным! и кто тебя ко мне послал?

— Слухом земля полнится: все говорят, ты самый бывалый, надежный лоцман.

— То-то и есть, хозяин, толкуют: и стар-то и слаб стал, в отставку пора; а приспеет дело, хозяева все, почитай, к Василью Петрову бегут: Василий-де Петрович, ко мне да ко мне, сделай милость! я не напрашиваюсь, не хожу за вами,— вы за мной ходите. Стар, вишь, пришелся; а что ж, что стар, коли дело смыслит! Да и что в молодости? Молвить нечего, есть хорошие ребята; вот и сын у меня бойкий парень и из себя видный, да ветер-то их во все стороны качает,— молодо-зелено! Выпей-ка с нами чайку, хозяин, просим не побрезговать,— садись.

Каютин сел.

— А ты уж езжал здесь или впервой? — спросил лоцман, наливая ему чашку.

— Впервой, не приходилось,— отвечал Каютин,— вот потому-то я хотел иметь с тобою дело, Василий Петрович: понадежнее; места-то, говорят, больно опасные у вас; мне всё здесь в диковину.

— Да ништо, место приточное, заметное место... сюда нарочно на наши пороги поглядеть ездят: больно, вишь, занятно... Как теперь помню, лет десяток будет, сел ко мне на барку господин из Питера; для того и приехадцы, говорят, был... Ничего, не робел сначала. А как на *Вяз* наехали да почла барка трещать и гнуться, отколева страх взялся, забегал словно угорелый, так вот и прыскает из угла в угол, побелел весь, кричит: «Выпустите, родимые!» Мне не до того было: работа была трудная; а как взгляну, так вот смех и разбирает. Да ведь и не выдержал: на остров соскочил, упал по колени в воду, а шуба-то на нем енотовая была, богатая,— всю смочил; уж и посмеялись мы тогда! Не знаю, кто его тогда на берег вывез!

— А вот намедни толк шел в харчевне, Василий Петрович,— отозвался один из гостей лоцмана, рыжий плечистый мужик в синем армяке,— сказывали, что два агличанина из своей земли нарочно приезжали поглядеть на пороги.

— Да кому же ты говоришь, Мирон Захарыч! я сам их видел, вот как тебя вижу теперь; вот, я чай, и батюшка их запомнит.

Тут он обратил глаза к противоположному углу, где на широкой изразцовой лежанке покоилось туловище, прикрытое двумя нагольными тулупами.

— Батюшка!

— Ась! — отозвался разбитый голос, и старик лет осьмидесяти пяти, седой как лунь, приподнялся, покрякивая, на локте.

— Подь к нам,— сказал лоцман,— полно тебе спать! вишь, гости дорогие пришли; выпей чайку.

Старик сбросил с себя тулупы и свесил босые костлявые ноги на пол, причем длинные пряди его белых волос рассыпались по смуглому, загорелому лбу и шее. Он медленно сошел вниз, накинул на сгорбленную спину овчинку и, придерживаясь по стенке, медленно начал пробираться к разговаривающим. Тогда только заметил Каютин, что старик был слеп. Гости лоцмана почтительно дали ему дорогу; Каютин привстал и опорожнил ему место.

— А помнишь, батюшка, как агличане приезжали к нам на пристань?

— Помню... как не помнить! — отвечал старик, ощупывая лица соседей. — Ты, что ли, Мирон? — произнес он, отнимая дрожащую ладонь от бороды рыжего мужика.

— Я; здорово, Петр Васильич! как бог милует?

— А ведь, небось, на барку-то не посмели сесть агличане-то,— перебил лоцман,— только у телеграфа на *Выпу* поглядели; дело-то было по весне: знамо, река-то наша маненечко поразгулялась; как увидели они, что барку понесло так, что и тройкой не обгонишь,— знамо, при ветре тридцать верст вчастую угонит,— ну, и трухнули. А потом, сказывал ратман, как приехали домой, в газетах отпечатали, что по порогам по Боровицким в решетах ездят... Да что вы думаете, а ведь и взаправду решето!— продолжал словоохотливый хозяин, самодовольно оглядывая слушателей.— А ну-тка-сь, построй иное судно, так, чего доброго, и не выдержит, как на порогах почнет его без малого что на аршин перегибать.[1]

— А правда, говорят, будто здесь императрица Екатерина Великая была? — спросил Каютин, обращаясь к слепому старику, который тотчас же навострил слух и поставил чашку на стол.

---

[1] Суда строятся плоскодонными; ни одной железной связи в них нет; даже гвоздики все деревянные; это делается для того, чтобы они составляли по возможности упругую систему и могли бы изгибаться не ломаясь.

— Правда,— отвечал он,— я еще тогда и сам лоцманом был. Вот недавно с ратманом года считали, да и в бумагах есть: кажись, в 1785 году... дай бог память!.. так, в 1785 году дело было. Государыня от Волочка на барках изволила прибыть; нарочито там для нее барки делали. А здесь ее на носилках наши девки из барки вынесли; носилки были тож нарочито сделаны. Девки все подобраны были ражие; нам всем, лоцманам, понашили кафтаны зеленые, кушаки алые, поярковые шляпы; и теперь у меня сохранны, в сундуке лежат. Царица до Потерпелиц, говорят, на барки не садилась, а изволила по берегу ехать в берлине — по-нынешнему каретой называют,— а на барках графы и князья ехали.

— А много с ней было свиты?

— Да довольно. Князь Потемкин был, Саблуков, Нарышкин да еще... дай бог память... наместником новгородским и тверским что был... да, Архаров, Николай Петрович; да еще Олсуфьев. Я тогда молод был, а вот помню немного. В Потерпелицах государыня села на барку и на ней до самого Питера следовать изволила,— продолжал старик, проводя для большей ясности рукой по воздуху,— дай бог ей царствие небесное! Да на плесе, за *Витцами*, под Боровичами, велела всех лоцманов водкой поить... Вишь, какая!.. С тех пор и зовут его *Винным Плесом*.

Старик замолк, потупил голову и задумался.

— Знатное, знатное у нас место! — заметил лоцман Петров, самодовольно поглаживая бороду.— Особливо в судоходную пору, как со всех сторон народ пойдет на работу,— что твой город: тысяч семь иной раз наберется! шутка, без малого пять тысяч барок прогоняем! Неповадно оно только вашему брату,— прибавил он смеясь,— чай, задрожит, небось, ретивое, как пойдет колотить твои барки тысячные?

И лоцман снова засмеялся. У Каютина в самом деле дрогнуло сердце.

— А часто случаются у вас несчастия? — спросил он.

— Как не быть,— бывают; грех сказать, чтобы часто, не то что в старые годы, а всё-таки поколачивает. Вот и вечор барку в середипорожье разбило: гнали с Гжатской пристани, с маслом, и тысяч на двадцать серебром товару было,— така-то напасть, право! И лоцман такой ловкий парень,— не знаю, оплошал, что ли, или уж так, напасть божия? Костин,— прибавил лоцман, обращаясь к другим собеседникам.— Да и сам чуть было не утонул: как-то

концом потеси зацепило за голенище; он и повис на ней... да спасибо еще концевой пожом голенище распорол и снял его... Жаль беднягу: прогулял перемычку! А барку так расколотило, что всего восемьдесят кулей повытаскали!

— Да куда же они все девались? — смущенным голосом спросил Каютин.

— Куда! эге-ге... и вправду видно, что ты впервые здесь,— отвечал лоцман, прищуривая снова глаза свои.— Куда девались? а нешто, ты думаешь, барки-то бродом ходят у нас?

Гости лоцмана захохотали; даже старик, отец его, покачал головою, и на впалых губах его показалась улыбка.

— Эх-ма! — продолжал хозяин.— Ведь я ж тэ сказывал, как их, сердечных, перегибает на порогах: река извилиста, что проселок, в ином месте словно углом заворачивает; а тут как раз каменная коса на повороте тебя и ждет,— не смигнешь, как налетишь; течение: брось щепку — несет, как лист вихрем. Рассуди ж ты сам, каково поуправиться тут с баркой: на иной ведь пудов тысяч восемь — сила! Вестимо дело, повсюду, где только можно, в опасных местах «заплыви» из бревен поделаны: как ударится об них барка, так они и откинут ее опять на фарватер, на глубину... понимаешь?.. да и тут не всегда господь милует.

Дрожь пробежала по всем членам Каютина. Воображение его создало в один миг тысячу опасностей, которым непременно должны подвергаться барки, проходящие через пороги.

— Да ну, ну,— сказал лоцман, заметив его смущение,— полно грустить заранее, хозяин; утро вечера мудренее, авось всё пройдет ладно; у нас есть лихие ребята: проведут, даст бог, благополучно.

— Что ж, Василий Петрович, будешь у меня на казенке? — спросил нетвердым голосом Каютин.

— И рад бы, да не могу, хозяин... как тебя звать прикажешь?

— Тимофей Николаич.

— Не могу, Тимофей Николаич: кашинскому купцу Заворотову да калужскому Полетаеву обещался,— слово дороже денег,— я уже пятый год у них барки гоняю.

— Ну так хоть научи, кого лучше позвать,— мое дело новое,— сделай милость.

— Научить научу, изволь.

Глава VI

БОРОВИЦКИЕ ПОРОГИ

Было уже около осьми часов вечера, когда Каютин снова очутился на песчаном берегу Мсты. Солнце медленно склонялось за реку, распуская по небу багровое зарево. Небо было облачно; длинные хребты туч, несомые сильным ветром, застилали горизонт. Окрестность окутывалась уже сизою тьмою, и только дом лоцмана с осенявшими его ветлами, облитый продиравшимися сквозь тучи лучами, обозначался ярким пятном посреди темных обрывов. Но вот и он начал наконец тускнуть; зарево еще раз вздрогнуло на стеклах окон, проскользнуло по макушке кровли, и всё охватилось сумерками. Каютин спустился вниз к реке и пошел берегом, прислушиваясь к печальному плеску волн, разбивающихся о камни. Неподалеку от ручья, бежавшего с крутизны по берегу, он увидел двух рыбаков, тащивших из воды лодку. Он чувствовал себя столько одиноким в ту минуту, что обрадовался встрече.

— Здорово, ребята! Бог помощь! — сказал Каютин, подходя к ним.

— Здравствуй, брат!

— Что делаете?

— Да вот лодку боимся оставить в реке,— ишь, солнышко село как! словно к непогоде... того и смотри, в ночь унесет ветром...

— И то,— подхватил другой,— небо словно полымем охватило — к ветру,— да вот и теперь уж начинает добро погуливать... чай, покачает на пристани барки-то... бока-то им понадсадит, сердечным. Будет погода.

«Если к завтрему ветер усилится, я стану хлопотать, чтоб гонку моих судов отсрочили»,— подумал Каютин и медленно, повеся голову, поплелся по извилистым переулкам посада, где всё уже смолкло. Отказ Василья Петрова, особенно после того как предстоящая опасность открывалась во всей страшной действительности, отнял у Каютина половину силы и бодрости. Сердце его сжалось еще больнее, когда вошел он на свою красивую казенку и оглянул остальные суда свои.

«Что будет с ними завтра?»

Долго сидел он на палубе, и холодный пот выступал

у него на лбу каждый раз, как он вспоминал рассказы лоцмана.

Черная, мрачная ночь окутывала берег и реку. Ветер значительно усилился. Скрип барок и яростный плеск бурунов, смешиваясь в какую-то унылую, погребальную музыку, способны были навести тоску на самого веселого человека. Каютин машинально глядел на противоположный берег. Там, вдалеке, посреди непроницаемой ночи, мерцал где-то огонек. В том состоянии духа, в котором находился молодой человек, каждый сторонний предмет вызывает к мечтательности. Воображению Каютина уже представилась теплая лачуга, семья, собравшаяся в дождливую, сырую ночь у родного очага, тихий говор под шумок веретена и прялки... он вспомнил Полиньку... как охотно променял бы он теперь все свои планы и надежды на самое скромное, тихое настоящее,— полною поэзии казалась ему тогда такая жизнь! Но сердитый взрыв ветра снова напоминал ему горькую действительность: «поздно возвращаться назад»,— гудел ему ветер; «слишком далеко зашел»,— напевали ему неугомонные волны. Каютин отирал ладонью холодный пот, выступавший на лице его, мерил скорыми шагами палубу, потом снова успокоивался и снова, опустив голову на руку, вперял влажные глаза свои на клокотавшую под ногами реку. «Вот,— думал он,— завтра снова засветится огонек в лачужке, всё будет спать так же спокойно и тихо, как нынче, снова усядется семейка вокруг очага, беззаботно пройдет их вечер, а я в то время останусь, быть может, один, с страшным отчаянием в сердце, всё для меня может кончиться, всё погибнуть!..»

Наконец он вошел в каюту и зажег свечу.

То была маленькая, низенькая комнатка, оклеенная зелеными обоями; вся мебель ее состояла из стола, двух стульев, сундука, служившего вместе и постелью, и шкафа, в котором хранились водка, чайник, стаканы и другая необходимая посуда. Маленькая изразцовая печь выходила из подле устроенной кухни; окна были небольшие и низкие, так что подоконники приходились почти в уровень с водой.

Местами по стенам висели платья, а в одном углу на косяке лежали книги, и на них стоял портрет в красивой рамке. Свеча так ровно горела, что со всех точек маленькой комнаты можно было различить черты портрета.

Каютин лег; но ему не спалось.

Ворочаясь беспрестанно на сырой постели, он напрасно старался согреться, наконец окутался своей шубой, а дрожь всё не унималась. Дрожь была внутренняя. Тяжелую ночь переживал он! Кто привык смотреть на себя как на поденщика и равнодушно переходить от дела к делу, не видя и не надеясь конца работе, кто так рос и веден с детства, что никакой переворот не застигает его нечаянно,— и у того сердце стучит громче обыкновенного, когда настает решительная минута. А он, долго ленивый и праздный и вдруг кинутый сумасбродной мыслью в сферу самой горячей и упорной деятельности,— он, не бежавший с поля потому только, что постыдным казалось бегство, но работавший через силу,— какие мучения должен был испытывать он при одной мысли, что труды его могут погибнуть!

Рамы дребезжали при частых порывах пронзительного ветра, который, печально свистя, врывался в щели; изредка дождь колотил по стеклам; глухо шумя и бурля, волны ударяли в бока барки и, рассыпаясь, удалялись с тихим ропотом; потеси мерно, однообразно скрипели. Какая унылая музыка!

Нестерпимо болело и ныло сердце бедного временного купца. Тоска его всё увеличивалась и наконец перешла в малодушие.

Кругом ни звука, обозначающего присутствие живого существа; некого стыдиться, не перед кем рисоваться: он заплакал!

Легко говорить о деле, легко собираться работать, но когда не сделано привычки к труду, а дело вдруг обрушится на плечи со всеми своими неотразимыми препятствиями и шаткими сторонами и только с неверной и далекой надеждой успеха, немудрено заплакать, особенно когда нет свидетелей жалких слез, которых сам стыдишься.

Он плакал о своем бессилии, плакал о своем малодушии, с отчаянием и злобой подозревая постыдную истину, что погибни завтра его труд, так не хватит у него сил великодушно перенести горе и приняться за новый.

Так действительность ломает и перевертывает тех юношей нашего вялого и ленивого поколения, которые в фантазии мужественно переносят великие труды и опасности, а взявшись за дело, не умеют ни справиться с ним, ни разом бросить его. Борьба мелкая и жалкая! немногие выдерживают ее и выходят на дорогу полезного труда.

И суждено ли выйти было на нее Каютину? — вопрос темный, которого сам он боялся...

Не скоро заснул в ту ночь временный купец, напутствуемый всё тем же шумом волн и скрипом потесей, и тяжелы были его сны: необъятное пространство вод, а над ним черное небо, волны, обдающие палубу, ветер, неистово качающий суда и наконец разбивающий их... «Спасите! спасите! гибнут плоды долгих, кровавых трудов!» Но нет помощи, нет спасенья! всё пошло ко дну. Раза два мелькнуло среди мрака и разрушения светлое личико Полиньки, но свирепые волны не пощадили и ее.

С криком отчаяния просыпался бедный купец и не скоро впадал опять в забытье,— и опять то же необъятное пространство вод, тот же пронзительный свист бури, те же холодные, мрачно бурлящие волны...

Смутный говор и громкие удары топора наверху разбудили Каютина. Он так продрог, что зубы его стучали. Закутавшись в шубу и плотно подпоясавшись, Каютин вышел на пристань.

День был холодный, темный. Ветер стих, но мелкий дождь серым туманом падал на землю. Всё небо было задернуто тучами. Обмокшие, потемневшие дома глядели сердито и печально.

Когда наши надежды неверны и шатки, когда с сомнением и трепетом мы ждем решения судьбы своей в будущем, пробуждение в ненастную и дождливую погоду особенно неприятно. Тогда и надежды кажутся несбыточнее, сомнение усиливается и грызет душу с неотразимым упорством.

Невеселые мысли толпились в голове Каютина, стоявшего на берегу пред своими барками. Пристань уже кипела народом: одни работали на барках, готовившихся к отправлению, другие бродили толпами по пристани, предлагая свои услуги. Кучи лоцманов обступали судохозяев. И смутный шум непрерывного говора людей и стук производимых работ — всё страшно неприятно действовало на нервы временного купца. Тут некстати подошли к нему две грязные, оборванные старухи и плачевным голосом затянули под самым его ухом:

— Хозяюшка... голубчик... за барочки твои бога будем молить!.. счастливо чтобы прошли они, хозяюшка!

Каютин подал им и отошел подальше. Но другие нищие, увидав, что он подал, обступили его и тихо затянули:

— Хозяюшка... голубчик!

Каютин опять подал, подавив внутреннюю досаду.

Но тем не кончилось. Явились еще нищие.

— Пошли прочь! — крикнул Каютин сердито; но ему тотчас же стало совестно своей раздражительности: он ушел в каюту.

Долго сидел он на своем сундуке, ожидая с нетерпением, когда, по расчислению, должны были отправиться его барки. Шатихин заходил к нему и сказал, что сам поедет берегом, чтоб иметь в виду барки и в случае несчастия распорядиться. Каютин же должен был ехать на казенке.

Был уже час третий, когда Каютин вышел на пристань. Несколько десятков барок, уже спущенных, прошли благополучно, как и показывал то телеграф.

Барки отходили по тому порядку, в каком стояли, отчаливая чрез несколько минут одна после другой по команде солдат, расставленных по пристани для присмотра.

Шесть или семь барок находились еще впереди судов, принадлежащих Каютину. Лоцмана и рабочие были уже на своих местах.

Наконец настала их очередь. Перед глазами Каютина, сердце которого сильно билось, отчалила первая барка. Сажен двести, плавно качаясь, проплыла она в виду многочисленных зрителей и потом исчезла за крутым поворотом. За ней последовала другая, потом надлежало отправиться казенке, на которую взошел Каютин, а затем и остальным трем баркам.

Шатихин, сильно взволнованный, с нежностию простился с Каютиным и поскакал на лихой тройке берегом.

Лоцман, концевые и рабочие стояли по потесям. Ждали приказания отправляться.

— Отчаль! — закричал солдат.

— Благослови, хозяин! — сказал лоцман, обращаясь к Каютину и снимая фуражку. Каютин снял с себя тоже.

— Молись! — закричал лоцман громким голосом. Рабочие, скинув шапки, стали молиться.

— Теперь за дело! — скомандовал Клушин (лоцман Каютина).

Барка отчалила и понеслась по течению, управляемая потесями.

Клушин стоял молча и неподвижно у своей потеси, устремив внимательный взор вперед. Только движениями рук он показывал, что следовало делать.

То был человек высокого роста, плотный и довольно полный, лет сорока пяти. Черные с проседью волосы и широкая борода придавали его гордому и строгому лицу особенное, мужественное выражение.

Каютин внимательно следил за каждым его движением.

Вдруг вблизи барки раздались мерные удары колокола. Каютин вздрогнул и обернулся: он увидел на берегу небольшую часовню, выкрашенную серой краской, а ниже ее, на столбе, колокол. Рабочие сняли шапки и перекрестились.

— Молись вси крещоны! — крикнул один рыжий парень торжественным голосом.

И барка пронеслась мимо.

Каждый раз при проходе барки сторож, приставленный к часовне, звонил в колокол. Приказчики с мимоидущих барок бросают к ногам его деньги. А судохозяева, едущие берегом, кладут свои усердные приношения в кружку, привинченную к часовне, сопровождая их горячими молитвами.

Перед каждым порогом на обоих берегах стоят нищие, плачевно напевая. При виде близкой опасности судохозяева и приказчики их до того размягчаются, что никогда не забудут щедро метать на берег медные деньги.

И Каютин не хотел изменить обычаю и потому отдал заранее кучу медных денег ехавшему с ним из Волочка лоцману, который на порогах был только зрителем. И каждый раз, как лоцман взмахивал своей щедрой рукой, между нищими происходило страшное волнение.

Барка, ловко заворачивая, шла по течению и пронеслась по порогам, находящимся между Рядком и деревнею, называемою Порогом. Попутный ветер становился всё сильнее и сильнее.

— Кабы не ветер! — говорил один концевой.— Работы будет!

Лоцман молча смотрел вперед. По временам раздавались возгласы командующих концевых, сопровождаемые криками работающих людей. Всё еще было спокойно, и управление производилось без особенных усилий.

Но когда стали приближаться к *Рыку*,[1] Клушин встрепенулся. Он быстро снял полукафтанье и остался в

---

[1] *Рык* — один из замечательнейших порогов. Они суть следующие: *Рык, Вяз, Печник, Выпь, Лестницы, Гверстка, Глинки, Егла, Витцы* и *Опошня.*

суконном жилете, надетом на красную рубашку, окинул взором барку и закричал, взявшись сам за ручку потеси:

— Долой шубы! долой живее!

Многие тотчас исполнили приказание.

— Долой, говорят, долой! — заревел Клушин остальным.— Аль оглохли!.. согреетесь ужо!

И он принялся за работу.

— Наложь! — кричал концевой, ближайший к Каютину, красивый мужик лет двадцати.

— Сильно!.. сильно!.. дружно!.. Еще сильнее!.. ну, Ванюха!.. мало!

Издали уже был слышен глухой шум воды, разбивающейся об каменья. Мрачно взъерошенная поверхность ее на порогах резко отделялась от предшествовавшей спокойной поверхности. Барка взошла на пороги и, страшно треща, понеслась по ним как стрела. Кругом нее вода волновалась, крутилась, клокотала и яростно билась между преграждающими ей путь каменьями. Низвергаясь в водовороты, в эти страшно кипящие и пенящиеся бездны, барка изгибалась как змея, и так заметно, что Каютину каждую секунду казалось, что она разломится пополам под его ногами.

Рабочие, подстрекаемые приговорками концевых, работали с невероятным усердием. Отклоняя потеси вперед, они так перегибались, что почти половина их корпуса перевешивалась за борт барки.

— Ай други... ай ребята! — приговаривал концевой.— Ай живее... ай сильнее... сильнее... Ну, дядя Василей, еще раз... вот славно... вот наша теперь... наша, наша, наша!

— Ваша, ваша! — кричал лоцман, обернувшись к ним.

И рабочие каждой потеси, соревнуя друг другу, делали страшные усилия.

Понятно, с каким напряженным вниманием следил Каютин за чудесным ходом барки. В ушах его беспрестанно раздавались возгласы концевых и громкие, звучные команды лоцмана, имевшие для него весьма темный смысл.

— Направо... налево,— кричали кругом него,— отдай свою, отдай... стой, понаровь... стой! не заваливай, стой!

Барка пролетела пороги и быстро неслась на скалистый берег. Каютин встрепенулся, и глаза его, полные ужаса, обратились к лоцману. Лоцман был спокоен и слег-

ка улыбнулся. Барка ударилась об заплыви и, скользя около них, пошла спокойнее.

Все перевели дух. Так как иногда на порогах в барке делаются проломы, то после каждых важных порогов дожидается много баб, чтоб отливать воду в случае нужды. Они вскакивают на барки с заплывей, и каждая попавшая на барку получает плату. И теперь на заплыви стояло около сотни женщин, с шайками, ведрами и чашками, и хоть рабочие кричали им, что в отливальщиках нет нужды, бранили, толкали их, однако ж несколько баб всё-таки вскарабкались на барку и попадали на дно ее, преследуемые всеобщим смехом.

— Ну, как хочешь, хозяин,—сказал молодой концевой, обращаясь к Каютину,— а я своим уж четверть обещал. Славно работали...

— Ну, толкуй там! смотри, не зевай! — крикнул лоцман.

Между двумя стенами отвесных белеющихся скал, изредка поросших мелким кустарником, барка, треща и изгибаясь, делая самые крутые повороты, неслась по порогам, в иных местах около самого берега, стремясь носом иногда прямо на скалу. Каютину беспрестанно казалось, что барка или разобьется вдребезги о берег, или разломится на части при изгибах. Он до того был увлечен дикою смелостью такого без сравнения быстрого плавания, поэзиею этой беспрестанно возобновляющейся опасности, что почти забывал, с какими важными для него интересами сопряжен благополучный проход барок.

Поэзия этого оригинального плавания действует и на низший класс народа. Верст из-за пятидесяти сбираются мужики в Рядок, бросая более необходимые занятия для работы на барках. И можно с достоверностию полагать, что не одни выгоды заставляют их стекаться сюда. Они идут в посад во время судоходства как на праздник, как на пир.

Так опасность этого быстрого плавания между двумя высокими и скалистыми берегами, посреди волн, яростно воюющих между собою и с грядами камней, имеет какое-то охмеляющее свойство.

Преодолевая страшные препятствия, барка благополучно достигла до Еглы. Тут произошла сцена, страшная по своей нечаянности и мимолетности.

В то время как барка подошла к заплыви, несколько баб полезло на нее. Одна из них как-то сорвалась

и упала между заплывью и баркою в глазах Каютина. Барка плотно прижалась к заплыви; сердце перевернулось у Каютина. Раздался ужасный, раздирающий душу вопль, сопровождаемый единодушным криком или, лучше, вздохом. Затем последовало глубокое, мертвое молчание.

— Дуняшка! — закричала одна из баб со дна барки.— Дуняшку раздавило!

— Экие лешие, проклятые... лезут зря... экие бесстыжие... пра, бесстыжие! — говорили рабочие.— Ведь, чай, по пояс отхватило, да и кишки-то повыворотило... Экие, подумаешь, лешие!

— Ну, толкуй там! молчи знай! Тихо! — закричал лоцман.— А вы там лейте воду, окаянные!

И всё пришло в обычный порядок, и всё смолкло, и всё кончилось для несчастной Дуняшки!.. Страшный вопль страдания и смерти повторился эхом пустынных гор, и разнес его буйный ветер. Только, может быть, отдавался он еще в душе временного купца.

Осталось еще пройти два из важных порогов. Ветер всё усиливался.

Каютин сел на скамейку и погрузился в грустные размышления. Недавнее происшествие не выходило у него из головы. Вдруг на берегу послышался как бы зовущий крик. Каютин обернулся и увидел человека, который сильно махал руками и кричал.

— Что тебе? — спросил он как мог громче.

— Барки на ходу! — отвечал с берега голос.

Все обернулись к телеграфу: на нем висел зловещий красный шар!

— На ходу барки! — повторило несколько рабочих.

— Ну так что ж? — угрюмо, но спокойно закричал лоцман.— Работай знай... и тихо, тихо! Наверх все вы там, с весел! гони их оттуда, Федор! Становись по потесям! — командовал лоцман громким голосом.

Каютин сообразил, что барки, сидевшие на ходу, по всей вероятности принадлежали ему, что они грозили гибелью и следующим баркам. Сердце его облилось кровью. Он ощутил вдруг страшные силы; ему казалось, что он способен теперь своротить исполинские камни, разрушить неодолимые преграды, достать свое добро со дна глубокой пропасти... И он долго метался по палубе, как будто искал: где же опасность, чтоб скорей померяться с ней?.. Он хотел умереть работая — или спасти свое добро... Но делать ему было нечего! Он должен был оставаться в без-

действии, в совершенном бездействии, как посторонний зритель катастрофы! Он знал, что барку никаким образом остановить нельзя, что причалить к берегу невозможно, и потому молчал и только с напряженным вниманием, с горящими глазами смотрел вперед.

Казенка завернула за угол, и взорам всех представились две барки: одна стояла на ходу, почти до самого борта в воде; другая, разломившаяся пополам, с раскрытою внутренностию, окруженная рассыпавшимися кулями, билась с яростью об каменья. Одна половина ее неслась далее, прямо к берегу. На ней держалось еще немного народу; большая же часть его была уже на берегу.

Клушин, не теряя нисколько присутствия духа, употреблял все усилия, чтоб пройти возле самой осевшей барки, не отклоняясь от фарватера и не задевая ее. Исполнить этот маневр было почти невозможно, потому что фарватер очень узок. К тому же усилившийся ветер уклонял от должного направления.

Барка неслась с страшною быстротою. Вблизи неминуемой опасности все умолкли, кроме лоцмана, голос которого отрывисто раздавался посреди яростного рева бьющихся волн. До последней минуты работа производилась на потесях.

Каютин видел, что казенка стремится прямо на другую барку, и не ошибся. Со всего разбегу она ударила в борт сидевшей барки. Послышался страшный треск, и вода прорвалась в барку. Рабочие бросили потеси и все кинулись с полатей на бунты.[1] Потеси, оставленные рабочими, заходили, и одна из них разломалась пополам.

— Берегись потесей! — кричал лоцман.— Руби их!

Но никто уж не слушал его; всякий заботился только о собственном спасении. Барка трещала и ломалась: рогожи бунтов разошлись; кули обнажились. Каютин схватился за один из них; потом он сполз с ними вниз, сопровождаемый другими кулями. Почувствовав воду вокруг себя, он взглянул, где берег. Кругом его были обломки и кули; над ним вертелась потесь. Держась за куль, он поплыл к берегу, руководимый просто инстинктом самосохранения. Каким-то обломком ударило его по голове и чуть не оглушило; пенящиеся волны хлестали ему в ли-

---

[1] Массы правильно сложенного на барке груза, обшитые рогожами, называются *бунтами; полатями* же называются небольшие подмостки, на которых стоят рабочие во время управления потесями.

по; быстрое течение влекло его с страшною скоростью. Кто-то ухватился за его ногу и тянул его ко дну; он с силою ударил другой ногой: послышался страшный крик, но нога его осталась свободною. Его поднесло к берегу. Кто-то притянул крюком его куль, и он, весь измокший, вышел на берег. Здесь уже стояло много народу с разбитых барок.

При важнейших порогах, на которых преимущественно бьются барки, всегда находятся в судоходное время три дежурные лоцмана с рабочими и лодками для подания в случае нужды помощи. И теперь они делали свое дело: запасные лодки вывозили людей.

Бледный, дрожащий Каютин, едва сохраняя сознание, дико смотрел на страшную картину разрушения. Часть его красивой казенки с прицепившимися на ней людьми прибило к берегу. Но вот из-за угла показалась еще барка. Смело, спокойно неслась она по течению, будто не видела неминуемой гибели. Опять удар и треск от страшного столкновения, и барка села!

Волны, празднуя победу, ярились и пенились около раздробленных барок с возрастающей силой и разносили кули в разные стороны; потеси ломались; ветер пронзительно выл. Скоро показалась другая барка, потом третья,— и опять удары, и опять треск! Каютин закрыл глаза. Невыносимой пыткой отдавался каждый удар в его груди. В изнеможении прислонился он к скале, немного поодаль от многочисленных зрителей. Недалеко от него стояли сконфуженные лоцмана и толковали о случившемся несчастии, справедливо слагая всю вину на поднявшийся во время хода барок ветер.

Каютин не рвал на себе волос, не кричал, не приходил в неистовство: им овладело немое, холодное отчаяние; но в душе его не раздалось ни одного упрека кому-нибудь. Вдруг подбежал к нему его товарищ, Шатихин, страшно бледный.

— А всё по твоей милости,— сказал он с отчаянием.— И дернуло меня послушаться!.. Продать бы хлеб в Рыбинске, так нет — всё больше хочется... Жадность ваша... Теперь просто разоренье!.. Вот гляди, гляди! — кричал купец, указывая рукой на бунтующую реку.— По кулю растащило! половины их теперь не соберешь!

— Пожалуйста, уж не упрекай,— сказал Каютин кротко,— я больше потерял...

— Больше! — перебил купец.— Больше! Еще бы я столько потерял... да... Эх!

И он побежал распоряжаться наймом людей для снятия барок с ходу и для сборки кулей.

Шум людских голосов, общее смятение и это печальное многолюдство были нестерпимы Каютину. Он пошел вдоль берега и, завернув за угол, бросился на землю, около тощих кустов. Черные тучи, гонимые ветром, казалось, скоплялись над тем самым местом, где происходила печальная драма. Изредка молния разрезывала их, и отдаленные раскаты грома сливались с шумом торжествующих волн, свирепо бьющихся о берег. Крупные капли дождя хлестали ему в лицо; мимо его, по мрачно бурлящей черной реке, быстро неслись обломки барок и кули... кули, в которых заключались все его надежды. Он закрыл лицо руками, и нестерпимые муки, теснившие его грудь, разрешились громким, судорожным рыданьем. Совершенное отчаяние овладело им. Ветер дико выл и стонал; чаще и чаще повторялись раскаты грома; кули мелькали и неслись мимо; вдруг между ними мелькнула безобразная масса... Каютин всмотрелся внимательнее: то была, казалось ему, раздавленная его баркой женщина. Он содрогнулся.

Так прошло часа два. Каютин всё сидел и смотрел, как плывут его кули. Потребность согреться и обсушиться наконец проснулась в нем. Он встал и побрел по направлению к городу Боровичам.

Дорогой нагнал его купец Шатихин, ехавший на тройке.

— Садись,— сказал он Каютину,— я подвезу.

Каютин сел, и Шатихин принялся передавать ему печальные подробности несчастия, но уже не упрекал его. Каютин не слушал: казалось, ему было всё равно, спасено ли что-нибудь, или погибло всё. Ничего утешительного не видел он впереди, и отчаяние всё сильней и сильней брало его.

— Надо нам расчет и порядок сделать,— сказал Шатихин, когда они прибыли в город и остановились, по желанию Каютина, у трактира.

— Хорошо,— отвечал Каютин,— завтра всё сделаем. Я переночую здесь.

И он пошел в трактир.

Глава VII

МОРЕХОД ХРЕБТОВ

Особой комнаты в трактире не было. Выпросив у хозяина сухого белья и дубленый тулуп, Каютин переоделся в бильярдной, на ту пору пустой, и вошел в общую комнату.

Комната была довольно большая, с превысокими окнами, на которых стояли так называемые восковые цветы, разросшиеся по деревянным решеткам, и ерани, распространявшие свойственное им благоухание. Вся мебель состояла из одного клеенчатого дивана, десятка стульев и четырех столов, покрытых толстыми сероватыми салфетками и украшенных грациозными перечницами, наподобие желтого старого огурца, поставленного стоймя. Посреди потолка висела закопченная люстра со стеклышками. На стенах, в желтых толстых рамах, висели картины, изображающие некоторые сцены из «Душеньки», похождения Женевьевы, королевы Брабантской, и полуобнаженную волшебницу, вручающую талисман горбоносому греку, причем посетитель мог увеселиться безденежно чтением и самого знаменитого романса, подписанного под картиной.

Каютин потребовал чаю и сел на диван. Он выпил скоро два первые стакана и, согревшись, сидел за третьим, повесив голову.

Злость взяла его, когда, прислушавшись к разговору трех посетителей, пивших чай за другим столом, он узнал, что и они говорят о том же, от чего не могли оторваться его мысли. Посетители говорили о разбитых барках, сердитой буре, потонувших и плавающих кулях, о неизбежных убытках, которые должен был понести бедный хозяин кулей.

Двое из них, судя по одежде, были лоцмана: один рыжий и уже немолодой, другой лет двадцати; товарищ их казался зажиточным крестьянином. Собеседники называли его Антипом Савельичем. Лицо его понравилось Каютину. Оно принадлежало к тем народным лицам, которые сразу до такой степени располагают в свою пользу, что вы охотнее пуститесь с таким простолюдином в длинные толки, чем с образованным господином, и даже не слишком рассердитесь, если он вас надует. Выражение смышлености и полной беспечности, прямоты и добро-

душного лукавства придавало небольшому уже не молодому лицу Антипа необыкновенную привлекательность. Седина чуть пробивалась в его темно-русых волосах; усы же и небольшая окладистая борода его были черные, и седина обозначалась в них заметнее. Взгляд небольших голубых глаз его был ласков и долго с спокойным и ровным выражением останавливался на чужом лице. В разговоре и движениях его пробивалась врожденная живость и в то же время какая-то строгая плавность и осмотрительность, как будто он поминутно думал, что наблюдают каждое его слово, каждое движение, и не хотел ударить лицом в грязь. Голос его был чрезвычайно приятен, а тихий смех невольно располагал к веселости. С первого взгляда на него Каютин, уже присмотревшийся несколько к народным физиономиям, подумал, что он должен быть отличный мужик, если только не страшный плут.

Роста он был скорее низкого, чем среднего, но сложен крепко и очень пропорционально; одет в полушубок, крытый синим сукном, с тюленьей выпушкой; подпоясан красным кушаком.

— Да, подумаешь, какая беда,— говорил рыжий лоцман,— шутка ли! у одного хозяина шесть барок разбило.

— Да и как расколотило! — подхватил другой.—Говорят, по кулю растащило; поди собирай... Вот уж подлинно несчастие так несчастие!

— Вестимо несчастие! — перебил рыжий.

— Такие ли несчастия бывают! — сказал вдруг скептически товарищ их, долго хранивший молчание.

Каютина всего передернуло. Он готов был кинуться к бородатому скептику и спросить: какие же? Несчастие его казалось ему беспримерным.

Антип приметил его движение и внимательно оглядел его.

— Ну, не говори, Антип Савельич,— возразил молодой лоцман.— Ведь, добро бы, сам оплошал, а то лоцманов набрал степенных, знающих: не в первый раз барки гоняли... да что станешь делать! Ветер вдруг такой поднялся!

— Ветру гулять не заказано,— заметил Антип.

— Оно, конечно, ветер,— сказал рыжий,— да уж, видно, на то и воля господня. Супротив бога не убережешься. Видно, так уж указано было тем баркам разбиться. Я вот расскажу тебе, Антип Савельич, насчет того, тоись, примерно, воли-то господней. В наших местах было дело; ты

знаешь, чай, что осенью прошлой червяк здесь все озимя поедал. Вот там, выше по Мсте, барин — запомнил, как его прозывают,— вздумал, как бы червяка-то, понимаешь, извести... Уложил все поля соломой да и зажег ее. Оно бы и ничего: весной у него все озимя взошли, а кругом у всех червяк поел. Да что ж ты думаешь? Вдруг на скот лихая болесть какая-то напала,— да полтораста штук рогатого скота переколело... А у соседних ничего не было: все целы остались и не болели. Вот, поди, и мудри ты с господним напущением. Озимя-то целы, да скот перевелся... еще изъяну больше! Уж, видно, так и надо было, чтоб червяк поел. Так вот оно как. Порассудишь, так и увидишь, что слава богу еще, что только барки разбило,— хуже чего не случилось. Сколько рабочих одних было! долго ли до беды! Да бог миловал! Говорят, в Еглах бабу баркой к заплыви придавило... а то ничего... Слава богу! и рабочие целы и лоцманов не тронуло.

— А нешто бывает у вас, что и лоцмана тонут? — спросил Антип.

— Не часто, а то как не бывать! бывает. На моей памяти сгиб да пропал у нас лоцман,— и парень такой важный был. Помнишь,— сказал рыжий лоцман, обращаясь к своему товарищу,— Петра Сучкова, свояком приходился Котлову Федьке... да и то больше по своей причине.

— Ну а как? — спросил Антип.

— Он, вишь ты, сына к работе приучал. Парнишко такой бойкий был и из себя видный; семнадцатый, помнится, ему тогда пошел. И так уж баловал его отец! Он у него на потеси под рукою работал. Вот раз, знаешь ты, гнал он барку, да на Вязу ее и разбило. Мальчишка как-то не уберегся: его в воду потесью и столкнуло. А отец-то, говорят, завопил да за ним и бросился. Время было весеннее, погода страх какая ветреная, да и мальчишка, вишь ты, плавать не умел: их, видно, волной и захлынуло... к Потерпелицам к самым пригнало. Да так их по каменьям-то било, что и не признали вдруг... лица нет... мяса кусок, кости словно в мешке... Жалко было: признаться, ребята славные были. После перемычки Сучков сына женить хотел... и невеста-то первая по Рядку красавица была. Да что? поплакала, да замуж в мясоед и пошла! А опять семья у них была большая: всё бабы да ребятишки, старый да малый. Жили они за покойником знатно. Он да сын кормили всех. А как потонули они, и пропала совсем семья! Что было, прожили... Добывать некому. Домишко

был — продали. Жалость смотреть, в какую бедность пришли... словно нищие. Да что тут станешь делать!

— Вот так несчастье,— заметил Антип.

Каютин с возрастающим вниманием слушал рассказ лоцмана. Чувство истины и справедливости всегда имело доступ к его сердцу. Он стал невольно сравнивать свое положение с несчастиями, о которых шла речь.

Он вспомнил раздавленную его баркой женщину. «Может быть,— думал он,— теперь, в эту самую минуту, в темной и дымной избе несколько бедных ребятишек напрасно ждут своей матери, и некому ни накормить, ни уложить их. Может быть, отец их беспокоится теперь, ожидая возвращения жены, с которой свыкся, которая необходима ему как половинщица тяжких трудов и забот о пропитании. Долго будут плакать и ждать дети, наконец угомонятся и заснут; заснет и старик,— ее всё не будет. А утром покажут им одну страшную, обезображенную массу! А может быть и то, что у бедных ребятишек никого не было, кроме матери, и станут они бегать теперь, беспомощные сироты, из деревни в деревню, от дома к дому, в ветер, в дождь, в стужу, и будут переминать окоченелыми ногами в грязи и в снегу, выпрашивая кусок хлеба».

Представил он себе также семейство бедное погибших лоцманов,— несчастное семейство, которое потеряло с ними в один час и надежды, и славу, и довольство. И где теперь они? что сталось с горемычными членами обедневшего семейства? кто заботится о них? под чьей кровлей приютили они свои головы? Никто о них не заботится и нет у них пристанища!

И вспомнил он о червях, поедавших озимь, и подумал о тех, которые сделались жертвами жадных червей.

То были плоды трудов долгих, вседневных,— трудов тяжких, орошенных кровавым потом людей, работающих не для наслаждений жизни, а из куска хлеба, для прокормления семейства...

Но червяк не обошел их!

Каютину вдруг стало совестно, что он так упал духом и так убит своим несчастьем, которое... еще не слишком ужасно!

Не слишком ужасно?! А Полинька?

И несчастье его начало снова принимать огромные размеры...

Наши собственные несчастия всегда кажутся нам исключительными, не подлежащими сравнению. Несчастия же, которые мы видим каждый день, вопиющие, будничные, хронические, кажутся нам мелкими и ничтожными, потому что случаются с людьми мелкими и ничтожными. Они проходят мимо наших глаз незамеченными. Мы сейчас станем рассуждать, что надо их разбирать относительно, что в тех людях нет таких потребностей, взглядов, понятий, которые бы заставляли их принимать несчастие с такими же страданиями, как нас.

Нет! в них только больше преданности судьбе, больше страшного навыка!

Одно сделалось ясно Каютину, что все его недавние трагические порывы и планы чрезвычайно глупы и малодушны: он уже не собирался разбить себе голову об стену, погибнуть в одной пучине с своими кулями и надеждами. Однако ж и ничего хорошего не видел он впереди и, сидя у нагорелой свечи с потупленной головой, предавался самым мрачным мыслям.

Между тем компания кончила чай. Лоцмана простились и ушли. Антип долго толковал в другой комнате с буфетчиком, наконец воротился к своему столу, сел и налил себе еще чашку. Медленно попивая жидкую, чуть желтоватую влагу, он долго всматривался в лицо временного купца и наконец спросил его:

— Что ты так задумался, хозяин?

Каютин вздрогнул.

— Так, ничего,— отвечал он.

— Ну, оно не совсем ничего: барки-то, говорят, что разбило, твои были?

— Да, в них была и моя часть.

— Так оно немудрено и призадуматься: есть о чем. Да что делать! на всё воля господня. Бывает и хуже — дело торговое. Оно, конечно, потеря большая, да не всё ведь и пропащее: авось, бог даст, и пособерется.

— Что уж там собирать! — сказал с досадой Каютин.

— Как что собирать? — возразил с удивлением Антип.— Вот хорошее сказал: что собирать? Да ты,— спросил он, пристально оглядывая его,— да ты кто таков... купец?

— Да... купец.

— А был не купец прежде?

— А ты почему узнал? — спросил быстро Каютин, который, обращаясь в низшем классе народа, имел свои при-

чины не вдруг обнаруживаться и не любил, когда угадывали истину.

— Ну, не сердись! не сердись! — сказал примирительно Антип, заметив досаду в его голосе.— А узнал я потому,— прибавил он, сопровождая свои слова немного лукавым и вместе ласковым взглядом,— что у тебя, видишь ты... руки больно белы.

— У меня товарищ есть,— сказал Каютин, вспыхнув.— Он присмотрит и распорядится кульем.

Антип усмехнулся.

— Умен ты, барин,— сказал он,— догадался, чему сдивился мужик; признаться, чудно показалось мне: там кулье ловят, а хозяин вот уж почитай больше часу в харчевне сидит; добро бы, загулял: ну и спрашивать нечего! а то просто пригорюнился, тяжелую думу думает. Что, чай, черно у тебя на душе? — спросил с участием Антип, подвигаясь к Каютину и заглядывая ему в лицо.— Поди, небось, словно как после похорон, опустивши молодую жену в сырую постельку?

Предложи теперь Каютину такой вопрос человек одного с ним круга и образования, он взбесился бы и был бы прав. Но он считал своим долгом обращаться как можно деликатнее с простолюдинами, которых душевно начал любить, прожив уже несколько месяцев почти исключительно с ними и с каждым днем больше узнавая их. Притом в голосе Антипа было столько простоты и искренности, что участие его не только не оскорбило, но даже тронуло Каютина. Тоска вдруг сильнее подступила к его сердцу, и он отвечал чуть не со слезами:

— Сам смекаешь, чай, как бывает у человека на душе после такой напасти.

— Как не смекать! — сказал задумчиво Антип.— Не первый десяток живу. Хоронил я сродников, дорогих людей хоронил... да хоронил и богатство свое: своими глазами видел, как ко дну идет, а помочь не мог! Только, знаешь что, барин, послушай моего совету: свистни и рукой махни, не убивайся! Дело торговое: зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай! Закидывай снова. Ты вот не купец, а в торговлю, видно, охотой пошел.

— Охотой! — отвечал Каютин с горькой усмешкой.

— Ну, вот видишь, охотой,— сказал Антип, не заметив иронии,— а пословица говорит: охота пуще неволи, терпи — слюбится! Коли охота есть да здоровье бог даст, на-

живешь денег; не всё барки будет колотить; помаленьку, глядишь, лет через пятнадцать и капитал соберется...

— Через пятнадцать лет? — воскликнул Каютин.— Нет, спасибо! через пятнадцать лет мне твоих денег и даром не надо!

— Что так? — сказал Антип с усмешкой.— Деньги всегда нужны. А давно ты торгуешь?

— Вот уж год скоро.

— Ха-ха-ха! ха-ха-ха!

Антип просто хохотал; но смех его так был добродушен и ласков, что не было возможности рассердиться.

— Извини, барин! — наконец сказал он, удерживаясь.— А смеюсь я не в обиду тебе, а потому что, вишь ты, уж не впервой слушать мне такие речи; вся ваша братья, сколько ни встречал по торговле, на одну стать: коли уж пошел торговать, так ему чтобы сразу горы золотые были, а нет, так и на попятный двор! А того не подумает, что деньга сама барыня спесивая: не разбирает, какого ты роду, а кого полюбит, к тому и идет; а любит она тех, кто умеет с ней обращаться: вишь ты, уходу большого требует, скоро в руки не дается. Ты походи за ней, похлопочи, в дугу согнись, в щепку высохни, поседей до поры. А то думает сразу взять!

— Так,— уныло сказал Каютин, почувствовав глубокую справедливость его слов.

— Ведь и ты, чай, уж баста теперь. Довольно-де: поторговал! Да, шути тут! так торгуют! В Петербург, что ли, теперь поедешь?

— В Петербург?! — воскликнул Каютин, вскочив и переменившись в лице.— В Петербург?! Ни за что! Скорее в Сибирь!

Антип посмеялся.

— Ну, барин,— сказал он,— видно, горе у тебя не одно. А что ты так говоришь про Сибирь? Ведь говорят только: Сибирь, Сибирь! а сторона богатая, привольная.

— А ты разве бывал там?

— Бывал ли я? Да ты лучше спроси, где я не бывал? Недаром меня нырком прозвали. Много сухим путем исходил, много морей переплыл, был и там, куда человек, почитай, не заходит, был и там, куда ворон костей не заносит. Хорошая сторона Сибирь! Вот коли хочешь скоро денег нажить, поезжай туда. Да и то нет! Как посчастливится... А ты же скор крепко: так, пожалуй, и даром съездишь. Приманка, вишь, там велика,— всякий туда:

золота, мол, накоплю! Так кому еще удастся. А вот я знаю так знаю сторонку, где можно денег добыть... и скоро. Да нечего уж и говорить!

Антип махнул рукой. Каютину показалось, что лицо его омрачилось.

— Чудной ты человек,— сказал он,— знаешь, где раки зимуют, а не ловишь.

Антип молчал и думал.

— Сторонушка та,— заговорил он грустно, не поднимая головы,— дальняя, холодная, неприветная. Там зима, почитай, круглый год держится, и дорога туда трудная: что ни шаг, великаны в ледяных бронях, как полки, стоят, ходу вперед не дают; без ножей, без мечей, да сила в них богатырская; только справишься, глядишь — новые полчища тихо встречу идут, как живые подвигаются; держи ухо востро, а оплошал, так ко дну ступай... Я, барин, три раза тонул,— прибавил Антип, подняв голову и взглянув на Каютина, который внимательно слушал его,— а скажи теперь — сейчас опять готов! Уж как доберешься до земли — раздолье! нигде не бывать такого промыслу! Гусь туда со всего света летит — руками бери! Рыбы видимо-невидимо — успевай ловить! Моржи и тюлени и по льду и по берегу как чурбаны лежат — знай сонуль поколачивай! А песцы? а медведи белые? не ищи его: сам в гости придет — умей справиться! Нечего и говорить! нигде не найдешь столько рыбы, и зверя, и птицы с дорогим пухом; да и как не быть там? никто, почитай, не пугает!

— А что ж жители? — спросил Каютин, не сообразив вдруг, о какой земле идет речь.

Антип посмеялся своим тихим, ласковым смехом.

— Жители? — повторил он.— А жителей там живых нет, а есть там одни жители мертвые. Как плывешь берегом, как пойдешь островами, только и видишь: всё кресты, кресты, кресты, а почиют под теми крестами всё люди русские, православные, что ни есть храбрейшие (трус туда и не суйся: со страху умрет!), и имена тех отважных людей (упокой, господи, их души многострадальные) на крестах писаны. Правда, и иностранцы иные есть; нечего говорить, между ними тож водятся храбрые люди. А ходили они туда с давних пор, про страну ту далекую разведывали: дороги, слышь, в дальние земли искали... да немногие и вернулись. Приплывут туда целыми кораблями, народу тьма, иной раз до сотни, а назад едут почасту просто в лодье, и всех двадцати не насчитаешь, да еще и на дороге

то и знай хоронят: кого в мать сырую землю, а кого просто по морскому обычаю — в море! Вот какова сторонушка! А то думал: жители! Ни городов, ни деревень, ни храмов божиих тоже нет; а иной раз взглянешь на море: словно целые города, селения, хоромы, церкви по морю плывут либо стоят, пока ветер не погонит. Глупый сдивится, а дело оно просто выходит: льды, понимаешь ты, спокон веку не тают, а всё больше растут и такими горами по морю ходят, что на суше таких гор не увидишь,— сажен шестьдесят иная в вышину, да еще сажен тридцать в воде сидит, а в обхвате такая, что в неделю кругом не объедешь, а иную и в месяц. А называются они стамухами. Сцепится иной раз десяток-два таких льдин, да так чудно сцепятся, такие из них фигуры выйдут, что, глядишь издали: ну город, просто город, с церквами, колокольнями, башнями! Оно, правду сказать, и солнце иной раз обману способствует; там оно, видишь, не по-нашему светит: то его господь знает сколько ден не видать, словно совсем пропало, а то вдруг такой свет пустит, что всё кругом инаково покажется. Подлинно чудо! Веришь ли, барин, раз смотрим, а на небе не одно солнце: четыре! ей-богу! горят таково ярко, недалеко друг от дружки, и все четыре меж собой полосками разноцветными, словно радугами, сцеплены! И уж вид оттого какой — чудо! гляди да глазам не верь! Просто покажется, что другой такой стороны и с огнем не найдешь: лучше чем под Астраханью, у привольного Каспийского моря, а уж на что та сторонка богом благословенная,— я там тоже бывал. А пропал обман — и всё пропало: ни былья, ни жилья. Кладбище, просто кладбище!

А которые избы там местами попадаются, так от них только горя больше; увидишь, обрадуешься, войдешь в избу: бочка разломанная лежит, куль муки иной раз стоит, оружие разное, ловушки звериные,— ну вот точно сейчас люди тут были. А где люди? выйдешь вон, глянешь кругом, и душа замрет: всё кресты, кресты... вот тебе люди, вот жители! Поди дружбу сведи, хлеб-соль дели...

И как подумаешь, что в избах тех жили, долгую ночь коротали и померли люди что ни есть самые храбрые, молодецкой, богатырской души, так самого такая тоска возьмет, что хоть вешайся,— страх к сердцу приступит: домой, домой! так сердечко и ноет. Да не след страху пустому поддаваться! Бывает, и на полатях люди мрут, а бывает, и оттуда живые домой приходят, да и не с пустыми руками, а с деньгами, каких здесь и в десяток годов

не добудешь... Эх! присмотрел я там себе добрые промыслы! Да что станешь делать! надо рабочего народу нанять, лодьи снарядить, запасу взять — большая сумма требуется... А у нас, вишь ты, в одном кармане пусто, в другом нет ничего...

Антип замолчал.

— Читывал я,— сказал Каютин,— про ту сторону, о которой говоришь ты, Антип Савельич: в книгах есть. Да ведь опасно с народом туда забиваться. Конечно, кто охотой идет — ничего; а рабочий народ? его нужда погонит, а там, гляди, пойдут морозы, болезни...

— Кто говорит! — перебил Антип.— Опасность великая. Зимовали мы там, много холоду и голоду потерпели, много горя видели, нечего таить, и народу немало потеряли, да и сам Петр Кузьмич — царство ему небесное! не было и не будет такого простого и доброго барина, такого храброго начальника (в голосе Антипа слышалось глубокое благоговение, и он усердно крестился),— и сам Петр Кузьмич, уж на что крепок был и духом бодрился, а не выдержал: как вернулся, через месяц богу душу отдал...

— О каком Петре Кузьмиче говоришь ты? — сказал Каютин.

— А Пахтусов, Петр Кузьмич,— отвечал Антип.— Я с ним в ту сторону ходил. Вот была душа так душа! Чай, другой такой и на свете нет,— прибавил мореход с грустной любовью и торжественностью.— Так вот, видишь ты, барин,— продолжал он после долгого молчания,— зато теперь сноровки больше, народу наберем привычного, бывалого, против холоду малиц возьмем, сруб с собой привезем: не одну избу, так и баню поставим; против болезни — и вина и лекарства захватим, против кручины — песню споем, былину расскажем. Я, барин, мастер былины рассказывать. Сам Петр Кузьмич, бывало, хвалил: «Молодец ты,— говорит,— Хребтов, куда тебя ни поверни: и дело знаешь, и говорить горазд!»

Хребтов усмехнулся.

— Царство ему небесное! он меня любил, покойник,— прибавил мореход с гордостью.— Так вот, барин, как: волка бояться — в лес не ходить. А ехать туда — быть с деньгами! Пройдет года два, поздно будет. Покуда далеко не заезжают (и сторона сурова, да и пути хорошенько не знают), а вот как хоть один проберется подальше да воротится жив, много добычи привезет, так и прощай! Все

повалят туда, и уж тогда поздно будет! Куй железо, пока горячо!

— А много ли, как думаешь, надо денег, чтоб хорошенько туда снарядиться? — спросил Каютин и ближе подвинулся к мореходу.

Глава VIII

ЧУЖОЙ ДОМ

Появление Полиньки в доме Бранчевской (так звали даму, у которой нанялась Полинька) произвело большое волнение в многочисленной дворне. Лакеи бегали поминутно в ту комнату, где сидела она. Горничные, бросив работу, окружили ее и наперерыв передавали ей, что и как в доме. В несколько часов Полинька узнала не только тайны госпожи своей, но даже тайны всех лакеев и горничных. Анисью Федотовну, домоправительницу, через которую Полинька получила место, познакомившись с ней у девицы Кривоноговой, единогласно бранили, предостерегая Полиньку быть осторожной, если у ней есть знакомый: значение этого слова Полинька не совсем поняла. Каждая тихонько предлагала ей свою дружбу, которая должна была начаться тем, чтоб держать кофей вместе.

Полиньке было тяжело: она в первый раз находилась между людьми до такой степени грубыми. Шутки горничных и особенно лакеев, старавшихся выказать свою любезность, оскорбляли ее; она очень обрадовалась, оставшись наконец одна в маленькой, почти темной комнате, которую отвели ей.

Анисья Федотовна, домоправительница, имела наружность неприятную: ее сухое лицо, серые, злые, блестящие глаза, тонкие губы, вечно улыбавшиеся, движения, быстрые, уклончивые, подобострастные, оправдывали название лисицы, которым честила ее дворня. Как няня единственного сына Бранчевской, она пользовалась большим доверием своей госпожи и потому играла важную роль в доме.

Сделав Полиньке наставление, как держать себя при господах, Анисья Федотовна повела ее в столовую, где Полинька должна была разливать чай. Полиньке было дико посреди огромных комнат, роскошно убранных в старинном вкусе. Стоя у стола, где кипел самовар, она походила на человека, играющего в первый раз в шахматы. Из боковых дверей выглядывали на нее лакеи, как на дебютантку. Вдруг лица их быстро исчезли, и Полинька увиде-

ла на пороге главной двери очень высокую и пропорционально сложенную женщину с величавым взглядом, с бледным продолговатым лицом, с черными бровями, но совершенно седой головой. Она была одета оригинально: сверх черного шелкового капота с большим шлейфом на плечи ее было накинуто что-то вроде епанечки из пунцового бархата, опушенной соболями; на ее голове был чепчик старинного фасона, с густою фалбалою; ярко-пунцовая лента обхватывала голову и завязывалась большим бантом на самой макушке.

Неподвижно стояла она в дверях, устремив свои черные, блестящие глаза на Полиньку, которая, сама не зная отчего, так испугалась, что забыла ей поклониться.

Бранчевская величественно прошлась по зале и вдруг, остановясь против Полиньки, спросила:

— Ты нанялась ко мне?

— Да-с! — с смущением отвечала Полинька.

Бранчевская смерила ее долгим взглядом, слегка улыбнулась и медленно удалилась.

— Вот наша барыня,— со всех концов шептали лакеи.

— Несите к ней чай: она всегда у себя в гостиной пьет,— запищала Анисья Федотовна, высунув голову из двери.

Полинька понесла поднос с чаем в гостиную, где сидела Бранчевская. Комната была устлана мягкими коврами, и Полинька с непривычки чуть не упала. Убранство комнаты поразило ее своим великолепием: золото и бархат были всюду. Бранчевская, сидевшая в больших креслах, повелительным жестом приказала вошедшей Полиньке поставить поднос на стол. Исполнив ее приказание, Полинька подняла голову и увидела висевший на стене портрет молодой женщины с гордым и величавым взглядом. Полинька посмотрела на Бранчевскую, потом на портрет и улыбнулась: сильное сходство было в чертах, несмотря на разницу лет.

— Что смотришь? — спросила Бранчевская, заметив удивление Полиньки.— Разве еще есть сходство?

И она насмешливо посмотрела на свой портрет.

— Очень похожи! — отвечала Полинька, продолжая любоваться портретом.

Бранчевская улыбнулась. С минуту длилось молчание.

— Ты у кого жила прежде? — спросила Бранчевская Полиньку, которая с непритворным удивлением разглядывала комнату.

— Я еще нигде не жила,— отвечала свободно Полинька.

— Что же, у тебя есть мать или отец?

— Нет, я сирота.

— А который тебе год?

— Двадцать.

Бранчевская задумчиво поглядела на нее, потом на портрет и тихо повторила:

— Двадцать лет!

Полинька очень удивилась грустному выражению лица Бранчевской, которая сидела, понурив голову.

— Подай мне книгу! — тяжело вздохнув, сказала Бранчевская.

Полинька нашла на столе две книги, русскую и французскую, и спросила:

— Которую угодно?

— Ты разве умеешь читать?

— Да, умею-с! — с уверенностью отвечала Полинька.

Бранчевская усмехнулась. Она так привыкла к подобострастным манерам своей дворни, что развязность Полиньки смешила ее.

— Ну, прочти; я послушаю.

Полинька смешалась; но насмешливая улыбка Бранчевской пробудила в ней гордость: она взяла книгу и стала читать.

— Сядь! — сказала Бранчевская, с удивлением слушая Полиньку, которая благодаря Каютину читала бегло и с толком.

Полинька села на скамейку, у ее ног. Бранчевская закрыла глаза; тишина была страшная кругом; только звучный и немного дрожащий голосок Полиньки нарушал ее. Вдруг послышались шаги; Бранчевская быстро повернула голову к двери: вошел молодой человек, белокурый, с нежными чертами; то был сын Бранчевской. По знаку своей госпожи, Полинька встала в то самое время, как молодой человек подходил к креслам. Увидав ее, он невольно отшатнулся и, забыв поцеловать руку матери, протянутую ему, с удивлением смотрел на Полиньку. Мать заметила его удивление и указала Полиньке на дверь.

Уходя, Полинька услышала замечание своей госпожи: «Не правда ли, смешна?» — и, вспыхнув, быстро оглянулась; молодой человек провожал ее глазами.

— Барину чаю не так сладко: только два куска саха-

ру,— пропищала Анисья Федотовна, когда Полинька входила в столовую.

Отпустив чай, Полинька задумалась перед столом о своем новом положении, которое беспрерывно производило в ней внутреннюю лихорадку.

— О чем ты думаешь? — насмешливо сказал Бранчевский, тихо подходя к столу.

Полинька вздрогнула.

— О, какая пугливая! — сказал он и подал ей стакан.— Очень сладко.

Ему было лет двадцать пять, но на вид казалось не больше девятнадцати; черты его лица были нежны и составляли полную противоположность с его взглядом, в котором не было недостатка в наглости, несмотря на совершенно небесный цвет глаз.

Полинька дополнила стакан, подала ему и очень удивилась, заметив, что он пристально смотрел на нее.

— А-а-а! — наконец сказал он, как будто вспомнив что-то, и с улыбкой прибавил: — А где твой жених?

Полинька так испугалась, что чуть не вскрикнула.

— Что, не понравился тебе его горб, а? — продолжал Бранчевский с презрительной улыбкой.

Полинька совершенно потерялась.

— Александр! — раздался голос Бранчевской.

— Сейчас! — отвечал молодой человек.— Я знаю тебя: ты хитрая! — прибавил он, погрозив пальцем Полиньке, и пошел к двери.

Полинька не могла понять, каким образом, от кого узнал Бранчевский, что горбун сватался к ней. А между тем дело объяснялось очень просто: Бранчевский был тот самый молодой человек, который нечаянно спас Полиньку от преследований горбуна на улице. Тогда Полинька была так занята собственным положением, что не заметила его; но он хорошо рассмотрел ее оригинальное личико и даже маленькие ножки.

Фамильярность молодого человека сильно оскорбила Полиньку. Она готова была плакать с досады.

Минут через пять Бранчевский опять вошел в залу и, ставя на стол стакан, сказал:

— Очень крепок.

— Я, кажется, вам никак не угожу! — сердито сказала Полинька.

Он посмотрел на нее с удивлением и отвечал:

— Ошибаешься: тебе стоит только прийти ко мне вечером, и я останусь доволен!

— Ну так вы долго или, лучше сказать, вы вечно будете мной недовольны! — со злобой отвечала Полинька.

— О-о-о, какая сердитая! вот не ожидал!

— И по всему видно, что не ожидали, иначе, верно, не стали бы говорить таких глупостей девушке, которую видите в первый раз!

Полинька разгорячилась.

Бранчевский залился самым презрительным смехом.

Слезы брызнули из глаз Полиньки, слова замерли, и она чувствовала такую злобу, что готова была кинуться и задушить его.

— Александр! — с упреком произнесла Бранчевская, величественно показавшись в дверях.

Он продолжал смеяться, подошел к матери и, поцеловав у ней руку, сказал:

— Извините меня, но она очень смешна. Я давно так не смеялся.

— Иди к себе! — строго сказала Бранчевская Полиньке. Полинька с радостью исполнила ее приказание.

Когда она очутилась в своей комнате, ей хотелось плакать, но слез не было; внутренняя дрожь колотила ее так, что зубы стучали. В первый раз мужчина говорил ей «ты» и так нагло обращался с ней. А повелительные жесты Бранчевской? а оскорбительный смех его? И Полинька кинулась на постель, зажала уши и долго лежала так.

На другой день она с ужасом ждала минуты, когда должна была идти разливать чай. Она лучше бежала бы из дому; но где взять денег, чтоб возвратить полученные вперед? и чем жить? Радость Полиньки была неописанная, когда впопыхах вошла к ней Анисья Федотовна и объявила, что барыня приказала разливать чай в буфетной.

— Господи! да что вы наделали там? Вот рекомендуй на свою шею!

— Я ничего не сделала,— отвечала Полинька.

— Как ничего! в буфете чай приказано разливать, а этого барыня прежде и слышать не хотела: всё боялась нечистоты.

— Чем же я-то виновата?

— Уж как хотите, а виноваты; у нас барыня строгая: на вашем месте благородные жили, да и им дверь указывали, коли не умели себя вести как следует. У нас барин молодой, и не приведи бог, если барыня что узнает!

Полинька вспыхнула.

— Да с чего же вы взяли,— с сердцем сказала она,— что я стану еще смотреть на вашего барина!

— Ого! знаем мы! вон у нас жила из благородных, то же пела... Ну да что тут болтать! с вами каши не сваришь!

И домоправительница сердито удалилась.

В девичьей горничные встретили Полиньку очень ласково.

— Ужасти, что вы наделали! — сказала одна из них.— Вчера Тимошка, ездовой, с бариновым лакеем Алешкой подрался за вас. Алешка так его оттаскал, что чудо! мы просто животики надорвали!

Полинька слушала с недоумением.

— Дрались за то,— пояснила горничная,— что Тимошка обещал вас поцеловать.

Полинька вздохнула, мысленно поблагодарив своего защитника.

— Он таскает Тимошку,— продолжала с хохотом рассказчица,— да приговаривает: прежде отца в петлю не суйся, не суйся!

— Что такое случилось с девушкой, которая жила до меня? — спросила Полинька, чтоб переменить разговор.

— Что? ха-ха-ха! да ничего! То уж давно было; а до вас жила у нас благородная старая девушка, да Анисья-лиса выжила ее. А та была молодая: ну, известно...

Вошла Анисья Федотовна, и разговор прекратился.

Прошло два дня. Полинька не видала ни Бранчевской, ни ее сына. Разливая чай в буфете, она не раз готова была плакать: так оскорбляли ее шуточки лакеев, очень недовольных ее гордостью. Она с нетерпеньем ждала воскресенья, чтоб бежать к Надежде Сергеевне и башмачнику и поискать способа оставить свое место.

На третий день вечером, когда Полинька была в своей комнате, прибежал лакей и звал ее к барыне. Полинька испугалась и пошла за лакеем. Он привел ее в небольшую переднюю и, отворив дверь, с усмешкой сказал:

— Извольте идти прямо: тут ближе!

Полинька вошла в комнату, богато убранную и освещенную сверху лампой; не видя никого, она прошла еще две комнаты, неосвещенные, и, заметив свет между занавесками, тихо распахнула их и вошла.

Камин догорал; свечи с зелеными колпаками стояли на большом письменном столе и слабо освещали комнату, убранную очень странно, как показалось Полиньке. Ей от-

чего-то вдруг стало страшно, и она попятилась, но тотчас же улыбнулась своей трусливости и пошла вперед. Сделав несколько шагов, она остановилась посреди комнаты как вкопанная: на больших креслах у камина, совершенно свернувшись, лежал Бранчевский и лукаво выглядывал из-за спинки. При первом движении Полиньки к двери он вскочил и, заграждая ей дорогу, шутливо сказал:

— Здравствуй, гордая красавица! А-а! ты ко мне в гости пришла?

Полинька побледнела. Бросив на него взгляд, полный гордости и достоинства, она строго сказала:

— Позвольте мне уйти отсюда: меня спрашивает ваша матушка; не удерживайте меня.

И она сделала шаг вперед. Он так был поражен ею, что невольно посторонился, но тотчас же засмеялся, опять заслонил ей дорогу и, раскрыв объятия, сказал:

— Я не мешаю тебе: иди!

Полинька повернулась и быстро пошла к другой двери. Молодой человек засмеялся.

— Ну, вот так лучше: прямо ко мне в спальню!

Полинька остановилась. В лице ее появилась страшная злоба.

— Чего вы хотите от меня? — спросила она.

— Послушай, ты так страшно смотришь, что я тебя боюсь.

И он притворно задрожал и сделал смешную гримасу, как будто хотел плакать.

Полинька невольно улыбнулась.

— А, ну вот! — радостно сказал Бранчевский.— Вот так ты гораздо лучше.

Полинька в ту же минуту сделала опять серьезное лицо и сказала:

— Если вы хотите, чтоб я улыбалась, то не удерживайте меня здесь. Я вам скажу откровенно, что ваш поступок со мною очень неблагороден. Я живу в вашем доме, у вас огромная дворня, и все уж знают, что я была у вас. Вам смешно! — сказала Полинька, заметив улыбку Бранчевского.— Мы, бедные люди, также имеем родных и знакомых, которым больно будет слышать...

— Боже мой, откуда ты научилась так говорить? — спросил Бранчевский.

— А откуда вы научились,— отвечала рассерженная Полинька, едва сдерживая слезы,— таким неблагородным вещам: приказывать лакеям обманом привести к вам бед-

ную девушку, осрамить ее и, может быть, лишить последнего куска хлеба? откуда вы этому научились? Мы если сделаем что дурное, так у нас не было учителей...

В ту минуту послышался звонок. Бранчевский вздрогнул, изменился в лице и, указывая на дверь своей спальни, сказал:

— Войди в эту комнату: моя мать идет сюда!

По невольному движению страха Полинька кинулась было к двери, но вдруг воротилась, стала посреди комнаты и насмешливо смотрела на Бранчевского.

— Иди же скорей! — с сердцем сказал он.

— Нет, я не пойду! Зачем мне прятаться? я не сама к вам пришла! — решительно заметила Полинька.

Бранчевский с удивлением посмотрел на Полиньку, с сердцем кинулся к столу, погасил свечи и, уходя из комнаты, сказал:

— Если не хочешь, чтоб тебя выгнали из дому, так оставайся здесь и не шевелись.

Глава IX

У ПОСТЕЛИ УМИРАЮЩЕГО

Стоя в темной комнате, Полинька чуть не сошла с ума от страха и стыда. Наконец она пошла ощупью в спальню и, к великой радости, нашла там дверь, которая вывела ее в темный коридор, откуда она вышла в сени. Возвратясь к себе в комнату, Полинька проплакала всю ночь. Она всё еще любила Каютина, но старалась себя уверить, что, кроме злобы, ничего к нему не чувствует, и приписывала всё свое несчастие ему одному. И тогда горбун казался ей не так страшен. Его предсказания сбылись: Каютин пропал неизвестно куда!

Рано утром Анисья Федотовна в волнении вбежала к Полиньке и отдала ей ключи, хныкая и прося ее на несколько часов заменить ее должность.

— Ах ты, господи! — бормотала Анисья Федотовна.

— Да что случилось с вами? — спросила Полинька.

— Как что? человек умирает, пришли мне сейчас сказать, а ты боишься идти! ну, как спросят? или что случится?

— Неужели у вас так строго,— спросила Полинька,— что нельзя идти, если даже кто умирает?

— Что делать! чужой хлеб ешь, так и чужую волю исполняй, как требуется.

Полинька испугалась; ей быстро представилось собственное положение: что, если башмачник или Кирпичова захворают, а ее не пустят?

— Идите, идите! я всё за вас сделаю! — сказала Полинька и с участием спросила: — Он вам родственник?

— Нет,— хныкая, отвечала Анисья Федотовна,— он был прежде управляющий здесь, человек доброжелательный... я его годов тридцать как знаю... да такой был здоровый, а вот вдруг захирел; сегодня уж пришли мне сказать, что зовет меня к себе: последнюю волюшку хочет объявить... Голубчик ты мой, о-хо-хо, ох!

И Анисья Федотовна завыла.

Полинька успокоивала ее и упрашивала скорей идти к умирающему.

Анисья Федотовна возвратилась через два часа. Полинька с участием спросила: как и что?

— Ах, матушка! как щепка высох, мой голубчик! едва меня узнал. «Ты,—говорит,— поклянись мне, что мою волю исполнишь! А вот,— говорит,— на бумагу; как я умру, так,— говорит,— подай сейчас кому следует: это,— говорит,— моя духовная».

И Анисья Федотовна таинственно вынула из ридикюля бумагу, завернутую в платок, и, развертывая ее, продолжала:

— «Ты,— говорит,— не показывай никому этой бумаги до моей смерти». А я-то грамоте не знаю! а хотелось бы мне знать, кому он свое добро отказывает? уж не мне ли? Да, кажись, у него ближе меня никого и нет!

И она, лисьими ужимками подав Полиньке бумагу, прибавила: «Ну-ка, прочтите» — и подставила ухо.

Полинька развернула бумагу. Духовная была написана по форме. Полинька быстро читала; волнение ее всё увеличивалось; наконец она вдруг остановилась, дочитав до места, где было написано: «Отказываю всё мое имение, движимое и недвижимое, векселя под такими-то нумерами девице...»

Голос дрожал у Полиньки, руки опустились; она с ужасом смотрела на Анисью Федотовну, которая, слегка нагнув голову, ждала продолжения.

— Ну,— сердито сказала она, потеряв терпение,— девице Анисье... Федо...

— Кто он такой? — в волнении спросила Полинька.

— Да читайте! Господи! Ну, прочтете, и увидите, как зовут.

Полинька быстро поглядела подпись — и вспыхнула, потом побледнела. Далеко отбросив от себя духовную, она закрыла лицо руками и зарыдала.

— Что такое, что такое? Господи! Что случилось?

И Анисья Федотовна подняла духовную и спрятала ее.

— Так не мне,— спросила она, задрожав,— он отказывает? а?

— Нет! — рыдая, отвечала Полинька.

— Не мне!..— грозно повторила Анисья Федотовна.— А-а-а! ну так пусть его умирает как собака! Нет, нет, не пойду!

Полинька с ужасом открыла лицо, и в глазах ее, еще полных слез, появилось страшное негодование.

— Как вам не стыдно! — сказала она с упреком.— Ведь он умирает!

— Ах! — с испугом воскликнула Анисья Федотовна.— Еще, может, можно было переменить, переделать... А я вот, старая дура, простофиля, разболтала всё!

— Я ни слова никому не скажу!

Анисья Федотовна улыбнулась.

— Подите к нему: может быть, он вас ждет! — прибавила Полинька умоляющим голосом.

— Вот тебе, как не так! он, известно, рад, как я приду, да мне-то что за прибыль? да и как от дела бежать? не пустят!

Полинька побледнела. С минуту она думала, потом тихо сказала:

— Позвольте, я хоть за вас поеду к нему.

Анисья Федотовна усмехнулась.

— Да что ты за жалостливая такая! и тебе нельзя тоже раньше вечера: кто чай разольет? Ну, сохрани бог, если барыня узнает, что дома тебя нет. Рассердится... да, сердись! а вот посмотрела бы, каково одному умирать! чай, некому воды подать, чтоб горло промочить... А уж как слаб! руки точно плети.

Полинька поспешно начала одеваться.

— Куда это? куда? — спросила Анисья Федотовна, схватив ее за платье.

— Пустите! я пойду к нему: мне нужно его видеть,— в отчаянии сказала Полинька.

— Господи! да уж не рехнулась ли ты? Как можно!

И что вам делать у него? Может, уж теперь и умер... Что он вам такое?

— Я его тоже знаю!

— А-а-а, так вы знакомы? — радостно сказала Анисья Федотовна и потом таинственно прибавила: — Ну, если уж такое ваше усердствие за умирающими уход иметь, так только, чур, раньше не уходить, как свое дело управите; да и то я на свою шею не беру. Спросят: где? а ты что? да ты кто в доме? Нет-с! наперед говорю: что случится — руки умываю!

Анисья Федотовна засмеялась и стала тереть рукой об руку.

— Я буду одна отвечать, если что случится! — сказала Полинька решительным голосом.

— То-то же, смотрите! — язвительно заметила Анисья Федотовна.— Вечером,— прибавила она таинственно,— как чай кончится, выдьте в сени: я туда притащу салоп и шляпку, чтоб наши-то оралы не заметили; а то пойдут кричать: «Небось, ее пускает со двора па ночь, а нас отчего?»

И Анисья Федотовна удалилась.

Полинька была в страшной тревоге; она долго плакала, поминутно смотрела на часы, а разливая чай, так была рассеянна, что лакеи, стоявшие в буфете, помирали со смеху.

Окончив чай, Полинька вышла в сени и долго ждала Анисью Федотовну, которая наконец явилась с салопом и шляпкой.

— Ну, вот! скорее, чтоб не увидали,— сказала она.— Не забудьте: на Козьем болоте, в доме мещанки Пряженцовой.

— Хорошо, хорошо! — сбегая с лестницы, отвечала Полинька.

Она взяла извозчика и поехала. Дорога была продолжительная; наконец они въехали на Козье болото — огромную мрачную площадь, среди которой местами блестели едва заметные точки — отражение огней, светившихся в окнах жалких домиков, окружавших площадь.

Полинька с трудом нашла дом мещанки Пряженцовой. Ее встретила какая-то старуха и грубо спросила:

— К кому пришла? кого надо?

— Я от Анисьи Федотовны,— отвечала робко Полинька.

— А-а! к больному? кажись, перестал стонать... кто

он таков — прах его знает, толку от него не добьешься!

— Пустите меня скорее,— перебила Полинька словоохотливую старуху.

— Погоди, сейчас: надо его спросить.

— О нет! не говорите, что я пришла; скажите, что Анисья Федотовна.

— Это зачем! ишь ты какая! ну да пойдем, пойдем; чай, ничего не услышит и не увидит.

И старуха повела Полиньку через темные сени. Она раскрыла дверь в небольшую комнату, тоже темную, и начала кашлять так страшно, что Полинька сдивилась, откуда вдруг у ней появился кашель.

— Фу ты проклятый! чуть не задушил! — бормотала старуха.

В другой комнате послышался стон. Старуха усмехнулась:

— Ну, опять затянул свою песню! вот так и день и ночь всё напевает! Маленько темно, да, ишь ты, глазам больно!

Полинька не слушала больше старуху; она прильнула к двери и старалась заглянуть в соседнюю комнату, слабо освещенную.

Комната была чиста, но бедно убрана; на лежанке — свеча, заставленная большой книгой; в углу — кровать, на которой слабо стонал умирающий.

Полинька тихо вошла в комнату.

— Кто там? — едва слышно спросил больной.

Полинька обмерла.

— О, господи, господи! прекрати мои мучения! — простонал больной.

Полинька кинулась к постели и с ужасом отскочила от нее: так страшен был умирающий горбун.

Она едва узнала своего прежнего врага; однако ж то был действительно горбун. Но какая страшная перемена! Лицо его было бледно, глаза закрыты, губы черны, волосы стояли дыбом и почти все были белы.

Долго Полинька смотрела на него и много перечувствовала. Раскаяние мучило ее. Она видела теперь, что горбун прав, что он благороден, что она точно обманута своим женихом, что она может быть причиной смерти горбуна. Тот, кого она так страшно оскорбляла своим презрением,— тот не забыл ее и в предсмертную минуту:

он простил ей всё и еще отказал свое богатство! А тот, кому она всем пожертвовала, бросил ее!

Волнуемая стыдом и отчаянием, Полинька с ужасом припоминала свои оскорбительные слова, свои подозрения, всё поведение свое с горбуном и готова была упасть на колени перед умирающим, чтоб он простил ее и сколько-нибудь облегчил ее совесть.

— Дайте пить... сжальтеся кто-нибудь... дайте хоть глоток,— простонал горбун.

Полинька схватила со стола стакан и, вся дрожа, поднесла его к губам умирающего. Она чувствовала, как горячие его губы коснулись ее руки, ища стакана.

— Ох, не могу, сил нет, приподнимите! — слабо сказал горбун, опустив голову на подушки.

Полинька, едва сдерживая рыдание, нагнулась близко к горбуну, подняла его голову и поднесла ему стакан. Долго пил умирающий. Рука у ней обмерла, поддерживая его голову, а он всё пил. Полиньке было тяжело, но она терпела.

Наконец больной с тихим стоном отнял губы от стакана и повернул к ней голову. Почувствовав жаркое дыхание на своей груди, Полинька осторожно уложила голову горбуна на подушки и села на стул у его изголовья.

Тихо было в комнате: больной лежал покойно. Полинька много передумала, сидя у его изголовья. Ей в первый раз пришлось видеть человека в таких страданиях, и ее сердце ныло; каждый стон глубоко потрясал ее. В несколько часов она так утомилась, что не могла долго бороться со сном, к которому невольно располагала унылая тишина комнаты. Почувствовав, что члены ее немеют, она напрягала слух, широко открыла глаза. Но через минуту глаза сомкнулись снова, вот мелькнули знакомые лица, заговорили с ней,— Полинька заснула.

Была глухая ночь; умирающий лежал спокойно; в комнате было так тихо, что мерное дыхание Полиньки ясно слышалось.

Вдруг больной начал медленно поднимать голову; глаза его горели, злая улыбка блуждала на губах; наконец он бодро сел на кровать и впился глазами в спящую Полиньку. Может быть, почувствовав его взгляд, она начала дышать прерывисто и зашевелила губами, будто хотела кричать.

Тихий смех вылетел из груди горбуна, и он медленно, не сводя глаз с Полиньки, привстал на постели. В то вре-

ня Полинька вздрогнула, вскочила со стула и дикими глазами оглядела комнату: горбун лежал как мертвый на кровати...

Полинька с минуту старалась собраться с мыслями, осматривалась и вдруг страшно побледнела: ей показалось, что горбун уже умер; мысль, что она одна в комнате с мертвецом, так испугала ее, что она кинулась к двери и стала стучать в нее и кричать: «Отворите! он умер, он умер!»

Но какая-то тень мелькнула в комнате. Полинька обернулась — и вскрикнула, увидав горбуна у лежанки: он гасил свечу. В комнате стало совершенно темно. Полинька по инстинкту присела и ползком отдалилась от двери. Ей казалось, что это всё сон; она хотела кричать, но страх привлечь горбуна на свою сторону останавливал ее. Слух ее был напряжен до последней степени: она услышала шорох в противоположном углу,— кто-то шаркал по стене,— ощупала окно и вскочила на него.

Вдруг за стеной послышался говор, брань и шаги. Горбун забегал, заметался по комнате, и что-то упало, задетое им.

Через минуту кто-то поспешно раскрыл двери и осветил комнату. Полинька с ужасом увидела горбуна, совершенно здорового, с его прежним, злобным лицом. Он стоял посреди комнаты и разводил руками по воздуху над опрокинутым стулом.

Анисья Федотовна, бледная, стояла на пороге, со свечой.

Полинька кинулась с окна, потушила свечу, оттолкнула Анисью Федотовну и выскочила в сени. Выбежав оттуда на двор и услышав за воротами мужской голос и фырканье лошади, она начала было кричать, но воздух освежил ее,— она одумалась, тихонько отворила калитку и выскочила на улицу.

Извозчик стоял у ворот.

— Увези меня, увези скорее; я тебе дам сколько хочешь! — задыхаясь, сказала Полинька.

Извозчик, верно, испугался: он сел на свои дрожки, хлестнул клячу и поехал от Полиньки. Полинька побежала за ним, но вдруг услышала голос Анисьи Федотовны, вовущий ее, и прислонилась к стене какого-то дома. Анисья Федотовна, запыхавшись, пробежала мимо нее, бормоча отчаянным голосом:

— Господи, господи, погубила я себя! где-то она, где?

Полинька окликнула ее. Анисья Федотовна вскрикнула от радости и, накинув на Полиньку салоп, умоляющим голосом сказала:

— Поедемте скорее домой! вас барыня спрашивает, весь дом подняла. Ох, что-то будет!

Они сели на дрожки.

— И надо же было случиться,— продолжала домоправительница,— такому несчастию, что барыня зашла в вашу комнату.

— Она была в моей комнате? — спросила с удивлением Полинька.

— Да, барыня сегодня долго не ложилась спать. Сначала что-то крупно поговорила с молодым барином — он у нас такой, бог с ним! — потом всё ходила по комнатам, да и зайди к вам... уж зачем, бог знает, разве думала... что она там делала, что видела, не знаю; только выбежала она оттуда вся бледная, дрожит, и потребовала вас... да, слава богу, ей вдруг сделалось дурно. Бог даст, приедем скоро, так она не узнает. Только вы, ради бога, не говорите, где были: не погубите!

Анисья Федотовна, рыдая, умоляла Полиньку не погубить ее. Полинька молчала, полная мыслию, что только счастливому и непонятному случаю обязана чудным своим спасением.

Так они подъехали к дому.

Глава X

ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

18** года, июля 16, с Соломбальской пристани, под Архангельском, отправились две большие лодьи, какие обыкновенно употребляются здешними поморцами для промыслов. Одну называли «Надежда», а другую «Запасная». Обе были крепки, вместительны и снаряжены, как видно, в дальний и долгий путь: на «Запасную» между прочим уложен был сруб так называемой разборной избы; бочки с провиантом как на той, так и на другой занимали не последнее место. При лодьях находилось несколько гребных судов. На палубе «Запасной» можно было насчитать до десяти человек; на палубе «Надежды» — более пятнадцати. Отплытие лодей не сопровождалось тем, чем

обыкновенно сопровождается отправление в путь: никто не прощался с мореходами, когда они садились на свои суда, никто не кричал им, не махал шапками, когда они тронулись.

И некому было: то были большею частию люди бездомные, бессемейные, равно чуждые всему миру, кроме друг друга, или люди, занесенные сюда с другого конца света. Они как будто сами почувствовали, что совершенно лишние здесь, среди толпы, дружно волнующейся по пристани, и спешили удалиться, пробуждая в мыслящем зрителе такое же чувство, какое пробуждает покойник, не сопровождаемый ни одним человеком в последнее жилище.

«Надежда» плыла впереди, «Запасная» за ней.

Молодой высокий мореход, стоя на палубе «Надежды», долго любовался пестротой и движением, кипевшим в пристани, которую они покинули, и наконец сказал своему товарищу, человеку лет пятидесяти, с черной бородкой:

— Славная картина, не правда ли?

Картина была действительно живописная, как всякая пристань торгового города: тысячи купеческих кораблей и других судов, с высокими мачтами и волнующимися разноцветными флагами, выгружающихся, нагружающихся, починивающихся, мелкие суда, мелькающие между ними, подобно птицам, буксирующиеся барки... внизу по берегу Двины с лишком на две версты непрерывный ряд домов, амбаров, сараев, магазинов с разными морскими потребностями; вверху город с высокими зданиями и куполами церквей.

И всё оживлено самой жаркой деятельностью, непрерывным говором и движением многих тысяч людей и так чудно освещено летним роскошным солнцем, что гуляющие толпами сбегаются к пристани, которая вообще составляет любимое гульбище окрестных жителей, несмотря на вечный запах смолы и каменного угля.

— Славная картина, не правда ли?

— Хороша,— отвечал спокойно пожилой мореход.— Да ведь такие ли картины бывают! Чего далеко ходить... тут же, может, бог приведет посмотреть весной *ледоплав*... вот так картина!

— Что такое ледоплав? — спросил молодой мореход.

— Бывает, весной, как лед станет ломать да сопрет его в устьях, вода иной раз поднимется так высоко, что всю Соломбалу затопит. Хозяева переносятся в верхние жилья,

а скот выводят на крышу... Нарочно и крыши такие строятся...

— Я думаю, много страху натерпятся жители?

— Ничуть. Привыкли. Особенно если вода не горазло высока, так даже рады ледоплаву, словно празднику: садятся на свои карбасы и ездят с песнями по речкам и улицам около затопленных домов, любуются крышами своими, по которым лошади и коровы бродят и такой рев подымают, что господи упаси! Вот тоже картина!..

. . . .

Без особенных приключений промышленники наши, в числе которых читатель, конечно, узнал уже Каютина и Хребтова, миновали Новодвинскую крепость, Березовый бор, Зимние горы, подошли к острову Сосновцу под терским берегом и наконец на четвертый день вышли в Северный океан.

В первые дни плавание их по водам океана также не ознаменовалось ничем особенным: почти постоянно дул теплый ветер с туманом и мелким дождем; пасмурность была непрерывная. Прохваченные до костей сыростью, которая забралась всюду: и в чемоданы, и в койки, и в припасы, мореходы отогревали себя усильной работой, в которой не было недостатка, развлекались песнями и рассказами. Нечастые встречи, попадавшиеся им на пути, также служили развлечением, особенно тем, кто еще в первый раз плыл по водам Ледовитого океана.

Затерянные среди необъятного пространства вод, конца которым не видел взор ни в которую сторону, часто окутанные туманом зеленоватого цвета, среди глубокой безжизненности и мертвенности, окружавшей их, в борьбе с недружелюбной стихией, угрожавшей каждую минуту сокрушить их непрочное жилище,— как рады были они малейшему появлению жизни, даже обманчивому призраку!

Сначала изредка попадались им суда и живые люди. Так, в первые дни плавания мореходы наши увидели сквозь туман за кормою лодочку под одним парусом и в ней двух человек. Пловцы были совершенно спокойны; и Каютин не мог не подивиться их изумительной дерзости.

— Да они с ума сошли! — сказал он.— Пуститься в открытое море, подверженное сильным течениям, в такой лодочке!

— Чему тут дивиться? — заметил ему Хребтов.— Небось, в гости на другой берег едут. Люди вечно живут у моря: оно их поит и кормит, да им бояться его! Посмотрел бы ты наши «весновальские» промыслы, вот так страшны: тут поморцы наши перебегают с одной льдины на другую и так в иную пору забираются волей-неволей на середину моря, да и тут часто бог милует!

Но скоро мореходы наши перестали встречать действительные суда; зато часто впереди туманной полосы высоко над морем показывалась другая лодья, опрокинутая парусами вниз, потом над ней или под ней являлась другая лодья, третья,— и все дружно бежали тем же курсом, как и лодьи наших мореходов. И такое действие рефраксии, называемое у архангельских промышленников «маревом», продолжалось иногда по нескольку часов сряду.

Иногда, подобно огромной туче, проносилось над головами мореходов бесчисленное стадо гусей; мореходы испускали радостный крик, а собаки, приученные к ловле облинявших птиц, готовы были спрыгнуть с палубы и неистовым лаем приветствовали свою будущую добычу. В одну минуту, как будто вскинутое невидимой рукой волшебника, всё стадо поднималось выше и с дикими, отрывистыми криками неслось к тем далеким и неведомым островам Ледовитого океана, где надеялось найти безопасное убежище. Несколько выстрелов, пущенных наудачу в такое стадо, доставляло мореходам свежую пищу.

Иногда вдруг вдали замечалось страшное волнение, слышался дикий рев и плеск.

— Смотри! смотри! — кричал пожилой мореход своему товарищу.

Каютин смотрел и видел огромное стадо белуг, числом не менее тысячи, мерно и торжественно двигавшихся по своему направлению и предводимых матками, которые несли на хребтах своих черно-голубых детенышей. В таком случае мореходы радовались не одному зрелищу,— сердца их исполнялись сладкой надеждой.

— Все наши будут! — говорил Хребтов, указывая Каютину на удалявшееся стадо.— Ведь вот велики-велики, а как глупы... Только загони в губу да загороди лодками выход от моря, так и кончено: знай прикалывай!

Когда туман, подобный зеленоватому дыму, хоть ненадолго рассеивался и на небе показывалось солнце, вся поверхность моря покрывалась разнородными морскими

животными: белуги и лысуны, молодые моржи, зайцы и нерпы играли вокруг лодей.

Мореходы наши, довольные поводом к развлечению, много шутили и смеялись, стреляя по временам в стада играющих животных. Но они вовсе не были рады, когда вдруг появилась и начала вертеться около их лодей большая рыба из породы дельфинов: часто выходя на поверхность дышать, она каждый раз распространяла своим дыханием такое отвратительное зловоние, что необходимо было скорей поворачивать с того места, где она находилась.

— Что, если б вдруг целое стадо таких рыб окружило нашу лодью? — сказал Каютин, с омерзением зажимая нос и страшно гримасничая при одной мысли о таком бедствии.— Кажется, можно умереть...

— Ну, оно, конечно, неприятно,— отвечал Хребтов, утешавшийся во всех неприятностях жизни тем, что бывает и хуже.— А умереть не умрешь. Человек ко всему привыкает. Я вот бывал в Иоканском погосте у лопарей (бог приведет, встретимся и с ними: увидишь, каков народец!), так те не то что поневоле, а весь век в охотку в таком смороду дышат. Живут они летом в хворостяных шалашах, по-ихнему *вежи*, и около тех веж, господи! — какой нечисти нет: и потроха рыбьи, и собаки дохлые, и всякие кости,— просто дохнуть тошно, с души воротит; а им ничего! И добро бы уж народ вовсе негодный и бесшабашный был, а то поглядеть: люди как люди — в синих суконных кафтанах ходят, в чулках и башмаках, а женщины так почище наших иных — в сарафанах, в кокошниках.

— А чем промышляют?

— Да семгой больше. И народ не то чтобы бедный. А вот поди тут! Я такой нечисти не встречал даже у остяков и самоедов около Обдорска.

— Ты бывал в Обдорске?

— Бывал.

— Скажи, пожалуйста, что такое Обдорск? — спросил с особенным любопытством Каютин.

— А неважное место. Стоит у самой Оби, по правому берегу; церковь в нем, амбаров до сотни да домов тридцать обывательских; жителей до ста человек наберется... и только у четырех домов в рамах стекла, а в остальных вместо стекол натянута налимья шкура. Вот тебе и Обдорск! Как я там был, так счетом велось всего шесть ло-

шадей и до тридцати кур. А вот собак много там,— они дело делают: тяжести перевозят, а зимой так голодают, что рвут и человека и всё, даже жрут одна другую, хоть не показывайся на улицу!.. Невеселое место! Кроме оленины и рыбы, пищи никакой. В Полуе (река) летом водятся муксуны и сельди; да ловят их одни церковники.

— Отчего так?

— Да только им позволено.

— Ну а остяки — хороший народ?

— Да ты про каких спрашиваешь: про крещеных или некрещеных?

— Ну, некрещеные?

— Чего хорошего ждать? дичь! — отвечал Антип.— Живут так, что не приведи бог! Дети родятся белые и здоровые, а вырос — черен, как цыган!

— Отчего так?

— А от дыму. Уж так у них жилья устроены. Подлинно дикий народец!

— Конечно. А вот у нас, Антип Савельич, и не дикий народ, а черные избы не выводятся...

— А разве хорошо? — отвечал Антип.— Да что станешь делать? С иным нашим мужичком, словно как с остяком или лопарем каким, в сорок лет не столкуешь. Пробовал и я говорить!

Антип махнул рукой и помолчал.

— Ну а что ж остяки? — спросил Каютин.

— Так вот, батюшка, спросишь иного, сколько лет? и не понимает, о чем спрашиваешь! Счета лет не ведут. Бабам вовсе имен не дают и на бабу так смотрят, как будто она вовсе и не человек. Вот и поди тут! А баба у них в тысячу раз лучше мужика: и работяща, и смышлена, и проворна... Да он, лежебок, отними ее у него, пропадет с голоду. Так нет! туда же, перед ней хорохорится...

— Да ведь уж не у них одних, Антип Савельич, обычай такой.

— И подлинно так! точно, не у них одних. Иной бабу точно скотину какую в дом берет: нужна-де работница! А там не спрашивай, любо ли ей, нет ли,— живи, работу тяжелую неси... Измается сердечная: замуж шла, кровь с молоком была, глаза словно самоцветные камни горели, белые руки словно наливные яблоки были.., а прошел год — на кладбище несут!

Чувство сильней обыкновенного участия и сострадания к чужому, отвлеченному горю слышалось в голосе Антипа. Кончив речь, он глубоко вздохнул и повесил голову.

— Ты мне хотел рассказать, Антип Савельич,— сказал Каютин,— как ты собирался жениться, да вдруг не женился.

— После! — отвечал Антип, подняв голову.— А вот теперь,— прибавил он, прикрывая тихим смехом легкое дрожание голоса,— теперь послушай, как остяки женятся. Беруг они по три и по четыре жены, а родства не разбирают: даже сын волен жениться на родной матери! То-ись как жениться? коли сговорились меж собой — вот и свадьба; обрядов никаких. А надоели друг другу — вольны разойтись. Чуден показался мне один обычай: коли у остяка жена умрет, так он наряжает чучелу и кладет спать с собою; поутру дает ей утереться, будто она умылась; за обедом сажает ее с собою рядом, дает чашку, ложку и ножик — кушай, мол, на здоровье! И так иной раз делает год, два, три, четыре, хоть бы уж даже и новую жену взял. Так и вдовы иные делают. Нечего сказать, народец!

Антип посмеялся.

— Ну а крещеные лучше живут? — спросил Каютин.

— А как сказать? Да, почитай, так же! Живут они в юртах; а юрты разделены по семействам,— ни дать ни взять — стойла; печей нет, а глиняные очаги; окна обтянуты налимьей шкурой... Я видел, как они праздник справляли: перед юртами столы поставлены — мясо, рыба, вино, пиво; и мужчины и бабы все напились и потом принялись драться вповалку.

Так беседовали Каютин и Хребтов, загнанные зловонным дыханием дельфина вниз; как вдруг судно сильно покачнулось, послышался страшный треск и потом глухой рокот.

— Вот те и раз! знать, на кошку (мель) попали! — сказал Хребтов и кинулся наверх. Каютин за ним.

Хребтов угадал. Обе лодьи стояли действительно на мели, и, что всего хуже, «Надежда» сильно погнулась на один бок.

— Не робей, ребята,— закричал Хребтов, вбегая в толпу оторопевших и бестолково суетившихся товарищей,— нечего даром время терять. Обмеривайся — глубоко си-

дим в воде? Да что там, ребята, отчего наша лодья боком сидит! Камень, что ли, под ней...

— Камень! — дрожащим голосом отвечал Водохлебов, лоцман «Надежды», плечистый и коренастый мужик лет тридцати.

— Камень! — повторил задумчиво Хребтов, и бледный Каютин, не спускавший глаз с своего путеводителя, которому вверил свою судьбу, заметил легкое беспокойство в его голосе.— Так что ж! — продолжал смелее Хребтов.— Бог даст, стянемся и с камня...

— Куда стянуться, Антип Савельич,— заметил Водохлебов,— станешь стягиваться, а тут, глядишь, камнем дно разрежешь. Вот тебе и будет лодья: только и видели!

— Ахти, беда! еще беда! — закричал в ту минуту обмеривавший глубину кормщик Сажин, малый лет девятнадцати, еще в первый раз пускавшийся вместе с своим отцом, старым и опытным мореходом, в такое дальнее и отважное плавание.— Отлив начинается! Вон, гляди, всплески пошли.

— Вот беду нашел! такие ли беды бывают! — крикнул Хребтов, оглядывая море вокруг.— И впрямь, отлив будет,— сказал он раздумывая,— вишь, какие россыпи (буруны) пошли. Ну что ж? слава богу! прискучило вам, рабам божиим, всё водой плыть, клочка земли не видать: вот и посуху погуляем!.. ха-ха!

Антип посмеялся. В самом деле скоро около судов начала обозначаться песчаная мель; по мере убыли воды она всё увеличивалась, и наконец образовалось большое песчаное поле, среди которого стояли суда наших промышленников, глубоко врезавшись в рыхлый песок.

— Ура, ребята! Долой с палубы! — скомандовал Хребтов, спрыгивая с ловкостью кошки с высокой лодьи в мокрый песок и становясь прямо на ноги.

Вслед за ним разом спрыгнуло несколько человек, и пока они барахтались еще руками и ногами в песке, на смену им подоспели уже другие. Только немногие спустились осторожно, и к числу их принадлежал Каютин, у которого рябило и беспрестанно темнело в глазах, а сердце стучало так громко и часто, что превосходный хронометр, которым он запасся, пускаясь в морское путешествие, никак не мог поспеть в такт.

До пятнадцати собак, бывших при наших мореходах,

тоже спрыгнули с судов и рассеялись по случайному острову.

— Осматривай судно! — закричал Хребтов.

Все кинулись к «Надежде». Подводная часть лодьи была совершенно цела, но почти под кормой находился огромный камень, прилегавший более к правому боку, отчего лодья сильно погнулась влево и грозила опрокинуться при малейшем дурно рассчитанном движении.

Долго оглядывали лодью мореходы, долго судили и рядили, как безопасно стянуть ее с камня, но средства не придумали: при усиленном движении, которое требовалось употребить, чтоб сдвинуть лодью, камень неизбежно угрожал прорезать дно... тогда прощай лодья, а с нею прощай и успех предприятия! Придется бросить сруб избы, заготовленный на случай зимовки, придется бросить даже часть припасов, чтоб только поместить людей с двух судов на одно. Как же тогда зимовать? чем питаться? смерть с голоду угрожала промышленникам, в случае если льды, которые, по расчетам Антипа, скоро должны были показаться, не дозволят им возвратиться в ту же осень домой. Итак, иные уже видели необходимость возвращения. Предприятие гибло в самом начале!

Скоро почти всеобщее уныние распространилось между мореходами, и тем ужаснее подействовало оно на Каютина, что люди, набранные им, как он удостоверился по многим опытам, были далеко не робкого десятка. Печально стояли они вокруг красивого судна, обреченного гибели, и только полушепотом сообщали друг другу невеселые свои замечания. Казалось, и самые собаки разделяли их уныние. Обрадовавшись в первую минуту острову, они весело бегали и обнюхивали его, а потом вдруг уселись в разных концах песчаной площади и, подняв унылые морды к морю, тихонько выли, как будто хотели дать знать, что с своей стороны тоже не ждут ничего хорошего от этой остановки посреди моря.

— Валетка! — закричал Хребтов.

И его поджарая, проворная собака в несколько прыжков очутилась около него.

— Не вой, дурак! — сказал он, ласково ударив ее по морде.

Собака посмотрела на него и завыла еще жалобнее.

— Не вой! — сердито и повелительно повторил Хребтов.

Собака умолкла и стала ласкаться к хозяину.

Каютин знал, как Антип любил свою собаку, и по его грозному крику убедился, что опасность велика. Душа его заныла и заболела сильней, чем когда-нибудь.

— Нет, Антип Савельич,— сказал он Хребтову, подавляя слезы,— нечего напрасно раздумывать. Видно, мне на роду написано вечное несчастие.

Хребтов ничего не отвечал. Оглядев его долгим взглядом, значение которого угадать было невозможно, он медленно отошел на другую сторону лодьи. Надо отдать ему справедливость, он один не терял присутствия духа: шмыгал около лодьи, то нагибался, то вскакивал на нее, оглядывал ее со всех сторон, оглядывал роковой камень, мерил, рассчитывал и частенько потирал свой неширокий лоб, как будто вызывая оттуда вдохновение; голубые блестящие глаза его бегали с необыкновенной живостью; он слегка покусывал свою верхнюю губу, отчего усы его были в непрерывном движении, как у зверка, чавкающего свой корм.

Была тишина, какая только может быть среди моря. Всякий делал свое. Кто тихо творил молитву, поручая судьбу свою богу, кто сбирал на память раковины и камни. Три самоеда, бывшие в числе людей экипажа, отошли поодаль, поставили своих болванчиков и стали по-своему просить защиты у своих богов.

— Такие ли бывают несчастия? — раздался вдруг голос Антипа. И столько в нем было силы и уверенности, что все невольно обратили к нему глаза, полные надежды.

Каютин радостно встрепенулся. Скептическое восклицание морехода, уже однажды — в памятную минуту — так болезненно потрясшее его душу, теперь произвело на него совсем другое действие: луч безотчетной надежды сверкнул в нем, и он радостно подбежал к Хребтову и вопросительно смотрел на него. И вся дружина Каютина столпилась около Хребтова, и на лицах всех выражалось тревожное ожидание.

— Копай яму у самого камня! — громовым голосом скомандовал Хребтов.

— Ура! — грянули в ответ ему товарищи так радостно и громко, что слившиеся голоса их покрыли на минуту яростный шум бурунов, окружавших мель, и даже шум всего моря.

— Ура! — повторил невольно и Каютин, еще не понимая хорошенько, в чем дело.

— Что такое? — спросил он у близ стоявшего лоцмана Водохлебова.

— А яму выкопать подле камня,— отвечал радостным голосом лоцман.

— Что ж будет?

— А то,— отвечал за лоцмана Хребтов, подскочив к Каютину и остановив на нем глаза с своим обыкновенным ясным и ласковым выражением,— а то, батюшка Тимофей Николаич, что как выкопаем яму у самого камня, так и делу конец! Только надо так копать, чтоб камень не упал прежде, чем начнется прилив... Слышите, ребята!.. Вот как вода станет прибывать, так его волной спибет в яму; ну а уж вода сделает свое дело: не даст лодье свернуться набок, когда камень из-под нее вынырнет...

Каютин бросился обнимать Хребтова.

— Спасибо, спасибо, Антип Савельич! — говорил он тронутым голосом.

— А пожалуй, и не за что,— отвечал Хребтов.— Дивлюсь я, как мне сразу в голову не пришло! А штука, кажись, простая.

— Уж так проста, так проста, Антип Савельич,— сказал Водохлебов, проходивший мимо них,— что подлинно дивишься, как любому не пришло...

— Простое-то всего труднее и приходит в голову,— заметил Каютин.

— Валетка! Валетка!

Хребтов, нагнувшись, ласкал уже свою собаку, стараясь скрыть небольшое смущение, которое появилось в его лице.

Между тем работа уже кипела, и в час была готова могила громадному камню, может быть не раз сокрушавшему суда бедных промышленников, пока дивная находчивость русского человека не восторжествовала над его сокрушительной силой.

— Слава ей, этой дивной находчивости! — сказал сам себе Каютин, к которому в одну минуту возвратились и сила, и бодрость, и все надежды, одушевлявшие его. «Как бы расцеловала его Полинька,— подумал он, провожая глазами Хребтова, вмешавшегося уже в толпу работающих,— если б знала, что он для меня теперь сделал!»

И Каютин задумался о Полиньке и о той минуте, когда он приведет к своей невесте невысокого чернобородого мужичка, с пробивающейся сединой, с маленькими сверкающими глазами, с умной и немного лукавой улыбкой, и скажет ей: «Полюби его! это мой лучший друг! это спаситель мой! это тот, кому ты обязана моей жизнью, нашим богатством и нашим счастьем!»

И Каютину уже казалось, что та минута близка, что он идет навстречу к своей Полиньке; но вдруг он осмотрелся кругом — ничего, кроме моря и моря! ничего, кроме пенящихся, разбивающихся, воющих и глухо клокочущих волн! А посреди их две небольшие лодьи и несколько человек, затерянных в этом необъятном пространстве вод... На какое расстояние отделен он от Полиньки, от всего остального мира и человечества. Страшное расстояние! Даже воображение отказывалось определить его.

Господи! Господи! что же будет, когда опять увидит он себя среди людей, в Петербурге, в Струнниковом переулке, в светлой, уютной комнатке Полиньки?

Слезы градом брызнули из глаз Каютина.

— Костер готов! прикажете зажигать? — раздался над ухом его голос кормщика.

— Зажигай!

Хотя был еще день, но туман, почти беспрерывный в той стране, так густо и мрачно висел над морем, что костер был вовсе не лишний. Каютину хотелось, чтоб рабочие его после тяжкой работы хорошенько отдохнули, пользуясь временем отлива. Снесены были к костру лучшие припасы, бывшие на судах, заварили чай, принесли водки и рому. Скоро промышленники дружно уселись вокруг костра и предались отдохновению.

Согретые чаем, которого благодетельную силу может оценить вполне только тот, кому случалось дышать туманами и сыростью полярных стран, оживленные ромом, счастливые чудным избавлением лучшего своего судна, промышленники скоро предались самой шумной, искренней веселости. Раздалась заунывная русская песня, а кормщик с «Запасной», Демьян Путков, подгулявший больше других и притом всегда великий запевало и балагур, грянул в литавры, подаренные ему земляком, попавшим в полковые музыканты, и пустился вприсядку. Собаки тоже дружно улеглись у костра и прекратили свое

завыванье, как только вместо общего уныния звуки радости огласили остров.

И неописанно оригинальна, полна дикой торжественности была эта картина, не имевшая других зрителей, кроме самих своих действователей: на песчаном острове, окруженном бурунами, посреди моря, которому нет пределов ни с одной стороны, при блеске костра, бросающего красноватый блеск на ближайшие волны, горсть людей, беспечно пирующих, поющих, гуляющих на песчаной площадке, собирающих на память раковины и каменья... Стоя поодаль, Каютин долго и пристально смотрел на эту картину и много передумал, много перечувствовал...

И во сколько тысяч раз презрительнее и ничтожнее казалось ему всё мелкое и жалкое, всё презрительное и ничтожное, многие годы волновавшее его душу и волнующее души многих людей, может быть также не мелочных по природе, но опутанных мелочами; всё наполнявшее ее сладким или мучительным трепетом, радовавшее и огорчавшее?

Кто не переносит своих желаний за пределы домашнего очага, горшка щей и теплой лежанки, кто привык находить высшее упоение жизни в ловко сшитом жилете... тот не поймет мыслей, волновавших теперь его душу.

Понемногу отошел он на самую дальнюю точку острова и смотрел издали на пирующих товарищей и клокотавшее за ними необъятное море. Он думал, что он один был вместе и действователем и сознательным зрителем этой картины, но вдруг невдалеке послышался шорох. В нескольких шагах от него стоял Хребтов и тоже смотрел на ту сторону, держа одну руку на голове своего Валета, который сильно вертел хвостом и тихонько взвизгивал, как будто от избытка умиления.

Каютин окликнул его:

— Антип Савельич!

Хребтов вздрогнул.

— Что, барин,— сказал он тихо, подходя к Каютину и указывая на пирующих промышленников, на горящий костер и на бесконечное, неугомонное и недружелюбное море,— ты уж думал, что ничего, кроме худа, мы и не встретим, как пойдем с тобой свет бороздить? А ведь вот хорошо!

— Хорошо! — отвечал Каютин с невольным движением и положил ему руку на плечо.

— Я вот за то и люблю такую жизнь,— прибавил Хребтов задумчиво,— что вечно случится что-нибудь такое, чего никак не ожидаешь и никаким разумом не придумаешь...

Голос его был еще приятнее и ласковее, чем всегда, глаза необыкновенно блестели и как будто были подернуты сдержанными слезами. Тихо сняв руку Каютина с своего плеча, он медленно пошел берегом повеся голову.

Каютин долго провожал его глазами, и мысль его долго не могла оторваться от этого человека.

Через два часа начался прилив. Всё случилось, как сказал Хребтов: как только волны обхватили подводную часть лодьи, камень рухнулся в яму и лодья медленно села на песок, без всякого повреждения.

Еще через час лодьи были благополучно стянуты на глубь, и промышленники наши снова пустились в путь...

Опять однообразно потянулось время, опять те же встречи, та же беспрестанная опасность, тот же вечный туман.

— Где же льды? — беспрестанно спрашивал Каютин, горевший желанием пройти скорее последнее и самое страшное препятствие, встречаемое на пути к берегам Новой Земли.

— А вот скоро будут и льды,— отвечал Хребтов,— погоди, насмотришься еще! Вот дай поглядим, где мы теперь.— И он развернул небольшую карту.

Хребтов, подобно многим из архангельских мореходов, был очень сведущ в морской лоции и сам карандашом чертил карты проходимых мест. Одна из таких карт была теперь при нем, и он не расставался с ней ни на минуту. По ней-то он вел Каютина и всех своих товарищей в тот заповедный угол Новой Земли, где, по словам его, ни зверь, ни птица, ни рыба не были еще с начала мира никем тронуты и где предстояла мореходам нашим богатая пожива.

Расстояние до ближайшего берега Новой Земли, по карте Хребтова, оказалось еще около двухсот верст. Туман и облака, однако же, так часто принимали вид берега, что даже опытные мореходы иногда обманывались. Каютин же беспрестанно кричал: «Берег! берег!» — и беспрестанно разочаровывался.

— Антип Савельич! Антип Савельич! — радостно воскликнул он утром следующего дня, не поворачивая головы

и пристально глядя вперед.— Корабль! корабль к нам навстречу идет!

Но не успел он договорить, как уже не один корабль, а целый бесчисленный флот стоял впереди. Картина была необыкновенно живописна, и сходство льдин с кораблями в полном вооружении, с пароходами, с ботами и со всеми возможными большими и малыми судами простиралось до того, что Каютин разуверился не ранее, как взглянув в трубу.

При ясной погоде и ровном ветре промышленники к вечеру подошли вплоть к обманчивому флоту. Окраина состояла из плавающих льдин, разделенных полыньями; далее к востоку лед становился чаще и плотнее и, наконец, ограничивал горизонт исполинскими, одна на другую взгроможденными горами (стамухами), за которыми уже не видно было ничего ни простым глазом, ни в трубу.

С того дня началась для наших мореходов долгая и трудная борьба со льдами: они должны были беспрестанно переменять парус, пробираясь между льдинами, причем не избегли многих опасных толчков и каждую минуту подвергались опасности быть затертыми среди бесконечных ледяных полян, торосов и громадных стамух, то неподвижных, то поднимающихся и опускающихся вместе с волнением, подобно танцующим чудовищам, то, наконец, плавающих медленно и величественно в сопровождении бесчисленных льдин.

Особенно ночи доставляли теперь много хлопот мореходам. Трудно было пробираться среди льдин, еще труднее держаться на якоре: усиленный напор льду угрожал подрезать якорные канаты. В одну из таких ночей, когда ветер особенно разыгрался, «Надежда», оттертая льдами, разлучилась с спутницей своей «Запасной». Обстоятельство печальное, но оно перенесено было нашими промышленниками с твердостию и спокойствием, свойственным мореходам. Даже Каютин не слишком сокрушался: в подобных плаваниях, где человек каждый шаг свой берет с бою у враждующей стихии, как будто нарочно соединившей против него все свои ужасы, несчастие среднее, не сопряженное с положительной гибелью, при тысяче опасностей более страшных и столько же вероятных, не только не огорчает, но даже действует благодетельно. Так было и с Каютиным. Притом он знал, что «Запасная» находится в надежных руках: лоцманом на ней был отставной матрос Смиренников, бывший вместе с Хребтовым в экспедиции

Пахтусова и знавший остров, к которому стремились наши мореходы.

Картины, попадавшиеся им теперь, стали несколько разнообразнее. Самые льды, принимавшие беспрестанно новые чудные формы, не могли не привлечь внимания; цвет их также был различен. Иные были покрыты землею, будто только сейчас оторвались от берега; на них играли зайцы и нерпы и было видно множество птичьих яиц; цвет громадных стамух чаще всего был чистейший темно-лазоревый; льдины малые издали нигде не отличались от морской пены. Скоро начали попадаться на льдинах спящие стада моржей и тюленей. Мореходы наши пробовали стрелять в них: после первого выстрела они вскакивали и испускали страшный рев, после второго только подымали головы, а после третьего продолжали спокойно спать, не трогаясь. По-прежнему по временам появлялось марево, и чудным его действием колоссальные стамухи увеличивались, возвышались из-под горизонта и представлялись стеною в три и четыре ряда, одна над другой,— всё принимало размеры громадные. Тогда Каютин, умевший немного рисовать, набрасывал себе на память кой-какие виды, а Хребтов всё посматривал вверх, думая, что марево поможет ему напасть на след «Запасной». Но только их собственная лодья появлялась иногда впереди в значительной высоте над морем и бежала одним с ним курсом, с опрокинутыми парусами, а признаков «Запасной» никаких не было.

Так они подвигались вперед, пока не настал час гибельному событию, которое едва не стоило им жизни. Уже турпаны (род уток) начали виться около судна, и Хребтов, знавший, что они никогда не отлетают далеко от берега, поздравил Каютина с близостью Новой Земли. Хотя, не зная в том месте надежной бухты, они тут еще и не могли пристать, но близость земли сильно обрадовала и ободрила утомленных мореходов. Скоро увидели они часть островов, которые Хребтов называл Горбовыми. Проливы между ними заперты были льдом; с западной стороны также начала подвигаться к лодье огромная поляна льдов.

— Держись к берегу! — закричал Хребтов Водохлебову и сам принялся за работу.— Иначе не увернемся от льдов: вишь, со всех сторон напирает!

Но к берегу попасть не было возможности. «Надежда» принуждена была укрыться за огромными стамухами и с час держалась за ними спокойно на якоре; но вдруг

напор льду усилился, и якорные канаты подрезало. Напрасно Хребтов, сам управлявший лодьей, старался увертываться с ней то за одну, то за другую крупную льдину. Другие льдины обходили ту, к защите которой прибегал он, и напирали на лодью со всех сторон. Наконец погнало ее с страшной скоростию к прибрежному льду, и тут вся сила удара в край громадной прибрежной льдины, стоявшей неподвижно, разразилась над несчастной лодьей: она затрещала и через несколько минут лопнула вдоль. Предвидя гибельную развязку, мореходы наши уже приготовились спасать что можно, и когда бедствие совершилось, всё нужнейшее: провизия, ружья, звериные ловушки — было уже в их руках или на палубе, откуда всё немедленно было перетащено на огромную сплошную льдину, об которую разбилась несчастная лодья. Скоро и люди и собаки их также должны были перебраться на эту льдину: судно начало наполняться водою. В то же время ветер стал свежеть, лед снова пришел в движение.

— Нечего медлить! — закричал Хребтов.— За работу, ребята!

По знаку его, бо́льшую часть спасенных вещей положили на лодки и потащили их по льду к берегу, который был отделен от льда значительной полыньею.

— Садись, Антип Савельич,— сказал Хребтову Каютин, когда наконец лодки спущены были на воду.

— А поезжайте! я вот сейчас покличу моего Валетку,— отвечал Хребтов,— не видать лешего... уж не попал ли под лодью? Я совсем забыл про него. Валетка! Валетка! — закричал он с угрозой, увидав, что Валетка его хлопочет около остальной провизии, и побежал туда.

И еще два промышленника, не попавшие в лодки, побежали за ним.

Вдруг льдина тронулась. Промышленники испустили крик ужаса.

— Что вы, ребята? — спросил спокойно Хребтов, обернувшись.

— Тронулась! тронулась! — отвечали они ему.— Господи! ну, как они не подоспеют с лодкой!

— Водохлебов, лодку! — очень громко, но без особенной тревоги в голосе закричал Хребтов.

— Лодку! лодку! лодку! — во весь голос протяжно повторили товарищи его.

Крик их тотчас был услышан Каютиным и остальными мореходами, сносившими на берег спасенные вещи: они разом все обернулись. Страшная картина представилась им: часть ледяной поляны уже совершенно отделилась от другой своей половины, с которою вместе составляла еще за минуту одну сплошную неподвижную массу, и быстро неслась в море, окруженная множеством мелких льдин.

В одну минуту испуганные мореходы были уже в лодках и гребли с отчаянными усилиями к отдалявшейся поляне; но не было уже возможности достигнуть ее: подталкиваемая со всех сторон другими льдинами, она неслась с такою силою, что через пять минут простым глазом уже очень неясно видны были люди, находившиеся на ней. Каютин, волнуемый надеждой и ужасом, близкий к помешательству, не отрывал глаз от трубы, наблюдая движение льдины и увлеченных ею жертв.

Зрелище было страшное. Обреченные гибели, все трое рядом стояли на самом краю льдины, лицом к берегу, в положении людей, готовых к самому отчаянному прыжку, если б лодка могла каким-нибудь образом приблизиться к ним. Все трое были смертельно бледны; но неизмеримая разница была в выражении лиц: лица двух промышленников были безобразно искажены, глаза дико вращались, губы дергались, испуская отчаянные стоны; лицо Хребтова было неподвижно; ни один нерв, казалось, не бился под его смуглой кожей сильнее обыкновенного; но в неподвижности, сковавшей эти благородные и мужественные черты, почти не меньше было ужаса... только ужаса разумного и могущественного, соединенного с гордой покорностью неотразимому и неизбежному, чего не в силах отвратить ни воля, ни разум, ни самая несокрушимейшая сила человеческая.

И когда убедился он, что лодки, осаждаемые и оттираемые льдинами, не могут никаким образом догнать поляны, уносившей его, он начал махать рукой отрицательно, давая знать лодкам, чтоб они воротились, не подвергаясь долее бесполезной опасности; потом он перекрестился и ровным шагом, не оглядываясь, пошел к другому краю поляны, где находилась часть снятых с лодьи вещей, тогда как товарищи его, бледные и дрожащие, всё еще стояли на самом краю, прилегавшем к берегу, и следили за лодками, быстро отдалявшимися, с такою жадностью, как будто лодки всё приближались к ним.

Хребтов сел на бочку с смолой, оставшуюся на льдине, и гладил своего Валета, задумчиво повесив голову, когда вдруг огромная стамуха поравнялась с поляной и скоро загородила ее, а с нею и Хребтова и его товарищей...

Каютин вскрикнул. Труба выпала из его рук. Он лишился чувств.

Он очнулся на берегу, представлявшем картину неописанной дикости и уныния, у разложенного костра, среди промышленников, печально толковавших о своих погибших товарищах.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава I

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Занесенные изменчивой судьбой нашего героя в края глубокого севера, о которых в старину думали, что там живут люди, умирающие в начале зимы и оживающие весной, мы поневоле должны войти в некоторые географические подробности. Ужас охватывает душу, когда подумаешь о неизмеримых пространствах Архангельской губернии, равняющейся целой Франции с прибавлением Британских островов. И на этом огромном пространстве только двести тысяч жителей с небольшим! И неудивительно: стоит вспомнить о непроходимых тундрах и лесах, покрывающих эту губернию, о суровом климате, о Ледовитом океане, чтоб понять медленное увеличение народонаселения, страшные труды и опасности, с которыми сопряжено здесь существование. Эти вечные труды и опасности, эта суровая природа, эта непрестанная борьба со всем окружающим естественно развили, особенно в русской части народонаселения, в высшей степени дух предприимчивости, отваги и удали. Нигде врожденные способности русского крестьянина — сметливость, находчивость, искусство, соединенное с решительностию,— не выказываются так ярко, как здесь. И архангельский крестьянин — вследствие местных условий и особенных исторических судеб простого класса этой губернии — по развитию своему опередил крестьян многих других губерний. Много чудных рассказов и преданий о невероятных опасностях, безвестном самоотвержении, великих и безвестных подвигах, много случаев чудного спасения и страш-

ной гибели ходит в том краю, передается от деда к внуку, и эти рассказы, чаще трагические, чем отрадные, питают и поддерживают врожденную отважность поморцев. Место действия этих рассказов и вместе поприще деятельности поморцев — Ледовитый океан, буйно плещущий в берега трех стран света, пустынная и унылая Лапландия, бесконечные тундры, глухие леса, безлюдные острова, рассеянные по Белому морю и всему Ледовитому океану.

Особенно один далекий и обширный остров, имеющий форму чудовищной сабли, богат страшными преданиями, трагическими событиями, захватывающими дыхание своей простотой и ужасающей истиной.

Он зовется Новой Землей.

С давних пор знали его русские люди и ходили туда в малых своих лодьях и карбасах прежде, чем проведал о нем ученый мир и начали то голландцы, то англичане посылать туда корабли для отыскания северо-восточного пути в Индию.

Зловреден и часто гибелен климат острова, труден к нему путь, сторожимый ледяными великанами, ужасна новоземельская зима. Не только бедные промышленники, но даже ни одна хорошо снаряженная экспедиция не возвращалась оттуда без потери большей части людей. Виллоби, натерпевшись холоду и голоду, замерз со всеми своими спутниками, а их было семьдесят! Трогательна и оригинальна была смерть несчастного морехода: его нашли сидящим за своими записками. Еще ужаснее по своим подробностям страдания и смерть Баренца, выдержавшего на Новой Земле мучительную зиму! Вообще экспедиции на Новую Землю составляют ряд историй трогательных, драматических и ужасных. Понятно, что еще больше трогательного и ужасного в безвестных похождениях бедных промышленников, которые отправляются туда в малых судах, с бедными средствами, без всяких пособий знания, единственно руководимые сметливостью да удивительной памятью местности. Страшные опасности, частые примеры гибели не останавливали промышленников, пока Новая Земля доставляла им богатые промыслы. Еще в первые два десятилетия нынешнего века ежегодно ходило туда множество судов для промысла тюленей и моржей. Редкие, однако ж, отваживались зимовать. И только неудачные промыслы нескольких лет сряду охладили наконец рвение промышленников и раззнакомили их с Новой Землею. В 18** и 18** годах ходила туда одна лодья.

Около того времени двумя частными лицами была снаряжена на Новую Землю экспедиция под начальством подпоручика Пахтусова, при котором, между прочим, находился Хребтов. Читатель уже знает, какое впечатление произвело это путешествие на Хребтова: он вывез оттуда глубокое убеждение, что Новая Земля, забытая в последние годы промышленниками, представляет богатое поприще для промыслов. Остается сказать, каким образом согласился Хребтов с Каютиным и как решился Каютин отважиться на такое трудное и опасное путешествие.

По странному свойству человеческой природы, в минуту, когда человек глубоко оскорблен, жестоко обыгран или сильно поражен несчастьем, в нем рождается упрямое, непреодолимое желание доконать, дорезать себя.

— Еду на Новую Землю! — необдуманно, но решительно воскликнул Каютин в тот же вечер, как встретился и разговорился с Хребтовым.

К утру он захворал лихорадкой и по необходимости поручил заняться сбором кулей и продажею их Антипу, не слишком полагаясь на товарища своего Шатихина. В несколько дней Антип превосходно обделал всё дело, не только не обманув Каютина, но даже с меньшим убытком, чем можно было ожидать: почти все кули были пойманы, просушены и проданы по цене, какую стоили на месте,— пропал провоз, пропали труды, но капитал был спасен. Вот начало сближения Каютина с Антипом. В болезни он часто толковал с ним и, убедившись в его честности и глубокой опытности, решился окончательно.

Каютин уже имел позволение Данкова, выручив деньги за хлеб, пустить их в новый оборот, если представится хороший случай. Но как торопиться было некуда,— только еще начинался июнь, а берега Новой Земли не бывают свободны от льдов ранее первых чисел августа,— то Каютин всё-таки написал Данкову о своем намерении. Данков согласился, и в половине июля Каютин с Хребтовым были уже в Архангельске. Здесь в приобретении права промышлять на Новой Земле, в наборе людей и снаряжении судов Хребтов обнаружил необыкновенную сметливость и распорядительность. Коренной поморец, он знал искуснейших и отважнейших мореходов Поморья, знал и домашние обстоятельства их: иной был сам хозяин, да лодью разбило в море, и теперь приходилось ему быть кормщиком на чужих судах; иной обладал великим искусством в своем деле, но не имел средств завести свою ло-

дью, и искусством его пользовались другие; третий в крутую пору забрался так у своего хозяина, что сделался у него кабальным. Таких-то людей набрал Хребтов, выдав им часть денег вперед и приняв их не простыми работниками, но участниками в доле промыслов, по-тамошнему — *покрученниками*. Таким образом, дружина составилась из лучших людей,— почти нельзя было сомневаться в успехе дела, а в случае успеха Каютин разом мог приобресть ту сумму, которая была нужна ему.

Таковы были его надежды и планы. Но не так вышло. Лишенный лучшей своей лодьи, разлученный с другой, потерявший необходимого путеводителя, которого считал погибшим,— Каютин очутился в самом горестном, почти безнадежном положении.

Но бурные события последних лет его жизни уже научили его не предаваться отчаянию там, где нужно действовать, уже воспитали в нем немного твердости и решительности. Подавив первые порывы сильной горести, он скоро стал обдумывать свое положение и осматриваться.

С первых шагов на остров его поразила верность, с какою Хребтов описал ему Новую Землю. К морю берег простирался ровною низменностью (на ней пылал костер промышленников). Далее, сколько хватал взор, виднелись холмы, покрытые никогда не тающим снегом. На середнем возвышался столб, будто воздвигнутый человеческими руками. Вправо, у берега, огромнейший ледник, никогда не тающий, но с каждым днем возвышающийся. Не только холмы, но и низменность местами была уже покрыта снегом, а где его не было, там простирались болота; небольшие деревья в рост человека, желтые цветы и — куда ни глянешь по болотистой низменности — незабудки, незабудки, незабудки, уже поблекшие, едва поднимавшиеся от земли своими голубыми головками,— вот почти вся растительность острова!

Чувство глубокого и невыносимо грустного уединения охватило промышленников среди удивительной пустоты и тишины, окружавшей их. Ни зверя, ни птицы, ни одного живого существа, кроме них, не было кругом. Казалось, с начала мира не было тут и жизни. Холод, сырость, туман, проникавший до костей, вполне соответствовали мертвенности природы. И Каютину уже казалось, что он навсегда отделен от всего обитаемого мира, и глубокое уныние теснило ему грудь; но он упорно подавлял его, опасаясь лишить бодрости своих товарищей.

Ночь провели они у разложенного костра, и, оставив тут двух товарищей, которые должны были поддерживать огонь, чтоб показать место «Запасной», если б она находилась поблизости, Каютин с остальными стал подвигаться в глубину острова. С восходом солнца, впрочем невидимого, появилось множество птиц, которых и признака не было вечером,— белые и черные чайки, гагары и турпаны стаями вились над головами промышленников с дикими, пронзительными криками, как будто люди удивляли и возмущали их своим непрошеным появлением и они требовали их немедленного удаления. В один час мореходы наши промыслили до двухсот штук гагар, которых пух, известный под именем гагачьего, дорого ценится, а мясо идет от нужды на жаркое. Подвигаясь далее, местами видели они на возвышенных холмах складенные в виде столбов кучи каменьев, называемые кекурами: их кладут промышленники, замечая местность. Встретив полуразрушенную избу, они выстрелили, думая, нет ли тут партии подобных им горемычных земляков; но никто не отозвался. Изредка попадались им на берегах проливов обломки судов — предмет, которого всего более искали они, зная, что после погибающих промышленников часто остаются на Новой Земле суда, еще годные в дело, и рассчитывая воротиться домой на таком судне, если «Запасная» не найдет их или погибнет. Но эти обломки были слишком ветхи и годились только на дрова. Полуразрушенных и вовсе разрушенных изб попадалось много; в иные входили наши промышленники, и ясные признаки недавней обитаемости — остатки одежд и припасов, звериные ловушки, шкуры и кости животных — наводили на них нестерпимую грусть. Около изб не было недостатка в крестах и могильных камнях. Каютин читал своим товарищам надписи крестов и камней, означавшие, сколько в той или другой могиле погребено промышленников, как их звали, с чьих лодей, каких они были лет и в каком году отошли с миром в жизнь вечную. И при ином имени вдруг кто-нибудь из дружины Каютина вскрикивал, бледнел и, сняв шапку, опустившись на колени, клал земные поклоны и молил пресвятую богородицу упокоить душу родственника или прежнего товарища своего в опасных трудах. Промышленники предавались воспоминаниям, и рассказы о знакомом покойнике, которого искусство и мужество высоко превозносились, надолго доставляли им печальное развлечение. Словом, всё встречное

было точь-в-точь, как рассказывал Хребтов Каютину. Наконец пришли они к небольшому проливу, за которым начинался остров Стодольный, и увидели на берегу его большую лодью; велика была их радость, когда, осмотрев ее, они нашли, что с небольшими поправками она может быть употреблена в дело: и мачты, и реи, и руль, и дрег — всё было цело, и даже канат растянут был по песчаной мели. Невдалеке от лодьи увидели они на возвышении небольшую избу, и страшное зрелище представилось им, когда они огляделись вокруг избы и внутри нее. Около избы лежали дротики от рогатин, оленьи рога, человеческий череп и кости, в сенях избы — опрокинутый котел; в избе несколько железных котлов, вместо печки плитчатые кирпичи, оленьи шкуры; на самой середине избы два женских трупа и подле них выделанная медвежья шкура, до половины съеденная. Один из людей Каютина, самоед Воепта, поступивший в его дружину именно затем, чтоб поискать своих родственников, уже с лишком год пропадавших на Новой Земле, отчаянно вскрикнул,— и скоро Каютин узнал историю трупов, страшную и безобразно оригинальную.

Один близкий Воепте некрещеный самоед в молодости был необыкновенно счастлив в промыслах; чтоб отблагодарить идолов, которым приписывал свое счастие, он дал обет зимовать на Новой Земле и сдержал его. При нем был, между прочим, сын его Мавей. Когда отец умер, а у Мавея промыслы пошли плохо, сын, по примеру отца, дал такой же обет. И полтора года тому назад со всем своим семейством — женой, сыном, его женой и дочерью — Мавей отправился в лодье на Новую Землю. С тех пор Воепта ничего не знал о несчастных своих родственниках, которых нашел теперь погибшими столь страшным образом. Он отличил трупы всех, кроме Мавея, и заключил, что, видно, Мавей погиб на промысле диких оленей, ибо и ружья его не нашлось. Несмотря на нестерпимое зловоние, Воепта предал земле тела несчастных своих родственников.

Обрадованные находкой, промышленники наши в тот же день принялись чинить лодью, и в несколько дней она была готова. Они уже собирались выйти в море, чтоб плыть в обратный путь, пока море предоставляло к тому какую-нибудь возможность, как вдруг в одно утро промышленник, поддерживавший костер и вооруженный зри-

тельной трубой, уведомил своих товарищей, что видит лодью.

Через час лодья стала видима простым глазом, и промышленники узнали в ней «Запасную». Они кинулись в лодки, чтоб скорей увидеться с товарищами, которым долго еще приходилось искать удобного подхода к берегу. Все повеселели, одному Каютину сгрустнулось пуще прежнего: ввиду собственного спасения, теперь несомненного, он вспомнил Хребтова и страшная картина трагической гибели несчастного и любимого товарища живо представилась его воображению.

Глава II

КТО НА МОРЕ НЕ БЫВАЛ, ТОТ БОГУ НЕ МАЛИВАЛСЯ

Ледяные поля и горы, словно тучи по небу, ходят по морю, и нет им числа, нет конца, словно идущему войску, когда пережидает его нетерпеливый и продрогший пешеход. Ветер зол и неутомим; каждую минуту поставляет он ненасытному морю новые полчища: отрывает громадные льдины вместе с глыбами земли от береговых скал, пригоняет их тысячами из бесконечных сибирских рек, из широкого Сибирского океана, и бегут они с шумом, плеском и грохотом, как стада невиданных чудовищ, тысячеглавых, тысячеруких, с белыми косматыми гривами, бегут, сами не зная куда, раздробляя и уничтожая всё на пути своем. Несут они на хребтах своих тысячи животных, погруженных в глубокий сон или шумно играющих, ликующих и ревущих; вьются над ними с пронзительным криком бесчисленные морские птицы, а по ребрам и уступам их местами виднеются глыбы земли, напоминающие спокойствие и безопасность берега, ту блаженную безопасность, о которой не может быть и мысли среди необъятной пустыни с ледяными чудовищами, разрушительными бурями и вечным бунтом волн, поющих о смерти и гибели.

Гибель и смерть всему, что чуждо недружелюбной стихии, вооруженной холодом, льдами и бурями... гибель и смерть несчастным пловцам, увлеченным предательской льдиной на самую середину океана!

Они еще живы. Между запасами, спасенными с погибшей лодьи и не попавшими в лодки, был бочонок сухарей,

бочка воды, нашлось немного водки и несколько оленьих одежд,— перспектива холода и голода не вдруг открылась промышленникам. Но для чего поддерживали они свое существование? какие надежды могли быть у них? Всё далее и далее относило льдину от берега, на середину моря; время подходило к осени, когда плавание по Ледовитому океану становится невозможным, и с каждым проходившим днем менее и менее могли они рассчитывать на счастливую встречу...

Наконец и припасы истощились. Множество звериных ловушек разного рода, рогатины, винтовки, порох и пули были на льдине. Промышленники принялись питаться птицами, поджаривая их на дровах, спасенных с лодьи. Но птицы, вившиеся сначала целыми тучами над их льдиной, стали с каждым днем показываться реже и реже; прежде исчезли турпаны, потом не стало гагар, располагающихся огромными стадами (базарами) по уступам скал и на вершинах стамух, плавающих по морю; остались одни чайки-клуши, известные под именем разбойников, да и те, напуганные частыми выстрелами, остерегались подлетать близко и только дразнили голодных промышленников, носясь с пронзительным криком над соседними льдинами и безопасно отдыхая на них. Наконец настал день, в течение которого при всех усилиях не могли они промыслить ни одной птицы.

Измученные голодом и волнением, они ясно увидели неизбежную и мучительную смерть.

И не один голод угрожал им смертью. Часто слышали они грохот сталкивающихся льдин,— грохот потрясающий и ужасный, как будто мир готов был разрушиться; видели огромные осколки, высоко и далеко отбрасываемые сталкивающимися льдинами и раздробляющие в свою очередь при падении льды меньшего размера. Часто замечали они, как огромная льдина, набежав со всего размаху на другую, почти не меньшую, разом раздробляла ее со всем, что было на ней, или превращала в свое подножие... На их собственную льдину с одной стороны уже надвинуло мелких льдин до шести сажен в вышину, и этот новый сугроб льда, беспрестанно увеличиваясь в объеме и повышаясь, угрожал затопить самую льдину, жалкое и единственное убежище несчастных пловцов.

Наконец в одну ночь прибило ее к огромной стамухе, стоявшей на мели, и она тоже остановилась. Не было ни-

каких средств сдвинуть ее, и новый ужас охватил сердца промышленников: в несколько дней стамухи угрожали окружить их и, таким образом, заживо похоронить в ледяном неприступном склепе.

Положение их с каждой минутой становилось ужаснее.

Простояв целый день на разных концах льдины, с поднятыми ружьями, в напряженной и жадной готовности спустить курок полузамерзшей рукой, сделав несколько бесполезных выстрелов, несчастные, будто по команде, опустили наконец ружья и молча сошлись на середине льдины.

Время подходило к вечеру. Темное, серое небо мрачно висело над морем, окаймляя его со всех сторон бесцветным и мутным навесом; мокрый туман распространялся кругом всё гуще и гуще и, оседая на платье, замерзал.

Ветер выл, уныло стонал и пел вместе с волнами всё ту же мрачную песню о смерти и гибели.

Молча и не поднимая головы, стояли промышленники посреди поляны: одна мысль была у них в голове и ясно отражалась на лицах, но они как будто боялись выговорить ее. Голодная собака протяжно визжала, увиваясь около своего хозяина.

— Знать, не к добру развылась собака! — сказал наконец Антип, подняв голову на своих товарищей.— К покойнику воет собака! — тихо прибавил он, нагнувшись и начав гладить ее.

Долго гладил он собаку, как будто собираясь с мыслями или ожидая ответа товарищей, наконец выпрямился и сказал торжественным голосом:

— Что ж, братцы! умирать так умирать — воля божия!

Товарищи его были неробкие ребята. Они уже не раз рисковали жизнию в таких случаях, где помимо десяти неизбежных смертей была хоть одна вероятность спасения и успеха. Но встретиться лицом к лицу с положительной и неотразимой смертью, верной, как бог свят, им еще не случалось. Они крепились, пока Антип удивительным присутствием духа поддерживал в них бодрость, питал надежду, рассказывая примеры чудного спасения при обстоятельствах еще безнадежнейших. Но когда наконец и он сознался, что надежды нет, что гибель неизбежна,— товарищи его не выдержали.

Испустив раздирающий крик ужаса, несчастные предались исступленному отчаянию. Ужасны были их стоны

и рыдания, глухо раздававшиеся среди обычного шума волн и грохотанья льдин.

Особенно предавался отчаянию промышленник по имени Трифон, по прозванью Топор, по происхождению самоед, живший в русской поморской деревне в работниках и оттуда попавший в дружину Каютина.

Грубый дикарь, давно отторгнутый от своей почвы, он сохранил любовь к унылой и бедной природе, посреди которой прошли его лучшие дни, и жил надеждой когда-нибудь снова свидеться с печальной родиной. С невыразимой любовью и грустью вспоминал он свою унылую тундру с ее гранитными горами, между которыми изредка пробивается тощая трава, поднимается чахлая береза почти без ветвей; вспоминал и невеселый вид, открывающийся с высоты гор: огромные озера, беспрестанные бурные реки с непроходимыми порогами, между которыми бешено прыгают и ревут волны, необозримые пространства, покрытые ползучим и ветвистым мхом. И чудилось ему посреди тундры огромное стадо оленей, испуганных появлением человека или волка, вечного их врага: ослепленное страхом, вихрем несется оно по тундре, колебля ее, подобно землетрясению, и никакие препятствия не останавливают испуганных животных,— встретится ли им река, и тысячи голов с ветвистыми рогами, фыркая и вспенивая воду, несутся через реку. Чудились ему бесчисленные стаи птиц, которым пустынные тундры служат надежным и спокойным убежищем: с криком несется длинная вереница гусей, звенят и свистят крылья уток, куропатки бегают по скалам, чайки кружатся над реками и озерами, а хитрый ястреб осторожно и плавно реет в вышине, высматривая добычу. Чудились ему удачные промыслы, богатая пожива, повторялись в уме его утонченные и неблагородные хитрости, которые изобретал он бедным своим воображением, чтоб поймать птицу, обмануть осторожного зверя. И вот наконец с богатой добычей, без дороги несется он домой по своей тундре; кровавыми глазами смотрят встречные волки на оленей, которые дрожат, завидев врагов своих, и быстрее мчат легкие санки. И вот примчался он к своему погосту, к своему родному *чуму*. Печален вид погоста, занесенного снегом так, что только по дыму, выходящему из бедных лачужек, можно найти его среди снежной пустыни,— но радостно бьется сердце дикаря, когда он подъезжает к своему жилищу. Но всё оно обливается кровью, и отчаянно стонет

бедный дикарь при мысли, что никогда уже не увидит своей дымной хижины, своей грустной родины!

Другие картины мелькали в воображении второго товарища Хребтова, Дорофея, по прозванью Долгого, парня лет тридцати, из русской поморской деревни. Дома оставил он молодую жену и трех ребятишек-погодков; о них-то сокрушалось его молодецкое сердце. Рано, с самого начала осени, начнет ждать его домой молодая жена. Чуть подует морянка,[1] она тотчас вышлет ребятишек на колокольню смотреть, не покажется ли в море парус; и увидят дети парус, и закричат они хором: «Матушка! лодейка чап-чап-чап чебанит [2]!» Побежит обрадованная мать к пристани, но не увидит она своего Дорофея Долгого, а услышит страшную весть о безвестной и бесславной его погибели. Вскрикнет и рухнется, словно мертвая, бедная вдова, притихнут веселые крики осиротевших ребятишек. Выстынет даром жаркая баня, приготовленная хозяину, позабудется и пропадет богатый обед, который хозяйка готовила дорогому, давно жданному гостю. А наутро она созовет родных, и все пойдут в церковь с громким плачем; старший сын покойника пойдет впереди, понесет икону, а около него пойдут два младшие брата; но никто не узнает в них резвых детей, бежавших вчера навстречу матери с радостным криком: «Матушка! чап-чап-чап...» Пришед в церковь, поставят икону на налое, окружат ее зажженными свечами и закажут панихиду взамен честного погребения, которого лишило покойника нелюдимое и надменное море, чуждое участия, чуждое жалости.

Дорофей рыдал и метался по льдине, призывая дорогих сердцу отчаянными воплями.

Трудно было угадать, о чем думал Антип, какие картины рисовало ему воображение в минуты, которые, без сомнения, были последними в его жизни: он молчал. Стоны товарищей разрывали его душу, но покушение утешать их не приходило ему и в голову. Лицо его было исполнено того сосредоточенного спокойствия, которое говорит о сильной внутренней борьбе, упорно подавляемой. И, будто отгоняя мрачные мысли, он старался развлечься деятельностью: расколол бочонок, в котором были прежде сушеные щи, и Валетка с жадностью принялся грызть доски, пахнувшие съестным; влез на стамуху, к которой

---

[1] ветер с моря.

[2] чебанит — идет,

примерзла их льдина, и долго в зрительную трубу смотрел на все стороны. Потом Антип предался воспоминаниям. У него, как у многих архангельских грамотных промышленников, был карандаш и записная книжка, куда вписывал он попадавшиеся на пути кошки и разные признаки, по которым, при необыкновенной памяти местности, легко узнавал во вторичное плавание место, пройденное однажды. Вынув свою книжку, он долго пересматривал и задумчиво перечитывал ее; наконец вырвал листок и стал писать — то было его последнее мирское дело — завещание моряка, трогательное и страшное по своей трагической простоте и истине:

«Три промышленника, архангельские поморы: Дорофей Долгой, села К*, да Антип Хребтов, деревни П*, да с Большеземельской тундры крещеный самоед Трифон, по прозванью Топор, с лодьею барина и купца Тимофея Каютина попали на льдину, а с той льдиной оторвало и унесло их в море, где и конец свой нашли, приняв мученический венец. Кто добрый человек найдет сию грамотку, просим разнести слух по Поморью, как и где сподобил нас грешных господь преставиться, и повестить ближним и сродникам, чтобы домой не ждали, а служили бы панихиду за упокой грешных душ рабов божиих Дорофея, Антипа и Трифона. А коли грамотку нашу найдет кто нашинский, помор, просит раб божий и мореход, ныне преставившийся, Антип Хребтов, того доброго человека дойти с ней до самого купца и барина Тимофея Николаича и снести ему мой низкий поклон, чтоб обо мне не кручинился,— не о себе скорблю, погибаючи, а о нем, сердечном, и прошу простить мое великое согрешение, что завлек его красными словами и посулами в дальнюю и нелюдимую сторону... и сказать ему: не приключись такой напасти, так Антип Хребтов постоял бы за себя и быть ему, Каютину, с хорошими промыслами, с большими деньгами; и чтоб пуще всего простил грешному Антипу, коли даром проторился на дальнюю дорогу. А деньги, какие тут вложены, просим отдать от имени всех нас троих неимущим за упокой грешных душ наших. Год 18**, месяц сентябрь. Во имя отца и сына и святого духа. Аминь!..»

Написав свою грамотку, Хребтов вложил ее вместе с бывшей у него ассигнацией в бутылку, которую плотно закупорил и засмолил, собираясь бросить ее в море.

Так поступали в крайних случаях лучшие мореплаватели, признавая такой способ вернейшим, чтоб дать о себе весть в случае погибели; так же поступил впоследствии Пахтусов, и Хребтов, бывший при нем, подражал теперь его примеру.

Он подошел на край льдины и уже готов был исполнить свое намерение, как вдруг судорожно отшатнулся. Надежда, давно покинувшая его, теперь вдруг безотчетно вспыхнула в нем и остановила его руку.

«Успею еще! — подумал он, уходя с края льдины с бутылкой.— Ну, что хорошего, если найдут нашу грамотку, а мы как-нибудь уцелеем? только добрых людей насмешим!»

Он усмехнулся и поднял голову; по небу быстро неслись зловещие тучи, становилось темно.

Антип подошел к своим товарищам. Дорофей сидел молча, понурив голову. Трифон продолжал свои стоны, но они уже приняли другое направление: голод скорее обнаружил свою силу над дикарем, не привыкшим укрощать врожденной прожорливости, чем над его товарищами. Несчастный почти помешался; ему чудились вкуснейшие самоедские кушанья, глаза его сверкали дикой радостью, впиваясь в воображаемые лакомые куски только что убитого оленя, и он жаждал упиться его дымящейся кровью. Прежний дикарь, питавшийся сырым мясом, не отказывавшийся и от падали, проснулся в нем, и когда подошел Антип, сопровождаемый своим Валетом, Трифон кинулся к собаке и бешено схватил ее за горло. Насилу остановили его и образумили.

— Не буду, не буду! — бормотал он со слезами, когда товарищи погрозили связать его.— Простите, братцы!

— Господь тебя простит! — сказал Антип.— Не такое время, чтоб теперь ссориться. Черные тучи ходят по небу: быть буре, недаром давеча зверь играл и плескался. Ночь будет сердитая, неровен час, плотину нашу в щепы расколет, так надо нам, братцы, покуда не совсем стемнело, попрощаться по-братски. Пожалуй, ведь уж больше и не увидимся!

Промышленники молча обнялись и поцеловались.

— Ну, теперь молитесь богу, братцы! — сказал не совсем твердым голосом Антип, отходя.— И да простит и помилует вас господь.

— Я не умею молиться! — жалобно простонал самоед, который, пока жил дома, только раз видел священника,

редко объезжающего далекую и обширную тундру, а нанявшись в работники, постоянно был на промыслах.— Господь меня не помилует!

— Молись без слов, молись помышлением,— сказал Антип, тронутый жалобным голосом дикаря.— Господь бог не хочет от нас ничего более, кроме того, чтоб мы возлюбили друг друга и убегали зла. А за незнание твое не взыщет и не осудит, яко благ и человеколюбив!

Наступила ночь, глухая и черная, ни проблеска луны, ни одной звездочки! К счастию, предсказание Антипа не сбылось: ветер стих. Не видя друг друга, промышленники долго толковали о бедственном своем положении, вспоминали родных и родную далекую сторону, давали взаимные обеты, что если кому-нибудь господь приведет спастись (им еще приходили в голову и такие надежды!), тот не забудет семейства погибших товарищей. Наконец разговор понемногу смолк. Каждый молча предался своим черным мыслям.

Наступила мертвая тишина. Только по временам, осаждаемая набегающими стамухами, льдина вздрагивала и трещала: тогда промышленники быстро вскакивали и перекликались, ожидая с трепетом разрушения своего непрочного убежища. Но стамухи проносились мимо, и снова воцарялась тишина.

Если б кто через непроницаемый мрак полярной ночи мог вглядеться в лицо Антипа, тот, быть может, подивился бы наружному спокойствию этого человека в то время, как глубокое страдание переполняло его душу. С давних лет кормщик Ледовитого океана, освоившийся с беспрерывными опасностями, он привык подавлять свои ощущения, но тем страшнее были его страдания, глухие, затаенные, не вырывавшиеся ни одним стоном, ни одной жалобой.

Не совсем обыкновенным явлением в среде своей во многих отношениях был Антип. У него были свои убеждения, свои верования, свои цели в жизни, и оттого еще трудней было ему расставаться с жизнью, чем его товарищам. Но он уже давно примирился с личным своим бедствием, и если б дело шло только о собственной его гибели, в душе его, может быть, теперь было бы столько же твердости и спокойствия, как и в его лице. Другие муки терзали его.

— Обманул я тебя, барин! — шептал он рыдающим голосом, полный горькой мыслию о своем несчастном хо-

зяине, которого заманил он красными рассказами и посулами в суровую сторону, враждебную человеку, будто нарочно затем, что хотел его гибели.— Обманул, и назовешь ты меня обманщиком.

Чувство человеческого достоинства было сильно развито в Антипе, и гордость его возмущалась при одной мысли, что он не докажет теперь своих посулов и Каютин сочтет его обманщиком. Притом он любил Каютина, встретив в нем многое, что крепко приходилось ему по душе, знал часть его грустной истории, его любовь, высоко ценил то великодушное доверие, с которым молодой человек предал ему во власть судьбу свою, последовав за ним с завязанными глазами... И, может быть, в первый раз с той поры, как перестал быть ребенком, Хребтов не выдержал: среди мертвой тишины и непроницаемого мрака ночи послышались рыдания. Они были тихи, отрывисты и слышались только одну минуту, но страдание целой жизни, не освещенной ни одним лучом радости, с потрясающей силой выразилось в них...

— Что ты, Антип Савельич? — с испугом спросил Дорофей, пораженный пронзительным стоном товарища.

— Я... ничего! — отвечал Антип, и в голосе его уже слышалась прежняя твердость.

Между ними завязался разговор.

— Господи! не дай только умереть голодом! — сказал Дорофей с глубоким вздохом.

— Доживешь до утра, авось бог пошлет пищу... да нет, быть буре к утру. Спасибо деду — научил хорошим приметам: никогда не обманывали! а будет буря, так... не бойся, Дорофей, не умрешь с *голоду!*

Антип усмехнулся.

Дорофей предался отчаянью.

— Привел господь,— говорил он уныло,— умереть без могилы, без креста, без покаяния.

— Сокрушайся сердцем перед господом, вот истинное покаяние,— сказал Антип торжественным голосом.— А коли хочешь облегчить душу устным покаянием, так господь не взыщет и не осудит, если погибающие рабы его, застигнутые в пустыне, исповедуют устно прегрешения свои друг перед другом.

Уныло и глухо раздавался среди глубокой тишины голос Дорофея, благоговейно, с мельчайшими подробностями передававшего товарищу всё, в чем, по мнению его, согрешил он перед богом. Антип покаялся ему в свою оче-

редь, и удивительно проста и коротка была исповедь морехода, вся жизнь которого слагалась из морских трудов и опасностей, с немногими промежутками отдыха, не богатого грешными радостями. Дорофей, между прочим, узнал, что Антип был один-одинехонек в целом мире; ни сестры, ни брата, ни жены, ни даже дальней родни у него не было, а помнил он одного старого деда, который приучал его, ребенка, ходить на промыслы, учил править рулем, примечать по звездам и солнцу направление ветра, предугадывать бурю, запоминать мели и рано пристрастил к морю и страннической жизни рассказами о разных чудных и дальних землях, в которых случалось ему быть в течение своей долгой, почти столетней жизни.

Так проводили они свою последнюю черную ночь. А ночь, чем глубже, тем становилась черней и черней. Томительна и страшна была мертвая тишина, царившая кругом них; невыносимо унылое и ужасное слышалось в отдаленном грохоте разрушавшихся льдин, который сливался с плеском волн и глухим боем моржей. Настроенные к благоговейным мыслям, Дорофей и Антип молчали, может быть творя молитву. Товарищ их также давно притих, утомленный и убаюканный собственными своими стонами. Только слышались на льдине по временам шелест шагов и тоскливое скуленье собаки, которая медленно бродила в глубоком мраке, как будто не находя удобного места.

Вдруг яркой огненной искрой мелькнул свет... прогремел выстрел, собака дико, пронзительно завизжала.

— Трифон! — грозно закричал Антип, угадав в одну минуту и предательскую покорность дикаря, и его долгое молчание и кинувшись к месту, откуда раздался выстрел.

— Отдай мне собаку! что тебе в раненой собаке? — раздался умоляющий голос дикаря.— Она теперь никуда не годится. Она шла близко, близко... я ненароком тронул курок — ружье выпалило... Она умрет, уж я знаю... А не отдашь ее мне, так я умру, умру с голоду!

Так хитрил дикарь, почти обезумленный голодом. Обезоружив его, Антип кинулся к своей собаке, продолжавшей стонать.

Скоро на льдине снова воцарилась тишина, еще унылее и ужаснее прежней. Только рыдал и стонал дикарь, чтоб ему отдали собаку!

Тишина была перед бурей. Не ошибся Хребтов, не обманули его приметы, купленные долгим опытом: через

час разыгрался ветер с страшною силою,— море проснулось. Поднялось волнение, сильней заходили и загрохотали стамухи, и вдруг, окруженная ими со всех сторон льдина наших промышленников вздрогнула, затрещала и заколыхалась. С криком ужаса вскочили они и в ту же минуту почувствовали, что непрочное их убежище, сдвинутое с места напором стамух, быстро помчалось по морю. В совершенном мраке плыли они несколько времени, беспрестанно орошаемые дождем, осыпаемые, словно градом, осколками носившихся льдин. Смертью грозила им каждая минута, несчастные тихо молились. Ветер всё крепчал и крепчал и наконец разогнал тучи, омрачавшие небо: неожиданно, с страшной быстротой, ночь осветилась мириадами звезд и круглым бледным месяцем в полном сиянии. Обрадованные промышленники быстро осмотрелись: поляна их неслась по довольно открытому пространству вод, усеянному только мелкими льдинами; стамуха, около которой они с вечера остоялись, тоже плыла вместе с поляной. Льдов вообще во все стороны видно было гораздо меньше, чем вечером. Большое стадо белых медведей плыло невдалеке к широкой поляне, на которой виднелись, подобно огромным чурбанам, спящие моржи. В разных сторонах неба играло северное сияние.

— Вот и еще раз привел господь увидеться! — сказал Дорофей Антипу.— Только уж, верно, в последний — ветер всё крепчает... К утру, глядишь, буря поднимется!

Точно, к утру ветер страшно усилился. Море расходилось с ужасающей свирепостью. Но всё еще держалась, будто назло ему, хрупкая льдина и несла — бог знает куда! — голодных, трепещущих и промоченных до костей промышленников.

Утро было ясное. Солнце, окруженное паром, ярко и торжественно горело над морем, как будто прощаясь с промышленниками.

Сильна любовь к жизни! Как только около льдины начали показываться чайки, Дорофей тотчас взял винтовку и стал настороже. Трифону тоже дали винтовку.

Дорофей и Трифон стояли с поднятыми ружьями в разных концах льдины; Антип нагнулся, чтоб перевязать ногу своей собаке, раненной дикарем; вдруг собака дико завизжала, вырвалась и кинулась в другую сторону. Антип поднял голову: в двадцати шагах от него, мимо самого края льдины, плыл огромный белый медведь.

— Братцы, медведь! — невольно закричал Антип.

Чудовище приостановилось, подняло мохнатое рыло, долго обмеривало Антипа ленивым и удивленным взглядом и наконец тяжеловесно прыгнуло на льдину.

Дорофей и Трифон дико вскрикнули, пораженные ужасом. Испуганный дикарь бросился на стамуху, близ которой стоял с ружьем, и в несколько прыжков, карабкаясь по уступам, очутился на самой вершине льдины.

Не то было с Хребтовым. Глаза его сверкнули ярче обыкновенного. Страшная и чудная мысль мелькнула в голове его. «Коли час мой пришел, так хоть смертью молодецкой умру!» — подумал он, и тотчас же мысль его перешла в неотразимое решение. Быстро схватив нож и рогатину, обернув ремень около руки, он не забыл кинуть в море приготовленную бутылку, грустно промолвив: «Теперь пора», и потом крикнул своим товарищам:

— Прощайте, братцы, не поминайте лихом!

— Антип Савельич! Антип Савельич! не губи себя! — кричал ему угадавший его намерение, далеко отбежавший Дорофей.— Хоть для нас побереги себя.

Но Антип не слушал его и с криком «Помяни мя, господи, егда приидеши, во царствии твоем!» кинулся к зверю.

Медведь заревел и поднялся на задние лапы.

В то же время ни с чем не сравнимый крик радости раздался над головой Дорофея. Дорофей поднял голову и увидел на самом верху стамухи своего товарища, махавшего руками и радостно кричавшего:

— Лодья идет! лодья идет! к нам, прямо к нам... уж близехонько! Сюда! сюда! сюда! — продолжал дикарь необыкновенно громким голосом.

Дорофей посмотрел: точно лодья! — и кинулся к Антипу.

— Антип Савельич! Антип Савельич, лодья! Господь услышал наши молитвы... Лодья идет! помога идет, спасенье, спасенье!

Но уже было поздно. Чудовище, до того изумленное в первую минуту дерзостью человека, что, казалось, не хотело верить своим глазам и, поднявшись во весь рост, хранило величавое спокойствие, наконец рассвирепело. Правда, в молодые свои годы Антип хаживал на медведя и рука его навыкла к меткости; бывалая ловкость и теперь не изменила ему: с первого разу успел он глубоко всадить рогатину в разверстую пасть чудовища и повернуть ее в ней; успел также нанести врагу своему глубокий и ловкий

удар ножом, пропоров ему всю грудь до горла; но ни страшная потеря крови, ручьем хлеставшей на белый снег и синеватый лед, скользивший под ногами неравных борцов, ни боль от рогатины, ни новые беспрестанно наносимые удары ножом в разные части тела — ничто, казалось, не ослабляло свирепого животного. Коснулась ли до слуха Антипа поздняя весть о близкой помощи, о чудном спасении,— только вдруг слабый стон вырвался из его груди, и он упал, поверженный ловким ударом своего врага; медведь грохнулся на него. Началась борьба, тихая, глухая, медленная. Человек и зверь катались по снегу, окрашенному их кровью, оба равно лютые, равно бешеные, но далеко не равные силами...

Дорофей думал помочь; но чем? Ни ножа, ни винтовки при нем не было, и бледный, дрожащий крестьянин стал на колени и усердно молился, прося у бога пощады и помощи многогрешному рабу его Антипу Хребтову в неравном бою...

Между тем плавучая сцена кровавой драмы быстро летела вперед навстречу лодье, усмотренной Трифоном, всё еще сидевшим на самой верхушке стамухи. Лодья с своей стороны, усмотрев людей, летела навстречу льдине. Крики дикаря сделались еще громче и радостнее, когда узнал он в приближавшейся лодье «Запасную». С лодьи отвечали его крикам пушечным выстрелом. Утреннее солнце, редкий гость полярного неба, ярко освещало эту картину.

Глава III

НОВОЗЕМЕЛЬСКИЕ ПРОМЫСЛЫ

На третий день после встречи с Трифоном и его товарищами среди моря «Запасная» уже приближалась к берегу, где находился Каютин.

Завидев «Запасную» и кинувшись в лодку, Каютин скоро подплыл к ней.

— Здравствуй, батюшка Тимофей Николаич! — раздался с лодьи знакомый Каютину ласковый голос.

Каютин радостно вскрикнул. Вскрикнула и вся его дружина.

На корме лодьи стоял Хребтов. Лицо его было бледно, рука подвязана; но светлая радость играла в голубых гла-

зах морехода, и, спрыгнув в лодку, он кинулся обнимать Каютина.

Велика была радость промышленников, свидевшихся после долгой разлуки. Подошед с лодьей в удобном месте к берегу, они разложили костер, и бесконечные рассказы о перенесенных опасностях полились рекой. Каютин интересовался мельчайшими подробностями, касавшимися Антипа, и чудная борьба Хребтова с медведем сильно поразила его. Спасение Хребтова не было делом случайным или сверхъестественным: рухнувшись на Хребтова, медведь уже был до того ослаблен многими глубокими ранами и сильным кровотечением, что не мог сделать ему большего вреда; скоро судороги возвестили близкую смерть животного. Полубесчувственный, раненый Хребтов был перенесен на «Запасную»; ему подали нужную помощь, и через несколько часов Хребтов уже сам стоял на корме и правил к тому острову, где расстался с Каютиным.

Положение Каютина быстро и неожиданно изменилось к лучшему... теперь он считал себя счастливейшим человеком! Все товарищи его были целы, теплая одежда и звериные ловушки, унесенные льдиной, также были спасены: их привезла «Запасная»; а вместо «Надежды» они имели лодью несчастного фанатика Мавея, которую назвали «Находкой».

На другой же день, разместившись на двух лодьях точно так, как отправились с Соломбальской пристани, промышленники наши, не теряя времени, пустились к тому острову, который составлял цель их плавания.

Теперь им нечего было торопиться: цель плавания была недалека, и они по пути стали промышлять попадавшихся зверей.

— Стой, не подплывай близко! бросай якорь! — скомандовал Хребтов, завидев впереди моржей на большой льдине, стоявшей неподвижно.

Лодьи остановились; промышленники сошли с лодки и стали тихо, осторожно подкрадываться к спящим животным против ветру; моржи так чутки, что если кто к ним подходит по ветру, то они непременно услышат. Наконец промышленники подплыли и тихонько вышли на льдину.

Каютин увидал десятка два огромных темно-бурых животных с небольшими головами и чудовищными клыками; животные были чрезвычайно тучны, уже к голове и хвосту; длина некоторых была больше двух сажен. Страстные лю-

бители неги и лени, почти все они предавались глубокому сну; только молодые моржи (абрашки) резвились.

Тихо подкрались промышленники к спящим моржам и вдруг напали на них с гиком, свистом и дикими криками. Оглушенные, испуганные животные вскочили и хотели бежать, но спотыкались и падали; безмерная робость замечалась в каждом их движении.

— Стреляй! цель прямо в голову! — скомандовал Хребтов.

Грянуло разом двадцать выстрелов.

Кожа моржа так толста и столько под ней жиру, что убить его можно, только всадив ему пулю в голову: пуля, попавшая в жирное место, не только не вредит моржу, но даже доставляет ему некоторую приятность.

Убитые наповал грохнулись и поколебали льдину, раненые испустили громкий рев, повторенный прибрежными утесами, рев отвратительный и ужасный: старые моржи ревели, будто их рвало, молодые охали, как человек, когда его бьют; некоторые побросались в воду и окрасили ее кровью. Раненный Каютиным огромный старый морж, с черепом, раздробленным в мелкие части, испускал стоны, подобные плачу, будто прося пощады; но Каютин усердно добивал его дубиной; морж неожиданно рассвирепел и, кинувшись с остервенением, чуть не сбил его с ног. Каютин должен был употребить всю свою ловкость, чтоб защититься и доконать чудовище, уже слепое, обезображенное, почти безголовое, но страшно живучее, сильное отчаянной яростью. То была первая битва, в которой попробовал Каютин свою ловкость и силу, и неизъяснимую гордость почувствовал он, когда свирепое чудовище растянулось наконец у ног его.

Добив раненых моржей дубинами, а ушедших в воду моржовками, промышленники тут же принялись распоряжаться своей добычей. Деятельность закипела на льдине, лодьи приблизились к ней; животные были разрублены, сало их, называемое сыротоком, выпущено в бочки; клыки, весом каждый по полпуду, и всё ценное забрано на лодьи, и мореходы снова пустились в путь.

— Легко обошлось дело! — говорил Хребтов Каютину.— А бывает, иной раз чудища так остервенятся, что только держись, особливо на воде! Раз мы поранили моржа с карбаса, а он к нам: и клыками, и лапами за борт хватается, чуть не опрокинул, да вдруг схватил за ногу одного парня — и в море его! Да тот, молодец, не струсил

и в воде, всё колотил его ружьем, морж и выпустил ногу: парень всплыл невредим. Нет лучше, как бить их по берегу сонных дубиною или рогатиной колоть, когда они спят подо льдом.

— Да как же их увидишь?

— А спят они, приложивши рыло ко льду, и лед в таком месте, как ни будь толст, сквозь протает; так вот: всадишь в морду спицу и держишь чудище на ремнях, пока кругом проруб прорубят, тогда и вытягивай.

В тот же день Каютин был свидетелем и участником другой битвы.

Подходя к одному заливу, увидели они стадо огромных животных, сажени по четыре длиной, черных, с небольшими головами и белыми усами по аршину.

— Держись к берегу! — скомандовал Хребтов.

Обе лодьи подошли, сколько могли, к берегу.

— Ну, ребята, я поеду закидывать носок, а вы выходите на берег,— сказал Хребтов.— Да смотрите, не зевайте, тяните крепче!

В кольцо острого железного носка, имеющего форму якорной лапы, привязали длинную и толстую веревку; конец веревки остался в руках промышленников, а Хребтов с носком сошел в лодку.

— И я с тобой поеду, Антип Савельич! — сказал Каютин и тоже сошел в лодку.

— Ну, трогайся!

Четыре сильных гребца принялись за дело, и в несколько минут лодка приблизилась к стаду.

— Держи в стадо! — закричал Хребтов и стал на корму с носком, от которого тянулась веревка, соединявшая их с товарищами.

— Не опасно ли будет? — сказал Каютин, которого пугали огромные размеры животных.

— И, ничего! да ты посмотри, до того ли им? жрут! Подплывем, и не заметят нас!

Лодка въехала в стадо, и действительно между животными не произошло ни малейшего смятения; казалось, они нисколько не пеклись о своей безопасности и хлопотали лишь о том, чтоб насытить свою жадность; половина туловища их была сверх воды, и на спине у многих сидели стадами чайки, которые страшно клевали их; пожирая морские травы, лишь изредка высовывали они из воды необыкновенно малые свои головы с чуть заметными чер-

ными глазами без ресниц и бровей, чтоб перевести дух и прочхаться. Только немногие, насытившись, спали вверх брюхом.

— Как они называются? — тихо спросил Каютин Хребтова.

— Морские коровы,— отвечал Хребтов громко.— Да ты что шепчешься? Они всё равно что глухой и слепой; пожалуй, есть у них и глаза и уши, да сами пренебрегают даром божиим: видишь, головы как держат! А уж как смирны. Мясо у живой кусками режь, она ничего; только хвостом часто махает, упирается в воду и вздыхает. Вот посмотри!

Хребтов нагнулся и погладил одну корову по спине. И Каютин тоже погладил ее. Шерсть была жестка и шероховата, точно кора старого дуба.

— Ну, выбирай, которая люба? — сказал ему Хребтов.

— Которую хочешь.

Стоя на носу лодки, Хребтов раскачался и со всего размаху пустил носок в ближайшую корову.

— Тяните, ребята! — закричал он товарищам, вышедшим уже на берег, и веревка стала натягиваться.

Каютин видел, как железная спица глубоко врезалась в мясо животного, и ожидал страшного рева, потрясающих стонов, но животное оставалось безгласным, только вздыхало всею внутренностью, так что при всей его тучности ребра становились видимы, и металось с несвойственной ему живостью.

Сильное его смятение не произвело особенного действия в остальных коровах, только ближайшие высунули головы и пробовали помочь: силились опрокинуть хребтом лодку, ложились на веревку, старались хвостом выбить носок, причем особенно хлопотал самец, приведенный в страшное отчаяние. Но Хребтов с товарищами ловко увертывались, отражали удары и общими силами колотили и кололи раненую корову, понуждая ее подвигаться вперед; сначала она так упиралась, что кожа с ластов у ней отскакивала лоскутьями, и двадцать человек, тянувшие ее к берегу, почти ничего не могли сделать. Наконец она ослабла. Когда вытянули ее за черту стада, там всё пришло в прежний апатический порядок; проводив ее глазами, животные опустили опутанные морскими травами морды в воду и стали жрать. Не успокоился только самец: битый непрестанно до самого берега четырьмя огромными дуби-

нами, он следовал за своей самкой и употреблял страшные усилия освободить ее.

— Удивительно, как они любят своих самок! — заметил Хребтов.— Раз мы пришли через три дня к тому месту, где оставили остатки убитой коровы: самец сидел над ними.

Оба животные были вытащены на берег и добиты. Длина одного из них простиралась до пяти сажен, вес до двухсот пятидесяти пудов. Кожу его едва могли прорубить топором.

Почти всё стадо было покончено нашими промышленниками. Сердце Каютина радовалось.

На другой день они промыслили трех белых медведей и наконец стали приближаться к тому острову, где располагались зимовать.

День был туманный, шел то дождь, то снег, то дождь и снег вместе. Хребтов, распознавая местность, беспрестанно смотрел в зрительную трубу. Наконец он подал ее Каютину и радостно сказал:

— Посмотри!

Добрый знак! в губу, через которую они должны были подойти к острову, набилось столько белух, что глаза разбегались, не видя конца стаду!

Так как при промысле белух многие рабочие должны действовать по пояс в воде, то Каютин, зная усталость своих людей, думал оставить белух в покое. Но рабочие, почитая встречу хорошей добычи у самого порога своего будущего зимовья счастливым предзнаменованием, не хотели пропустить случая поживиться. В несколько часов, заставив выход из губы от моря лодьями и лодками, промышленники наши закололи спицами до семисот белух.

В тот день они ночевали на своих судах, а наутро вышли на остров, который составлял цель их плавания. Они были в пути месяц и несколько дней.

— Герасим Онисимыч! Герасим Онисимыч! — воскликнули бывшие в артели русские промышленники, ступив на берег.— Читай оберег!

И они обнажили головы. Иноверцы отошли в сторону.

Промышленник Герасим Анисимов, крепкий и бодрый старик лет шестидесяти, атлетических форм, выступил вперед, расстегнул пазуху, достал оттуда сложенную вчетверо бумагу, чрезвычайно чистую, и прочел торжественным голосом, обнажив свою седую голову:

«По благословению господню, идите, святые ангелы, ко синю морю с золотыми ключами, отмыкайте и колебайте синее море ветром и вихрем и сильною погодою, и возбудите красную рыбу, и белую рыбу, и прочих разных рыб, и зверей морских, и гоните их из-подо мху и кустов, от крутых берегов и желтых песков, и чтоб они шли к нам, рыболовам и звероловам, Тимофею, Антипу, Герасиму, Сидору, Дорофею, Трифону (тут он перечел имена всех предстоящих), и не застаивались бы на красном солнце, и не залеживались бы на льдинах среди моря, и шли бы в наши заводи, сети и ловушки, и не пятились бы наших ленных и конопляных сетей и всяких разных ловушек, и не пужались бы наших выстрелов и колотушек. Не дайте, святые ангелы, тем зверям и рыбам: очам их — виду, ушам их — слуху, и еще, святые ангелы, сохраните нашу рыбную и звериную ловлю от уронов и от прикосов, от еретика и еретицы, от клеветника и клеветницы, от мужней жены и вдовицы, и от девки-простоволоски, и всякого ветреного проходящего человека, и порчельника, отныне и до века. Аминь. Христос воскресе».

Испросив таким образом, по примеру отцов и дедов своих, удачи в промыслах, промышленники принялись осматривать остров.

Губа, которою они вплоть подошли к острову, закрытая от всех ветров, представляла все удобства хорошей гавани. Остров также со всех сторон окружен был довольно высокими горами, и невозможно было найти лучшего места для зимовья. Несмотря на то, однако ж, ни малейших признаков, чтоб тут были когда-нибудь люди, признаков, так часто попадавшихся прежде, не встречали промышленники. То был один из самых отдаленных пунктов Новой Земли; ни один промышленник не доходил сюда. Пахтусов первый посетил этот залив. Он назвал его заливом Литке, а два острова перед его устьем именами Федор и Александр. Хребтову приглянулись тогда эти далекие острова, и любимая мысль его забраться сюда для промыслов нетронутого и с начала мира непуганого зверя наконец осуществилась.

Вытащили лодьи на берег, выбрали удобное место, и в то время как часть промышленников ходила на промысел, остальные строили избу; при готовых срубах работа продолжалась недолго; через неделю промышленники перебрались в избу. Это было в начале октября. Все они были здоровы, и промыслы шли так удачно, что некогда было

замечать ни времени, ни трудов. Холод между тем усиливался, земля уже глубоко была покрыта снегом, море около берега то вдруг очищалось, то пригонял к нему ветер огромные льдины, и тогда вечный гул, грохотанье и треск будили по ночам промышленников. Взамен давно изчезнувшей растительности мох в пазах между бревнами теплой избы пустил такие длинные, зеленые и сочные отростки, каких и летом не производит почва Новой Земли. Морозы начали становиться нестерпимы, и к концу октября были дни, когда не представлялось ни малейшей возможности оставить избу. Но промыслы продолжались: белые медведи, подстрекаемые любопытством, беспрестанно являлись то ночью, то днем осматривать их жилище и в один месяц промышленники добыли их до двухсот штук.

В первых числах ноября иногда еще было видимо солнце; наконец осветило пустыню довольно ярко, как будто прощаясь с ней, и уж больше с того дня не показывалось.

Наступила долгая полярная ночь.

Глава IV

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Проходят дни и недели, а солнца нет! Как будто оно наконец убедилось в невозможности согреть и оживить эту мертвую сторону и отступилось от нее! Ночи темны, но еще темней дни. Там хоть изредка проглянет луна, днем ничего! Редко-редко около полудня небо осветится северным сиянием — какая радость, какое удивительное наслаждение! Можно видеть в двух шагах без огня чужое лицо, можно читать без огня книгу! Но прошло полчаса, и мрак, непроницаемей прежнего, охватил снежную пустыню! Ничего не видать, зато много слышно: дикие порывы метелицы, непрестанное гуденье и грохотанье льдин, бьющихся во мраке, подобно враждующим чудовищам; гром и треск ледяных гор, снежных сугробов, низвергающихся в море с береговых утесов; торжествующий вой тюленей и моржей, катающихся на льдинах по морю и радующихся, что погодка, слава богу, разгуливается,— вчера было только тридцать семь градусов, а сегодня уж с лишком сорок!

У, какой холод, какой нестерпимый холод! Малица (оленья одежда) шерстью вниз, потом малица шерстью вверх; сапоги шерстью вниз, потом сапоги шерстью вверх; меховой треух, плотно покрывающий голову и едва оставляющий возможность дышать; рукавицы шерстью вниз, потом шерстью вверх,— нельзя, кажется, придумать ничего теплее, непроницаемее? Но стоит пробыть полчаса на этом морозе, чтоб убедиться, что, как ни ломал житель глубокого севера умной и опытной своей головы, он не изобрел одежды, соответствующей его климату. И ее нет, ее невозможно изобрести! Медвежья шкура хороша, пока на медведе, оленья тоже, лисья и песцовая тоже; но соедините все их на человеке, он и тогда не выдержит долго смертельного холода, который захватывает дыхание, жжет и режет, словно тысяча бритв. Нужно быть самому белым медведем, чтоб переносить эту стужу, и только сделавшись моржом, только спрятавшись в эти толстые пласты жиру, в эту железную кожу, непроницаемую пулей, можно находить в этих чудовищных морозах наслаждение.

Давно уже избушка наших промышленников благодаря частым метелицам превратилась в снежную гору, так что узнать ее место можно было только по флюгеру на шесте высотою до шести сажен. Бесполезные окна в свое время были заколочены снаружи досками. Непрерывный огонь, днем и ночью, поддерживался в избе. Помещение промышленников соединяло в себе удобства, какие редко имели частные промышленники, зимовавшие на Новой Земле. Оно состояло из просторной комнаты, в двенадцать аршин длины, в семь ширины, с большой русской печью, и из маленькой комнаты с чугунной печкой, труба которой проходила через большую комнату. Перед дверьми избы в двух саженях была баня, которая соединялась с избой сенями и коридором, построенными из бочек, весел и набранного поблизости выкидного леса. Промышленники вместо балласта привезли на судах своих довольно много дров и притом запаслись осенью плавником,[1]— недостатка в топливе не было. Но как ни топили они свою избу, часто случалось, что в ней мерзла вода.

— Такие ли морозы бывают,— замечал тогда Хребтов.— Вот у нас по губернии в народе ходит молва, что как зимовал здесь иностранный капитан Баренц, так слу-

[1] То же, что выкидной — выкидываемый морем — лес.

чалось, что лягут с вечера спать — ничего, а проснулись — на кровати на полвершка льду намерзло!

Главнейшая забота Хребтова и Каютина состояла теперь в том, чтоб предупредить скорбут — одно из самых страшных и почти неизбежных бедствий, встречаемых зимующими на Новой Земле. Тесное и душное помещение, недостаток свежей пищи, неподвижность в течение почти шестидесяти дней, когда лютые морозы и непрерывная ночь отнимают всякую охоту высунуться на улицу, уныние — таковы причины этой гибельной болезни, от которой обыкновенно мрут люди на Новой Земле и по милости которой эти пустынные острова не имеют и никогда не будут иметь постоянных обитателей. С Каютиным было достаточное количество противоцинготных средств, и, кроме того, он не упускал ничего к поддержанию бодрости и здоровья своей артели. Непременно каждый день, если была какая-либо возможность, артель, укутанная малицами, выходила прогуливаться и осматривать кулемы (песцовые ловушки), расставленные верст на десять кругом, и редко случалось, чтоб в каждой не нашлось песца или лисицы. Промысел диких оленей, сбор плавника, довольно дальние путешествия за водой, когда ближайший ручей промерз насквозь, наконец, сражения с белыми медведями, которые продолжали по временам навещать промышленников и даже их жилье,— вот занятия и развлечения, сокращавшие эту долгую ночь.

Но всё еще лишнего времени оставалось много. Иногда поднимется метелица и так занесет хижину, что надо день работать, чтоб очистить выход; да и в природе такой ад, что выйти невозможно. Что делать? Господи! Господи! как медленно тянется время! как длинны вечера! куда девать их?

Спать? Но спать больше осьми часов в сутки — значит идти на верную смерть: неумеренный сон здесь всего скорее развивает скорбут! Каютин знал: русский человек так любит спать, когда время позволяет, что не побоится и скорбута. Необходимо было изобресть средство не допускать его до неумеренного сна!

Песни, шутки, беспрестанные и бесконечные рассказы — вот к чему прибегли Каютин и Хребтов. Надо отдать справедливость Каютину: стараясь поддержать бодрость в своем народе, он забывал собственное положение; никогда ни один рабочий не видел в лице его уныния,

не слыхал, чтоб он сказал грустное слово. Он нес почти те же работы, как и его люди, вместе с ними спал, одно ел и пил. Врожденный такт, усиленный долгим обращением с народом, много помог ему: все свои знания о небе, о звездах, о планетах, всё вычитанное о разных дальних странах и народах пересказал он своим товарищам, приноровляясь к их понятиям. Демьян Путков с своими литаврами также пригодился теперь. Но никто так не способствовал к поддержанию бодрости и веселости в артели, как Антип Хребтов. Каютин теперь только вполне оценил его и с новым жаром благодарил судьбу, что Хребтов был при нем. С самого начала полярной ночи Хребтов начал рассказ о похождениях своего старого деда Никиты, и надо было видеть, с какой жадностью слушали его! Время, когда позволялось ложиться спать, давно наступило, а никто и не думал ложиться: все просили продолжать. Рассказ Антипа был действительно чрезвычайно интересен; так по крайней мере показалось Каютину, который записал его.

Когда Антипу было шесть лет, старый дед уже рассказывал ему свои похождения; с той поры он почти каждый день прибавлял к своему рассказу какие-нибудь подробности и раза три в год, до самой смерти, пересказывал его внуку снова, с начала до конца. Похождения деда врезались в память Антипа с мельчайшими подробностями. Нет возможности передать их вполне: Антип рассказывал их своим товарищам шестьдесят вечеров.

Здесь они передаются коротко.

ПОХОЖДЕНИЯ НИКИТЫ ХРЕБТОВА С ПЯТЬЮ ТОВАРИЩАМИ В КАМЧАТКЕ И В РУССКОЙ АМЕРИКЕ

I

Время рассказа — с лишком сто лет тому назад. Место действия — Камчатка, в том виде, как она была тогда. Природа страны дика и оригинальна. Бесчисленные реки протекают между высокими берегами, которых форма удачно определяется названием «щек». Горячие ключи, начинаясь обыкновенно с крутого яра, стремительно бегут между высокими каменными горами с ревом и клокотаньем; те бьют фонтанами, в других вода кипит белым ключом, будто в огромных котлах, шипя

и свистя, и пар стоит над ними такой, что в нескольких шагах не видно человека. Острова, их разделяющие, вечно колеблются, как зыбучее болото. Горы, в разных направлениях перерезывающие пустынный мыс, достигают нередко высоты с лишком осьми тысяч футов; небольшие горы, густо покрытые лесом, идут рядами всё выше и выше и наконец оканчиваются исполинским голым шатром, образуя таким образом одну громадную гору. Огнедышащие горы вечно дымятся, в темную ночь освещая пустыню, как исполинские маяки. Иногда вдруг растрескавшееся темя громадной горы освещается яркими полосами; гора выкинет огненный шар; в несколько минут займутся ближайшие деревья, и скоро пламя охватит лес на огромном пространстве. А между тем громадная гора превращается в огненный камень. Пламя, кипящее внутри нее и прорывающееся в трещины, устремляется иногда вниз и течет огненными реками с страшным шумом. В недрах горы раздается гром и треск, слышится глухой гул, будто раздувают ее мехами, отчего вся окрестность дрожит. И вдруг гора с страшной силой выкинет огромную черную тучу, которая, всё расширяясь и понижаясь, покрывает землю густым слоем пепла верст на триста кругом. Сряду несколько дней и ночей длится с возрастающей силой страшное смятение природы и часто оканчивается разрушительным землетрясением. Всё живое трепещет и волнуется, объятое паническим страхом. Человек покидает свои промыслы и прячется в юрту, ищет спасения на высоте гор; разнообразные стаи птиц с диким криком носятся в удушливом воздухе; звери в смятении мечутся бесчисленными стадами, и оглушительный рев их, сливаясь с ударами подземного грома и клокотанием пламени, наполняет страну чудовищными звуками. Никакое воображение не в силах изобресть ничего громаднее, грознее и величественнее, особенно когда темная ночь резче обозначит картину разрушения и общего ужаса, освещенную бесчисленными пожарами.

Климат страны суров; небо вечно закрыто непроницаемой сетью тумана, смешанного с черными массами дыма и мелким дождем, который часто не прекращается по месяцу. Лучшее время года осень. Зима ужасна. Снег, убитый ветром, покрывает землю толстой и плотной корой, которая лоснится, как лед. Беспрестанно свирепствуют вьюги и бури, и постоянно дует с необузданной

силой юго-восточный ветер, делающий пребывание на суше столько же затруднительным, как и плавание по морю. Преломляясь на необозримых снежных равнинах ослепительной белизны, солнечные лучи разрушительно действуют на зрение, и зимой иные жители загорают, как индейцы.

Человек составляет только миллионную часть населения пустынного мыса, которого главные и могущественнейшие обитатели — звери. И если человек здесь дик, как зверь, зато лютейшие звери часто приближаются кротостью к человеку. Будто чувствуя себя столько же законными хозяевами страны, как и человек, они не скрываются в непроходимых лесах и недоступных болотах, не прячутся по норам и ущельям, но селятся там же, где и человек, не мешая его существованию, пока не потребует личная безопасность. Лисицы прибегают к корыту, когда кормят собак; медведи и волки ходят стадами по тундре, как скот; медведи собирают по полям ягоды вместе с людьми, и самая большая обида, которую медведь наносит камчадалке, состоит в том, что он иногда отнимет у нее набранные ягоды. Весной и человек и зверь отправляются к устьям рек, и там же, где дикий камчадал закидывает свои сети, ловят рыбу и волк и медведь, которого вкус при обильном промысле так изощряется, что он только высасывает голову добычи, а остальное бросает. Сюда же приходят промышлять рыбу собаки, которые всё лето ведут кочевую жизнь, а с первым снегом неизменно являются к хозяину,— теперь они ему нужны столько же, сколько он им: они его возят, а он их кормит; таким образом, нет договора, который бы строже исполнялся.

Камчатка баснословно обильна рыбой. Весной рыба идет из моря в реки такими огромными стадами, что реки выступают из берегов, и когда к вечеру ход рыбы приостановится и вода начнет сбывать, на берегах остается несметное количество сонной рыбы. Здесь медведи и собаки больше промышляют рыбы лапами, чем в других странах люди бреднями и неводами. В тихую и ясную погоду поверхность камчатских морей покрыта бесчисленными фонтанами; их пускают киты из жерла, которое находится у них на голове. Весной целые партии китов заходят вместе с рыбой в устья рек; они подплывают к берегу моря на расстояние ружейного выстрела и даже часто трутся о самый берег, стирая раковины и сгоняя чаек, которые сидят бесчисленными стадами на обнажен-

ных спинах ленивых чудовищ. Размеры их таковы, что нередко в ночное время суда, летящие на всех парусах, вдруг останавливаются, набежав на сонного кита. Весною множество китов выбрасывает на берега, к великой радости дикарей, которые ознаменовывают такие события пляской, криками и шаманством. Тюлени, моржи, сивучи, морские коты, медведи, волки и тысячи других морских и земных зверей непрестанно оглашают страну своими криками, и человек непривычный долго не может слышать их дикого рева без глубокого отвращения и ужаса.

Суеверное воображение дикарей населило окружающие их леса, воды и горы бесчисленным множеством духов (гамулов), привидений и мертвецов. Так, Шевеличу, одну из высочайших камчатских огнедышащих гор, жители почитают жилищем умерших; на других высоких горах, по рассказам их, полным суеверного ужаса, живут особенные духи, глава которых Билючей. К таким горам камчадалы чувствуют глубокое почтение и никогда не отваживаются всходить на них, страшась рассердить злых духов. Таким образом, на высоте многих гор, застрахованных суеверием дикарей, нога человеческая не бывала с начала мира, и звери, ничем не возмущаемые, расплодились здесь в бесчисленном множестве.

Время было летнее; дождь, непрестанно ливший уже несколько дней сряду, перемежился; солнце, едва перекатившееся за полдень, показалось на небе и весело заиграло на льдистых вершинах гор и остроконечных камнях. Серебристые полосы, будто хвосты исполинских животных, заструились на поверхности вод, и черные тучи дыма, вылетавшие из огнедышащих гор, резче обозначились в прозрачном воздухе, оглашенном тысячами разнообразнейших криков. В глубокой долине, замыкаемой с одной стороны необозримой равниной вод, а с трех остальных окруженной горами, среди волнующейся травы виднелось несколько черных точек, которые неопытный глаз мог счесть верхушками невиданных растений, колеблемых ветром. Но черные точки заметно двигались по направлению к горам, и наконец над поверхностью травы, понижавшейся по мере того, как местность становилась возвышеннее, ясно обрисовалась человеческая голова. За нею показалось и еще несколько голов, и скоро шесть человек, которых одежда представляла стран-

ную смесь русской с камчадальскою, остановилось у подножия беловатой утесистой горы, поразительно похожей на множество громадных челноков, поставленных перпендикулярно.

— Вот здесь,— сказал, указывая на верхушку горы, необычайно высокий промышленник, которого густой бас вполне соответствовал его атлетическому сложению,— здесь, верно, зверя не оберешься. Горка добрая, хоть и невеличка, и за труды воздаст сторицею! Камчадалы думают, что тут жил прежде ихний бог Кутха и катался по рекам в каменных челноках, а потом поставил свои челноки,— вот и стала гора! Они ее боятся и никогда на нее не всходят.

— Так ты нас на нее, что ли, ведешь, Микита Ианыч? — спросил другой промышленник.

— Нет,— отвечал Никита.— Что я за дурак, чтоб повел вас туда, откуда эти поганые псы увидят нас как на ладони?.. По-ихнему, губить зверя на таких горах, где живут ихние духи да покойники, самое грешное дело; так они не стерпят такого поруганья, и уж попадешь к ним, так не жди пощады. Псы, псы, а закон свой соблюдают! Я-то их не боюсь, они в церковь божию не ходят и жрут из одной лоханки с собаками, так что они мне сделают?.. Да вот ваше-то дело небывалое, непривычное...

— Ты бы сел да отдохнул маленько,— сказал третий промышленник, обращаясь к Никите, который после значительного и трудного перехода продолжал расхаживать и повертываться во все стороны, обозревая местность, между тем как его товарищи, видимо утомленные, наслаждались полнейшей неподвижностью, растянувшись на небольшом пригорке животом к земле.— Чай, устал тоже!

— Я устал? — возразил Никита обиженным тоном.— Да я и не по стольку хаживал, да не уставал. Вон, гляди, олень скачет: хочешь, догоню и поймаю?

— Ну, оленя не догонишь,— флегматически заметил четвертый промышленник, которого звали Вавилой.

— Не догоню? — с запальчивым высокомерием возразил Никита.— Что ж, по-твоему, я похваляюсь? Ты думаешь, что я похваляюсь?

— Похваляться не похваляешься, а я вот ставлю свою *щеголиху* супротив ведра пеннику, что оленя ты не догонишь... Хошь? — заключил Вавило, повертывая свою ще-

голиху (так товарищи прозвали его винтовку, которую содержал он в отличной чистоте).

— Поди ты с своей щеголихой! — презрительно отвечал Никита.— Вот теперь храбришься, а как проиграешь, так после сам же хныкать станешь. Что тебя обижать! А сбегать сбегаю — смотри!

И в ту же минуту все члены Никиты пришли в страшное движение. Отмеривая исполинские шаги своими длинными ногами, он дико кричал, будто желая пробудить осторожность зверя, и зверь, заслышав погоню, скоро полетел во всю прыть. Тогда и Никита прибавил бегу, и скоро голова его, руки, ноги — всё слилось и превратилось в кубарь, катившийся вперед с необыкновенной быстротой.

Промышленники вскочили полюбоваться. Только один, по имени Иван Каменный, парень лет сорока, очень массивный, с широким, угрюмым лицом, не переменил положения, даже не шелохнулся.

Скоро две летящие точки, одна побольше, другая поменьше, слились в одну, и вдруг Никита всею своею тяжестью рухнулся на оторопевшего зверя. Зрители громко вскрикнули. Никита, еще барахтаясь с зверем, отвечал им радостным «го-го-го!», и этот крик показал, что голос его при случае мог заменить сигнальную пушку.

Взвалив на плечи оленя, он скоро приблизился к своим товарищам. С лица его, красного, как сырая говядина, лил пот ручьем. Он так запыхался, что дыханьем своим на сажень кругом производил изрядную бурю.

— Ну, давай щеголиху! — крикнул он, кинув к ногам Вавилы бедное животное, которого члены судорожно передергивались.

— Братцы! ведь вы сами слышали, что он не держал!— раздирающим голосом воскликнул Вавило и крепко уцепился обеими руками за свою щеголиху.

Увидав его испуганное лицо, Никита захохотал и, лукаво подмигнув своим товарищам, сказал:

— Как не держал? Братцы! будьте свидетелями: моя щеголиха?

— Твоя! твоя! — закричало несколько голосов.— Нечего делать, брат Вавило: проставил, так отдавай!

Вавило не отвечал, но страшно побледнел и крепче сжал в руках винтовку.

— Отдавай! отдавай! — кричали развеселившиеся промышленники, а один из них, по имени Савелий, уже держался за бока и хохотал не переводя духу.

Вавило молчал и не двигался.

— Не отдаешь добром, так я и силой возьму,— заревел Никита и приблизился к Вавиле.

— Братцы, ведь он сам не держал! — жалобно простонал Вавило.

— Держал! держал! — возразили промышленники.

— Отнять у него, а? — спросил Никита, подмигивая.

— Отнять! Отнять!

— Полноте, братцы! Видите, на человеке лица нет,— заметил низенький промышленник по имени Лука, в лице которого показалось сожаление.

Но Никита не слушал его и кинулся к Вавиле.

— Братцы! За что вы хотите меня обидеть? — завопил тогда несчастный владелец щеголихи таким отчаянным голосом, что все промышленники приумолкли и приостановились.— Я человек горемычный: батьку моего глыбой пришибло, как алебастр копал, матушка сгорела вместе с избенкой, и скот весь погорел... Нет у меня ни роду, ни племени, ни приятелей, ни сродников; один я словно перст... знать, уж так на роду написано! И ни в чем-то мне нету удачи! Лошаденку купил,— мышиное гнездо проглотила с сеном, извелась; невесту присмотрел,— злые люди отбили. Зверей стал промышлять,— тому бобр, тому лисица черно-бурая, тому песец, а мне зайчишко в ловушку бежит! Рыбу ловить пойду,— те гольцов тащат, а я ершиков. Приглянулась мне винтовка у нашего парня; выстрелит — не даст промаху, на плечо вскинешь — как жар горит, красны девушки любуются, други-недруги завидуют. Три зимы, три лета не ел я, не пил, не спал, всё складывал грош к грошику,— сколотился деньжонками, купил винтовку... И пошло мне счастье: что ни выстрел, то красный зверь. Перестал я кручиниться, перестал проклинать свою долюшку горемычную... За что ж, братцы, хотите вы теперь меня извести? Что хотите отдам, любой перст с руки режьте, только не троньте щеголиху! А коли уж хотите ее у меня отнять, так погодите минуточку: я в последний раз выпалю!

Тут Вавило с решительным видом приставил дуло винтовки к своей груди.

Никита первый нарушил молчание, разразившись таким страшным хохотом, который мог гармонировать только с величественными размерами пустыни, окружавшей промышленников. Вслед за ним покатился Савелий, за Савельем остальные, и общий хохот их, повторяемый

эхом, долго раздавался вблизи и вдали, как перекличка бесчисленных часовых, скрытых в лесах и горах на огромном пространстве.

Только Лука не смеялся,— слезы блистали в его глазах: так тронула его жалобная речь товарища.

— Образина ты бестолковая! Чучело ты немазаное! — начал Никита после первых припадков своей чудовищной веселости.— Ну, чего вытаращил глаза? Чего испугался? Что мы, разбойники, что ли? Камчадалы немытые? А не такие же христианские души, как ты? Станем грабить, винтовку отнимать, да еще у своего же брата?! Ведь ты хоть и лыком шит, а тоже товарищ наш называешься.

Не дослушав речи товарища, столько же длинной, сколько и назидательной, Вавило опустился на землю и лег, продолжая крепко держать свою винтовку. Он не выпустил ее и тогда, когда глаза его сомкнулись и густое храпение дало знать товарищам, что счастливый обладатель щеголихи погрузился в глубокий сон.

Все понемногу притихли, только долго еще раздавались сдерживаемый визгливый хохот Савелья и наставительные замечания Луки, что не годится так пугать товарища. Желая еще потешиться ужасом Вавилы при пробуждении, Никита подкрался к спящему с намерением украсть у него винтовку и припрятать. Но он чуть не поплатился жизнию за свое покушение. Заслышав близкий шорох, Вавило вскочил, крепко сжал винтовку дрожащими руками, и нечаянный выстрел раздался в воздухе. Пуля, пролетевшая мимо самого уха Никиты, отбила у него охоту продолжать свои шутки, и он присоединился к своим товарищам, на сон которых выстрел не имел никакого влияния.

Скоро заснул и Никита, и его могущественное храпенье ясно говорило, что и пушечный выстрел, и гром не помеха богатырскому сну.

Не спал только бедный олень. Долго с мучительными усилиями старался он подняться на ноги, наконец справился и бочком, на трех ногах, поковылял к ближнему лесу и скоро скрылся в его опушке.

II

В те времена, к которым относится описываемое событие, из Охотска часто посылаемы были в Камчатку отряды казаков для сбора ясака и для приведения в русское

подданство камчатских острогов, еще не объясаченных. С одним из таких отрядов попал в Камчатку Никита Хребтов с товарищем своим Степаном Чалым.

Проведав здесь, что по милости суеверия дикарей можно поживиться на Камчатке хорошими промыслами, Никита воротился домой, сговорил себе четверых товарищей и прибыл снова в Камчатку. Здесь партия промышленников соединилась с Степаном Чалым, который пока проживал в Большерецком остроге, делая вместе с казаками набеги на немирных камчадалов, чукчей, юкагир и других дикарей, и отправилась на промысел. Цель их стремлений была гора Опальная, которой особенно боялись дикари, полагая, что на ней живут духи-гамулы. На третий день плавания, спрятав свои байдары (кожаные челноки) под нависшими скалами крутого берега Авачи, они ступили на землю и, продолжая путь берегом, скоро пришли к нескольким камчатским юртам, покинутым жителями. Здесь они ночевали, оставили все лишние запасы, поручив их надзору молодой туземки, следовавшей до того времени за ними,— и отправились далее. Они уже были почти у цели путешествия, когда мы с ними встретились.

Сильный дождь разбудил промышленников, расположившихся отдохнуть после длинного перехода. Дрожа всем телом, пошли они далее скорым шагом. Грянул гром, сверкнула молния — явления редкие в том краю.

— «Кутху батты тускеред!» — говорят теперь камчадалы,— сказал Никита, провожая глухой, отдаленный удар грома крестным знамением.— Тоись Кутха перетаскивает лодки с реки на реку; они думают, что гром оттого бывает! А если гром хватит посильней, тогда, по-ихнему, Кутха в сердцах бросает свой бубен: оттого-де и стук и звон!

Савелий расхохотался.

— Хитро! — заметил он.— Ну а молния?

— Поганые нехристи,— продолжал Никита голосом, в котором выразилось его бесконечное презрение к дикарям,— всё толкуют по глупому своему разуму. Сверкнет молния — говорят, что злые духи, истопивши свои юрты, выбрасывают головни: они, видишь, сами всегда головни выбрасывают! Коли ветер силен — так, значит, Балакинга, другой бог (у них богов что у нас грибов), трясет своими длинными курчавыми волосами; а жена у него, видишь, любит румяниться; вот как он на нее осерчает, так она давай плакать,— оттого и дождь! Слезы смоют краску

с лица и сами окрасятся — заря готова! Ловкие угадчики, нечего сказать!

Дождь перестал. Явилась на небе радуга, и Никита принялся объяснять своим товарищам, что значит у камчадалов радуга.

— Коли появится радуга,— сказал он,— камчадалы думают, что Кутха оделся в свою новую росомашью кухлянку (камчадальская одежда) с подзором и с красками. Они и сами расписывают свои кухлянки и ходят, как полосатые шуты. Ну вот, слава богу, теперь скоро, ребята!

Промышленники пришли к подножию высокой горы и стали взбираться на нее между чащами топольника, пихтовника и березника. Переплетенный ветвями сланца, жимолости и можжевельника, густо поросший разнообразными травами, лес представлял непроходимую, почти сплошную массу, и только бесчисленные узкие тропинки, проложенные зверями в разных направлениях, представляли слабую возможность проникнуть в глубину его, куда не проникали ни солнечные лучи, ни ветер, ни дождь и где с начала мира не ступала нога человеческая. Низко нагнув головы, то уклоняясь, то отстраняя и с треском ломая сучья, промышленники медленно продвигались вперед. Безотчетный трепет, чувство совершенной отчужденности, полного и страшного сиротства, невольно охватывающее душу человека на море, когда не видит он вокруг себя ничего, кроме необозримой равнины вод и неба, усеянного звездами, в глубине и мраке непроходимого леса, куда не доносится ни единый звук жизни,— скоро перешло в сердцах промышленников, немного опередивших своим развитием дикарей, которых землю они попирали, в суеверный страх. Воздух, напитанный могильной сыростью, почти непроницаемый мрак, однообразный, глухой ропот древесных вершин, недоступных взору, бесчисленные лесные крики — всё пугало их и заставляло ближе держаться друг к другу. Промышленник по имени Тарас побледнел как мертвец, поминутно аукал и хватался за полу Никиты. Вавило держал наготове свою щеголиху. Иван Каменный, спавший, как говорили его товарищи, *походя,* встрепенулся и глядел во все свои мутные, опухшие глаза. Лука шептал, как во время грома: «Свят, свят». Никита и Степан угрюмо молчали. Когда непроницаемый свод зелени, висевший над их головами, понижался больше обыкновенного, а мрак увеличивался, принужденные ползти, они хватались за платье друг друга. Но никакая опасность не

угрожала им; будто отомщая величественным презрением удальцам, попиравшим его девственное подножье, лес продолжал хранить свое шумное спокойствие и не высылал на них ни своих леших и привидений, ни своих бесчисленных четвероногих полчищ. Напротив, звери, беспрестанно попадавшиеся им на узких тропинках, смотрели на них скорее с любопытством, чем враждебно, и долго провожали их изумленным взором. Только громкие и пугливые переклички самих путников, когда они теряли из виду друг друга, возмущали гармонию леса, в непрестанном шуме которого живо чувствовалось торжественное и могущественное спокойствие.

Понемногу начали они выходить из чащи и скоро увидели свет и небо. Дорога не представляла теперь уже таких трудностей: деревья стали реже; пробираться сквозь траву и кустарники помогали им по-прежнему тропинки, тянувшиеся, подобно нитям паутины, всё выше и выше, к самой вершине горы, терявшейся в облаках. По мере возвышения деревья и кустарники уступали место дикому камню, которого громадные массы вместе с растительностию, прорывавшейся в иных промежутках, образовывали фантастические фигуры, темные гроты, глубокие пропасти и длинные коридоры с естественными навесами.

Наконец они достигли вершины горы, и, взглянув вниз, все шестеро разом вскрикнули. Эхо шеститысячным повторением далеко разнесло их крик, вырванный невиданным зрелищем. Они были с лишком десятью тысячами футов выше земли!

Радуга еще не исчезла с неба, и — случай редкий в той стране — освещение соответствовало великолепию зрелища. Два моря, с трех сторон огибающие мыс, составляли раму величественной картины, широко раскинувшейся внизу. Утомленный созерцанием необозримой равнины вод, сливавшейся с горизонтом, глаз обращался ближе, и бесчисленные голубые ленты рек, горы с черными тучами дыма, в котором сверкали и гасли искры, леса с колеблющимися вершинами, глубокие пропасти, фонтаны и водопады — все богатства дикой и девственной природы с самой поразительной стороны своей представились зрению! Предметы дальние и близкие, громадные и едва заметные принимали новую, оригинальную форму. Птицы, носившиеся в воздухе, были далеко ниже человека, и полет их представлялся глазу с новой точки зрения. Звери грелись на солнце и играли на небольших площадках по-

среди лесов, сходились пить к воде целыми стадами. Там и там на остроконечных камнях стояли дикие олени, и неподвижные фигуры их резко обозначались в воздухе. Воздух был чист и прозрачен, а западная сторона неба, покрытая бесчисленными беловатыми облаками, горела яркими красками вечерней зари, сообщая картине особенный колорит.

Вершина обширной горы представляла как бы отдельный маленький мир; всё было здесь — глубокие пропасти, значительные возвышения с нетающим снегом, гряды камней, леса, долины, мшистые пастбища, даже небольшое, но глубокое озеро с лесистым берегом, песчаным мысом и островками.

Сколько тропинок, укатанных, будто дорога, по которой сотни лет снуют экипажи! А следы? Всюду, где только прикосновение могло оставить признак,— на песчаных площадках, на берегу озера, на мысе, на островках, на вершинах скал, на снегу,— бесчисленные следы путались, переплетались, слоились, вытеснялись друг другом и составляли самые прихотливые фантастические арабески!

Сердца промышленников исполнились живейшей радостью.

Вечер уже совершенно наступил. Они расположились отдохнуть на берегу озера в опушке леса,— и вдруг всё кругом оживилось, точно поднялась и тронулась огромная рать, скрытая в лесах и ущельях горы; послышался шелест и шепот; опушка леса заколыхалась; будто на смотр промышленникам к озеру стали являться бесчисленные и разнообразные обитатели горы. Вольно взмахивая хвостами, играя и брыкаясь, примчались большим табуном дикие лошади — небольшие, но коренастые, все до одной пегие,— с шумом и брызгами кинулись в воду, все разом нагнули крутые шеи и стали пить. Утолив первую жажду, иные высоко поднимали голову, оглашали воздух веселым ржаньем и снова пили. Виляя пышными хвостами, сбегались к озеру лисицы, всегда хитрые, всегда осторожные, с умным и лукавым выражением глаз, с мягкими и увертливыми движениями... И каких тут не было лисиц: красные, огневки, сиводушки, крестовки, бурые, черно-бурые и, наконец, белые!

Пока лисицы исключительно поглощали жадное внимание промышленников, прибрежные деревья покрылись небольшими ловкими и красивыми животными, которых

черноватая шерсть и роскошные хвосты лоснились и блестели на солнце мягкими, нежными отливами.

— Батюшки! Соболей-то, соболей-то сколько! У, какие голубчики! — в восторге закричал Лука; и его товарищи мигом повернулись в ту сторону.

Красивые соболи прыгали с дерева на дерево, соскакивали на берег, пили воду и играли на песке.

— Вона какой зверок, я таких и не видывал! Глянька, Никита! Как он зовется? — сказал Вавило, указывая на стаю небольших красивых и веселых зверков, хребет которых походил на пестрые птичьи перья.

— А зовутся они еврашки,— отвечал Никита.— Зверок маленький, да удаленький... Вот послушай!

Никита свистнул, и ближайший к ним зверок с пестрым хребтом ответил ему таким громким свистом, какого никак нельзя было ожидать от такого маленького зверка. Затем, прыгая и кувыркаясь, начали свистать и другие зверки, и в минуту окрестность наполнилась оглушительным свистом.

Насвиставшись и утолив жажду, пестрые зверки стали утолять голод ягодами, которые росли у ног их, что доставило Вавиле новый предмет к удивлению: все они стояли на задних лапках, как белки, а пищу держали в передних. Вообще в них было столько веселости и добродушия, что промышленникам, глядя на них, делалось смешно, а Лука пришел в совершенное умиление.

— Душечки вы мои! — говорил он.— Как играют! А едят-то как! Порассказать нашим — не поверят!

В несколько минут берега озера, прибрежные деревья, мыс и островок закипели самым многочисленным и разнообразным населением. Набежало множество песцов, зайцев, горностаев, сурков, не изменивших и здесь своей ленивой походки и сонливого вида; показалось и несколько медведей, от которых маленькие зверки держались в почтительном отдалении; пришел и сытый волк утолить свою жажду. Всё вместе представляло разнообразную картину, полную движения, жизни и звуков. Жирный медведь неуклюже плавал и ложился в мелком месте; жеребята играли и катались по траве; росомахи — животное небольшое, но необыкновенно хитрое и прожорливое — вбегали на деревья, ловили и давили маленьких зверей.

— Ух! какая бестия! — воскликнул Тарас, увидав, как одна росомаха, подкравшись, мигом схватила еврашку и отправилась с ней на дерево.

— Бедняжечка! — воскликнул чувствительный Лука, у которого расположение к веселым зверкам так увеличилось, что ему смертельно хотелось погладить их и расцеловать.— Да ведь она его в минуту замучит... ах проклятая! А вот я ее!

И Лука взял винтовку.

— Не стреляй! — повелительно сказал Никита.— Зачем пугать? Только дело умно повести — всё, что тут ни есть, наше без одного выстрела!

Лука покорно опустил винтовку. Но сердце его всё еще болело за бедную еврашку, и он принялся ругать хищное животное.

— Проклятая ты, ненасытная душа! Мало, что ли, корму кругом тебя? На бедного зверка накинулась! Ну что он тебе сделал? Он зверь ласковый и спокойный, никого не трогает. Ты погляди, хищница ты, обжора ты негодная, получше тебя медведь, да и тот смирно лежит, никого не трогает; и волк тоже, и лисица тоже; а ты? Одной тебе мало, животина ты прожорливая!

— Толкуй, брат, тут,— со смехом заметил Никита.— А она свое дело делает: вон, гляди!

— Еще одного подхватила! — с ужасом воскликнул Лука.— Да куда в тебя, проклятую, корм идет? И сама-то ты велика ли? Да неужто, Никита, она и другого съест?

— А уж такая прожористая,— отвечал Никита.— Бывает, она так нажрется, что потом сама пытается меж развилинами дерева выдавить лишнее.

— Неужто?

— Ей-ей! А вот погоди, может, еще сам увидишь. Ты не гляди, что она невеличка; она и больших зверей душит. Хитра, окаянная! Вот гляди: моху набрала и на дерево с ним взбежала; думаешь, спроста?

— А что ж она с ним сделает? — спросил Лука, внимательно следивший за росомахой, которая в ту минуту кидала с дерева мох.

— А мхом, знаешь, олень питается, так коли он под дерево придет, станет есть, тут и карачун ему: кинется на спину ему и ну драть глаза, пока не убьется об дерево, сердечный! А убивши его, она не станет тотчас есть: разделит на части и закопает в разных местах, чтоб другие росомахи не увидали. А как одна останется, тогда уж и жрет.

— Подлинно чудеса! — воскликнул Лука.— Скажи нашим, не поверят.

— А как она, понимаешь ты, вскочит мне на шею да начнет глаза драть... а?— сказал трусливый Тарас.

— На человека она не бросается,— отвечал Никита.— Вот на диких лошадей иное дело.

— Неужли?

— Ей-ей! Даром что невелика, а как губит их! А к человеку скоро привыкает. Я вот видел у одного нашего казака ручную росомаху; ужас какая забавная!.. А! вона, глядите, глядите, ребята! Тегульчичи потянулись к озеру!

Глазам их представилось изумительное зрелище: огромное стадо маленьких красноватых зверков, с коротенькими хвостиками, величиною с обыкновенных европейских крыс, приближалось к озеру. Шествие их было медленно и чинно: только некоторые пищали, и писк их походил на визжанье поросят.

Савелий, которому довольно было показать палец, чтоб рассмешить его до упаду, залился долгим хохотом. Лука смотрел на красных зверков с невыразимым умилением; слезы дрожали у него на глазах, и он повторял сладким голосом:

— Ах, да какие крохотные!.. Господи боже ты мой! Какие крохотные! Да какие важные! Словно армия в поход выступает...

— Хороша армия! — с хохотом подхватил Савелий.— Да с такой армией можно весь свет завоевать... а хвосты— знать, они вместо оружия?

Промышленники хохотали.

— Смейтесь вы,— сказал Никита, не любивший давать первенства никому в деле, в котором считал себя знатоком.— А вот без них так давно бы, может, вся Камчатка с голоду умерла, да и нам незачем было бы ходить сюда... и звери-то все передохли бы.

— Как так? Да что они за зверки такие?

— Да просто мыши...

— Мыши? Что ж они?

— А вот слушайте.

И он принялся описывать добрые свойства красных мышей, которыми так обильна Камчатка и которым дикие туземцы приписывали благодетельное влияние на свою страну.

Чувствительные замечания Луки, хохот Савелья и восклицанья общего удивления часто прерывали рассказ Никиты. Затем промышленники разожгли костер, изготовили ужин и всю ту ночь, пока сон не сомкнул глаз их, тол-

ковали о великой добыче, которая была уже почти в их руках.

Действительно, в несколько дней шесть человек добыли здесь столько соболей, лисиц и бобров, не упоминая о других, менее ценных зверях, что могли назваться теперь богатыми.

Промышленники так увлеклись добычею, что даже забыли первоначальный свой план: вовсе не ходили в юрту, шкуры прятали тут же в горе и сами как попало варили себе пищу. Только Степан каждую ночь уходил в острожек, несмотря на насмешки товарищей, которые смеялись, что плосколицая камчадалка приворожила его. Всё шло хорошо, как вдруг раз вечером Степан прибежал бледный и объявил, что он у самого подножья горы слышал голоса многих камчадалов и видел одного из них.

Промышленники побледнели. Тарас просто завыл.

III

Хотя промышленники чувствовали себя на покоренной земле, но испуг их при вести о появлении камчадалов имел свои основательные причины. В те времена завоевание Камчатки только еще начиналось. Шаг за шагом казаки наши, посылаемые туда правительством малыми отрядами, подвигались в глубину страны, приводя в подданство и объясачивая дикарей. Юкагиры, сидячие и оленные коряки, чукчи, курылы и многие другие племена, населявшие отдаленные точки страны, еще пользовались дикой независимостию. Притом и мирные камчадалы беспрестанно изменяли и делали попытки отложиться. Изменники редко действовали открытою силою, но больше хитростью и предательством. Когда казаки приходили к непокоренному острожку и требовали ясак, дикари принимали их дружелюбно, щедро дарили, угощали и не отказывались платить ясак, но, усыпив таким образом осторожность своих врагов, они резали их сонных; выбравшись вон из юрты, зажигали ее ночью. Они грабили камчатскую казну, препровождаемую в Охотск, и путешественник без значительного прикрытия подвергался здесь неизбежной гибели. Жестокость их не только к русским, но и к соплеменникам своим, хранившим верность к русским, не имела границ. Они жгли своих пленников, резали, мотали из живых кишки, вешали за ноги и сопровождали многими другими варварскими истязаниями торжест-

во свое. Таким образом, беспрестанно носились между русскими, разбросанными небольшими горстями в отдаленных пунктах страны, преувеличенные слухи об убийствах и жестокостях дикарей.

Никита первый собрался с духом и, огласив страну своим диким, могущественным хохотом, весело сказал:

— Ну, что носы-то повесили? Что вы, в гости к сродникам, что ли, шли? Не говорил я вам, что всякое может случиться? Покуда мы еще не в руках поганых еретиков, так надо думать, как отбутыскаться. Худо одно: забрались-то мы на такую гору, что коли и мирные проведают, что мы тут сидим, так и те не спустят! Да что? Ведь они трусы, самые подлые души! По-моему, зарядить винтовку, навострить ножи и рогатины, да и с богом, напролом!

Но многие, в том числе опытный и осторожный Степан, стали противиться такой крутой мере. После недолгого совещания решили, что Степан и Никита пойдут разведывать, точно ли есть враги, много ли их и где укрываются; а остальные подождут, спрятавшись в ущелье, которое было уже им известно и представляло надежное прикрытие.

— А как они, братцы, увидят вас? — пугливо спросил Тарас.

— Ну, увидят, так жилы вытянут и из кожи ремни сделают. А может, и не увидят: ночь темная, спрячемся!

Между тем совершенно стемнело.

Спустившись немного с горы, промышленники скоро пришли к длинному и темному ущелью, закрытому сверху грудами камней и густой зеленью, прорывавшейся в расселинах.

— Сюда, ребята,— сказал Никита, спускаясь в ущелье.— Тут вас и днем с огнем не найдешь; а придут еретики, так вы не выходите, только, знай, постреливайте в щели!

Промышленники с шумом вошли в ущелье, и потревоженные звери, расположившиеся там на ночлег, стремительно кинулись вон, сверкнув в темноте своими огненными глазами.

— Разложите себе огонь, ребята, а вход-то завалите камнем,— сказал Никита.— Ну, прощайте, братцы! Авось еще увидимся! Да коли что случится, так не поминайте лихом Никиту Хребтова, не пеняйте, что вот, мол, завел в такую сторону, где и косточки придется положить без покаяния.

— С богом, Никита Иваныч! Дай бог счастливо воротиться! — отвечали промышленники, заключившие по грустному и торжественному голосу Никиты, что дело идет не о шуточной опасности.

Степан тем временем шептался с Вавилой, с которым он был из одной деревни.

— Смотри, Вавилушка,— шептал он ему,— коли я не вернусь, коли умру, так ты не оставь ее, не дай в обиду.

— Ну, Степан, скоро ли? — сказал Никита, ударяя его по плечу.

— Помни же, Вавилушка! — повторил Степан.

И они пошли.

Звонкие шаги удалявшихся товарищей и заунывный голос Никиты, затянувшего про буйную волюшку, сгубившую молодца, еще несколько минут поддерживали бодрость промышленников, оставшихся в ущелье. Но когда шаги смолкли и последний звук песни замер в воздухе, они почувствовали себя будто заживо заколоченными в гроб. Совершенная темнота ущелья и тишина, нарушаемая только однообразным завыванием ветра, усиливали их беспокойство. Страшные рассказы, которые они припоминали весь тот вечер, невольно шли им в голову. Веселый Савелий пробовал шутить, но шутки ему не удавались, и разговор сам собою склонился к предмету, занимавшему умы всех. Начались новые, еще более страшные рассказы об убийствах и жестокостях дикарей; перебирались также разные события, в которых русские избегали явной погибели хитростию, притворной покорностию, неожиданной помощью. Тогда собеседники вздыхали спокойнее, и в одну из таких счастливых минут Вавило, сохранявший более других присутствие духа, сказал:

— Братцы, да ведь так мы в самом деле трусить начнем; сидим в темноте да говорим про такие ужасти, что и среди бела дня мороз по коже подерет. Разложим огня да кашу давайте варить.

— Ладно! Молодец Вавило! Умное слово сказал!

Но едва успели они вырубить огня и раздуть несколько прутьев, как над головами их явственно послышались человеческие шаги.

Вздрогнув, оцепенели они в том положении, в каком застигло их сознание близкой гибели, и стояли в мрачном ущелье, тускло освещенном красноватым пламенем догорающих прутьев, как пять статуй, предназначенных олицетворять ужас.

Шаги слышались всё дальше и дальше и наконец исчезли в однообразном завывании ветра.

Мысль, что опасность если не миновала, то отсрочилась, мигом сверкнула в уме каждого, но долго еще никто не решался произнесть ни звука. Наконец Савелий, тронув за руку своего соседа, тихо прошептал:

— Ушел!

— Ты лучше скажи: ушли! — отвечал тихий, испуганный голос, по которому легко было догадаться о плачевном состоянии физиономии Тараса, стоявшего рядом с Савельем.— Ты лучше скажи: ушли; ведь их, я думаю, человек семьдесят было.

Как ни были они испуганы, однако ж общая усмешка довольно громко пронеслась по ущелью. Но вдали снова послышались шаги, и промышленники снова оцепенели. Шаги всё приближались, наконец стихли, и вдруг нечеловечески громкие, странные звуки раздались над головами промышленников. То было какое-то дикое пение.

Костер уже совершенно погас: промышленники не могли читать на лице друг друга; но одна и та же мысль — мысль, что неизвестное существо, бродившее над их головами, наконец открыло их пребывание и дает знать о том своим многочисленным товарищам, в одну минуту мелькнула в уме каждого, и они обменялись своей догадкой, ухватившись, будто по условному знаку, за руку друг друга и составив живую цепь.

Песня замолкла; шаги начали удаляться, потом снова приблизились; снова загремели и полились дикие звуки, в которых слышались то человеческий плач, то хохот, то подражание звериным крикам, и всё покрывалось звонким, раздирающим ухо свистом.

Наконец один из камней, составлявших свод ущелья, с шумом зашевелился и грохнулся. С усилием сжав руки друг друга, промышленники разом нацелили свои винтовки в ту сторону. Вслед за падением камня раздался другой звук: будто живое существо спрыгнуло в ущелье. И точно, через минуту в той стороне послышался шорох, потом шаги и человеческий голос, произносивший странные отрывочные слова.

Наконец угол ущелья, противоположный тому, в котором находились промышленники, вдруг осветился слабым, едва приметным светом; потом свет вспыхнул, и они увидели человеческую фигуру, нагнувшуюся над костром и усердно раздувавшую пламя.

Свет усилился; фигура выпрямилась. Неизвестное существо, нарушившее так неожиданно уединение промышленников, было покрыто лохмотьями из собачьих кож шерстью вверх; во всю длину его спины привязан был сноп травы, в котором, при внимательном рассмотрении, можно было угадать изображение кита, довольно искусно сделанное. Голова его также была покрыта звериными кожами, и вообще оно скорее походило на отвратительное и ужасное чудовище, каким и сочли его промышленники, чем на человека.

Вдруг чудовище, припевая и приплясывая, ухватилось руками за камень, висевший над его головою, приподнялось и исчезло.

Промышленники, не решавшиеся стрелять, чтоб не открыть выстрелом своего убежища, теперь увидели свою ошибку и жалели о ней.

— Ну, теперь мы погибли! — простонал Тарас.— *Он* пошел за своими! Схватят нас, перевяжут да жилы из живых и потянут.

Но в ту минуту чудовище снова спрыгнуло в ущелье, таща за собой огромную сухую березу. Наломав толстых сучьев, чудовище бросило березу на огонь, уселось на корень дерева, вершину которого охватило уже пламя, и достало нож.

Теперь оно сидело так, что свет падал прямо на его широкое изуродованное лицо, которого лоб и щеки покрыты были седыми волосами и звериными лапами, падавшими с головы.

Другие мысли, другие ужасы закрались в суеверные умы промышленников, когда они внимательно рассмотрели своего гостя, в котором так мало открывалось признаков существа человеческого.

Чудовище делало из березовых обрубков остроголовых болванчиков, навязывало на них траву и симметрически расставляло их кругом костра, кривляясь и моргая своими широкими сверкающими глазами...

Обставив костер болванчиками, чудовище начало бегать и плясать около него с кривляньем и криками, потом упало и несколько минут оставалось неподвижно, как мертвец; наконец вскочило и начало бросать в огонь своих болванчиков, причем выло волком, ревело медведем, испускало отвратительные звуки, напоминавшие мычанье сивучей, и с удивительным искусством подражало голосом разным звериным крикам.

Три собаки, мирно спавшие в противоположном углу, на пепле погасшего костра, которого не думали поддержать промышленники, вдруг проснулись, насторожили чуткие уши и слегка урчали, не смея пошевелиться.

Чудовище умолкло. С минуту оно разводило руками и вдруг закричало таинственным голосом: «Гиш! гиш! гиш!», как будто призывая бесов. Но бесы не являлись. В порыве ярости чудовище затопало, заскрежетало, забегало, всё громче и громче повторяя свое заклинание. Собаки, не слыша больше звериного рева, ободрились и кинулись за ним, рвали его лохмотья и страшно лаяли. Всё грозней и нетерпеливей повторяя свое заклинание, чудовище наконец наткнулось на промышленников, окованных суеверным ужасом.

— Акхай-хай-хай! — торжественно заревело оно и начало плясать со всеми признаками неистовой радости.

Наплясавшись, оно крикнуло повелительным голосом: «Акхалалалай!» — и остановилось перед промышленниками в грозной позе, с простертой рукой, будто требуя немедленного ответа.

Но промышленники молчали, только собаки продолжали лаять.

Чудовище повелительней повторило свой крик, еще и еще раз,— ответа нет! Чудовище начало метаться, нетерпеливо затопало и наконец кинулось с своим повелительным криком в толпу промышленников.

— Акхалалалай! — крикнул раздирающим голосом Тарас; и остальные промышленники, будто обрадованные догадкой товарища, разом гаркнули: — Акхалалалай!

Чудовище отступило, ярость его в минуту укротилась. Только собаки залились неистовей.

Теперь чудовище смотрело на промышленников самыми дружелюбными глазами: оно подбегало к ним, гладило их, брало за руки, разводило по ладоням их своими жесткими пальцами и с радостным лицом бормотало непонятные слова, кивая одобрительно головой. По временам оно снова произносило свое дикое восклицание, промышленники отвечали ему тем же, и чудовище одобрительно кивало головой.

— Акхалалалай! — кричало чудовище.

— Акхалалалай! — кричали промышленники.

Собаки громко лаяли...

Вдруг шаги и голоса людей послышались в отдаленном конце ущелья. Промышленники вздрогнули. Тарас

потерял память и рухнулся на землю... Только чудовище сохранило прежнее спокойствие и продолжало бормотать и кривляться.

Ущелье огласилось громким хохотом.

— Никита! — радостно воскликнул Лука.— Ты?

— Я! — отвечал резкий бас.

— И Степан с тобой?

— Со мной.

Неожиданное появление товарищей скоро возвратило употребление рассудка и языка испуганным промышленникам.

— Здесь леший, братцы, леший! — заговорили они в один голос, но вдруг замолчали, увидав, что Степан уже крепко держал чудовище, которое кричало ему:

— Акхалалалай!

— Акхалалалай! — насмешливо отвечал Степан.

— Как она сюда попала?

— Кто она?

— А вот она.

Степан указал на чудовище.

С разными прикрасами, порожденными страхом, промышленники, поправляя и дополняя друг друга, пересказали появление лешего.

Выслушав рассказ, Никита и Степан принялись хохотать.

Им вторил Савелий, который, даже и не зная причины смеха, не мог удержаться, когда другие смеялись.

— Подлинно, у страха глаза велики,— сказал Степан.— Ну какой она леший? Что вы, братцы? Мы ее с Никитой давно знаем. Она просто баба. Была прежде шаманкой, шаталась по острожкам и много шаманством добывала, морочила своих безмозглых дураков, а потом вдруг рехнулась; пошла бродить по горам, по лесам; забрала в голову, что все бесы ей подвластны, призывает их, сердится, когда они к ней не придут, а придут — радуется и кричит: «Акхалалалай!»

— Так, стало, она нас за бесов приняла? — заметил Тарас.

— А вы ее за лешего — круговая порука,— с хохотом отвечал Никита.— Ну, ведьма,— прибавил он, тормоша старуху, которая силилась освободиться.— Рада, что бесов вызвала? Гиш! Гиш! Гиш! — дразнил он ведьму.

Ведьма забормотала.

— И как она забралась сюда? — продолжал Степан.—

Прежде и она сюда ходить боялась. Видно, теперь совсем рехнулась.

— Куда ни шло,— сказал Никита,— что вы испугались, а то худо, что она, проклятая, нас сбила с толку. Мы, как увидали, что у вас по головам человек ходит, да услыхали крики (а она шальная так орет, словно сто человек), так и воротились... думали, что уж на вас камчадалы напали!

— Так вы так ничего и не узнали?

— Где узнать! Мы было только начали спускаться с горы. Знаете что, братцы! Ждать хуже будет; теперь, коли на нас и нападут еретики, так, может, их еще немного, отобьемся; а больше ждать будем — больше их наберется; тогда отсюда не выдерешься. Пойдемте-ка, пока ночь; нам ведь только с горы удрать да за Авачу перевалиться. Может, их и не так еще много,— и нападут, так отобьемся; а может, их и совсем нет... И ты, Степан, уж не ее ли, полно, видел?

Степан нерешительно молчал.

— Право, пойдемте, братцы! — продолжал Никита.— Будем ждать — хуже будет!

— Идти так идти, будь по-твоему! — сказал Степан.— А? Так, что ли, братцы?.. Ну, ведьма! пришел твой конец! Много побродила по свету, пора и на покой! Надо ее, братцы, покончить; она дура-дура, а в душу ей не влезешь, может, и подослана... Еще выдаст, проклятая!

— Жаль заряда на нее тратить, да и рука не подымется,— сказал Никита.— А вот что: привяжем ее, и баста!

Промышленники привели ведьму, еще не понимавшую их страшного намерения, к большому одинокому дереву почти на вершине горы.

Отчаянные вопли огласили воздух, когда Никита обвил ее веревкой и притянул к дереву. Она рвалась и ревела и наконец кинулась в ноги Никите.

— Держите, братцы, вырвется,— сказал он, взяв веревку короче и подняв шаманку.

Но она перестала биться, и дикие жалобные звуки, сопровождаемые умоляющими телодвижениями, сменили неистовый порыв отчаяния.

— Нельзя, нельзя, старуха! — сурово говорил Никита, не поднимая головы.— Вольно было заходить на гору! Ты нам ничего не сделала худого, да сделать можешь.

И он прикручивал ее к дереву.

Товарищи молча помогали ему.

— Кабы мы знали,— задумчиво промолвил Степан,— что ты не выдашь нас по глупому своему разуму, бог бы с тобой, живи!

— Да и что твоя жизнь? — говорил чувствительный Лука необыкновенно добрым и грустным голосом.— Слов нет, страшновато, как мы уйдем да останешься ты одна, да некому тебя будет отвязать, да начнешь ты умирать с голоду; да ведь пройдет, ведь как умрешь — ничего... и все мы умрем... лучше — страдать не будешь, не будешь терпеть голоду и холоду; ведь у тебя, сердечной, чай, и избушки-то нет... Нет? — спросил он, обращаясь к Степану.

— Нет.

— Ну, вот видишь! — продолжал Лука, вздохнув свободнее.— Да и детей нет, сродников нет, некому тебя пригреть, накормить, некому и пожалеть, так оно, как порассудишь...

— Лучше, гораздо лучше ей так умереть! — утвердительно порешил Тарас и крякнул: так усердно помогал он Никите.

— Ее бы так привязать, чтоб хоть лечь можно было!— заметил Иван Каменный.

— Что ты, что ты? — с испугом возразил Тарас.— Уйдет! Начнет вертеться — веревку перекрутит, а не то перегрызет.

Ничего не ответив, Каменный глубоко вздохнул.

Прикрутив старуху, промышленники, не сговариваясь, опрометью кинулись прочь. Когда исчез последний луч надежды, жалобные стоны шаманки сменились ужасными, раздирающими душу проклятиями, безумными угрозами. Эхо быстро подхватывало и повторяло их, наполняя пустыню чудовищными звуками. Преследуемые ими, промышленники долго бежали, не останавливаясь и не оглядываясь, наконец перевели дух и пошли осторожно. Ночь была темна и тиха, и никакой посторонний звук не заглушал страшных воплей старухи. Уже начинало светать, когда спустились они к подножью горы, где начинался густой лес. Вдруг от каждого дерева опушки отделилась громадная тень: тихо и неожиданно окружила промышленников толпа вооруженных дикарей; грянуло несколько выстрелов, потом пронесся радостный, победоносный крик. Потом всё смолкло, и опять ничто не мешало слышать диких, раздирающих проклятий и стонов безумной шаманки, повторяемых эхом пустыни.

IV

Светает, но нет и признаков солнца. Небо, воздух, земля, воды и горы — всё представляется сплошной массой тумана. Глаз не видит далее десяти шагов.

Три человека один за другим пробираются по узкой тропинке. В двух из них по одежде, лицу и разговору тотчас можно узнать туземцев. Они среднего роста, плечисты и присадисты, с огромными ртами и толстыми губами; глаза их малы, лица смуглы и плоски. На них широкие кухлянки из выделанных звериных кож, окаймленные белым собольим мехом и украшенные сзади длинными хвостами, которые теперь заткнуты за пояс. Они вооружены с ног до головы: лук, стрелы с каменными копейцами, сайдаки с ремнями из китовых жил, чекуши (костяные рогульки с четырьмя рожками на длинных ратовьях) — таково вооружение двух путников.

Третий, одетый в серый армяк и большие сапоги черной кожи, безоружен. Руки его связаны. Стан обхвачен ремнем, концы которого прикреплены к поясам туземцев, поместивших его между собою. Он пленник.

— Брыхтатын! — кричит передний туземец, повернувшись к нему.

Но пленник так погружен в свои мысли, что не слышит крика.

— Брыхтатын! — кричит другой туземец.

Пленник продолжает идти повеся голову.

— Брыхтатын! — сильнее вскрикивают оба туземца и разом вытягивают своего пленника ремнем.

Он вздрагивает и поднимает голову.

— Будешь мне хорошо служить? — спрашивает изломанным русским языком туземец, идущий впереди.

— Буду,— покорно отвечал пленник.

— А мне? — спрашивает другой.

— Буду.

— Хорошо, брыхтатын, иди! — кричат туземцы.

Брыхтатын — значит огненный человек. Так звали русских камчадалы, когда не знали еще огнестрельного оружия и думали, что русские, стрелявшие в них, дышат огнем. Итак, пленник — русский, и по высокому росту нетрудно узнать в нем Никиту.

С лишком восемьдесят человек окружили промышленников, когда они спустились с горы. Не успели они сделать по выстрелу, как были скручены. Никита достался

на долю двух камчадалов, Камака и Чакача, которые теперь вели свою добычу домой.

Никита молчал; лицо его было мрачно и сердито. Камак и Чакач вели оживленный разговор, произнося половину слов горлом, половину ртом, протяжно, с странными телодвижениями. Камак и Чакач, как и все камчадалы, умели мастерски передразнивать людей и зверей, и Никита иногда невольно вздрагивал и осматривался: так живо они напоминали ему его товарищей и даже его самого, разговаривая о недавнем счастливом нападении.

Иногда на пути попадались им столбы, которые ставили туземцы в честь своих злых и добрых гамулов и мимо которых не проходили, не бросив чего-нибудь съестного, отчего кругом столбов всегда отвратительная вонь. Камак и Чакач тоже кидали к столбам рыбьи хвосты и головы, любя, подобно всему своему племени, приносить жертвы своим богам, но такие, в которых не нуждались сами.

Когда ручьи, горы или пропасти затрудняли пути, Камак и Чакач начинали браниться и проклинать: они ругали своего Кутху, зачем он сделал в их стране так много гор, страшных болот, быстрых ключей и рек, зачем посылает столько бурь и дождей. Встретив старую высокую ольху, в которой, по мнению их, жил бес (канна), Камак и Чакач выстрелили в нее из своих луков; Никита заметил, что дерево всё исстреляно.

Путь, замедляемый такими остановками, тянулся довольно медленно. Тропинка была так узка, что на ней устанавливалась только одна нога в прямом направлении; но камчадалы, ступающие ступень в ступень, шли свободно. Только Никита, движения которого были связаны, часто спотыкался и получал удар ремнем или чекушей.

Они шли два дня и две ночи почти без отдыху. Наконец на третий день, около полудня, когда туман несколько рассеялся и солнце выглянуло из-за темных облаков, Никита увидел вдали множество высоких остроконечных башен.

То были летние жилища камчадалов, называемые острожками; чрезмерная вышина их объясняется местными условиями: будь шатры ниже, звери не дадут покоя жителям. На девяти трехсаженных столбах, поставленных в три ряда в равном расстоянии и связанных перекладинами,— высокий островерхий шатер с двумя входами. Входят в шатер по стремянке, которая отнимается, когда жители уходят,— таково их устройство.

Острожек, куда пришли наши путники, состоял с лишком из пятидесяти таких шатров. Проходя улицей, Никита встречал много мужчин и женщин, сушивших рыбу, и детей, игравших и кричавших. Женщины и мужчины были одеты одинаково — в кожаные кухлянки; иные же, как мужчины, так и женщины, ходили просто нагие, неширокий пояс составлял всю их одежду; дети все без исключения были нагие. Подошед с своими владельцами к одному шатру, Никита был поражен странным зрелищем: две женщины, привязав ремень за шею покойника, тащили его прочь; оттащив немного от жилья своего, они бросили его, и не успели уйти, как целая стая собак кинулась к трупу и начала его терзать.

Женщины между тем сходили в острожек, притащили целую груду платья и тоже кинули подле покойника.

То были камчадальские похороны. Звери в человеческом образе, они бросали трупы своих покойников собакам, в том уповании, что, кого съедят собаки, тот будет ездить в новой жизни на добрых собаках. С умершими они выбрасывали их платье и обувь, полагая, что надевший его сам тотчас подвергнется смерти.

Выброшенный покойник был отец Камака и Чакача, родных братьев. Они даже не взглянули в лицо своему отцу, но, взобравшись в шатер, принялись делать очищение, которое состояло в том, что дикари поочередно пролезали в кольца, сделанные из прутьев. А женщины, тащившие покойника, поймали двух птичек — одну сожгли, а другую разделили между всеми членами семьи и съели,— тем и кончилось очищение. Никита, которого жизнь потянулась теперь посреди беспрерывных трудов, неволи и побоев, скоро имел случай насмотреться таких диковин, какие немногим приходится видеть на веку.

Дикари ели вместе с своими собаками; любимое лакомство их — юкола, гнилая рыба, которую они квасили в ямах и употребляли в пищу уже тогда, когда она вся краснела и распространяла невыносимую вонь; другое любимое блюдо их — икра, тоже проквашенная до гнилости, которую пожирали они с древесной корой. Третье — толкуша из кислых ягод и сладкой травы, называемой сараною, которой отвратительное приготовление повергало в ужас: баба, с рожденья не мывшая рук, погружала по локоть обнаженную грязную руку в поганую чашу с толкушей и, размешав ее, вынимала руку, белую как снег. И таких лакомств каждый камчадал пожирал столько,

сколько не съесть и двадцати человекам. Запивали они водой, которую уничтожали в страшном количестве. На ночь каждый дикарь ставил себе ведро воды, наполненной льдом и снегом, а к утру не оставалось ни капли. Опьянение находили они в воде, настоянной мухоморами, и в самих мухоморах, употребление которых доводили до совершенного безумия, убийства и самоубийства.

Ни сами они не мылись, ни посуды своей не мыли; ногтей не обрезывали, и все вообще пахли рыбою, как гагары; волос на голове не чесали, но расплетали на две косы, и мужчины и женщины. У которой жидки волосы, та наворачивала парик весом до десяти фунтов. Только с покорения Камчатки женщины стали умывать лицо, а потом и белиться и румяниться, употребляя вместо белил и румян гнилое дерево.

Свадьба, рождение, так же как и смерть, сопровождались у них особенными обрядами. Когда камчадал желал жениться, ему следовало прикоснуться к обнаженному телу своей невесты. Но обряд сватанья представлял часто трудности непреодолимые. В то время невеста поступала под прикрытие женщин всего острожка; ее одевали тогда в несколько кухлянок и опутывали ремнями и сетями. Когда жених, улучив удобную минуту, бросался к ней, женщины поднимали страшный крик, били его, таскали за волосы и царапали. Если жениху посчастливилось, несмотря на такие трудности, достигнуть цели, невеста умильно кричала: «Ни! Ни!», и он вступал в свои права. Но бывали примеры, что он не добивался невесты в семь лет и кончал увечьем, сброшенный бабами с шатра. На другой день свадьбы молодая с подругами каталась по реке, а мужчины, почти нагие, в том числе и молодой, вели на шестах лодки, называемые батами. Затем начинался пир. Жених не заботился о чистоте невесты; напротив, зять упрекал тещу, когда находил жену свою непорочной. Разводились они очень просто: наскучив жить вместе, он женился на другой, она выходила за другого. Иные имели по две и по три жены, которые жили между собой в добром согласии.

Отцы горячо любили своих детей, но дети платили им совершенным равнодушием. С малых лет они бранили и обирали своих отцов; ничего у них не просили, но брали сами. Когда сын хотел жениться, отец не смел противиться его выбору и говорил только: «Хватай, буде можешь и на себя надеешься». При похоронах только в пользу мла-

денцев делали они исключение, погребая тела их в дуплах дерев. Живых детей иногда бросали собакам. При рождении двойней одного младенца непременно умерщвляли.

О Кутхе и о других своих богах и духах имели они самое смешанное и темное понятие. Признавая Кутху творцом своим, они не допускали, чтоб он прилагал о них попечение. Главный морской бог их, Митг, также, по их мнению, высылал рыбу в моря и реки не для их питания, но для добыванья лесу, нужного ему на баты. Вообще они отнюдь не верили, что бог заботился о благе их.

Невольный и неизбежный свидетель безобразного быта дикарей, Никита вел среди них мученическую жизнь, пока одно обстоятельство не переменило его положения.

Хозяин его Чакач, желая подружиться с Талбаком, жителем соседнего острожка, жарко истопил свою юрту, приготовил несметное количество кушанья, позвал Талбака и начал угощать его, как требовал обычай.

По вступлении гостя в юрту и гость и хозяин разделись донага. Хозяин, скутав юрту, усердно потчевал гостя и поминутно поливал раскаленную каменку. Накроив ремнями тюленьего и нерпичьего жира, он становился перед сидящим гостем на колени, держа в одной руке жир, в другой нож; жир совал ему в горло, крича сердитым голосом: «Та (на)», а ножом отрезывал у подбородка сколько не вошло в рот. Словом, исполнял всё, что предписывалось у них самым утонченным гостеприимством; гость с своей стороны исполнял всё, что требовалось в его положении: изумительно долго выдерживал нестерпимый жар, страшно ел; наконец силы изменили ему, он стал откупаться: единственное средство в таком случае получить свободу, не обидев хозяина!

Отдав Чакачу лучших своих собак и всё, чего пожелал щедрый хозяин, а взамен получив обноски и хромых собачонок, Талбак уехал домой, совершенно довольный угощением.

Через несколько дней он позвал Чакача.

Началась та же история. Угощение было так хорошо, что Чакач тоже не выдержал и должен был откупаться. Он отдал всё,— не отдал только своей любимой породистой собаки, которой особенно хотелось его хозяину.

То была обида кровная,— Талбак пришел в ярость и поклялся отомстить!

И вот однажды ночью, когда Никита спал, привязанный, как собака, к стене, раздались дикие крики мстите-

лей. Никита понял, что победа уже совершена! В войнах, которые вели камчадалы между собой, трудность победы состояла обыкновенно в том, чтоб успеть забраться на верх шатров и стать у двери с чекушей. Осажденные, по устройству шалаша, могли выходить оттуда не иначе как по одному; таким образом, небольшое число осаждающих могло перерезать и перевязать жителей всего острожка. Так случилось и теперь. Осторожно и тихо пробравшись на высоту шатров, мстители перерезали по одному мужчин, которые пробовали обороняться, и стали врываться в шатры, связывая детей и женщин и предаваясь грабежу. Полусонный Камак, еще не сообразив хорошенько опасности, толкнулся в дверь,— и чекуша сразу свалила его! Раздирающий крик брата обезумил и оцепенил Чакача. Нагой и неподвижный, он стоял посреди темного шатра, как статуя. За дверью раздавались неистовые крики. Дикарь схватил нож и приставил к своей груди, но вдруг опустил его и нагнулся к жене, которая еще спала! Он занес нож...

Страшная догадка мелькнула в голове Никиты: он знал, что дикари, когда нет надежды к спасению, собственными руками режут жен и детей, бросая их трупы врагам, и потом сами низвергаются с вершины шатров.

— Чакач! — закричал он раздирающим голосом.

Дикарь отступил, побежал к своему пленнику и повалился в ноги ему. Никита, как умел, потребовал, чтоб он развязал его. Дикарь разрезал ремни.

— Винтовку! — закричал Никита.

Дикарь дал ему винтовку и снова повалился к ногам его. Никита судорожно вложил шомпол в дуло винтовки: он помнил, что успел зарядить ее, выстрелив при нападении дикарей; но не разрядил ли ее Чакач?

Нет, винтовка была еще заряжена!

В ту минуту, как Никита с замиранием сердца осведомлялся, цел ли заряд, разъяренный Талбак, наскучив ждать, ворвался в шалаш с тремя товарищами. Все четверо кинулись к Чакачу.

— Стреляй! — умоляющим голосом крикнул Чакач, но Никита медлил: в единственном выстреле, который находился в его распоряжении, он видел слабую надежду к собственному спасению. Притаившись в темном углу, Никита наблюдал каждое движение дикарей, которые не убили, а только связали Чакача: Талбак, видно, хотел на свободе замучить своего врага медленной смертью. Но когда раздались в шалаше вопли детей и женщин,

которых дикари принялись беспощадно резать, Никита забыл свои расчеты и безотчетно спустил курок.

И что ж? не упал ни один дикарь, не разбежались остальные, как ожидал Никита, не прибавилось даже никакого нового звука к бешеным крикам дикарей и стенаниям умирающих, облитых собственной кровью: ружье не выстрелило!

Мороз пробежал по телу пленника. В отчаянии хотел он броситься на толпу врагов своих, но в руках их были ножи и чекуши, на поясах лук и стрелы,— а у него никакого оружия, кроме предательской винтовки!

Дорезав последнюю старуху, дикари начали грабить — и тогда только увидали его. С громким криком все разом кинулись они к нему. Сам не зная, что делает, он взвел курок, прицелился и снова спустил: ружье выстрелило!

Когда дым рассеялся, в шатре оставались только Никита, да один товарищ Талбака, боровшийся со смертью, да связанный Чакач: дикари так испугались выстрела, что даже позабыли дорогую добычу.

Что делать? Если б пули и порох, Никита мог еще надеяться на спасение: дикари бегут огнестрельного оружия; но куда девал Чакач его огнестрельный запас? Никита обшарил все углы — не нашел; пробовал спрашивать у Чакача, но Чакач совсем обезумел: глядел бессмысленно и с усилием бормотал несвязный вздор.

Держа винтовку впереди, Никита вышел из шатра и остановился за порогом. Страшное зрелище представилось ему. Ночь была темная и ветреная. Некоторые шатры были уже зажжены, и ветер быстро раздувал пожар, ярко освещавший картину грабежа и разрушения. В других шатрах еще кипела буйная деятельность. Дикари то взбирались вверх, то сходили вниз, отягченные добычей, громоздкие вещи с грохотом летели вниз. Крики и стон был ужасный.

Увидав Никиту с ружьем, Талбак и его товарищи, числом до двадцати, быстро отпрянули как можно дальше, а некоторые прислонились к шатру, чтоб не достало пулей.

— Сдавайся! — кричали Никите дикари.

Вместо ответа он прицелился; толпа отхлынула еще дальше. Покончив грабительство, к ней пристали остальные мстители; крики сделались настойчивее и громче. Никита, уже начинавший понимать камчатский язык, догадался, что они хотят поджечь шатер, если он не сдастся.

Но сгореть и сдаться — одно другого стоило. А месть за убитого камчадала? Нет, сгореть было выгоднее!

— Выдай нам Чакача! — гаркнула толпа.

Никита понял, что если шалаш еще не горит, так потому, что Талбаку хочется иметь живым своего врага, и слабая надежда блеснула ему.

— Отпустите, так выдам Чакача,— отвечал он.

Дикари обещали отпустить.

— Поклянитесь!

Они поклялись всеми своими богами и гамулами. Никита знал их предательский нрав, но выбирать ему было не из чего: он пошел в шатер и взвалил на плечи Чакача,— авось сдержат клятву!

Чакач понял свою участь.

— Убей меня, убей! — умолял он раздирающим голосом.

— А зачем меня на привязи, как собаку, держал? — сказал Никита и вышел с ним на порог.

— Брось винтовку! — крикнула ему толпа.

Он поставил винтовку, и тогда только толпа приблизилась к шалашу, но тотчас же с торжественным ревом, поймав в воздухе Чакача, брошенного Никитой, стремительно отхлынула.

— Ну, теперь ступайте домой! — сказал Никита.

— Сдайся, а не то подожжем! — было ему ответом.

Полный бессильной ярости, Никита осыпал толпу и русской и камчатской бранью, но предатели отвечали ему хохотом, повторяя:

— Сдавайся!

Он упорствовал. Тогда между дикарями пронесся крик «Поджигай, поджигай!», и стоявшие у стены шалаша подожгли его. Ветер скоро раздул искру; основание шалаша обхватило пламенем. Еще несколько минут — и он обрушится!

— Ну, вот теперь всё равно будешь у нас! — кричали ему дикари.

— Врете вы, проклятые нехристи! — отвечал им Никита и ушел в шалаш.

Прошло немало времени, а его нет: заключив, что он лишил себя жизни, как поступил бы каждый из них в таком случае, дикари равнодушно ожидали, пока догорит основание шалаша, чтоб полюбоваться хоть трупом упрямого пленника. Вдруг на верху шалаша послышались громкие и странные крики, смешанные с страшным топо-

том, будто скакал целый табун лошадей,— и наконец показалась чудовищная фигура: она была ростом не менее трех сажен и вся окружена пламенем; ни головы, ни рук, ни ног у ней не было, но она быстро вертелась, испуская повелительные и угрожающие крики; искры пламени, раздуваемого ветром, окружали ее, но, казалось, огонь не вредил ей.

Пораженные ужасом дикари бросились бежать.

С высоты шатра, объятого пламенем, фигура долго провожала их взором и вдруг понизилась двумя саженями. Отбросив два горящие пучка сухой травы, она начала сбрасывать с себя разный хлам и звериные шкуры — и скоро превратилась в Никиту.

Никита быстро спустился по стремянке, и лишь спрыгнул на землю, как шалаш рухнулся, вместе с длинными ходулями, которыми досужий Никита забавлял детей Чакача и которые так чудесно теперь помогли ему...

V

Никита скоро вышел на ту самую тропинку, по которой Камак и Чакач привели его в свой острожек; цель его была пробраться к тому месту, где покинули они свои байдары и где условились сойтись, если б обстоятельства их разлучили. Идти прямо в юрту казалось ему опасно. Ни пуль, ни пороху у него не было, и быстрота ног теперь весьма ему пригодилась; он ловил молодых зверей и питался ими. Так шел он три дня, днем пробираясь лесами и кустарниками, а ночью выходя на тропинку; на третий день к вечеру достиг он высокой горы, составлявшей берег той реки, где спрятали они свои байдары. Поднявшись на гору, Никита стал спускаться к реке и скоро напал на тот самый след, который много дней тому назад проложил вместе с своими товарищами среди высокой травы, взбираясь на гору. Он вздохнул свободнее: здесь в первый раз повеяло на него успокоительным чувством безопасности. Надежда, что, может быть, встретит он тут кого-нибудь из товарищей, придала ему силы, и он скоро спустился к знакомому месту.

При входе под навес скалы, далеко выдававшийся над рекой и составлявший вместе с тростником, росшим по мелководью, довольно незаметное убежище, Никита услышал легкий шум. Чуткое ухо его привыкло различать

походку зверей и шелест, производимый ими: шум показался ему подозрительным, как будто удалялся человек.

Крепко сжав рукоять ножа, которым не забыл запастись в минуту бегства, Никита раздвинул ветви...

Радостная улыбка осветила лицо промышленника: байдары были на том же месте, где они их оставили. Но никого не было при них! Осматриваясь, однако ж, внимательнее, Никита открыл на мокром песке, до которого в бурю дохватывали волны, следы человеческих ног. Следы были глубоко вдавлены; подошва отпечатывалась на них так резко, что даже можно было счесть гвозди, которыми были подкованы сапоги. Никита знал обувь дикарей и заключил, что здесь был кто-нибудь из его товарищей. Кто же? И давно ли? Судя по свежести следа, выходило, что очень недавно. Где же он теперь? Неужели не дождался никого и ушел? Но куда? И зачем он не взял одной байдары, чтоб переплыть на тот берег, где мог считать себя безопасным? С такими мыслями Никита вошел в одну байдару, и здесь новые следы недавнего присутствия человека поразили его; на борту байдары лежали остатки жареной рыбы. Никита обнюхал ее, она была свежа; он внимательно осмотрел один кусок: на вогнутом крае его ясно оттиснуты человеческие зубы, как будто только за минуту кто-нибудь утолял здесь голод. Кто же? И где таинственный товарищ?

Увы, его нет! Надежда увидеть товарища, так скоро исчезнувшая, произвела болезненное впечатление на мысли промышленника. Он глубоко почувствовал свое одиночество, свою беззащитность среди враждебной пустыни, ежеминутно грозившей выслать на него новые полчища врагов. На всем огромном пространстве, окружающем его, нет для него безопасного уголка, нет родного лица, родного звука! И неужели должен он опять одиноко пуститься в бесконечную опасную дорогу? И где конец ей и какой конец? Многое выносит русская душа в товариществе, скоро беспечность и удаль берет в ней верх над унынием в самом отчаянном положении; на людях и смерть красна,— но одному тяжело в диком и враждебном краю, особенно когда нечем размыкать кручину.

«Кабы хоть винца теперь,— подумал Никита,— дал бы за стаканчик лисицу черно-бурую, не пожалел бы бобра осистого. Эх, горькая наша долюшка!»

Он вспомнил любимую песню, которую певал на селе в хороводе, и затянул ее своим диким, неуклюжим

басом; слезы дрожали в ней, Никита сам чувствовал: выходило очень нехорошо, нескладно! Но не было тут ни красных девок, ни парней, ни молодиц; некому было осмеять его; он пел, и эхо повторяло его унылые напевы.

— Эх, сторона ты моя, сторона родимая! — сказал Никита, привстав и тряхнув головой.— Хоть бы пришел теперь Лука чувствительный, али Вавило горемычный, али Савелий смешливый,— где-то он? Чай, уж не смеется теперь, сердечный... Али хоть Тарас трусоватый. Покалякать бы, душу отвести, как у себя на селе мы в хороводы хаживали, как бражку ендовами пили да вино полугарное ковшиками.

И, волнуемый всё более и более потребностью живого существа, с которым можно было бы разделить кручину, Никита наконец закричал в порыве отчаяния:

— Где вы, братцы?.. Степа! Лука, Савелий, Ванюха, Тарас!.. хоть бы уж Тарас...

Вдруг около него послышался шелест; он поднял голову — перед ним стоял Тарас.

— Никита!

— Родной ты мой! Как ты сюда попал?.. Да ты ли, полно? — закричал Никита рыдающим голосом.

— Я, я...

— Не душа ли твоя, Тарасушка?

И он кинулся обнимать Тараса.

— Здорово! Здорово! — говорил Тарас.— Эге-ге, брат! Да что с тобой сталось? Никак, слезы! Уж не беда ли какая настигла? Не получил ли ты худой весточки? Живы ли твои... матушка, как батюшка?..

— А я почем знаю,— сурово отвечал Никита, устыдившийся своего увлечения.— А ты, брат, видно, всё такой же: всё тем же лыком шит; ну, в уме ли ты? Захотел весточки! как она зайдет сюда, голова ты непутная... Весточка! Шутка ли, что сморозил!

И он разразился своим громовым хохотом. Тарас трусливо сказал ему:

— Тише, брат! Тут, пожалуй, услышат...

— Кто услышит?

— Они... плосконосые...

— Да разве они близко?

— А кто их знает. Может, и близко. Нападут опять врасплох, захватят, так уж не справишься. Я вот как один тут сидел, так, почитай, не шевелился, не только громко захохотать: вот и ничего, никто не пришел!

— Да где ж ты был, как я пришел? — спросил Никита.

— Где? Я давно слышал, как ты пришел, даже видел: словно как наш русский армяк. Только, думаю: ну, а как, на грех, да не наш? Вот я и тягу! Спрятался в кусту и слушаю. Ты песню запел. «Господи,— думаю,— наша песня, пра, наша!» Вот и слова слышно: «Сторона ты, дальная сторонушка...» Я сам ее певал. Ну, а как не наша? Прочистил уши — слушаю: точно наша! И уж хотел бежать к товарищу: ну, а как, дескать, плосконосый выучился по-нашему да поет, чтоб нас, православных, в ловушку приманить?.. Так ноги опять и подкосились! Да уж как ты гаркнул: «Лука, Степан, Тарас!» Так тут я и разуверился: мудрено, дескать, нехристю имена наши узнать! Постоял еще, пока и в другой раз ты нас окликнул, и, была не была, раздвинул куст!

— Трусоват, брат, ты, нечего сказать,— заметил Никита.— Ну да уж господь с тобой! Видно, такой уродился. А ты вот рассказывай, где побывал и как врагов избежал?

— Я избежал? Нету, брат, шутишь,— отвечал Тарас.— Я только вот не больше недели как с ними простился.

— Как простился?

— А так, я на волю пошел, а они на дно морское пошли.

— Что ты?

— Ей-же-ей!

— Ну, молодец ты, Тарас, коли не врешь. И много ты таким манером нечистых душ утопил?

— Я, брат, ни одной не топил, а душ шестнадцать нечистых на дне морском прибыло.

— Как так?

— Да уж так: разные звери морские за меня постарались.

— Да где же ты был?

— На море, на острову далеком. Ах, Никитушка! Кабы ты знал, каких ужастей я натерпелся, какие страхи вынес и жив остался, вот уж тогда ты, видит бог, не сказал бы, что я трус. Попался я к сущим разбойникам; вот и взяли они меня с собой на промысел, на пустынный остров, а называется он Аланд. Прибывши туда, хозяин мой Якаяч поселился с нами на самом высоком месте острова, и тут-то, брат, душенька моя ушла в пятки, как оглянулся я! Кругом нас лежали, бродили и дрались большущие зве-

рищи, каких я сроду не видывал, да и не дай бог еще увидеть. Величиной больше рослого быка, а видом — как тюлени. Шерстью буры, только шеища голая, с курчавой гривищей... Грива, однак, небольшая,— поправился Тарас, который, стараясь разительней выставить величину зверей, чтоб повергнуть в ужас слушателя, начал теперь поминутно увеличивать самые слова.— Голова небольшая,— продолжал он,— уши короткие, мордище... тоже короткая, кверху вздернутая; а зубы, брат, зубы! Господи ты боже мой! Лютому врагу не желаю попасть на такие зубищи!

— Велики? — с улыбкой спросил Никита.

— У! — отвечал Тарас, махнувши рукой.— В промежутках по человеку завалить можно, и ушей не увидишь!.. Так вот они кругом самого шатра лежат, ходят, стоят, чешут уши и голову задними ластами, смотрят на огонь и на людей смотрят, лижутся, дерутся, самок друг у друга отбивают, с места друг друга сталкивают... Веришь ли ты, Никитушка, один зверище старый, седой совсем, за самку трои сутки дрался, и на теле у него, я думаю, ран тысячу было! А самок у них по две и по три. За самками своими они, брат, сильно ухаживают, вьются около них и заигрывают, а когда она его приголубит, так он, чудище пучеглазое, туда же — утешается и радуется. Около них щенятишки вертятся, увальни неповоротливые, играют, ползают друг на друга, спят. А вечером, брат, самцы с самками и щенятами в море уплывают, тихохонько плавают у берега; щенята, уставши, на спину к маткам садятся, а матки колесом ныряют и сбрасывают их: ступай, дескать, в воду, учись сам плавать! Видишь ли ты, туда же — свои порядки! А как ревут! Веришь ли, от одного реву так душу повертывает, словно живого в гроб заколотили да поют над тобой «вечную память». Зовут же их сивучами, иначе — морские лошади.

— Знаю,— сказал Никита.— Я их видывал. Ну что ж, много ты их перебил?

— И не говори! — воскликнул Тарас, бледнея при одном воспоминании перенесенных опасностей.— Якаяч всегда первого выгонял меня к спящему чудищу: «Иди,— говорит,— да коли его под передними ластами». А ежели я упирался, так он стегал меня ремнями... ужасный подлечище!.. Ему ничего, если зверь проснется да разорвет меня... Ведь они, подлые души, считают нас хуже собак. Нечего делать, и пойдешь, кольнешь чудище под перед-

ними ластами — и поскорей назад, а Якаяч еще ремнем: «Иди еще коли!»

Никита хохотал, Тарас сердился.

— Ты вот смеешься! — говорил он.— Горло дерешь! А кабы на мое место попал? Я уж и сам не знаю, как жив остался. Да сивучи еще ничего, а вот как стали мы на другое место да за котами морскими пошли...

— А, так ты и котиков морских видывал?

— Видывал? Ты спроси, как жив уцелел! В лапах у них бывал.

— Что ж, они люты?

— Ужасти как люты! — отвечал Тарас.— Хоть и поменьше сивучей, а позадорней будут. Видом такие же, только грудастей и тонее к хвосту. Глазищи выпуклые, зубы огромные; шерсть черная с проседью, короткая и ломкая. Нрав чудной! Нагляделся я, как самки у них детей своих любят. Лежат они с ними на берегу страшнейшими стадами, сами больше спят, а котята играют около своих матушек, ползают, плуты, друга на друга, дерутся, борются. Коли один постреленок другого повалит, прибегает тотчас отец, ворчит, разводит детей; лижет пугало морское того, который победу одержал, старается мордой повалить его; и который крепче ему противится, того больше любит: словно веселится, чудище, что вот, мол, сын достоин родителя! А который сын ленив и увалень, того бьет, прочь гонит, и такого матка ласками утешает. А самок у каждого самца по крайности десять либо пятнадцать, а бывает у другого и пятьдесят!

— Будто? — недоверчиво спросил Никита.— Да ты считал, что ли?

— Считал! Сочтешь, как, почитай, с ними жить доведется. Вишь ты, хоть они по тысяче и больше лежат на одном берегу, однако каждый самец с семейством своим особо, а семейство у иного штук сто и сто двадцать, всё жены и дети,— так тут как, голова, не смекнуть! Такими же стадищами они и по морю ходят. И ведь как задорны, коли кто к чужой самке попробует приластиться, уж тут и гляди: драка будет! А которые устареют, так про тех хоть вовсе самок не будь. Старые коты, без самок и без детенышей, лежат дней по сорока на одном месте, не едят и не пьют, а только спят, сивые чучелы! Зато как же люты и упрямы, скорей умрут, чем уступят место, которое себе выбрали, словно гордость показывают! И коли увидят человека, тотчас бросаются к нему, а другие ждут очереди,

смотрят и тоже готовы в драку! Коли понадобится идти мимо их, так уж не миновать беды. Кинешь камень, они на лету подхватят, грызут его, ярятся, ревут и так вот и норовят разорвать человека. Изранишь всего, а он всё бьется, места своего не покидает. А который струсит и побежит, на того все остальные бросаются, и уж тогда человек иди свободно: не тронут! Сами меж собой такую войну подымут, что на версту кругом ничего не видно, кроме потешных драк с ужаснейшим ревом. Вот, брат, какие господь бог привел видеть стражения! Раз Якаяч нарочито раздразнил чудищей: натерпелся я страху, насмотрелся чудес! Котов тысячу билось, рев стоял страшный; а другие коты, которые в море плавали, поднявши мордищи свои, любовались, как товарищи бьются. Смотрели, смотрели, да вдруг в такую свирепость пришли, что повыскакали на берег и тоже пристали — пошла потеха! У, Никитушка! Жутко было смотреть, а какой рев в ушах стоял! Чудно мне, что они, чудища тупорылые, обломы бесчувственные, туда же — правду по-своему соблюдают: коли двое нападут на одного, тотчас вступаются, помогают слабому, колотят обидчика, словно сердятся,— зачем, дескать, не равна драка! Коли устанут, ложатся рядом, словно приятели, а отдохнут — опять драться. И как кончится война, самки за теми идут, которые верх одержали... Порешивши драку, первое дело в воду бросаться и тело свое обмывать. А как выйдут из моря, так долго отрясаются и ластами гладят грудь, чтоб прилегли волосы. Самец прикладывает рыло к рылу самки, будто целуются.

Самцы самок и котят своих крепко любят, а всё-таки обращаются с ними больно жестоко. Коли самка струсит и побежит, бросивши детей, кот за ней: схватит ее зубами, бросает оземь и бьет о камни, пока она не растянется полумертвая. А как она справится, так приползет к нему, ноги его лижет: всячески умасливает и плачет, слезы текут у животины бесчувственной; а самец сердито ходит взад и вперед, зубами скрежещет, поводит кровавыми глазищами и мотает головой, словно медведь. А как увидит, что котят его утащили, тоже начинает плакать.

— Ну, как же ты воевал с ними? — спросил Никита.

— Ах, Никитушка! Где уж их бить! Ты только подумай, голубчик, что разбойник Якаяч взял да и повел меня в стадо морских котов, тоись не меня одного, а нас всех, человек шестнадцать; и тут же сын его был, которого он впервой еще взял на добычу. А котов до двух тысяч было!

Лежат себе, котят своих лижут, с самками заигрывают, спят. Только как завидели нас, рявкнули, приподнялись да стеной на нас и пошли... идут, идут! А рев их словно медвежий. Они, видишь ты, разные голоса имеют: коли ревут, лежа на берегу, ради забавы, так ревут, как коровы; как победу одержат, словно сверчки пищат; как ранены, так словно наши кошки мяучат; а как на драку идут, так медведем ревут — просто беда! Мы все ни живы ни мертвы, а Якаяч стоит впереди, глазом не смигнет,— ему хорошо, он росту, я думаю, гораздо выше тебя будет,— только нам закричал на своем басурманском языке: «Коли кто попятится, брошу котам на растерзание!» Видя беду неминучую, повалился я в ноги ему и кричу: «Помилуй! Помилуй!» Он молчит, а тут вдруг, слышу, рев сильней становится; поднял я глаза: стадо так на нас и напирает. Один котище прямо ко мне. Захохотал Якаяч. Мнет меня кот, слышу, мнет и других,— крик и рев! Конец, думаю, наш пришел. Только как вдруг Якаяч свистнет богатырским посвистом... и какова же штука? Вот уж подлинно чудо, Никитушка! Чудища престрашные испугались — и тягу! Вот поди ты: ни ножа, ни ружья, ни рогатины не боятся, а свисту боятся!

Якаяч хохотал, хохотал, а потом сына своего ласкать и утешать стал. Всю потеху он, видишь ты, устроил ради сына: пусть, дескать, дитятко спозаранку приучается! Такой уж обычай у них, окаянных. Хороши игрушечки, нечего сказать!

Побросались коты в море, плывут за нами берегом да смотрят на нас, выпучивши свои буркалы. А один кот поотстал, не успел в воду броситься. Якаяч пустился за ним, прицелился камнем да глаз ему и вышиб; потом еще прицелился да и другой глаз вышиб. Заорало чудище, заметалось. Мы кинулись к нему и ну его колотить по голове дубинами; дубасили, дубасили,— отдохнем и опять примемся; раз двести огрели, а чудище всё живо было. Ужасно живучи, проклятые! Уж и голова в мелкие кусья раздроблена, и мозг весь вытек, и зубы все выбиты, а чудище всё стояло на задних ластах и билось, места своего не оставляло. Сказывали мне, в прошлом году вздумал Якаяч потешиться: проломал чудищу голову, глаза выколол и пустил его жива,— что, дескать, будет? Чудище изувеченное больше двух недель жило и всё стояло на одном месте, словно какая статуя.

— Ну, как же ты утопил Якаяча?

— А вот слушай. Плыли мы по морю. Навстречу нам котище страшнейший. Вот как сравнялись с ним, Якаяч и пустил в него носком. Копейцо крепко впилось в чудище, а ратовье отскочило. Якаяч крепко держит ремень,— у них, вишь ты, к копейцу всегда длинный ремень привязан,— а животина тупорылая справилась и потащила нас так шибко, что мы словно летели. Скоро пристали к нему и другие, штук с пятьдесят, и все за нами поплыли,— просто мороз по коже подирает, как взглянешь; а тут еще работай, держи ухо востро! Чудища так и споравливают уцепиться передними ластами за край байдары и перевернуть ее, да кормщик не зевал. Мы стояли с топорами да обрубали ласты тем, которые совались к борту... Одного котенка убили и втащили в судно. Потом убили и другого и тоже втащили; а как втащили третьего, стала наша байдара тяжелеть. Ну, думаю я, коли еще одно чудище убьем, хлебну я соленой водицы, как бог свят, хлебну! У них, вишь ты, за самое большое бесчестье почитается кинуть промышленного зверя; и они лучше потонут все, а не кинут. Якаяч так уж на меня и смотрел, что вот, дескать, как только байдара пойдет ко дну, мы тебя, голубчика, и вон! Ей-богу, так смотрел! Ладно, думаю, ты свою жизнь сохраняй, а я о своей подумаю. Берег близехонько, плавать, знаешь ты, я молодец. А и утону, хуже не будет! По крайности уж и врагов погублю... Вот как супроти меня самого один кот сноровился, облапил край,— я, чем бы ему ласты рубить, хвать Якаяча топорищем по лбу, а сам — прыг в воду! Только, понимаешь, на другую сторону, откуда коты уюркнули к товарищу. Доплыл я до мелководья, оглянулся: байдара перекинута; чудища вьются около нее, рычат, кровавыми глазищами поводят; то рука, то нога окажется, то вдруг синяя бритая голова (с нами было четыре коряка, которые каждый день голову бреют) высунется, торчит, словно гриб водяной; вдруг чудище схватит ее, другие подстанут; на минуту весь человек окажется, а там и следов его нет, только вода кругом окрасится. Я стоял, смотрел,— и страшно и холодно, а мочи нет, хочется еще смотреть. Вдруг чудища перестали реветь и метаться, поплыли плавно и запищали, как сверчки. Ну, стало быть, баста! Всё кончено! Ни одного человека не осталось в живых! Только я уцелел, слава тебе господи! Как добежал я до берега, тотчас бухнулся на колени и принес господу богу благодарение, что сам жив остался

и что целых шестнадцать плосконосых разбойников утопить сподобился. Клал я земные поклоны и высоко поднимал грешные руки мои, а тупорылые, зубастые чудища плескались в кровавой воде, взбивали красную пену и всё смотрели на меня, словно как на какое невиданное позорище.

— Счастлив ты, Тарасушка,— сказал с завистью Никита, когда товарищ его кончил свой рассказ.— Ты вот, почитай, на воле жил, зверей каких насмотрелся, по морю прокатился, чуть тебя звери не изломали, дикари чуть в море не бросили; надрожался ты, надрожался, сердечный! А вот я? Сила была, да волюшки не было! Руки чесались, да развернуться простору не было! Всё время, почитай, как собака, на привязи жил!

И он пересказал товарищу свои приключения. Потом они стали советоваться, что им делать. В юрту заходить было опасно: если уж камчадалы показались в той стороне, так они, верно, завладели юртой. Итак, промышленники решились перебраться за Авачу в одной байдаре, оставив другую товарищам, если б кто из них пришел к условленному месту.

VI

Тени высоких гор вытягивались всё длиннее и длиннее; наконец совершенно стемнело.

Промышленники спустили на воду байдару и поплыли. Они держались берега, который был здесь чрезвычайно высок и крут.

Ветер силен. Небо черно. Луна только изредка показывается среди темных, угрюмых туч, и тогда громадная тень береговой горы ярко обозначается на воде, перерезанной серебристыми полосами; а дрожащие тени дерев, наклоненных к воде, кажется, то углубляются, то всплывают, словно ныряя. Волны глухо плещутся, и за шумом их не слышно ни мерных ударов весел, ни голоса промышленников, разговаривающих о своих товарищах. Где-то они теперь? Живы? Или уходили их плосконосые разбойники? А если живы, что делают? Как горе мыкают?

Ветер сталкивает, разводит, спутывает и гонит всё дальше и дальше черные тучи, пробивает среди них пестрые дороги, сизые и светлые скважины; вот наконец осилил и согнал черные тучи с огромного пространства неба; откуда ни взялся месяц и бойко пошел по голубому полю. Осеребрилась река. Промышленники смотрят

вперед, смотрят и видят две черные фигуры, которые, покачиваясь, приближаются к ним.

— Видишь, Никита? — тихо говорит Тарас.

— Вижу.

— Уж не звери ли?

— Нешто звери так плавают?

— Ну так люди! Тс!.. Гляди: словно головы...

— Ну, каким людям тут быть? Люди кверху головой не плавают.

— Ну так просто нечистая сила!

— Ха-ха-ха!

Черные фигуры плывут всё ближе и ближе, плавно, медленно, покачиваясь, словно живые.

— Лешие водяные! — шепчет Тарас.

— А вот поглядим!

Промышленники гребут к черным фигурам. При ускоренном приближении байдары черные фигуры колышутся сильней и быстро нагибаются к борту, будто кланяясь промышленникам. Лицо Тараса покрывается смертельной бледностью. Никита смотрит на них с омерзением и ужасом.

— Тарас, а Тарас!

— А?

— Что отвернулся?.. А ты погляди!

— Ой батюшки! Ой Никитушка! Нет, уж лучше я с сивучищами пойду опять драться, а с нечистой силой...

— Какая тут нечистая сила? Просто, брат, плосконосые.

— Плосконосые? Что же ты не гребешь прочь?

— Ха-ха-ха! Вот голова, да чего их бежать? Что они сделают? Мертвым телом хоть забор подпирай.

— Так они мертвые?

— А ты думал — живые? Ха-ха!

Тарас, решаясь посмотреть, оборачивается и видит две человеческие головы, обезображенные кровавыми рубцами, страшно распухшие. Но и в искаженном виде они резко хранят первоначальный тип: широкие приплюснутые носы и толстые губы.

— Вот так встреча! Каким манером они сюда попали?

Не решив вопроса, промышленники гребут дальше.

Невеселая встреча опечалила их. Они молчат и по временам оборачиваются. Трупы, качаясь, как живые, медленно плывут своей дорогой. Промышленники проплыли еще с полверсты, и Никита снова таинственно спросил своего товарища:

— Видишь?

— Вижу.

Третья черная фигура плывет навстречу им. Вот она у самой байдары, вот поравнялась с ней. Промышленники всматриваются; но они не замечают уже в новом мертвеце знакомых признаков туземного дикаря.

Внезапный ужас оцепенил их; весла замерли в руках; сильные волны повернули байдару, закачали и столкнули с самим трупом. Никита загородил ему дорогу веслом, и труп остановился.

Луна ярко освещает мертвое лицо, которого лоб закрыт волосами. Но в губах сохранилось еще страдальческое выражение, так знакомое промышленникам. Страшная догадка болезненно шевелится в уме бедных странников, но они не смеют еще сообщить ее друг другу. Руки мертвеца сложены на груди...

— А гляди! Что у него в руке торчит? — шепотом замечает Тарас.

— Щеголиха... так и есть, щеголиха! — рыдающим голосом вскрикивает Никита.— Вавило! Горемыка Вавило! Жил ты бесталанно, да и умер господь знает как! Ничего у тебя не ладилось: ходил ты, словно мертвец, по белу свету — одинехонек, беднехонек, никому не брат, не друг. Натерпелся ты вдоволь! Горе горькое за тобой по пятам гналось, стужа тебя знобила, голод с ног валил,— ты молчал, потупив головушку, да думу свою думал. А в веселый час ты говаривал, тряхнув кудрями: «Будет праздник и на моей улице!» Вот и дождался ты своего праздника!

Тарас, у которого чувство личной безопасности обыкновенно перемогало всякую кручину, нагнулся к мертвецу.

— Что ты делаешь? — спросил Никита.

— А я хочу у него винтовку взять. Ну, как плосконосые разбойники и на том берегу изменили? А мне нечем и оборониться!

— Не тронь! — повелительно крикнул Никита.— Одна была у него радость: винтовка нарядная,— продолжал промышленник торжественным и унылым голосом.— Он любил и холил ее и пуще жизни берег. Пришла смерть, он и мертвый ее не выдал. Так уж пускай она с ним останется!

— Да и не вытащить! — отвечал Тарас.— Он ее так сжал, сердечный, что она у него в пальцах закоченела.

— Прощай, Вавилушка! — печально говорил Никита.— Без отпеванья, без креста, без гроба положил ты свою головушку в чужой, неприветной земле. Не было около тебя ни приятелей, ни сродников... Плосконосые нехристи угомонили тебя. Ходят кругом тебя волны сердитые; ветер буйный поет панихиду тебе: набежит на тебя морское чудище, щелкнет пастью своей — вот и могила твоя!.. Да у бога все мы равны будем, все ответ дадим. Не поминай лихом! Серживал я тебя, смеялся твоей кручинушке... да был ты такой нелюдимый, пугливый... А злобы, видит бог, не носил я против тебя в сердце своем! Эх, нет землицы кинуть горсточку на прощанье вечное!

Никита протянул свою длинную руку к мертвецу и коснулся его бледного лица.

— Вечная память! — проговорил он.

— Вечная память! — повторил Тарас.

— Аминь! — заключил Никита и принял весло.

Мертвец закачался и тихо поплыл прочь. Товарищи долго провожали его глазами. Потом они, будто с одной мыслью, взглянули кругом себя — на черные волны, которые вздувались и пенились, силясь захлестнуть байдару, на высокие берега, поросшие лесом, который ежеминутно грозил выслать на них полчища врагов, и дружно ударили веслами.

Уже фигура мертвеца превратилась в незаметную точку, а голос Никиты всё еще раздавался в воздухе, заглушаемый порывами ветра. Не привыкший подавлять ни веселых, ни печальных своих мыслей, Никита повел длинную унылую речь о своем погибшем товарище и протяжным, торжественным голосом пел ему «вечную память»!

— Никита! — пугливо воскликнул Тарас.

— Что?..

— Тс! погоди петь... слышишь?

Никита стал прислушиваться.

— Ничего не слышу.

— Погоди, постой грести!

Промышленники подняли весла выше воды.

Среди однообразного завывания ветра, ропота деревьев и плеска волн явственно послышался человеческий крик.

Промышленники притаили дыхание. Крик повторился. Он был дик и пронзителен и доносился ветром с высоты берега, которого держались промышленники.

— Подплывем поближе!

— Что ты, голова! А как там плосконосые? Увидят!

— Да коли они на горе, так уж всё равно: они нас давно видели. Только чего им так кричать?

Крик раздался снова.

— Подадимся вперед!

Они начали огибать высокий утес, скрывавший продолжение берега, но увидели на воде тень следующего утеса и вздрогнули. Тень соседнего утеса, очевидно не столь высокого, как тот, у которого находились теперь промышленники, оканчивалась странной фигурой, которая дрожала и делала такие движения, каких не могли сообщить ей порывы ветра.

— На той горе человек стоит,— шепнул Никита Тарасу.

— Не леший ли? — с ужасом заметил Тарас.

— У тебя всё леший! Слышишь, как кричит: голос словно человеческий...

— Кто там ни стоит, а, по-моему, перевалим скорее на тот берег: так оно спокойнее!

И Тарас начал грести.

— Стой! Стой! — закричал Никита.— Держи к берегу!

— Что ты, Никита? С ума своротил?

— Уж ты молчи... Сердце добро вещает мне! — возразил восторженно Никита.— Слов не слышу, а так и кажется, что русский человек кричит.

И он принялся работать веслами. Спустя минуту обнаружился смежный утес; на нем действительно чернелась человеческая фигура, угаданная промышленниками по тени. При появлении их она испустила радостный крик и быстро махала головой и руками.

Но ни рассмотреть ее, ни уловить хоть слово, которое могло дать о ней понятие, ночь и ветер не позволяли. И Никита остановился в раздумье. Была минута, когда он уже готов был склониться на просьбы своего испуганного товарища и повернуть лодку к противоположному берегу, но фигура сильней замахала руками, закричала пронзительней,— Никита снова остановился.

— Как хочешь, Тарас. А не христианское дело оставлять человека, который просит помощи. Еще знай мы наверно, что орет плосконосый,— черт с ним! ну, а как наш брат?

— Откуда тут нашему взяться? — кричал испуганный Тарас.— Плосконосый, ей-ей, плосконосый; он нарочно орет, чтоб нас приманить.

— Ну ладно! Уж коли боишься, так спусти меня на берег, а сам отплывай прочь. Жди час, жди другой... а коли я к утру не ворочусь, так отчаливай с богом.

Тарас умолял Никиту не покидать его и не губить себя, но Никита твердо стоял на своем. Спустив его на берег, Тарас немного отплыл и с ужасом смотрел, как товарищ его взбирался на скалу, всё приближаясь к огромному страшилищу, каким казалась Тарасу темная фигура.

Наконец Никита ступил на вершину скалы, и вдруг обе фигуры слились в одну.

— Ну, попался в когти к лешему! — с отчаянием воскликнул Тарас.— Вот тебе и Никита! Говорил: не ходи!

Но фигуры разделились и закричали, замахали руками.

Голос Никиты скоро пересилил бурю, и Тарас услышал собственное свое имя:

— Тарас, сюда!

Тарас подъехал к самому берегу, но не решался еще расстаться с лодкой, где чувствовал себя безопаснее, чем на берегу. Призывные крики повторились, и вместе с голосом Никиты слуха его коснулся другой голос.

Не колеблясь более, он выскочил на берег, втащил за собой байдару, тяжесть которой не превышала пуда, и поспешно стал взбираться на гору.

— А посмотри, кого я тебе покажу! — сказал Никита, схватив его за обе руки и втаскивая на гору.

— Батюшки светы! — воскликнул Тарас.— Лука! Каким манером?!

Лука принялся рассказывать. Вместе с Вавилой он попал в один острожек к камчадалам, которые прежде были мирные и сделались изменниками в тот самый день, как промышленники наши лишились свободы.

Лука и Вавило жили у своих хозяев почти так, как жил Никита у своего, а наконец вдруг между дикарями распространился слух, что русские казаки идут усмирять их.

Пораженные ужасом дикари перенесли свои шалаши на высокую гору, составляющую правый берег Авачи, и укрепились там с женами, детьми и пленниками.

Через неделю гору обступил пятидесятник Шпинников, у которого, кроме пятидесяти казаков, было в команде до ста мирных камчадалов.

Десять дней изменники выдерживали осаду, стреляли из луков, метали в казаков каменьями. Наконец средства

к защите истощились. Осажденные увидели неминучую гибель.

Тогда страшная картина представилась пленникам, которые втайне радовались успеху русских и питали слабую надежду получить свободу. Изменники решились «достать под себя постелю»!.. Так называлось у них дикое и ужасное обыкновение, к которому прибегали камчадалы, когда не видели надежды к спасению.

Изменники перерезали жен и детей своих, перерезали престарелых отцов и матерей, перерезали всё, что было в острожках живого, и побросали трупы с утеса в реку. Потом некоторые из них с криком мстительного неистовства и отчаяния кинулись на врагов и погибли в битве; другие стремглав побросались с утеса, на котором сидели, в реку.

Вавило тоже был зарезан и брошен в реку на глазах Луки, которому готовилась такая же участь. Но рука дикого убийцы, ослабленная многими кровопролитиями, изменила ему, и Лука, не убитый до смерти, а только тяжело раненный, полетел вниз. У него достало сил ухватиться за обломок скалы и удержаться. С час висел он между небом и землею, пока казаки грабили и жгли опустелые острожки. Он кричал, но слабый голос его не доходил до слуха людей; он употреблял все усилия подняться и стать на ноги — силы изменили ему. Наконец всё стало тихо кругом: с отчаянием догадался Лука, что казаки ушли далее. «Зачем не до смерти поразил меня лютый враг? — думал несчастный Лука.— Зачем не слетел я прямехонько в воду?.. Всё равно смерти не уйти мне...» Он сделал последнее отчаянное усилие, поднялся и сел верхом на камень, за который так долго держался руками.

Не скоро унял он кровь, которая ручьем текла из его глубокой раны в правом боку. Два дни собирался он с силами, на третий медленно стал подаваться к тому месту, где промышленники покинули свои байдары.

Ночь и сильная усталость застигли его на скале, с которой увидал он байдару. Он знал, что дикари долго не отваживаются появляться в тех местах, где потерпели поражение, и заключил, что в байдарах находятся русские. Тогда он стал кричать...

Таковы были подробности, которые передал Лука своим товарищам.

Так как теперь уже нечего было опасаться близкого присутствия неприятеля, то промышленники разложили огонь в удобном месте и расположились отдохнуть. А наутро они решились отправиться в острожек, чтоб запастись порохом и пулями, проведать камчадалку и осведомиться, не был ли там кто из товарищей их.

VII

На пороге одинокой юрты сидели две женщины. Одна была молода и хороша. Большие продолговатые глаза, черные и блестящие, широкий небольшой нос и алые выпуклые губы придавали ее лицу выражение чрезвычайно оригинальное и привлекательное. Другая женщина была стара и чудовищно безобразна...

Глубокая грусть помрачала красивые черты молодой женщины. Она молчала и плакала, не слушая старухи, которая говорила без умолку, причем уродливые губы ее вместе с беззубыми челюстями ходили и шипели, будто испорченный инструмент. Наконец рассерженная невниманием слушательницы старуха закричала над самым ее ухом:

— Кениля! Кениля!

Молодая женщина вздрогнула и повернулась к ней.

Старуха часто и крикливо забормотала на камчадальском языке.

Молодая отрицательно качала головой и опять повесила ее.

Наконец она вскочила, запела не совсем чисто, но приятным голосом унылую русскую песню и побежала. С последним словом песни она была уже у крутого берега небольшой реки, которая била ключом и с шумом прыгала через камни.

Кениля стала на самый край берега и нагнулась с решительным намерением кинуться в воду, и вот она уже шатнулась вперед, как вдруг ее удержала сильная рука старухи, которая, запыхавшись, подоспела в ту минуту.

Старуха укорительно качала головой и бормотала камчадальские выговоры. Молодая женщина старалась вырваться.

— Еще день! еще день! — сказала она по-русски.— Каждый день ты мне говоришь — еще день... Я жду, жду, а он меня ждет!

И она с отчаянием рванулась, но старуха оттащила ее и увлекла к юрте.

Они сидели снова на пороге юрты. Старуха дремала. Keниля смотрела вдаль; вдруг у реки показались три человека. Кениля выпрямилась, посмотрела вперед и, радостно вскрикнув, как серна, пустилась к ним.

— А, Кениля! Кениля! — весело кричал Никита, шедший впереди.— Вот и мы! Ну что, жива?

Кениля не отвечала. Диким взором смотрела она на Луку и Тараса, которые немного отстали. Вся жизнь ее перешла в зрение... Наконец она кинулась к Тарасу, потом отскочила, как будто обваренная кипятком, и закричала:

— А Степан? Степан?

— А нет Степана,— отвечал Тарас.

— Где он?

— А кто его знает!

— Убили?

— А может, и убили.

— Убили, убили! — закричала отчаянно Кениля и побежала к Никите.

— Где Степан? Ты видел Степана?

— Не видал, красавица ты моя,— печально отвечал Никита.

— Он жив?

— Не знаю.

Кениля обратилась к Луке:

— Жив Степан?

— Жив, не бойся.

— Жив! — радостно закричала Кениля.— Он придет?

— Придет, придет.

— Скоро?

— Сегодня к вечеру,— отвечал чувствительный Лука.

— Жив! Жив! Придет! — весело повторяла Кениля и прыгала и смеялась.

Так они приблизились к юрте.

Никита подкрался к спящей старухе и над самым ее ухом закричал:

— Акхалалалай!

Старуха вскочила, дико осмотрелась и с неистовым криком ужаса побежала прочь.

Отбежав к реке, она остановилась на высоком ее берегу и начала посылать проклятия промышленникам, кривляться и сжимать кулаки. Потом она побежала дальше,

но скоро опять остановилась с дикими ругательствами. И так она останавливалась, грозила и кричала, пока наконец безобразная и страшная фигура ее, покрытая звериными лохмотьями, не скрылась из глаз промышленников.

— Так она осталась жива! — воскликнул Никита.— Вот чудо!

— Не на мое вышло? — заметил Тарас, не без ужаса узнавший в отвратительной старухе чудовище, напугавшее их в ущелье горы.— Не на мое вышло? Я говорил, что она не просто шаманка... вот теперь смейтесь! Ну, не сиди в ней бес, как бы осталась она жива?

— Уж подлинно, разве бес отвязал старуху! — заметил Никита.— Я так прикрутил ее, что, кажись, отвязаться сама она не могла.

— А уж я-то как старался! — заметил Тарас.

— Кениля! — крикнул Никита.

Но Кенили не было. Она ушла в юрту. Через минуту она выскочила оттуда, и красота ее получила новый блеск: роскошные волосы Кенили были расчесаны и вились по плечам; сверх русского красного сарафана на плечи ее накинута была новая пестрая кухлянка, в которой цвета были подобраны наподобие радуги. Бледные щеки Кенили были слегка нарумянены, а большие глаза ярко блистали простодушной радостью. Промышленники, долго не видавшие женщин, так были поражены миловидностью дикарки, что вскрикнули в один голос:

— Вот так красавица!

— Для дружка принарядилась,— печально сказал Никита.

Кениля прыгала и весело пела русскую песню.

— А что, братцы? Надо нам отдохнуть да и пообчиниться,— заметил Лука.

Промышленники ушли в юрту. Они спали, обедали, чинили свою обувь, а Кениля всё сидела на пороге юрты и смотрела вдаль.

Жалко стало Никите морочить бедную девку.

— Не сиди, не жди — напрасно! — сказал он ей.— Не придет твой Степан!

Побледнело лицо дикарки.

— Не придет? — повторила она, остановив беспокойный взгляд на лице Никиты.— Умер?

— Умер не умер,— отвечал Никита,— а бог знает, где он! Ты вот послушай: все мы попали в одну беду...

— Беду? — пугливо повторила дикарка.

— Да. Окружили нас проклятые изменники, схватили, разделили между собой, словно баранов, и очутились мы в плену.

— В плену? — вскричала Keниля.

— А ты слушай. Я ушел, и Тарас ушел, и Лука ушел,— и вот мы, видишь, теперь на воле. А где Степан — бог весть! Может, тоже ушел и придет сюда, а может...

Никита остановился. Черные глаза дикарки впились в него.

— Убит?

— Как знать! Вишь, ты какая: не идет, так уж и убит.

— Убит! Убит! — повторила она отчаянно.

— Говорят тебе, неизвестно! Ты погоди...

— Ждать! — воскликнула она.— Я ждала! Я долго ждала! Ты вот погляди!

Она схватила руку Никиты и подвела его к стене, где нарезаны были небольшие черточки.

— Ты вот погляди: я день ждала, два ждала,— говорила Кениля, считая пальцем свои черточки,— три ждала, четыре ждала...

Досчитав до десяти, она остановилась и с изумлением смотрела на свои руки с растопыренными пальцами, будто спрашивая: где взять?

— Начинай снова,— сказал Никита.

Дикарка догадливо сложила пальцы и продолжала, считая черточки:

— Опять день ждала, опять два ждала, опять три ждала... А потом уж и счет потеряла,— заключила она, досчитав и еще раз до десяти,— а его всё нет, всё нет! Я ходила каждый день на гору, и там его нет...

— Так не ты ли отвязала старуху? — спросил Никита.

— Да,— отвечала Кениля,— она уж была почти мертвая и хрипела, как я пришла... Я довела ее домой, накормила, и она всё жила со мной и всё каждый день говорила: «Погоди еще день, вот завтра придет...» Я и ждала... И каждый день я думала, что уж завтра не буду ждать, а сама пойду к нему... И уж теперь я и пойду...

И она хотела идти...

— Куда ж ты пойдешь? — спросил Никита, удерживая ее.

— Уж коли он не идет, так меня к себе ждет. Не приду еще — рассердится! Не хочу его сердить, боюсь его сердить! Он и так долго ждет, а будь жив, не заставил бы меня столько ждать.

Никита ничего не понимал, но голос дикарки раздирал его душу. Не зная, чем утешить ее, он сказал:

— Погоди еще: может, он завтра придет.

— Завтра! Завтра!.. Завтра я уж сама у него буду,— вскрикнула дикарка и побежала...

С минуту Никита бессмысленно следил за ней. Дикарка бежала к реке.

— Братцы! — закричал Никита своим товарищам, пораженный страшной догадкой.— Утопится! Утопится!

И он побежал за ней, но, еще не добежав до реки, услышал внезапный шум волн... Достигнув в три прыжка высоты берега, Никита взглянул вниз и увидел лицо камчадалки, ее черные волосы, расплывшиеся по волнам, и часть сарафана, вздувшегося на воде. Потом всё исчезло.

Никита кинулся в воду.

— Вот будет беда, как и Никита утонет! — заметил Тарас, подоспевший в ту минуту с Лукой к берегу.

— Ну, не утонет! — возразил Лука.— Река неширокая... А вот ты хорошо плаваешь — помог бы...

— Да ведь она легонькая: вытащит и один! — отвечал Тарас.

— Что у вас тут, братцы? — раздался задыхающийся голос сзади промышленников.— Я иду к юрте, гляжу: вы все бежите словно помешанные?..

Тарас и Лука обернулись и вскрикнули в один голос:

— Степан!

— Утонул, что ли, кто?..

— Кениля...— начал удивленный Лука.— Она, видишь ты, всё тосковала...

Степан прыгнул на край берега и бухнулся в реку...

В ту минуту голова Никиты показалась из воды.

— Степан! — закричал он.— Ты?.. откудова? Вон, гляди, она там... Там... Нырни! Я чуть было не схватил, да духу не хватило.

Степан нырнул.

— Откуда, братцы, взялся вдруг Степан? — крикнул Никита из воды своим товарищам.

VIII

В глубине старой юрты, у берегов Восточного моря, где разбросано несколько корякских шалашей, томился бедный пленник, связанный по рукам и по ногам... А в соседнем шалаше шел пир горой. Коряк Гайчале праздно-

вал великую радость: вчера жена его стала вдруг на колени посреди юрты и родила ему сына; сын, правда, вышел с небольшим изъяном: у него недосчитались одного уха; мужчины и женщины приписали такое несчастие тому, что Гайчале гнул на коленах дуги и делал сани, когда жена его уже близка была к разрешению. Но недостаток уха не слишком огорчил Гайчале, и в радости он назвал гостей.

С утра шли приготовления. Гайчале решился даже убить оленя, а такая роскошь у скупых коряков редкость: они питаются сами и потчуют гостей мертвечиной, а когда нет мертвечины, говорят гостям:

— Потчевать нечем: на беду, у нас олени не дохнут и волки их не давят, так не прогневайтесь!

Сестры хозяина с утра выставили на улицу котлы и ложки, чтоб их вылизали собаки: такой обычай у них употребляется вместо мытья посуды. Всё принарядилось; только женщины оборванны и грязны, да иначе и не бывает. На что, говорят они, женам нашим рядиться и мыться, когда мы и так их любим? И если жена коряка принарядится, муж убивает ее, как изменницу.

Оттого жены их стараются казаться как можно безобразнее и если надевают получше платье, то разве под низ, а сверху всегда прикрыты они отвратительными лохмотьями.

Наехало к Гайчале коряков и чукоч из соседних острожков; чукчи были с женами. Жены чукоч иные принаряжены, а иные, сбросив кухлянку, остаются в юрте почти нагие; зато тело их пестро расписано. Отчего такая разница? Жены чукоч должны служить не столько им самим, сколько гостям своих мужей: потому они столько же хлопочут о своей красоте, сколько коряцкие женщины о своем безобразии.

Согнув одну ногу и скромно прикрывшись пяткою, набеленные, нарумяненные, раскрашенные, чукотские жены сидят среди своих грязных хозяек и возбуждают их тайную зависть. Молодые мужчины вьются около них, и они отвечают им ласковыми речами и взглядами.

Несколько часов сряду едят и пьют гости. Наконец начинаются пляски. Постлав среди пола рогожку, две чукотки становятся одна против другой на колени; вот они начали поводить плечами и взмахивать руками с тихим припеваньем; но скоро движения их стали сильней, песни громче, и они всё повышали голос и больше кривлялись, пока наконец не выбились из сил. Зрители смотрели на их

пляску с восторгом... Когда они упали в изнеможении, началась пляска общая: все мужчины и женщины стали в круг и тихо ходили, мерно поднимая одну ногу за другой и приговаривая различные слова, относящиеся к звериному промыслу. Потом мужчины спрятались по углам, сперва выскочил один и начал как исступленный бить в ладоши, колотить себя в грудь и по бедрам, поднимать кверху руки и делать страшные движения, потом другой, третий, а все делали то же, вертясь и крича.

Потом один мужчина стал на колени и прыгал, как лягушка, кривлялся и плескал руками; из углов припрыгнули к нему другие — и пошла потеха!

И так ломались, прыгали и кричали они долго, очень долго.

Но пока забавлялись так гости помоложе, Гайчале с своими приятелями предавался другой забаве: они пили кипрейное сусло, настоянное мухоморами. Наконец, когда выпито было всё сусло, развеселившийся хозяин приносит большую связку сушеных мухоморов.

Радостные глаза гостей наливаются кровью, и они глотают грибы целиком, свернув их трубочкою. Сам хозяин глотает всех больше.

Наконец мухоморы обнаруживают свое действие: члены пьяных гостей подергиваются, и хозяин и гости заговорили разом, и речь их — горячечный бред... Перед глазами их вертятся отвратительные чудовища, проходят добрые и злые привидения, мертвецы, гамулы... Иные гости скачут, иные пляшут, иные рыдают, чувствуя неодолимый ужас; тому скважина огромной пропастью, тому ложка воды морем кажется.

Таково действие мухомора!

Все употреблявшие его единодушно утверждали, что действуют они в такие минуты не по собственной воле, но по приказанию мухомора, невидимо ими повелевающего.

И вот старый коряк Айга слышит собственными ушами приказание мухомора: разрежь себе брюхо!

И Айга схватывает нож и заносит его. Но женщины, строго присматривающие в такие минуты за своими мужьями, обезоруживают Айгу и связывают.

Другому дикарю, которого имя Умвевы, чудится ад и огненная бездна, в которую он должен низвергнуться. И мухомор шепчет ему, чтоб он торопился пасть на колени и покаяться в своих грехах.

И Умвевы становится и начинает каяться. Присутству-

ющие слушают его с чрезвычайным удовольствием и часто хохочут: он высказывает такие тайны и даже преступления, каких никто не мог предвидеть и которыми потом, когда бедный Умвевы проспится, долго будут преследовать его земляки.

Кончив исповедь, Умвевы встает, раскачивается, готовый низринуться в огненную пропасть, и разбивает себе череп, ударившись со всего размаху в край скамейки.

Хозяину юрты Гайчале мухомор тоже шепнул приказание. Он схватил нож, сшиб с ног мужчин и женщин, которые хотели остановить его, и выбежал на двор...

Махая огромным ножом, он бежал к юрте, в которой томился пленник. С силою, которую придает мухомор, Гайчале отвалил огромные камни, загромождавшие отверстие, ведущее в юрту, и спрыгнул к своему пленнику.

Пленник пронзительно вскрикнул: Гайчале попал прямо на него своими ногами.

Не ужас, но радость ощутил пленник, увидав огромный нож в руках своего хозяина, а в глазах его прочитав признаки безумного зверства, не обещавшие пощады. Слишком долгое, слишком мучительное заключение вынес пленник, чтоб страх смерти мог смутить его!

Приподнявшись, сколько позволяли связанные ноги, он ждал удара и желал только, чтоб удар был вернее.

Но Гайчале обрубил ему ремни на руках, потом на ногах и закричал: «Иди! Иди! Ты свободен! Мухомор приказал тебя выпустить!»

В минуту смекнул пленник, в чем дело. Он вырвал нож из рук дикаря, нанес ему удар, от которого дикарь повалился с ног, и выскочил из юрты.

У шалаша стояли гости и сродники Гайчале... Они приняли пленника, выскочившего и бегущего с ножом, за Гайчале и не смели кинуться за ним.

Так освободился Степан.

Нырнув раз, потом другой, Степан ощупал на дне реки тело Кенили и с помощью Никиты вытащил ее на берег.

Не больше десяти минут пробыла она в воде; можно было надеяться спасти несчастную, и промышленники принялись откачивать ее.

Страх и надежда попеременно волновали бедного Степана. Не то чтоб он страстно любил Кенилю, но он сильно привык к ней. При разграблении одного камчатского острожка казаки захватили в плен между прочими женщинами четырнадцатилетнюю девушку — Кенилю. Русские

казаки в то время делили между собою пленников и пленниц, как рабов,— «холопили», по тогдашнему выражению. Кениля досталась на долю казака, грубого и жестокого, он страшно мучил ее; но она приглянулась Степану, и Степан купил ее. Жизнь Кенили стала завидная. В благодарность дикарка привязалась к нему всеми силами своей души, ни на минуту не отставала от него и следовала за ним даже на самые трудные промыслы. Так жили они шесть лет, и Степан уже не мог вообразить себя без Кенили. Живя между русскими, она выучилась по-русски, переняла все нужные работы и была ему действительно лучше всякой жены.

Долго откачивали промышленники утопленницу, но никаких признаков жизни не обнаруживалось на бледном и прекрасном лице бедной девушки, которого неподвижные черты выражали спокойствие и ясную надежду. Все промышленники начинали смутно чувствовать бесполезность своих усилий, но продолжали их в глубоком молчании: никто первый не решался высказать страшную истину! Наконец Тарас поднялся, долго расправлял свои усталые члены, потягиваясь с таким старанием, будто хотелось ему вытянуть свои руки до бесконечности, и сел поодаль.

Потом присоединился к нему и Лука. Наконец и Никита отошел к ним, прошептав: «Видно, на то воля божия!»

Только Степан продолжал хлопотать около бездушного трупа.

Лука, Тарас и Никита молча смотрели на его работу. Наконец Никита сказал:

— Полно, Степан! Что уж тут?.. Видишь...

Но Степан не отвечал и продолжал свое дело.

И долго сидел он у бесчувственного тела бедной дикарки, пробовал, повторял и опять повторял все знакомые ему способы возвращать к жизни утопленников,— нагибался к ее лицу и долгим дыханием старался возвратить ее к жизни; но усилия его были напрасны: жизни уже не было в бедной дикарке.

IX

Промышленники наши жили несколько времени в юрте и каждый день расходились в разные стороны на поиски своих товарищей; часто с той же целью наведывались к

байдаре, покинутой под утесом. Недосчитывались они теперь Савелья Смешливого да Ивана Каменного; недосчитывались они еще Вавилы, но его уже искать было нечего! Вечером они возвращались с поисков, сходились в юрте, раскладывали огонь и передавали друг другу похождения дня. Тарас, впрочем, редко удалялся от острожка больше чем на версту; зато Никита, смелый и самонадеянный, выхаживал в день огромное пространство. У него были теперь порох и пули, и он ничего не боялся. Случалось даже, что он пропадал по два дня. Раз промышленники собрались в юрте после дневных поисков, а Никиты нет, вот и ночь — его нет. Промышленники решили, что он, видно, зашел далеко и остался ночевать. Беспокойство рано пробудило их, и они весь тот день не ходили на поиски, поджидая Никиту, но Никита не пришел. Прошел опять день и еще день — Никиты не было. Тогда промышленники отправились искать его; два дня пропадали Степан и Лука, даже Тарас отошел далее обыкновенного; на третий день сошлись они и передали друг другу печальную весть, что ни которому не удалось попасть на след товарища.

Отчаяние овладело промышленниками. Еще несколько дней ждали они, наконец решились идти в ближайший к ним Нижний Острог, в надежде, не попал ли уж туда Никита каким-нибудь образом.

На второй день пути заслышали они дикие и громкие крики, а потом увидели огромную толпу, шедшую весьма беспорядочно. Впереди развевалось военное знамя.

— Шпинников! Шпинников! — радостно закричал Лука.— Прибавь, братцы, шагу!

Промышленники скоро догнали толпу, поразившую их своей пестротой. Тут были русские казаки; камчадалы вооруженные и камчадалы скованные; женщины веселые и нарядные и другие женщины — худые, оборванные, привязанные одна к другой и шедшие кучками; наконец, дети, тоже привязанные друг к другу и тянувшиеся цепью. Смесь одежд, лиц и наречий была невероятная. Песни, хохот, рыдания, грохот барабанов, болезненные стоны и крики неистового веселья — всё сливалось в дикий, раздирающий гул, далеко разносившийся кругом.

Обремененный богатою добычею и пленниками, Шпинников торжественно возвращался в Нижний Острог после благополучного усмирения изменников и покорения нескольких новых острожков. Промышленники присоеди-

нились к нему, но скоро раскаялись в этом: Шпинников был жестокий человек и буйный и делал по дороге неслыханные злодейства. Следуя берегом реки Авачи, на второй день тут заметил он шатер, не походивший на шатры туземцев; не успел он с своей дикой ватагой подойти к нему, как оттуда выбежало человек пятнадцать, так странно одетых и такого странного вида, что таких людей ни Шпинникову, ни нашим промышленникам сроду не случалось видеть. Все они были в чрезвычайно широких и длинных халатах с коротенькими рукавами. На иных халаты были бумажные, на иных шелковые, цветом большею частию синие с белыми полосками. При некоторых были сабли, а у других коротенькие трубочки.

Странные люди в широких халатах кинулись к Шпинникову и ближайшим его товарищам со всеми признаками живейшей радости; они обнимали казаков, целовали их руки, весело смеялись и всё говорили, говорили бойко и радостно, но ни казаки, ни камчадалы, ни сам Шпинников не понимали их языка. Догадавшись с глубоким сожалением, что речи их непонятны, странные люди продолжали знаками изъявлять Шпинникову с товарищами свое удовольствие и расположение; дарили их разной одеждой, саблями и красивыми вещицами, которые тут же снимали с себя; приносили из шалаша сарачинское пшено, камки, полотна, писчую бамагу и разные товары и всё предлагали казакам с самым приветливым видом; казаки их тоже дарили с своей стороны, хоть не так щедро и радушно, и всё старались добиться, откуда они попали сюда и кто они таковы.

Странные люди в широких халатах показывали им на воду, представляли бурю и крушение, и Шпинников удостоверился в одном: что они занесены сюда бурею... А откуда?

Не решив вопроса, он двое суток стоял лагерем около шалаша, наконец на третьи двинулся дальше. Странные люди начали стонать и плакать, как будто ужаснувшись, что снова останутся одни среди незнакомой и дикой страны, но Шпинников не сжалился. Долго несчастные провожали отряд раздирающими криками.

Отошед верст тридцать берегом, люди Шпинникова усмотрели довольно большое судно странного вида; никто не управлял им; волны гнали его по произволу.

— Буса, братцы, японская буса! — воскликнул один

старый казак.— Стало, они японцы. Я видывал японские суда, они всегда так строятся и зовутся бусами.

Не рассуждая долго, Шпинников приказал ободрать с судна железо. Казаки и камчадалы принялись ломать судно. Вдруг показалась небольшая лодка странного вида,— в ней были несчастные, покинутые недавно Шпинниковым.

С ужасом увидав гибель своего судна, они не смели, однако ж, вступиться за свою собственность и стороной продолжали свой путь. Но Шпинников, с утра пьяный мухоморами, завидев их, пришел в страшную ярость.

— Топи! Стреляй! Режь! — скомандовал он своей ватаге.

Несколько лодок, наполненных казаками и камчадалами, пустились преследовать японцев. Видя неизбежную гибель, несчастные покорно остановились. Умоляющие телодвижения, тысячи знаков безграничной преданности, раздирающие стенания, наконец, поклоны, низкие и бесчисленные поклоны,— всё употребили они, чтоб тронуть своих палачей. Но ответом им были стрелы.

Тогда они стали бросаться в воду и тонули; неутонувшие переколоты были копьями, дорезаны саблями, которые сами же они подарили Шпинникову. Только двое остались живы: десятилетний мальчик и старик. Они боролись со смертью у самого берега, когда Степан и Лука завидели их и спасли.

Шпинников сжег бусу, забрал всё железо, «охолопил» двух уцелевших японцев и продолжал путь в Нижний Острог. Прибыв туда, он тотчас был схвачен, по доносу промышленников, и скован. Шпинников, по примеру прежних лет, надеялся откупиться подарками, но приказчик Острога, напуганный последними страшными событиями (в то время вся Камчатка поднялась, озлобленная до последней крайности жестокостями казаков; дикари убивали и предавали русских страшным мучениям, где только могли; близился главный камчатский бунт, вспыхнувший в 1731 году), боялся сплутовать и отписал о злодействе Шпинникова в Охотск.

В остроге нашелся казак, бывший три года в плену у японцев, и два спасенные чужестранца рассказали ему свою историю.

То были действительно японцы. Из города Сацмы в город Азаку отправлена была японская буса, по имени Фаанкмар, нагруженная сарачинским пшеном, камками, полотном и другими товарами. На ней находилось семнад-

цать человек. Сперва буса быстро бежала при попутном ветре к своему назначению, но скоро пловцов отнесло бурею в открытое море, и здесь они потеряли путь свой. Их носило по морю по воле ветров шесть месяцев и восемь дней. Несчастные принуждены были постепенно выкинуть почти весь товар, снасти, якори и срубить мачту; вместо руля, отбитого бурею, употребляли они бревна, привязав их за корму. Наконец принесло их к камчатским берегам; здесь, бросив в пяти верстах от берега остальные свои якори, остановились они и свезли на берег всё необходимое. Потом и все съехали на землю; поставив шатер, двадцать три дня жили они спокойно, не видав никого из камчатских обитателей, а между тем бусу их унесло погодою. Тут пришел Шпинников.

Но о Никите и прочих своих товарищах промышленники ничего не узнали.

Они решили пожить в Нижнем Остроге, опасаясь пуститься в путь без прикрытия в такое бурное время и поджидая, не подойдут ли товарищи. А между тем расспрашивали о них каждого приходившего в Острог казака или туземца. Долго расспросы их были безуспешны, наконец пришел в острожек худой, оборванный, израненный казак, натерпевшийся разных бед, избежавший чудесным образом смерти, и вот что рассказал он:

«Шли мы, двадцать пять человек, с командиром Данилой Анцыферовым берегом Пенжинского моря; встретили по рекам Колпаковой и Воровской два острожка, погромили и привели в ясачный платеж изменников, которые отложились было и ясака платить не хотели. А погромивши острожек на Воровской, услышали мы великий крик и словно как призывание имени господа нашего и другие русские речи... Подошли мы к яме, откуда выходил крик, и нашли в ней вольного русского человека, Савелья Подоплекина. И был он связан по рукам и по ногам, избит и так худ, как щепа. А рассказал он нам, что ходил вместе с Никитой и другими товарищами на гору Опальную промышлять зверей, и были они все словлены и по рукам плосконосыми разбойниками разобраны. Привел его хозяин домой, бросил, связавши, в яму, и с тех пор не видал он, Савелий Подоплекин, свету божьего. А приходил к нему хозяин почасту и говорил: „Коли скажешь, куда схоронили звериные шкуры, так отпущу тебя жива“. Только он, Савелий, не желая обидеть товарищей и клятву свою нарушить и знаючи предательский нрав супостатов своих,

оного показания не дал, а решился лучше живот свой в яме скончать. И погромивши тот острожек и объясачивши жителей, пошли мы, двадцать пять человек, с командиром Данилой Анцыферовым и вольным человеком Савелием Подоплекиным дальше, а как пришли к реке Аваче, то приметили еще один острожек, который, ведомо было нам, объясачен еще не был. И отдал командир наш Данило Анцыферов приказ погромить тот острожек; но жители вышли к нам с повинной головой, привели пять заложников, лучших своих людей, и звали в гости. Взявши заложников, вошли мы, двадцать пять человек, с командиром своим Данилой Анцыферовым и вольным человеком Савельем Подоплекиным в просторный и крепкий шалаш. Приняли нас камчадалы честно, щедро одарили, довольствовали и богатый ясак без прекословия платить обещались. Только во всем у них тут был другой умысел, и шалаш крепкий они с тем умыслом построили. Все мы с вечера были зело употчеваны и легли спать в сильном хмелю. Не спалось мне, голова ходила кругом, и вышел я из шалаша. Только как вышел, так уж опять в шалаш не воротился, да и шалаша скоро не стало...

Отошел я шагов двадцать от шалаша и вижу, с другой стороны к шалашу подходит несметное число камчадалов; подошли и прямо заставили собой дверь. Притаился я и стал слушать, о чем будут говорить... Господи ты боже мой! Часто бывал я меж ними, знаю по-ихнему, и понял, о чем говорили они: разбойники сговаривались зажечь шалаш и всех нас, двадцать пять человек, с командиром Данилой Анцыферовым и вольным человеком Савельем Подоплекиным огню предать! Окружили они шалаш. Что делать мне было? Окажись я, закричи, дела не поправишь, а смерть накличешь себе. Такой страх взял, что стоял я ни жив ни мертв, не мог ни рукой ни ногой шевельнуть!

Приподняли разбойники потайную дверь (видно, была нарочно приготовлена) и говорят полуголосом заложникам своим:

— Ну, выходите скорей! Всё готово!

А те им в ответ таково громко:

— Нам нельзя выйти — мы скованы; да нужды нет... жгите, братцы, шалаш! Не жалейте нас! Лишь бы служилые сгорели!

Вот какова злоба у разбойников!

И зажгли шатер со всех сторон, и все двадцать пять человек служилых с командиром своим Данилой Анцыфе-

ровым, с вольным человеком Савельем Подоплекиным и с пятью басурманами-заложниками сгорели.

Один я, по грехам своим, жив остался».

X

Теперь судьба только двух товарищей была неизвестна промышленникам: Никиты Хребтова и Ивана Каменного.

И дни проходили, проходили целые месяцы, прошел, наконец, год, а ни их, ни даже слуху о них нет как нет!

Пришло наконец решение из Охотска по делу Шпинникова. Сделали виселицу, собрали народ и повесили злодея. Стали снаряжать в отправку ясачный сбор. И вот сто сорок сороков лисиц, бобров и других дорогих шкур уложено, готов и охранный отряд, готовы и японцы, которых приказано было представить в Петербург. Не дождавшись товарищей, Лука, Тарас и Степан собрались следовать при ясачной казне, как вдруг нежданно-негаданно, словно снег на голову, явился Никита Хребтов. Велика была радость промышленников.

— Откуда ты, Никитушка? Где был-побывал?

— А был я, братцы, по другую сторону моря, в Америке, и думал, что уж никогда не ворочусь, не попаду домой. Да вот привел бог! А прикатил я к вам не на лошадках, не на собачках, не на кораблике, а привез меня оттуда кит морской.

— Как? Что ты, голова, шутишь?.. Кит?!

— А вот слушайте! Расскажу всё, как было, по порядку, не утаю ничего. Как разошлись мы, помните, искать товарищей, так к вечеру такой сон меня сморил, что лег я да и заснул богатырским сном. Бог весть, долго ли я спал, а проснулся нерадостно, лучше век бы не просыпаться! Руки у доброго молодца ремнями скручены, головушка чекушей настукана, и кругом стоят дикари окаянные! Повели они меня, и пришел я с ними к морскому берегу; у них тут шалаши настроены: промыслом занимаются! А как привели, так и поссорились: кому мной владеть. Спорили, спорили, да не порешили ничем и продали меня конягам, которые той порой к нашему берегу подплыли. И увезли меня коняги на свою сторону, за море. Насмотрелся я тут новых, американских див, каких еще не видывал. Лица всё разбойничьи, как блин плоские, как медь темные, и чудно разукрашены, расписаны. Уж про баб и говорить нечего! Черная нитка по-за кожей протянута, глядишь — по лицу узор, и так, говорят, у иной

и по всему телу; ноздри проколоты, и в них торчит костяная палочка в две четверти; в нижней губе шесть дыр, в каждой бисер низаный; уши вкруг проколоты, а в дырах тоже корольки, бисер, кольца; на шее, на руках, на ногах — тоже бисер, янтарь, раковины,— сдивился я! И как только пришли мы к ним, так и мне начали они карандаш давать: думают, тоже стану лицо расписывать, шута нашли! А попал я к человеку сильному и сердитому, который у них большим почетом пользовался. Был он уж стар и до четырех сотен китов на своем веку загубил; и рассказывали они мне, что другого такого китолова нет во всем свете, да и не будет лучше! Хотелось мне посмотреть, как он с китами управляется, да не брал он меня. Жил я у него, всякую работу делал и на промыслы с сыном его ходил, угодить ему всячески старался,— и сжалился он: наконец взял меня, только прежде привел в землянку, и тут такого страху натерпелся я, таких див нагляделся, что жизни не рад был. Пар десять мертвых тел было в землянке, и начал он у тех мертвецов просить удачи в промысле, и сын его просил, и меня тоже заставляли просить, да я ни жив ни мертв стоял: ничего не боюсь, а с покойником страшно, а тут их два десятка!

— А зачем же у него покойники были? — спросил Лука.

— А уж такой обычай. Кто китами промышляет, тот свои приметы имеет: собирает по весне орлиные перья, медвежью шерсть, птичьи носки; а который посмелей, так ворует покойников, кои в китовом промысле сильны были; прячет их, носит им поесть, а как умирает, так любимому сыну отказывает, словно сокровище. Так вот, попросивши у покойников удачи, поехали мы. А было нас всего трое: сам китолов, сын его да я. Китолов был костью широк и ростом выше меня, только крепко угрюм, слова веселого не скажет! Плыли мы полчаса; я да сын гребли, а старик с носком на корме стоял. Долго не оказывался кит, а с утра, слышь, его у берега видели. Почитай, на середину моря забрались мы, а всё его не было. Да уж зато и оказался какой! Сажен двадцать пять верных будет! Подплыли мы к чудищу. Старик, почитай, не целился, не размахивался, а как пустил носком, так носок прямо в голову киту так и врезался; и как глубоко-глубоко: дивишься, откуда сила взялась у одного человека такая! Меток, разбойник! Я такого удара сроду не видывал, инда

завидно стало! Потащил нас кит — только успевай ремень разматывать, того и гляди опрокинет байдару! А ремень был длинный-длинный! Ждали мы: вот-вот чудище ослабнет, остановится; нет, всё тащит и тащит; ремня мало осталось; глядь, и весь ремень; байдара качнулась!

— Брось, батька, ремень! — кричит старику сын.— Того гляди, ко дну пойдем!

Китолов молчит, ремня не бросает, а глаза у него так и горят. Стали мы с его сыном качаться и вертеться в лодке так, чтоб не дать ей опрокинуться, да мудрено было ее удержать. Рванул кит, опять качнуло сильнее прежнего.

— Брось, батька! — повторил сын.— Видно, неладно попало: не слабнет кит! Занесет он нас далеко либо утопит.

Сбесился китолов, обиделся, что сын родной подумал, будто он неметко ударил, и с сердцем сказал ему:

— Молчи, трус! Только мешаешь!

Сын пуще отца сбесился. Всё лицо перекривилось.

— Коли я трус, коли я мешаю, так прощай! — сказал он, да и бух с лодки!

— Как! Утопился?

— Да, у них жизнь нипочем,— отвечал Никита.— То и знай режутся и топятся из пустяков. Насмотрелся я! А вот розог так пуще смерти боятся.

Вскрикнул китолов словно безумный, покачнулся, бросил ремень и кинулся сына спасать. Я успел ухватить ремень, и кит потащил лодку прочь. Оглянулся я раза два: китолов, держа сына выше воды, плыл за мной, кричал, чтоб я бросил ремень и остановился, подождал их.

— Что ж ты?

— Мастер был он плавать, да кит плыл шибче его, а опустить ремня я не хотел. Всё больше отставал китолов с сыном, и наконец я уж не видал их. Кит пошел тише, тише, а плыл он всё к нашему берегу, так я не пускал ремня. Вот так-то, ребятушки, и привез меня кит, почитай, вплоть до берегу. А как ослаб он, так подплыл я к нему, полюбовался чудищем, хотел носок вытащить, да силы не хватило. Делать нечего, бросил ремень и стал держать к берегу. А вышедши на берег, помолился богу и пошел к вам.

Так кончил Никита. Не теряя времени и удобного случая, промышленники отправились при ясачной казне в

Охотск, а оттуда разошлись по своим родным деревням. Иван Каменный пропал без вести.

И кончил Антип свой длинный рассказ о похождениях деда, а солнца всё нет и нет. И чем долее лишена земля его животворных лучей, тем зима свирепее, тем невозможнее высунуться за порог избы. Пересказаны все сказки и былины, какие кто-либо знал, перепеты все песни, и хором, и вразбитную, опять снова всё пересказано и перепето, а солнца нет! Изба, которою не могли нарадоваться промышленники в начале зимы, стала им теперь невыносимой тюрьмой, особенно после несчастного случая, который произвел на них глубокое впечатление. Как ни береглись они, какие ни употребляли предосторожности, а скорбут всё-таки не оставил их в покое. В первых числах января у промышленника Трифона, того самого, который был отнесен вместе с Хребтовым на льдине на середину моря, стали пухнуть колени, появилась чрезвычайная слабость, наконец он слег и на седьмой день умер в страшных мучениях. Товарищи похоронили его в забое снега: докопаться до земли не было никакой возможности. К счастью, такие случаи не повторялись. Все остальные люди Каютина и сам он были постоянно здоровы. Наконец в конце января солнечные лучи осветили ледяные вершины гор. Спустя четыре дня промышленники вышли на обычную прогулку, и радостный крик огласил пустыню: промышленники увидели солнце, выходившее из-за южных гор в полном сиянии. Надобно самому побывать в таком положении, чтоб понять их восторг!

Прогулки стали приятнее, появилась возможность даже продолжать иногда промыслы. В половине марта местами начались проталины, показалась земля, южные скаты гор покрылись кудреватым мохом, скоро он стал цвести. Спустя еще несколько времени малые озера, промерзшие до дна, стали оттаивать, появились ручьи. В мае начался лет гусей, скоро появились их несметные стада, промысел их был легок и удачен. Весна быстро развивалась. С гор лились ручьи, открывалась земля, начало ломать льды. Всё ожило. Ожили и наши промышленники.

Нужно было похоронить покойника. Как только явилась возможность, они с чрезвычайным трудом приготовили неглубокую могилу и разрыли сугроб, чтоб переложить в нее своего товарища. Он был совершенно таков, каким

положили его зимой. Лицо бледное, немного припухшее, глаза полуоткрытые, на губах странная, как будто сердитая и угрожающая улыбка. Глядя на это мертвое лицо, Хребтов вспомнил свое плавание на льдине, вспомнил стоны и жалобы Трифона, его страх умереть, покушение овладеть собакой, убить ее, и грустные мысли пришли ему в голову. Каютин тоже не без внутреннего движения смотрел на мертвеца. Положив товарища в могилу, бросив на него горсть земли, промышленники долго молились о нем, наконец зарыли могилу и поставили над ней крест с именем покойника, числом и годом. Весь тот день было им грустно, и только на другое утро принялись они за свои промыслы. Весна — лучшее время для промыслов на Новой Земле, и теперь предстояла им самая жаркая и самая прибыльная работа.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРИ СТРАНЫ СВЕТА

Подготовка текста

Б. Л. БЕССОНОВ

Редактор тома

Н. И. СОКОЛОВ

Николай Алексеевич Некрасов

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

Том 9

Книга I

Три страны света

Утверждено к печати
Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом) АН СССР

Редактор издательства *Т. А. Лапицкая*
Художник *Л. А. Яценко*
Технический редактор *Н. А. Кругликова*
Корректоры *Н. Г. Каценко, Н. П. Кизим*
и *Г. В. Семерикова*

Сдано в набор 01.06.84. Подписано к печати 14.08.84. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 26.04 +0.11 вкл. Усл. кр.-отт. 26,15. Уч.-изд. л. 28,11. Тираж 300 000 (1-й завод 1—100 000). Тип. зак. № 4-240. Цена 3 р. 30 к.

Издательство «Наука», Ленинградское отделение
199164, Ленинград, В—164, Менделеевская лин., 1

Киевская книжная фабрика. 252054, Киев-54, Воровского, 24.